

85.570
И 20

Май 20
Гек

Черные АНГЕЛЫ

Георгий Иванов

ГЕОРГИЙ
ИВАНОВ

ЧЕРНЫЕ
АНГЕЛЫ

МОСКВА • ВАГРИУС •

2006

УДК 882-94
ББК 84.Р7
И20

Серия основана в 1995 году

Вступительная статья, примечания
С.Р.Федякина

Дизайн серии
Евгения Вельчинского

*Издательство благодарит
Российскую государственную библиотеку по искусству
за предоставленные иллюстрации*

*Охраняется Законом РФ
об авторском праве*

Иванов Г.В.
И20 Черные ангелы / Георгий Иванов; вступ. ст., примеч. С.Р.Федякина. —
М.: Вагриус, 2006. — 394 с. ; ил.

ISBN 5-9697-0209-9

Георгий Владимирович Иванов (1894—1958), один из выдающихся русских поэтов XX столетия, был дружен со многими представителями отечественной культуры Серебряного века. Мемуарные очерки о литературном Петербурге 1910-х — начала 1920-х годов (часть их автор объединил в книгу «Петербургские зимы»), написанные в эмиграции, принесли ему скандальную славу: некоторые современники упрекали автора в недостоверности, а порой и в откровенном художественном вымысле. Все же позднее многое, о чем писал Иванов, нашло свое документальное подтверждение. Среди героев воспоминаний — Н. Гумилев и А. Ахматова, А. Блок и О. Мандельштам, С. Есенин и Н. Клюев, Ф. Сологуб и И. Северянин, представители петербургской литературной богемы... Заинтересует читателя и большой очерк «По Европе на автомобиле» — впечатления от поездки автора по нацистской Германии 1930-х годов.

УДК 882-94
ББК 84.Р7

ISBN 5-9697-0209-9

© Федякин С.Р., вступительная статья,
примечания, 2006

© Оформление. ЗАО «Вагриус», 2006

83.396-9

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИФ В СУДЬБЕ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

Так черные ангелы медленно падали в мрак,
Так черною тенью Титаник клонился ко дну...

Георгий Иванов

«Даже страшно подумать, под какой ослепительный прожектор истории попадем когда-нибудь все мы»¹, — заметил Иванов в статье 1931 года «Без читателя». Человеку, прожившему на своем веку, свойственно видеть мир не только глазами сегодняшнего дня, нынешней недели, текущего месяца. Подспудно он ощущает за плечами уже прожитую часть жизни, и каждый день становится частью и чего-то большего — биографии или судьбы. Но и биографию можно видеть лишь как один из «лоскутков» своего времени, да и время это почувствовать лишь эпизодом в жизни столетия.

«Ослепительный прожектор истории»... В мимолетной обмолвке Георгия Иванова сразу раскрылось его стереоскопическое зрение: над сиюминутностью словно бы нависает огромный, внимательный глаз будущего, — пусть он схватит далеко не все, но зато сумеет отчетливой различить наиболее существенное.

Начало жизни вряд ли способно было «подарить» поэту это зрение «сквозь времена». Георгий Владимирович Иванов родился 29 октября (10 ноября) 1894 года под Ковно (ныне Каунас) в дворянской семье с давними военными традициями. Имение, портреты предков, их пристальный взгляд — все это Иванов вспомнит, будучи уже известным поэтом. Его раннее творчество не случайно будут сравнивать с рисунком, гравюрой или литографией. Жизнь в ранних стихотворных сборниках Георгия Иванова предстанет как часть большого живописного произведения:

Беспокойно сегодня мое одиночество,
У портрета стою — и томит тишина...
Мой прапрадед Василий — не вспомню я отчества —
Как живой, прямо в душу — глядит с полотна.

Фамильные портреты, фамильный фарфор, изящно расписанный по мотивам картины Антуана Ватто «Отплытие на остров Цитеру»... Будущие

¹ Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т. 3. С. 539.

исследователи не раз усомнятся: не была ли эта роскошь родового гнезда легендой или, по меньшей мере, преувеличением? И все же свой маленький «золотой век» в детские годы Иванов, по всей видимости, пережил. Так ли уж важно, насколько беззаботным было раннее детство? Важно, что сам Георгий Иванов вспоминал о нем именно так. Бездумность пережитых блаженных лет очень уж соответствует настроениям его первого стихотворного сборника «Отплыть на о. Цитеру» (1912), в котором прощательный Гумилев найдет не только «утонченный» стих, рождающий при чтении «почти физическое чувство довольства», не только «безусловный вкус» и «неожиданность тем». Была в ивановской книге и «какая-то грациозная «глуповатость» в той мере, в какой ее требовал Пушкин»¹.

И все-таки недолговечность «золотого века» Иванов ощутил тоже довольно рано. Все, что от рождения казалось прочным и незыблемым, стинуло почти в один миг: сгоревшее имение, отец, покончивший с собой, почти неизбежный — и в силу обстоятельств, и в силу семейной традиции — кадетский корпус... Вместе с тем, читая автобиографические страницы его «Петербургских зим», нельзя отрешиться от впечатления, что в ту пору Георгий Иванов был слишком молод и слишком беспечен, чтобы задерживать свое внимание на горьком и тяжелом.

Его увлечение поэзией началось в корпусе. Скоро этот интерес стал главным делом жизни. Еще подростком Иванов познакомился с известными писателями. В пятнадцать лет впервые перешагнул порог квартиры Александра Блока. «Очнулся» он от этого визита, уже спускаясь по лестнице с томиком «Стихов о Прекрасной Даме», с удивлением ощутив вдруг то волнение, о котором совсем забыл в квартире знаменитого поэта.

Эта встреча во многом определит поэтическую судьбу Иванова, правда — спустя многие годы. Ему еще предстоял долгий путь увлечений и разочарований.

Поначалу его потрясла словесная дерзость кубофутуристов — Бурлюка и Хлебникова. Как сам пояснит в воспоминаниях: «Не то чтобы мне очень нравилось: Бальмонт и Брюсов были мне гораздо больше по душе. Но как не позавидовать смелости и новизне?» Судьба, впрочем, свела его с другими футуристами — с приставкой «эго», где верховодил Игорь Северянин. Далее — шумная литературная жизнь: рестораны и кабаре, где собирались писатели, артисты и художники, выступления — непременно с красным бантом на шее вместо галстука. Мать Иванова, урожденная баронесса Бир-Брац-Брауер ван Бренштейн, была женщина строгая, и сын повязывал свой вычурный бант перед самым концертом на квартире Северянина.

¹ Гумилев Н. Соч.: В 3 т. М.: Худож. лит., 1991. Т. 3. С. 101, 102.

Первый сборник — «Отплыть на о. Цитеру», с характерным для «северянина» Иванова подзаголовком «Поэзы. Книга первая» — стал последним его «эгофутуристическим» сочинением. Гумилев, обратив внимание на юное дарование, тут же увел его в «Цех поэтов».

Наставником Гумилев оказался непревзойденным. На закате жизни, в статье «Осип Мандельштам», Иванов вспомнит об этом: «Ахматова до брака с Гумилевым писала стихи о лукавых неграх и изысканных скрипачах. М.Зенкевич, теперь несправедливо забытый, пришел весной в «Аполлон» с тетрадкой удручающе банальных стихов. После нескольких встреч с Гумилевым он привез с каникул свою великолепную «Дикую порфиру». Будущему переводчику «Божественной комедии» М.Лозинскому Гумилев первый посоветовал заняться этим. Одоевцева, будучи ученицей Гумилева, написала первую современную балладу, имевшую многих подражателей, вплоть до Заболоцкого. Но возможно, что никто не обязан Гумилеву в такой степени, как Мандельштам «Камня...»¹

С 1912 года Георгий Иванов вращается в кругу акмеистов, следуя и в стихах, и статьях лозунгам этого направления. Ему не пришлось ни в чем принуждать себя. Акмеисты, воюя с «туманностями» символизма, удалились от характерного для символистов музыкального начала в поэзии и приблизились к живописи и пластическим искусствам. И в последующих сборниках — «Горница» (1914) и «Вереск» (1916) — Иванов останется верен стихотворной «живописи». Правда, здесь он подошел к тому рубежу, где живопись и пластика обернулись самой неожиданной стороной. В «Вереске» Гумилев точно заметил «желание воспринимать и изображать мир как смену зрительных образов», но настойчивое описание в стихах Иванова произведений искусства вызвало у старшего товарища по «Цеху» ироническую улыбку: «Мы точно находимся в антикварной лавке». Гумилев и восхищен мастерством Иванова, и встревожен: «Что это? Почему поэт только видит, а не чувствует, только описывает, а не говорит о себе, живом и настоящем, радующемся и страдающем?»²

За безупречными стихами не было видно живой человеческой души. То же почувствовал в Иванове и Владислав Ходасевич: «Г.Иванов умеет писать стихи. Но поэтом он станет вряд ли. Разве только если случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя, несчастья. Собственно, только этого и надо ему пожелать»³.

¹ Иванов Г. Собр. соч. Т. 3. С. 618.

² Гумилев Н. Соч. Т. 3. С. 155—156.

³ Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1996. Т. 1. С. 462.

За год до смерти, в стихотворении «Свободен путь под Фермапилами...», Георгий Иванов скажет о временах юности:

...Мы никогда не знали лучшего,
Чем праздной жизни пустяки.

Облик молодого Иванова, его внешняя жизнь: артистические кафе, поэтические кружки и стихи, стихи, стихи, — поразительно созвучны этим строчкам. Конечно, крашенные губы, блестящие проборы, волосок к волоску, — все это был маскарад, как маскарадом были красный бант Северянина, или желтая кофта Маяковского, или размалеванное лицо Василия Каменского. И все же из поздних воспоминаний жены Георгия Иванова, Ирины Одоевцевой, о нем и его ближайшем друге Георгии Адамовиче можно вычитать не только то, насколько легко им давалось писание стихов, но и общее охватившее их чувство беспечности:

«Они целыми днями куда-то спешили, чем-то были заняты, чему-то смеялись. И ничего не делали. И это меня очень удивляло. Мне, ученице Гумилева, казалось, что поэты должны работать, что день без нового стихотворения — потерянный день. Но такие взгляды смешили их.

— Стихотворения появляются вот так — из ничего. Работать над стихами, — насмешливо уверяли они, — глупая и даже вредная затея»¹.

В 1919 году Иванов намеревается переиздать книгу «Горница» с добавлением более поздних стихов. Рукопись попадает к Блоку. И из-под пера первого поэта выходит одна из самых горестных рецензий. В Иванове его поразили внешняя безукоризненность, ум, вкус — при отсутствии внутренней сути. В стихах «как будто вовсе нет личности», это стихи, и только стихи. Конец рецензии страшен и полон пророчеств: «Слушая такие стихи... можно вдруг заплакать — не о стихах, не об авторе их, а о нашем бессилии, о том, что есть такие страшные стихи ни о чем, не обделенные ничем — ни талантом, ни умом, ни вкусом, и вместе с тем — как будто нет этих стихов, они обделены всем, и ничего с этим сделать нельзя... Это — книга человека, зарезанного цивилизацией, зарезанного без крови, что ужаснее для меня всех кровавых зрелищ этого века...»² В безупречных стихах «ни о чем» Блок видел возмездие всему русскому прошлому.

Но догадывался об этом и сам Иванов. В его лирике иногда прорывались беспощадные к себе и своему поколению ноты:

¹ Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.: Худож. лит., 1960—1963. Т. 6. С. 337.

² Одоевцева И. Избранное. М.: Согласие, 1998. С. 698.

На западе вьются ленты,
Невы леденеет гладь.
Влюбленные и декаденты
Приходят сюда гулять.

И только нам нет удачи,
И красим губы мы,
И деньги без отдачи
Выпрашиваем займы.

Последние годы в России — это работа переводчиком в издательстве «Всемирная литература», последний «Цех поэтов», должность секретаря в Союзе поэтов. В начале августа 1921 года умирает Александр Блок, в конце августа — расстрелян Николай Гумилев. Петербургская Россия уходила в историю. До отъезда за границу Иванов издаст два сборника стихотворений — «Сады» (1921) и «Лампада» (1922) — и подготовит две книги Гумилева: стихотворный «Посмертный сборник» и литературную критику покойного товарища, «Письма о русской поэзии». В августе 1922 года Иванов будет в Москве, где хлопочет о выезде и успеваает проститься с Осипом Мандельштамом. Осенью, вслед за женой, Ириной Одоевцевой, уедет в Берлин.

Когда Александр Скрябин мечтал о создаваемом им грандиозном музыкально-хореографическом действе, которое должно было собрать для своего воплощения все человечество, он говорил: за семь дней представления мы переживем миллионы лет. Композитор умер весной 1915-го, не увидев, сколь странно стала воплощаться его мечта. Не звуки оркестра — но выстрелы и стоны, не световая симфония — но вспышки взрывов, не мимические движения — но конвульсии. Исторический перелом прошел по телу всей Европы, но болезненнее всего — по душам русских эмигрантов. Потеряв почву под ногами, утратив воздух отечества, они заговорят — с особым, мучительным чувством — о «кризисе истории», «вторичном варварстве», «новом средневековье», «антиискусстве»... Вдруг явственно будут увидены новый человек, новая Европа, которые стали настойчиво и уверенно вытеснять прежний, столь привычный мир. Органическое начало будет выдавливаться бездушной механикой. Беда ощущалась не в том, что художеству, искусству новый читатель, зритель и слушатель предпочтет жалкие их суррогаты. Страшнее было проникновение механики в само творчество. Писатель утрачивал способность создавать вымышленный, но живой мир. Сила воображения вытеснялась монтажом отрывков или цитат, живой персонаж заменялся «человеком

вообще». Сама жизнь становилась другой — иллюзорной, «сиюминутной». Прошлое становилось все более значимым, все более подлинным.

О жизни Иванова за границей известно не очень много. После Берлина был Париж, где они с Одоевцевой прожили большую часть жизни. На заседаниях «Зеленой лампы», ведущую роль в организации которых играли Д.С.Мережковский и З.Н.Гиппиус, Иванов был бессменным председателем. Печатался в самых известных парижских газетах и журналах.

«Жили мы вполне комфортабельно, — вспоминала Одоевцева, — на ежемесячную пенсию моего отца, сохранившего в Риге доходный дом. А когда отец в сентябре 1932 года умер, мы получили большое наследство и зажили почти богато — в роскошном районе Парижа, рядом с Булонским лесом. И замечательно обставились стильной мебелью. Даже завели лакея...»¹

В литературную борьбу Иванов вступал редко, хотя каждый его выпад в сторону противников — особенно Владислава Ходасевича и Владимира Набокова — граничил со скандалом. Той же репутацией «скандальной» литературы будет пользоваться и книга «Распад атома». Эта «поэма в прозе» многим современникам казалась верхом неприличия и цинизма. Лишь немногие увидели подлинное ее содержание: «Распад атома» — это состояние современной цивилизации, распад культуры и распад человеческого сознания. Жизнь утратила твердую почву под ногами, утратила всякий смысл — осталась «мировая чепуха». Но главное литературное событие заграничной жизни Иванова свершилось там, где его труднее всего было ожидать. Когда выйдут ивановские «Сады» (1921), чуткий критик Константин Мочульский заметит: «Это — художник-миниатюрист, создатель очаровательно-незначительных вещей», — и вздохнет: «Последние годы прошли для Г.Иванова бесследно»². Через десятилетие он напишет о новом сборнике Иванова «Розы»: ранее Георгий Иванов «был тонким мастером, изысканным стихотворцем, писавшим «прелестные», «очаровательные» стихи»; теперь же — «он стал поэтом»³. Следующая стихотворная книга — с названием, почти повторяющим название первого его сборника: «Отплытие на остров Цитеру» (1937) — не просто подтвердила поэтическую репутацию Георгия Иванова, но сделала очевидным, что его лирика — это небывалое слово в русской литературе.

¹ Одоевцева И. Избранное. С. 783.

² Мочульский К. Новые сборники стихов // Последние новости (Париж). 1922. 12 мая.

³ Мочульский К. Иванов Г. «Розы» // Современные записки (Париж). 1931. №46. С. 502.

Необыкновенное превращение из стихотворца в поэта, которое свершилось в 1920-е годы, совпало со временем появления ивановских воспоминаний. Сначала появились — в виде отдельных газетных очерков или циклов — «Петербургские зимы», «Китайские тени», «Невский проспект». В 1928 году, строго отобранные, они выйдут отдельной книгой — «Петербургские зимы».

В свете мемуаристики Иванова совершенно особым образом видится и его ранняя лирика. Там, где современники заметят изумительное владение формой — и «никчемность» содержания, уже запечатлевается особое зрение. Мир, похожий на «антикварную лавку», говорит не только о чрезмерной «созерцательности», но и об умении запечатлеть. А последнее невозможно без *всматривания*. В детские годы прошлое «глядело» на него — то глазами портретов, то бликами на старинном фарфоре, рождая ответное желание *увидеть*. Еще не было подлинного поэта Георгия Иванова. Но было — быть может, им самим не осознаваемое — желание вглядываться в портреты, фарфор, в картины Антуана Ватто. То есть в те приметы прошлого, которые обретали в его глазах черты легенды. Почему и появился в названии двух сборников загадочный «остров Цитера».

Этот «ивановский» взгляд оживает не только при взгляде на русский мир. Летом 1933 года он сел в американский «штутц», чтобы из Риги попасть в Париж. Образ современной Германии, который встает со страниц очерка «По Европе на автомобиле», — это нескончаемое военное «празднество», почти заводной механизм. Но в конце поездки, когда появился маленький городок Гальберштадт, почти на мгновение, — за красными знаменами со свастикой, вскинутыми руками с «хайль», за всей «плакатной» и бессмысленной современностью вдруг стало проступать явленное глазу далекое предание, «животное тепло» средневековья.

В творчестве такая «осиянность прошлым» была естеством Георгия Иванова. И поэзия, и проза его вышли из этого чувства. Но очевидным это стало только в эмиграции. Уже на первых страницах «Петербургских зим» ошутимо это «совмещение времен». Прошлое: балет, театр, Спасивцева и Карсавина, — и настоящее: голод, обыски, расстрелы. Блистательный Петербург — и революционный Петроград. Если настоящее не окончательно обессмыслилось, то лишь потому, что эхо прошлого в нем еще ошутимо.

Первому изданию «Петербургских зим» Иванов предпослал эпиграф — стихотворение-воспоминание своего приятеля, Георгия Адамовича:

Без отдыха дни и недели.

Недели и дни без труда.

На серое небо глядели,
Влюблялись. И то не всегда.

И только. Но брезжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то легкое пламя.
Которому имени нет.

Об этом особенном «свечении» Петербурга перед его гибелью, перед погружением на дно истории писали многие — и Адамович, и Одоевцева, и Ахматова. Об этом написал в «Петербургских зимах» и Георгий Иванов. Адамович вспомнит однажды реплику Гумилева, которая запала им в душу: «Я четыре года жил в Париже... Андрэ Жид ввел меня в парижские литературные круги. В Лондоне я провел два вечера с Честертоном... По сравнению с предвоенным Петербургом, все это — “чуть-чуть провинция”»¹. В эмиграции, потеряв родную сердцу «столицу столиц», это можно было ощутить воочию.

Воспоминания Иванова «задели за живое» Игоря Северянина, рассердили Цветаеву, разгневали Ахматову: они были поражены их «неправдой», невероятно вольным обращением с фактами, когда невозможно отличить действительно бывшее от выдуманного. Сам Иванов готов был признать, что в его «воспоминаниях» три четверти — это выдумка. Но чуткие читатели сумели различить в них главное. Марк Алданов выразил это особое ощущение с предельной точностью: «Это не беллетристика, это и не «очерки». Жанр книги трудный, и владеет им автор превосходно. Приходилось слышать упреки: «Это не весь Петербург, а какие-то уголки»... Разумеется, не весь, разумеется, уголки. Но Г.В.Иванов, наверное, и не задавался целью показать Петербург в целом. Показывает он две эпохи. Люди бешутся с жиру, — люди мрут с голоду. Время Бродячей Собаки, — время Смольного Института. Удивительнее всего то, как обе эпохи, по модному выражению, «перекликаются» в книге»².

Пусть он был неточен, даже *намеренно* неточен в различных фактах, — воздух эпохи — конец блистательного Санкт-Петербурга, революционный Петроград — передал безукоризненно.

Позже станет понятно, что и в «выдумках» Георгий Иванов не так уж «врал». Вероятнее всего, когда сам не был свидетелем тех или иных событий, — пользовался и воспоминаниями современников. По крайней мере

¹ Адамович Г. Литературные беседы // Звено (Париж). 1926. 3 окт. №192. С. 2.

² Современные записки. 1928. №37. С. 526.

ре, происшествия, которые прошли мимо его глаз (как, например, инцидент с Мандельштамом, наговорившим «ужасных слов» чекисту Блюмкину), не прошли мимо его сознания. И если подойти к героям «странных» мемуаров Иванова не как к реальным людям, но как к «персонажам», «героям», сразу становится очевидным и его умение запечатлеть. Взять хотя бы портрет Клюева: образованный выходец из народа, способный читать Гейне в подлиннике («Маракую малость по-басурманскому...»), он строит из себя — не без лукавства — «простоватого мужичка». Благодарный рецензент Алданов не мог не признать: «Я не знал лично Клюева и не могу судить о сходстве. Но как художественная миниатюра эта страница — шедевр»¹. А сколько у Иванова таких страниц!

И как раз в те же годы, когда писались «Петербургские зимы», пристальное, «живописное» вглядывание в мир стало насыщаться в поэзии Иванова музыкой, в которой можно уловить близость к «гибельной» музыке Лермонтова и Блока. Превращение «стихотворца» в «большого поэта» совершилось именно в тот момент, когда в нем «заговорило» прошлое.

...Все равно — не протягивай руки,

Все равно — ничего не спасти...

Современники почувствуют главную особенность этого лирического голоса: «...человек умер и очнулся в царстве теней»². Предвоенные стихи Георгия Иванова находились уже «по ту сторону» всякого отчаяния. И то, что сначала произошло в стихах, позже произойдет и в жизни.

Вторая мировая война отняла у Иванова и Одоевцевой все: не осталось ни дома в Риге, ни драгоценностей — ничего от прежнего благополучия. Не утратил Георгий Иванов лишь свой редкий поэтический дар. В 1950 году выйдет сборник «Портрет без сходства». Уже после смерти, в 1958-м, — книга «1943—1958. Стихи». Десять лет они с женой будут жить на редкие литературные заработки, потом им удастся устроиться в дом для престарелых в Йере, на юге Франции, где 26 августа 1958 года Иванов и найдет «вечный покой».

В отклике на смерть Бунина Георгий Иванов писал: «Прекратив изгнанническую жизнь писателя, смерть уничтожила и самый факт изгнания. Вырвав Бунина из нашей среды, она вернула его в вечную, непреходящую Россию»³. Возможно, эта «вечная Россия» и ощущалась Ивано-

¹ Современные записки. 1928. №37. С. 528.

² Бицилли П. Георгий Иванов. «Отплытие на остров Цитеру. Избранные стихи» // Современные записки (Париж). 1937. №64. С. 458.

³ Иванов Г. Собр. соч. Т. 3. С. 611.

вым уже в его «декадентские» годы — как предчувствие. Но проявилась она остро в эмиграции. После Второй мировой войны ее образ — явно или тайно — присутствует во всем, что он пишет.

Во втором, послевоенном издании «Петербургских зим» (1952) появляются две новые главы. Одна — о Блоке и Гумилеве. Ее он не мог не написать. Именно гибель обоих — в августе 1921-го — стала символом конца прежней России.

И все же завершает книгу не эта «последняя черта», а глава о Есенине.

«Петербургские зимы» не цикл очерков, это книга цельная. Не случайно из газетных публикаций в нее попала меньшая часть. Почему же Георгий Иванов, петербуржец до мозга костей, завершил ее повествованием о «непетербуржце» Есенине?

Сначала была статья «Литература и жизнь»¹, противопоставившая судьбу двух поэтов: плакатный образ Маяковского, похожий на неандертальца, и Есенин, стихами которого дышат и красные, и белые, — и советские, и эмигранты. Потом — предисловие к «Избранному» Есенина — переработанная половина ранее написанной статьи «Литература и жизнь». И наконец, следующая переработка — заключительная глава «Петербургских зим».

Иванов не всегда столь высоко ценил Есенина. Как однажды признался он филологу Владимиру Маркову, мог написать и «наоборот». Но мысль, завершающая книгу, была важнее имен: «Из могилы Есенин делает то, что не удалось за тридцать лет никому из живых: объединяет русских людей звуком русской песни, где сознание *общей вины и общего братства сливается в общую надежду на освобождение...*» Почти то же самое Иванов скажет в письме Роману Гулю о другом поэте: «Если когда-нибудь возможен для русских людей «гражданский мир», взаимное «пожатие руки» — нравится это кому или не нравится, — пойдет это, мне кажется, приблизительно по цветаевской линии»².

Иванов отсылал не к именам. Ему важно было культурное пространство. Не Петербург, но — провинция. Не Петербург, но — Москва. Будущее для России — возможно. Но раз будущее русской поэзии есенинское или цветаевское, значит, *тем более* прежней «петербургской» России уже не будет.

Особый блеск и величие блистательной российской столицы стали ощутимы именно в тот момент, когда ее история уже клонилась к упадку.

¹ Иванов Г. Литература и жизнь (Маяковский, Есенин) // Возрождение (Париж). 1950. № 8.

² Переписка через океан Георгия Иванова и Романа Гуля // Новый журнал. 1980. № 140. С. 186.

Об этом Иванов скажет в последней своей прозе с почти символическим названием — «Закат над Петербургом». Те закаты, которые жадно ловили в начале века младосимволисты, Андрей Белый и Александр Блок, чувствуя в них весть о скором религиозном преображении мира, оказались предвестием иных «преображений». История Санкт-Петербурга — это история Российской империи. История рождения и гибели того мира, который когда-то Поль Валери назвал одним из трех чудес света, поставив Россию века XIX рядом с Элладой и итальянским Возрождением.

Некоторые строки этого очерка Иванова почти дословно повторяют начало «Петербургских зим». Здесь тоже возникает образ тумана, «души» блистательной столицы. Но преобразается это эхо ранее написанных воспоминаний в совершенную словесную магию:

«Там, в этом призрачном сумраке, с Акакия Акакиевича снимают шнель, Раскольников идет убивать старуху, Лиза бросается в ледяную воду Лебязьей канавки. Иннокентий Анненский в накрахмаленном пластроне и бобрах падает с тупой болью в сердце на ступени Царскосельского вокзала в

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты,

которые он так «мучительно» любил».

И пусть Лиза из оперы Чайковского бросается не в Лебязью, а в Зимнюю канавку, для воссозданного портрета города это уже не важно. В давнем образе петербургского тумана обретается новая насыщенность. Несколькими мазками воссоздается Петербург русской мифологии. И — его гибель. Архитектурную, когда новые постройки стали лепиться как попало — «вперемежку, вкось и вкривь, как чемоданы на вокзальном перроне», и — собственно историческую, когда за бомбометателями пришли их роковые наследники.

Магия слова, увязавшая неисчислимое множество образов и стихотворных цитат, до боли узнаваемых и менее известных, в единое целое. Случайно ли эти полтора десятка страниц пестрят историческими именами и реалиями? Случайно ли и поздние стихи Иванова полнятся образами прошлого — Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Тургенев, Достоевский. Их имена, их фразы становятся знаками великого русского мифа. И рядом — Блок, Анненский, Ахматова, Мандельштам... Они уже вписаны в то же пространство «третьего чуда света». Одно из последних стихотворений Иванова — о том же:

Ликование вечной, блаженной весны,
Упоительные соловьиные трели

И магический блеск средиземной луны
Головокружительно мне надоели.

Даже больше того. И совсем я не здесь,
Не на юге, а в северной царской столице.
Там остался я жить. Настоящий. Я — весь.
Эмигрантская быль мне всего только снится —
И Берлин, и Париж, и постылая Ницца.

...Зимний день. Петербург. С Гумилевым вдвоем,
Вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты,
Мы спокойно, классически просто идем,
Как попарно когда-то ходили поэты.

Не случаен *такой* «завершающий» аккорд в поэзии Иванова, где он буквально *вычеркивает* себя из современности, чтобы слиться со своим прошлым и с «вечной Россией». В одной строфе запечатлен великий миф, отсылающий не только к Гумилеву, но и к «сияющему» блеску Петербурга, к тем пушкинским временам, когда «попарно ходили поэты».

«Ослепительный прожектор истории...» На современность Иванов научился глядеть так же, как на далекое прошлое. Когда историей становится день сегодняшний, то день вчерашний превращается в легенду, а позавчерашний обретает черты мифа.

Да, он — поэт — уже мог творить русскую мифологию из всего — из истории, из цитат, из воспоминаний. И личная жизнь, как и жизнь современников, становилась мифологией «столицы столиц», великой империи, «непреходящей России». Современники могли упрекать его в неточностях, сердиться на фактические вольности, даже приходить в ярость. Но миф не совпадает ни с биографией, ни с историей. И можно ли упрекать автора за неточности, если его современники живут рядом с мифом, который включил в себя и Петра, и Пушкина, и «золотую осень крепостного права»¹, и всю неповторимую историю и культуру Российской империи? Который начался с рождением блистательной столицы «на берегу пустынных волн»... И в тот момент, когда волны истории скрыли имперскую столицу в пучине исторических катастроф, этот миф запечатлелся в вечности.

Сергей Федякин

¹ Из стихотворения «А еще недавно было все, что надо...».

ИЗВЕЩАНИЕ

№ 100/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне, настоящим сообщается, что в процессе проведения работ по выявлению и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в области безопасности жизнедеятельности населения, в частности, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях, были выявлены следующие факты:

1. В ходе проведения работ по выявлению и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в области безопасности жизнедеятельности населения, в частности, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях, были выявлены следующие факты:

2. В ходе проведения работ по выявлению и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в области безопасности жизнедеятельности населения, в частности, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях, были выявлены следующие факты:

3. В ходе проведения работ по выявлению и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в области безопасности жизнедеятельности населения, в частности, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях, были выявлены следующие факты:

4. В ходе проведения работ по выявлению и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в области безопасности жизнедеятельности населения, в частности, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях, были выявлены следующие факты:

Говорят, тонущий в последнюю минуту забывает страх, перестает задыхаться. Ему вдруг становится легко, свободно, блаженно. И, теряя сознание, он идет на дно улыбаясь.

К 1920 году Петербург тонул уже почти блаженно.

Голода боялись, пока он не установился «всерьез и надолго». Тогда его перестали замечать. Перестали замечать и расстрелы.

— Ну как вы дошли вчера, после балета?..

— Ничего, спасибо. Шубы не сняли. Пришлось, впрочем, замерзнуть с полчаса на дворе. Был обыск в восьмом номере. Пока не кончили — не пускали на лестницу.

— Взяли кого-нибудь?

— Молодого Перфильева и еще студента какого-то, у них ночевал.

— Расстреляют, должно быть?

— Должно быть...

— А Спесивцева была восхитительна...

— Да, но до Карсавиной ей далеко.

— Ну, Петр Петрович, заходите к нам...

Два обывателя встретились, заговорили о житейских мелочах и разошлись. Балет... шуба... молодого Перфильева и еще студента... А у нас, в кооперативе, выдавали сегодня селедку... Расстреляют, должно быть...

Два гражданина Северной Коммуны мирно беседуют об обычном.

Гражданина окликает гражданин:

Что сегодня, гражданин, на обед?

Прикреплялись, гражданин, или нет?..

И не по бессердечию беседуют так спокойно, а по привычке. Да и шансы равны — сегодня студента, завтра вас.

Я сегодня, гражданин, плохо спал —
Душу я на керосин променял.

Об этом беспокоились еще: как бы не променять душу «на керосин» без остатка. И — кто устраивал заговоры, кто молился, кто шел через весь город, расплзающийся в оттепели или обледенелый, чтобы увидеть, как под нежный гром музыки, в лунном сиянии, на фоне шелестящих, пышных бумажных роз — выпорхнет Жизель, вечная любовь, ангел во плоти...

Поглядеть, вздохнуть, потом обратно ночью через весь город.

Над кострами искры золотятся,
Над Невой полыньи дымятся,
И шальная пуля над Невой
Ищет сердце бедное твое...

Ну, может быть, сегодня еще до моего не доберется. Чего там!

* * *

Петербургская сторона — Плуталова улица. Место глухое, настолько глухое, что даже милиция сюда не заглядывает. Иначе не обнаглел бы какой-то проживающий здесь спекулянт до того, чтобы прибить у дверей вывеску о своей торговле. На вывеске стоит черным по белому: «Здесь продаецца собачье мясо».

На Плуталовой живет В., занимает комнату с кухней в грязном шестизэтажном доме.

В. — бывший писатель. Что-то печатал лет пятнадцать тому назад, чем-то даже «прошумел». Теперь пишет «для себя», т.е. ничего не пишет, делает только вид.

В минуты откровенности — признается: «Плюнул на литературу: жить красиво — вот главное».

Он странный человек. Писанье его бесталанное, но в нем самом «что-то есть». Огромный рост, нестриженная черная борода, разбойничьи глаза навывкате — и медовый монашеский говор. Он то сидит неделями в своей «квартире», обставленной разной рухлядью, считаемой им за старину, с утра до вечера роясь в книгах, то пропадает на месяцы неизвестно куда.

— Где это вы были, В.?

Улыбочка. — Да вот, на Афон съездил...

— Зачем же вам было на Афон?

Та же улыбочка. — Так-с, надобность вышла. Ничего, славно съездил. Только, досадно, в дороге кулек у меня украли с драгоценными вещами: бутылкой зубровки старорежимной — вот бы вас угостил — и частицами святых мошей...

Через полгода — опять. — Где пропадали? — Да на Кавказе пришлось побывать, в монастыре одном...

Вот к этому эстету из семинаристов, с наружностью оперного разбойника, я решил пойти переночевать.

Дело было такое: я засиделся у знакомых на Петербургской стороне (а жил в самом конце Бассейной). Когда собрался уходить — оказывается, без четверти одиннадцать и, если идти домой, обязательно попаду на обход и в участок, так как не только ночного пропуска, но и обыкновенной трудкнижки у меня нет. Ночевка в милиции — вещь неприятная, да и вопрос еще, как обернется наутро: могут отпустить, могут и отправить в Чека. Воскликнуть, как Мандельштам (кстати, смертельно милиции боявшийся):

Мне ночного пропуска не надо,
Часовых я не боюсь, —

было бы неблагоприятно. У знакомых, где я засиделся, ночевать было негде. Я и вспомнил о В., жившем неподалеку.

Тяжелого висячего замка на входной двери не было — значит, дома. Но на стук мой никто не ответил. Неужели ушел? Я постучал сильнее. Шаги и голос В.:

— Что ломишься в такую рань? Проваливай. До двенадцати все равно не пущу.

Решив, что вряд ли это ко мне относится, я постучал еще и назвал себя.

В. сейчас же открыл. — Голубчик! Какими судьбами? Желаете согреться? — Он пододвинул мне рюмку.

Сам В. уже, по-видимому, «согрелся» на сон грядущий. Ворот косоворотки расстегнут, лицо красное, в глазах маслянистый блеск. Впрочем, это было обычное его состояние — ни пьян, ни трезв. Вечное «навеселе».

Узнав о моем намерении переночевать, В. как-то засуетился.

— Да если вам неудобно, вы скажите, я уйду.

— Что вы, что вы, дорогой. Очень удобно, очень приятно. Только... — Он опять забегал глазами... — Вам-то будет ли удобно?

— Обо мне не беспокойтесь.

— Конечно, конечно... Но будет ли вам?... Крепко ли вы спите?

— Очень. К тому же чрезвычайно устал — целый день на ногах, прямо валюсь...

— Вот, вот... — В., по-видимому, обрадовался. — А то ко мне придет тут... Один книжник... Сосед... Книжки кой-какие разобрать... Так я боялся, не помешаем ли мы вам.

Я успокоил В., что никто и ничем мне не мешает. Несмотря на мои отказы, он уложил меня на свою кровать, за рваный штофный полог.

— Ничего, ничего — тут и вам будет удобнее, и мне спокойнее. А я на диванчике пересплю — прекрасный у меня диванчик.

Кровать была широкая и мягкая... В. в другом углу комнаты шуршал книгами, позванивал ложечкой о стакан... Сосед-книжник не приходил...

...Я проснулся. За занавеской шел тихий разговор. Говорил больше чужой голос, вкрадчивый и скрипучий. В. только изредка вставлял что-нибудь.

— От Бога-то вы отвернулись. Отвернулись — ладно, очень хорошо. Но мало от Бога отвернуться, мало, друзья. Надо еще перед *Ним* заслужить. Так, думаете, он вас и примет сразу, так и начнет помогать, едва крест с шеи долой...

— Да как же заслужить? Церкви ему строить? Акафисты петь?

— И церкви, и акафисты, и в сердце своем его одного иметь. Главное — в сердце иметь. Тогда он и поможет.

— Что же тогда будет, когда поможет?

— Все будет, все, слышишь? Булки разные, и ветчина, и шпроты, и белая головка — чего хочешь. И не на деньги, хотя бы по старой цене, а даром — бери что желаешь, ешь что желаешь, пей — все бесплатно на вечные времена, только его в сердце держи...

Я осторожно приподнялся и заглянул в прореху в пологе. В. сидел за круглым столом. Перед ним, спиной ко мне, какая-то фигура в полушубке. На черепе большая плешь, окруженная жидкими светлыми волосами. Поза понурая, шея ушла в плечи...

— ...в сердце держи, да. — Говоривший помолчал минуту. — Ну, так вот, прежде всего, как уговорено, — пять тыщ...

— Уже и пять? Вчера было три!

— Пять тыщ... — повторил старик, — меньше никак не справиться. Потом, вот записочку эту возьми, переписать надо, знаешь. Да не на машинке, от руки. Потрудись во славу его.

В. стал, вздохнув, отсчитывать деньги. Старичок, аккуратно пересчитав, спрятал.

— Ну, мне пора. Покойнички-то мои, верно, беспокоятся — две ночи пропадают. Всё дела, дела...

— И не страшно тебе на кладбище?

— Чего же страшно? Напротив — компания приятная.

— И не гадко?

— Что же такое — гадко? Конечно, если кто еще червивый и лезет к тебе... А которые долго лежат, подсохли... Что же в нем гадкого? Из баб такие попадаются экземплярчики...

— Молчи уж. Спать потом не буду, как понарасскажешь...

Старичок захихикал.

— Какой слабонервный! А еще министром у нас хочешь быть. Хватит с тебя и сенатора, когда придет наше время, хе-хе... Ну, ничего, главное — помни — его в сердце держи...

— Г.В., вы спите? — окликнул меня хозяин, проводив гостя.

Я не отозвался.

— Спит, — пробормотал В. Он еще долго возился, что-то отпирал и запирали, звенел ключами, шуршал бумагами, вздыхал. Наконец улегся, потушил свет и начал посапывать. Под его посапыванье — заснул и я.

Утром, когда я уходил, В. еще спал тяжелым и крепким сном пьяницы.

* * *

«Перепишите и разошлите эту молитву девяти вашим знакомым. Если не исполните — вас постигнет большое несчастье...»

Дальше шла молитва: «Утренняя Звезда, источник милости, силы, ветра, огня, размножения, надежды...»

— Странная молитва. Ведь Утренняя Звезда — звезда Люцифера.

— Странная! Не это ли велел В. переписывать его старичок, чертопоклонник, помнишь, я тебе рассказывал?

Разговор шел полгода спустя в квартире Гумилева, на Преображенской. Сидя у маленькой круглой печки, Гумилев помешивал уголья игрушечной саблей своего сына.

— Странная молитва! Возможно, что именно В. ее прислал, раз он, как ты говоришь, возится с чертовщиной. Но глупо, зная меня, посылать мне такие вещи. Какой бы я был православный, если бы стал это переписывать и распространять?

— Глупо вообще рассылать. Кто же станет переписывать?..

— Ну, положим, станут. Во-первых, большинство и не разберет, в чем дело, подумают, просто какой-то акафист. А кто и разбе-

рет, все-таки перепишет, пожалуй, если суеверный человек. А ведь большинство скорее суеверные, чем верующие.

— То есть из боязни, что с ними случится несчастье, переписут?

— Конечно.

— Какая чушь!

Гумилев постучал папиросой по своему черепаховому портсигару.

— Не такая чушь, как ты думаешь. Эти угрозы, поверь, не пустые слова.

— Тогда тебя должно теперь постигнуть несчастье?

— Должно. Несчастье будет на меня за это направлено, я не сомневаюсь. Не улыбайся, я говорю совершенно серьезно. Кто-то сознательно послал мне вызов. Я сознательно, как христианин, его принимаю. Я не знаю, откуда произойдет нападение, каким оружием воспользуется противник, — но уверен в одном: мое оружие — крест и молитва — сильнее. Поэтому я спокоен.

— Удивительно. То В. и его старикашка, теперь эта молитва, твой разговор. Какой-то пятнадцатый век! Никогда не думал, что существует что-нибудь подобное.

— А вот, представь, существует. Можно прожить всю жизнь, ничего об этом не зная, — и это самое лучшее. Но легко случайно, как ты с ночевкой у В., коснуться чего-то, какой-то паутины, протянутой по всему свету, — и ты уже не свободен, попался, надо тебе сделать какое-то усилие, чтобы выпутаться. Не сделаешь — можешь пропасть. И, заметь, — до вечера, проведенного у В., жил ты и никогда ни с чем таким не сталкивался. А столкнулся раз, сейчас же тебе попадается и этот акафист, и наш разговор, и будет непременно еще попадаться. Кто-то *там* тобой уже интересуется. Может быть, мне и прислали этот листок только для того, чтобы ты его прочел. Или, наоборот, — охота идет за мной, а ты ни при чем...

— Ты меня пугаешь, — рассмеялся я.

— Не пугайся, дорогой, — пугаться никогда не следует. Но и шутить с этими вещами не следует тоже. Но бросим этот разговор — хватит. Пойдем прогуляемся...

* * *

Падает редкий, крупный снег. Вдоль тротуара бурые сугробы, под ногами грязь...

...Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...

Впрочем, это уже не зима — середина марта. Еще мерзнут без перчаток руки, но дышать уже легко — весна.

Над голыми ветками «Прудков» грузно пролетает ворона. Мальчишки на углу Греческого торгуют папиросами.

— Почем десяток? — Триста. — Хватил!

— Пожалуйте, гражданин, у меня двести. — У него липа, берите у меня — двести пятьдесят...

...Вонь серной спички, зеленоватый дымок папиросы. И у папиросы, закуренной в этом теплеющем воздухе, — уже особый, «весенний» вкус.

— Куда же мы пойдем?

Гумилев стряхивает снег со своей обмерзшей дохи и поправляет чухонскую шапку с наушниками.

— Ты не торопишься? Прогуляемся тогда до Лавры. Мне надо там к сапожнику.

— С удовольствием. Но что за идея подбивать подметки у Лавры, когда сапожник есть на твоей лестнице?

— Ну, мой у Лавры не простой сапожник. Я поэтому к нему и хожу. Умнейший старик. Начетчик — священное писание знает как архиерей, о Пушкине рассуждает. Я Лернера к нему свести собираюсь — пусть потолкуют.

— Какой-нибудь скрывающийся генерал или профессор?

— Ах, нет — мужик с Волги, в тридцать лет писать научился. Но умнейший человек и презабавный. Вроде Клюева, только поострей. Да ты сам увидишь.

Мы прошли Старый Невский и, обогнув Лавру, свернули в какой-то проулок. Деревянный забор, двор, засыпанный снегом, потом сени, лесенка, наконец узкая дверь с молотком-колотушкой. Открыла босоногая девчонка. — «К Илье Назарычу? Дома».

...Проворно работая шилом при свете коптилки, старик в грязной блузе, поблескивая из-под железных очков колкими глазками, говорил:

— Вы, Николай Степаныч, извиняюсь, ошибаетесь. Пушкин, Александр Сергеевич, России не любил. До России ему дела никакого не было. Душой он немец, вот что. А любил он, ежели желаете знать, жену да Петра.

— Какого Петра?

— Петра Первого, Великого, как его зовут. А почему велик — все потому же, немец был, не русский.

— Вы, Илья Назарыч, заговариваетесь что-то. Пушкин немец, Петр Великий немец. Кто же русские?

— Русские? — Старик пристукнул пузырь на распластавшейся подметке. — Хе-хе... Кто русские...

(Где я слышал этот хрипловатый голос и это хихиканье? Ведь слышал же?)

— Русские? Как бы вам сказать... Ну, для примера, вот вам наш Санкт-Петербург — град Святого Петра, хе-хе... Кто его строил? Петр, скажете? Так ведь не Петр же в болоте по горло стоял и свай забивал? А Петра косточки в соборе на золоте лежат. А вот те, чьи косточки, тысячи и тысячи, вот тут, — он топнул ногой, — под нами гниют, чьи душеньки неотпетые, ни Богу, ни черту не нужные, по Санкт-Петербургу этому, по ночам, по сей день маются и Петра вашего, и нас всех заодно проклинаят, — это русские косточки, русские души...

Он опять согнулся над сапогом.

— Трудно на вас работать, господин Гумилев. Селезнем ходите, рант сбиваете. Никак подметку не приладишь.

— Это у меня походка кавалерийская.

— Может, и кавалерийская, только, извиняюсь, косолапая...

— Все-таки, Илья Назарыч, почему же Пушкин немец?..

Старичок опять захихикал.

— А вот я вам стишком отвечу:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой стройный, строгий вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.

— Ну как, по-вашему? Люблю! Что же он любит? Петра творенье. Русскому ненавидеть впору, а он — люблю. Немец! Державу любит! Теченье! Гранит — нашими спинами тасканный, на наших костях утрамбованный!.. Ну?..

— Я тоже люблю, однако русский.

— Ну, это потом разберут, русский вы или нет... Готовы ваши сапожки. Деньгами платить будете или потом мукой рассчитаетесь? Мукой? Ладно. Сейчас вам их заверну.

Шаркая, сапожник вышел.

— Забавный старик.

— Очень. Немного тронувшись, кажется.

— Пожалуй. Но умница. Слышал, как рассуждает? Его бы в Религиозно-философское общество, а не сапоги чинить... И в ком-

нате у него как мило. Смотри: чистота, книжки разложены. Что это он пишет, давай посмотрим?

Гумилев отвернул обложку копеечной тетрадки. На первой странице было старательно выведено:

«Утренняя Звезда, источник милости, силы, ветра...»

— Вот ваши сапожки...

Гумилев обернулся с тетрадкой в руках:

— Что это такое, Илья Назарович?

Старик поглядел из-под очков, пожал плечами.

— Такое, что по чужим комодам шарить не полагается.

— Вы, значит, мне это прислали?

— Выходит, что я-с.

— Зачем?

— Там было указано зачем — переписать и разослать.

— Да вы сами понимаете, к кому эта молитва?

Сапожник насупил.

— Нет у меня времени, граждане, к сожалению, времени не имею. Вот ваши сапожки. Дозвольте деньги за работу — ждате муки мне несподручно. И, если по сапожной части, ищите, господин, другого мастера. Я в деревню уезжаю...

...Где я слышал этот голос? А! — вот что...

— Уезжаете? Покойнички беспокоятся? — сказал я тихо.

Старик посмотрел на меня насмешливо.

— Чего им беспокоиться, молодой человек? Им в земле покойно. Это скорее живым следует. Мое нижайшее, граждане.

* * *

Через год, под грохот кронштадтских пушек, я шел по Каменноостровскому. Меня окликнули — В., какой-то облезлый, похуевший.

— Что с вами?

— На Шпалерной сидел. Попал в засаду.

— Где же?

— Так, из-за спирта. Сапожник один спирт мне доставал. Зашел к нему — ну, а там засада. Три месяца продержали...

— Сапожник? Это не в Лавре, не Илья Назарыч?

— Вот как! Значит, спите вы не так уж крепко. Верно. Илья Назарыч. Но откуда же вы имя и адрес знаете?

— Не только адрес, но и был у него и не прочь бы еще зайти, потолковать. Может, пойдём вместе?

В. криво улыбнулся.

— Трудновато это: в декабре еще расстреляли. За спирт. А жаль — славный спирт продавал, эстонский, и брал недорого.

II

Летом 1910 года, на каникулах, я прочел в «Книжной летописи» Вольфа объявление о новой книге. Называлась она «Студия Импрессионистов».

Стоила два рубля.

Страниц в ней было что-то много, и содержание их было заманчивое: монодрама Евреинова, стихи Хлебникова, что-то Давида Бурлюка, что-то Бурлюка Владимира, нечто ассирийское какой-то дамы с ее же рисунками в семь красок.

Я эту «Студию» выписал. Потом, у Вольфа, мне рассказывали, что я был одним из трех покупателей.

Выписал я, выписала какая-то барышня из Херсона и некто Петухов из Семипалатинска. Ни в Петербурге, ни в Москве — не продали ни одного экземпляра. Только мы трое не пожалели кровных двух рублей, не считая пересылки, за удовольствие прочесть братьев Бурлюков с ассирийскими иллюстрациями в семь красок.

Только мы: я, барышня из Херсона и Петухов. Трое из ста шестидесяти миллионов.

О, Русь! О, rus!

Но это потом мне объяснили у Вольфа. Тогда же, выписывая, я испытал даже некоторое беспокойство: получу ли, не распродана ли?

«Студия Импрессионистов» внешнею не разочаровала. Формат большой, длинный, обложка буро-лиловая, с изображением чего-то непонятного: может быть женщина, может быть дом. Ассирийские рисунки тоже были недурны, хотя семь красок оказались преувеличением. Красок было две, все тех же — бурая и лиловая. Содержание же, «сплошное дерзанье», — просто меня потрясло. С завистью я перечитывал стихи про оленя, затравленного охотниками:

И вдруг у него показалась грива
И острый львиный коготь,
И беззаботно и игриво
Он показал искусство трогать.

Или знаменитых впоследствии «Смехачей» — «о, рассмейтесь, смехачи, смеюнчики, смеюнчики...»

Не то чтобы мне очень нравилось: Бальмонт и Брюсов были мне гораздо больше по душе. Но как не позавидовать смелости и новизне?

Что все это крайне ново, смело и прекрасно, не оставалось сомнений после вступительной статьи редактора студии К<ульбина>, очень истово это объяснявшего.

Я перечел эту статью с почтением.

Потом с завистью монодраму — переворот в драматическом искусстве — как она тут же рекомендовалась.

Потом «Смеюнчиков».

Потом снова монодраму..

Естественно, что «еще потом», через недели две, я отправил на почту заказной пакет с десятком буро-лиловых стихотворений, без определенного размера, и с сопроводительным письмом на имя редактора К<ульбина>.

Отправив, стал ждать ответа. Некоторый опыт мне подсказывал, что ответ придет не скоро и вряд ли обрадует. Но, против обыкновения, ответ пришел сейчас же. И какой ответ!

На листе шершавой бумаги, тоже лиловато-бурой, — стояло:

«Дорогой друг. Присланное — шедевр. Пойдет в ближайшей книге. Приветствую и обнимаю...»

Да, это была не «Нива», после двух месяцев «сомнений и надежд» возвращавшая рукописи с неизменной отвратительной припиской: «М<илостивый> Г<осударь>. К сожалению...»

* * *

Каникулы кончились — я вернулся в Петербург. К<ульбин>, издатель «Студии», приглашал меня, сейчас же по приезде, к нему зайти. Конечно, мне очень хотелось это сделать. Знакомство с влиятельным издателем передового альманаха, встреча с такими людьми, как Бурлюки или Борисьяк, литературная жизнь, новаторство... Казалось, чего бы лучше? К сожалению, здесь было маленькое «но», сильно меня смущавшее...

«Но» — было в следующем. Как я пойду знакомиться со своими «импрессионистами»? Ведь тогда обнаружится мой позор: шестнадцать лет и кадетский мундир с золотым галуном на красном воротнике. Лета еще ничего, лета можно и прибавить... Но мундир...

К<ульбин> рисовался мне господином вдохновенного вида, длинноволосым, бледным, задумчивым. Вот я написал ему, что

приду, он меня ждет. Вот я поднимаюсь на шестой этаж, в его поэтическую мансарду, увешанную бурными картинами и заваленную лиловыми рукописями. Звоню. Он смотрит на меня с недоумением. — «Вы, верно, ошиблись, молодой человек, это в третьем этаже, у полковника сын кадет...»

Но, предположим, — все обойдется. Он же писал, что стихи мои — шедевр, а ведь суть в стихах, а не в возрасте или в мундире. Все равно, выйдем мы, например, на улицу. Он говорит — посмотрите, дорогой друг, солнце сегодня совершенно фиолетовое... А в это время навстречу генерал. И вместо того, чтобы согласиться — да, вы правы, как фиалка, или со вкусом возразить: «Фиолетовое? Я бы сказал, зеленоватое...» — надо вытягиваться во фронт (три строевых шага, поворот на каблуках — ать-два). Он предложит — зайдем в ресторан, поболтать за бутылкой вина. — Извините, мне можно только в кондитерскую. — Да и в кондитерской беги сейчас же к офицеру. — Господин поручик, разрешите сесть...

После долгого раздумья я решил выждать, когда уедет в деревню старший брат, и отправиться к К<ульбину> в его штатском костюме. Я уже примерял тайком этот костюм: немного мешковат, и брюки плохо подворачивать — но, в общем, прилично. Пока же я отослал К<ульбину> тетрадь новых стихов, с припиской, что болен и зайду, когда поправлюсь...

...Был понедельник, но я сидел дома, «отдуваясь», как говорилось в корпусе, от какой-то «письменной». Было часа два дня. Я с грустью поглядел в окно — в учебные часы благоразумнее не выходить. Вот идет, например, генерал. — Кадет, почему вы не в корпусе? Ваш билет. — Неприятностей не оберешься.

...Генерал за окном перешел улицу, осмотрелся и завернул за угол — как раз к нашему подъезду. Это был сухонький, строгого вида старичок, военный доктор, в очках и с малиновыми отворотами шинели. Я отошел от окна и сел за неоконченные стихи. Но рифма что-то не подбиралась...

Вдруг брат, тот самый, на костюме которого я рассчитывал, вбежал в мою комнату с взволнованным видом. — Вот — достучался — пришел доктор из корпуса — проверять, болен ли ты...

С понятным смущением я вошел в гостиную. В гостиной сидел тот самый сухонький генерал, который переходил улицу.

— Зашел познакомиться, — сказал он, протягивая мне обе руки. — Я — К<ульбин>, редактор «Студии Импрессионистов»...

...Ярко начищенная медная доска. Доктор медицины К<ульбин>, часы приема. А повыше, на красном сукне двери, кнопками приколот клочок оранжевого картона:

КЛУБ РАВНОДЕЙСТВУЮЩИХ.
АСОЦ-ХУД-ПОЭТ-ФУТ-КУБ,
ИМПРЕССИОНИСТОВ.

Квартира большая, солидная. Приемная с тяжелой мебелью — чехлы, люстры, канделябры, бронзовый медведь с блюдом пыльных визитных карточек.

На столе — старая «Нива», на стенах — пожелтевшие группы: «Военно-медицинская академия 1879 г.», «Ярославль 1891 г.». Все как полагается.

Но вперемежку с номерами «Нивы» и проспектом Эссентуков — «Помада» Крученыха, обклеенная золотой бумагой, как елочная хлопושка, альманах «Засахаре кры» и обличительный увраж «Тайные пороки академиков». И на стенах, вперемежку с группами, — картины.

Картины, мало подходящие для докторской приемной: малиновые, бурые, зеленые, лиловые. Там серый конус на оранжевом фоне, здесь желтый куб на бледно-синем, между ними что-то пестрое, всех цветов, и по пестроте — надпись «Астрахан... сельд...».

Это все работы самого К<ульбина>. Подарки друзей и единомышленников по «асоц-худ-фут-кубу» — украшают кабинет.

В кабинете, у большого письменного стола, в мягком свете лампы — две фигуры. Дымя душистой папироской, заложив руки в карманы мягкой серой тужурки, поблескивая золотыми очками, — доктор беседует с пациентом.

Сразу видно, что сидящий напротив — пациент. И вряд ли не душевнобольной.

У него вид желтый и истощенный, взгляд дикий, волосы всклокочены. Говорит он заикаясь, дергаясь при каждом слове, голова трясется на худой, длинной шее. Он берет папиросу и не сразу может закурить — так дрожат руки. Закурил и сейчас же бросает, хватая новую папиросу, чтобы опять бросить...

Иногда он что-то порывисто шепчет. Доктор, поблескивая очками, кивает седой головой и делает карандашом какие-то пометки. Отмечает ход болезни. Пишет рецепт.

Но прислушайтесь к их разговору.

— Отлично, — говорит доктор. — Форма бытия треугольник. Следовательно, душа треугольна.

— Дддаа, — дергается «пациент». — Ттттреугольна иии ппппрямоугольна.

— Хорошо, — кивает доктор. — Значит, запишем: Душа — мысль — треугольник. Смерть — чрево — круг..

— Ннет, — волнуется «пациент». — Ннет.. Пишите: ччрево — древо.

— Но, дорогой мой, вы увлекаетесь. Почему же древо? Ведь наша задача формулировать как можно точнее...

— Ддрево, — настаивает «пациент». — Ддрево. — Голова его начинает трястись сильнее. — Ддрево-ччрево...

— Ну, хорошо, хорошо — не волнуйтесь, милый. Древо так древо. Идем дальше. Жизнь. Смерть. Что потом? Искусство?..

— Искусство — укус-то! — просяив, вставляет «пациент».

Доктор тоже сияет. Находчиво. Поразительно. Глубоко. Укус-то. Bravo-bravo... Но — это не формула. Давайте искать формулу. Что вы скажете о слове «сосуд»?

Это основополагатель русского футуризма К<ульбин> и «гениальнейший поэт мира» «Велимир» Хлебников составляют тезисы философского обоснования нового направления. Но каждую минуту картина может измениться: с Хлебниковым сделается страшный припадок падучей, и его собеседнику придется вспомнить о другом искусстве — врача.

* * *

Эта солидная квартира, эти группы по стенам, эти генеральские погоны, золотые очки, неторопливые манеры сидящего профессора — все это призрачное.

Несколько лет назад в этой квартире жил действительный статский советник К<ульбин>. Принимал пациентов, ездил на лекции, писал научные статьи — делал все, что полагается делать, жил, как полагается жить. В свободное время он немного занимался живописью, бывал на выставках. Но свободного времени было мало: начатые картины по месяцам валялись неоконченными. Вон там, в темном проходе, еще висит одна: «натюрморт» — кувшин, два яблока, рыба. Старательно, аккуратно выписано. Действительный статский советник К<ульбин> подражал фламандцам.

Но в один холодный январский день — К<ульбин> уехал, как обычно, в госпиталь, или в Академию, и больше не вернулся. В его

пинели и очках, с его лицом и походкой, открыв дверь его французским ключом, в эту квартиру вошел другой человек...

Между десятью утра и семью вечера доктор медицины, действительный статский советник К<ульбин> где-то в закоулках засыпанного снегом Петербурга потерял свою прежнюю душу.

Вот рассказ его самого:

— ...Шел через мост — захотелось размять ноги. Думал о делах — пациентах, лекциях... Новые калоши еще, помню, сильно скрипели. Ничуть не был ни взволнован, ни в каком-нибудь особенном настроении. И у самой Троицкой площади — лошадь на боку, и ломовой хлещет ее, чтобы встала, — всё по глазам, по глазам... А она встать не может, только дергается... И в эту минуту вспыхнули фонари по всему Каменноостровскому. Еще не совсем стемнело, и вдруг вспыхивают фонари. Знаете, как это прекрасно...

— Ну?

— Всё. Больше ничего. В эту минуту — перевернулось во мне что-то. Точно я совсем погибал и чудом спасся. Стою, шапку зачем-то снял. Старый дурак, думаю, на что ты убил пятьдесят лет жизни? Городовой ко мне подбежал. «Ваше превосходительство, ваше превосходительство...» Посадил меня на извозчика. С тех пор...

...С тех пор на квартире на Кирпичном всё вверх дном. В 3 часа ночи Крученых по телефону требует денег. В гостиной ночуют бездомные футуристы.

Как я люблю беременных мужчин,
Когда они у памятника Пушкина... —

несется утром из ванной раскатистой бас Давида Бурлюка. Его брат, Владимир, существо субтильное, требует себе утренний завтрак в кровать: ему нездоровится, он полежит немного... И нарядная горничная несет ему на серебряном подносе «кофе» — графин водки и огурец...

Как я люблю беременных мужчин...

Н.И., до зарезу нужно двадцать пять...

Искусство — укус-то...

Асоц-поэт-худ-фут-куб...

Среди этого сумбура К<ульбин> чувствует себя прекрасно. Пятьдесят лет «убито» на спокойную, размеренную жизнь профессора. Кто знает, много ли осталось? Так, по крайней мере, пусть каждая минута из этого остатка не пропадет...

— Старый дурак... Пятьдесят лет жизни... Но ничего, ничего — наверстаем...

К<ульбин>, повторяя эти слова, посмеивается как-то странно. Как-то странно подергивает бородку, поблескивает глазами из-под золотых очков...

— Сколько можно было сделать!.. Сколько пережить... Но ничего, ничего...

Странный смешок, странный взгляд. Что-то томительное есть в них.

И собеседник в генеральской тужурке, с подозрительной чуткостью, живо оборачивается:

— Вы думаете, я сумасшедший?..

* * *

Из моего футуризма ничего не вышло. Вкус к писанию лиловых «шедевров» у меня быстро прошел. Я завел новые литературные знакомства, более «подходящие» для меня, чем общество Крученых и Бурлюков. С К<ульбиным> видался все реже, мельком, случайно. И очень удивился, когда в январе 1913 года получил на знакомой мне буро-зеленой бумаге настойчивое приглашение приехать вечером.

Я поехал. Почему было бы не поехать? Судя по записке, у К<ульбина> должно было состояться какое-то сборище — не то спектакль, не то закрытый доклад. Я был, по-видимому, единственным приглашенным из «правых кругов» — честь, оказанная в знак «старой дружбы». Отклонить эту честь было бы неразумно. Уж если у К<ульбина> да «приватное собрание» — значит, будет на что поглядеть... И еще эта интригующая приписка: «Приглашение предьявить при входе».

Но изящный молодой человек, встретивший меня в прихожей, приглашения не спросил. Он благовоспитаннейше пожал мне руку, представляясь: Бенедикт Лившиц. Имя было по тем временам громкое: конфискованная книга, ряд скандалов на диспутах, драки, стрельба из «пугача» в публику... В соединении с такой репутацией забавны были его светские манеры и изящный фрак. Еще раз учтиво расшаркавшись, он пропустил меня в залу.

...Большая комната была полна народу. Большинства я не знал. Какие-то молодые люди с геометрически разрисованными лицами, какие-то взволнованные девицы... Взлохмаченная поэтическая копна и зализанный пробор, синяя блуза и соболя... Смешанное общество.

На возвышении сидел К<ульбин>. Я не узнал его сразу. Руки скрещены на груди, лицо странно-бледное — густо напудренное. Одет — в широкую кроваво-красную хламиду. На лбу — золотой обруч.

...Военно-медицинская академия... Николаевский госпиталь... Вытянувшийся в струнку ординатор: Ваше Превосходительство, честь имею...

...К. сидел на своем золоченом возвышении неподвижно, как идол. Перед ним Крученных, с толстой восковой свечой в руках, бормотал что-то непонятное глухим истерическим шепотом. Потом вдруг взвизгнул, заголосил, закатился. Из первого ряда бросились его поднимать. Но он сейчас же вскочил с лицом перекошенным, восторженным...

— Свершилось, свершилось, — визжал он уже совершенно как кликуша. — Вот... он... приял власть... владыка... футурист... царь революции... — И вся зала визжала, аплодировала, топала. Хлебников бился в припадке. Фальцет Крученных перекрикивал всех: — Приял... владыка... царь...

К<ульбин> сидел все так же неподвижно, скрестив руки, наклоня слегка голову. По его лицу напудренного идола расплывалась тихая бессмысленная улыбка...

...Я разыскал свое пальто в ворохе других — собачьих воротников футуристической братии и чьих-то бобров, лежащих вперемежку. Перчаток не было — бог с ними, с перчатками. Поскорее бы выбраться отсюда...

Солидная, обитая красным сукном дверь мягко за мной хлопнулась. Солидная медная доска мягко блеснула аккуратно выгравированными буквами:

Доктор медицины... Прием... Ухо, горло, нос...

...Старый дурак, на что ты убил пятьдесят лет жизни?..

...Но ничего, ничего — наверстаем...

...Вы думаете — я сумасшедший?..

* * *

Я больше не бывал у К<ульбина> после этого вечера, да и он не приглашал меня. Должно быть, мне не удалось скрыть при встрече с ним, после его «коронации», неловкости, которую я испытал. Изредка я продолжал встречать его то здесь, то там — такого же, как всегда, — солидного, серьезного, поблескивающего очками и погонами. Потом началась война... Потом, в начале лета

1917 года, в ясный, веселый, солнечный день, какой-то знакомый, встретив меня на Невском, сообщил:

— Знаете — К<ульбин> умер.

— От чего?

— От страха.

— Как так?

— Так. Он шел по улице. Навстречу грузовик с солдатами. Видят — генерал. Схватили, повезли в Думу. Там его продержали полчаса и, конечно, выпустили с извинениями. Он приехал домой и слег. Пролежал два дня и отдал Богу душу. И ничего у него не было — и сердце прекрасное. Испугался очень. Несчастный!..

III

Принято думать, что всероссийская слава Игоря Северянина пошла со знаменитой обмолвки Толстого о ничтожестве русской поэзии. Действительно, в подтверждение своего мнения Толстой процитировал северянинское: «Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки». Действительно, благодаря этому имя будущего (увы, недолговечного) кумира эстрады и редакций промелькнуло на страницах газет (до сих пор оно было лишь уделом почтовых ящиков: «к сожалению, не подошло»). Но настоящая слава пришла позже. И пришла она, в сущности, вполне «легально»: Игорем Северяниным заинтересовались Сологуб, позднее Брюсов и «лансировали» его.

Была весна 1911 года. Мне было семнадцать лет. Я напечатал в двух-трех журналах несколько стихотворений, завел уже литературные знакомства с Кузминым, Городецким, Блоком, был полон литературой и стихами.

Имени Северянина я до тех пор не слышал. Но, роюсь однажды на «поэтическом» столике у Вольфа, я раскрыл брошюру страниц в шестнадцать (названия уже не помню), имевшую сложный подзаголовок: такая-то тетрадь, такого-то выпуска, такого-то тома. На задней стороне обложки было перечислено содержание всех томов и тетрадей, приготовленных к печати, — что-то очень много. А также объявлялось, что Игорь Северянин, Подьяческая, дом такой-то, принимает молодых поэтов и поэтесс — по четвергам, издателей — по средам, поклонниц — по вторникам и т.д. Все дни недели были распределены и часы точно указаны, как в лечебнице. Я прочел несколько стихотворений. Они меня «пронзи-

ли». Их безвкусице, конечно, било в глаза, даже такие неискушенные, как мои (только месяц назад мне внушили, что Дм.Цензором не следует восхищаться). Но, повторяю, — они пронзили. Чем, не знаю. Тем же, вероятно, чем через год и, кажется, так же случайно, — Сологуба.

* * *

Меня соблазняло, однако я не сразу решился пойти на прием на Подьяческую улицу. Как держаться, что сказать? Идти в качестве молодого поэта? — в этом было что-то унижительное. Поклонника? — тоже, если даже забыть о своей мужской природе, так как в объявлении значились только поклонницы. Я нашел выход: приняв солидный вид, я отправился к Игорю Северянину в часы, назначенные для издателей. В сущности, я и собирался в ближайшем будущем стать издателем... своей собственной книги (семьдесят пять рублей, выпрошенные у старшей сестры, я хранил в надежном месте).

Еще одно обстоятельство смущало меня, пока я ехал с Каменноостровского на Подьяческую. Несомненно, человек, каждый день принимающий посетителей разных категорий, стихи которого полны омарами, автомобилями и французскими фразами, — человек блестящий и великосветский. Не растеряюсь ли я, когда подъеду на своем ваньке к дворцу на Подьяческой, когда надменный слуга в фиалковой ливрее проведет меня в ослепительный кабинет, когда появится сам Игорь Северянин и заговорит со мной по-французски с потрясающим выговором?..

Но жребий был брошен, извозчик нанят, отступить было поздно...

Игорь Северянин жил в квартире №13. Этот роковой номер был выбран помимо воли ее обитателя. Домовая администрация, по понятным соображениям, занумеровала так самую маленькую, самую сырую, самую грязную квартиру во всем доме. Ход был со двора, кошки шмыгали по обмызанной лестнице. На приколотой кнопками к входной двери визитной карточке было воспроизведено автографом с большим росчерком над ф: Игорь Съверянин. Я позвонил. Мне открыла маленькая старушка с руками в мыльной пене. «Вы к Игорю Васильевичу? Обождите, я сейчас им скажу». Она ушла за занавеску и стала шептаться. Я огляделся. Это была не передняя, а кухня. На плите кипело и чадило. Стол был завален немойтой посудой.

Что-то на меня капнуло: я стал под веревкой с развешанным для просушки бельем...

«Принц фиалок и сирени» встретил меня, прикрывая ладонью шею: он был без воротничка. В маленькой комнате с полкой книг, с жалкой мебелью, какой-то декадентской картинкой на стене — был образцовый порядок. Хозяин был смущен, кажется, не менее меня. Привычки принимать посетителей у него еще не было.

После молчания, довольно долгого, он заговорил что-то о даче и что в городе жарко. Потом уж перешли на стихи. Северянин предложил мне прочесть. Потом стал читать свои. Манера читать у него была та же, что и сами стихи, — и отвратительная, и милая. Он их пел на какой-то опереточный мотив, все на один и тот же. Но к его стихам это подходило. Голос у него был звучный, наружность скорее привлекательная: крупный рост, крупные черты лица, темные вьющиеся волосы. Мы просидели довольно долго, никто нам не мешал, «издателей» больше не приходило. Простились мы почти дружески. Вскоре мы действительно подружись.

Я стал частым гостем на Подьяческой. Совсем новый для меня быт литературной богемы меня привлекал и мне льстил. Я помянул, что имел уже литературные знакомства. Но ходить на чай к Кузмину или вести раз в месяц почтительные разговоры с Блоком было совсем не то, что ежедневно ездить по «Венам», «Черепениковым» и «Давидкам», участвовать в поэзо-вечерах в Лигове или на Выборгской стороне, с красным бантом вместо галстука на шее. Этот бант я завел по внушению Игоря и, не смея, конечно, надевать его дома, перевязывал на Подьяческой. Шумные поэзо-вечера и шумные попойки чередовались с «редакционными» собраниями в квартире Северянина. Поэтов вокруг Игоря группировалось довольно много. Трое удостоились высокой чести быть «директориатом» при нем. Это были — я, Константин Олимпов, сын Фофанова, явно сумасшедший, но не совсем бездарный мальчик лет шестнадцати, и Грааль Арельский, по паспорту Степан Степанович Петров, студент не первой молодости и вполне уравновешенный и вполне бесталаный.

«Директориат» решил действовать, завоевывать славу и делать литературную революцию. Сложившись по полтора рубля, мы выпустили манифест эгофутуризма. Написан он был простым и ясным языком, причем тезисы следовали по пунктам. Помню один: «Призма стиля — реставрация спектра мысли...»

Кстати: этот манифест перепечатали очень многие газеты и в большинстве его комментировали или спорили с ним вполне серьезно!

Однажды на Подьяческую, хотя, кажется, и не в предназначенный для этого час, пришел настоящий издатель. Правда, он пока ничего не издавал, но, прочтя наш манифест, решил предоставить свой кошелек в распоряжение «реставраторов спектра мысли». Кошелек был не очень тугой: нередко, для нужд издательства, золотые часы Ивана Васильевича Игнатьева отправлялись в ломбард. Но все же к нашим услугам теперь была еженедельная газета «Петербургский глашатай»; когда она прекратилась, за полной убыточностью, то альманахи под тем же названием. Стихи назывались поэмами, издания — эдициями, редактор — директором. На летний сезон к услугам эгофутуристов была другая газета — увы! вульгарно называвшаяся — «Нижегородец». Она выходила в Нижнем Новгороде во время ярмарки и была полна ценами, балансами и статьями о сбыте рыбы в Персию. Но какой-то дядюшка Игнатьева, ее издававший, был не чужд возвышенному и печатал без разбора все, что тот присылал. Мы все этим широко пользовались. Я, помню, напечатал там большую статью, доказывавшую, что Метерлинк пошляк и бездарность... Гонорара, понятно, нам не платили.

В маленьком деревянном «собственном доме», на углу Дегтярной и Восьмой Рождественской, в редакции «Петербургского глашатая» происходили время от времени поэзо-праздники, о которых для «эпатирования» особыми извещениями сообщалось редакциям разных газет. Программы эти назывались «вержетками» (верже — сорт бумаги) и были составлены крайне соблазнительно и пышно. Прилагалось и меню ужина, где фигурировали ананасы в шампанском, Крем де Виолетт и филе молодых соловьев. В действительности, конечно, было попроще. Полбутылки Крем де Виолетт'а (фирмы Cusimieg, продавался у Елисеева) украшали стол больше в качестве символа поэзии и изящества. Но водка и удельное вино подавались в таком количестве, что нередко гости впадали в совершенно невменяемое состояние. Иногда случались вещи совсем дикие. Так, однажды некто Петр Ларионов, на сорок пятом году соблазненный футуризмом, занимавший странную должность заведующего царскосельским птичником, ушел от Игнатьева с наполовину выбритой головой (он носил поэтическую шевелюру), с лицом, раскрашенным как у индейца, и с бубновым тузом на спине.

Этот Игнатьев, на вид нормальнейший из людей — круглолицый и краснощекий, типичный купчик средней руки, — очень страшно погиб. На другой день после своей свадьбы, вернувшись с род-

ственных визитов, он среди белого дня набросился на жену с бритвой. Ей удалось вырваться. Тогда он зарезался сам.

* * *

Моя дружба с Игорем Северяниным, и житейская и литературная, продолжалась недолго. Я перешел в «Цех поэтов», завязал связи более «подходящие» и поэтому бесконечно более прочные. Но лично с Северяниным мне было жалко расставаться. Я даже пытался сблизить его с Гумилевым и ввести в «Цех», что, конечно, было нелепостью. Мы расстались (две-три позднейшие встречи в счет не идут), когда Северянин был в зените своей славы. Бюро газетных вырезок присылало ему по пятьдесят вырезок в день, сплошь и рядом целые фельетоны, полные восторгов или ярости (что, в сущности, все равно для «техники славы»). Его книги имели небывалый для стихов тираж, громадный зал городской Думы не вмещал всех желающих попасть на его поэзо-вечера. Неожиданно сбылись все его мечты: тысячи поклонниц, цветы, автомобили, шампанское, триумфальные поездки по России... Это была самая настоящая, несколько актерская, пожалуй, слава. Игорь Северянин не сумел ее удержать, как не сумел удержать и того неподдельного очарования, которое было в его прежних стихах. О теперешних лучше не говорить.

IV

Классическое описание Петербурга почти всегда начинается с тумана.

Туман бывает в разных городах, но петербургский туман — особенный. Для нас, конечно. Иностранец, выйдя на улицу, поёжится: «бр... проклятый климат...»

Ёжимся и мы. Но

...ни на что не променяем пышный,
Гранитный город славы и беды,
Широкие, сияющие льды,
Торжественные черные сады...

И туман, туман — душу этих «льдов и садов»...

«Невы державное течение, береговой ее гранит», — Петр на скале, Невский, сами эти пушкинские ямбы — все это внешность, платье. Туман же — душа.

Там, в этом желтом сумраке, с Акакия Акакиевича снимают шинель, Раскольников идет убивать старуху, Иннокентий Анненский, в бобрах и накрахмаленном пластроне, падает с тупой болью в сердце на грязные ступени царскосельского вокзала, прямо

В желтый пар петербургской зимы,
В желтый снег, облипающий плиты,

которые он так «мучительно» любил.

Впрочем — все это общеизвестно.

* * *

На Невском шум, экипажи, свет дуговых фонарей, фары «вуазенов», «берегись!» лихачей, «соболя на плечах и лицо под вуалью», военные формы, сияющие витрины. Блестящая европейская улица — если не рю Руайяль, то Унтер-ден-Линден. И туман здесь «не тот» — европеизированный, нейтрализованный. Может быть, «тот», настоящий петербургский туман и не существует больше?

Нет, он тут, рядом, в двух шагах. В двух шагах от этого блеска и оживления — пустая улица, тусклые фонари и туман.

В тумане бродят странные люди.

Поверните по Малой Конюшенной за угол. Два-три дома — и вот:

В серый цвет окрашенные стены,
Вывеска зеленая «Портной».

Вывеска, впрочем, не зеленая. Приказом градоначальника на главных улицах столицы в вывесках соблюдается «пристойное однообразие». Должно быть, начитался Курбатова градоначальник.

Вывеска портного — черная, с золотыми буквами. Она импозантна не по чину — портной маленький. Чтобы не отпугивать клиентов, на стеклянной двери — записка, смягчающая торжественный холод вывески: «Переделка, перелицовка, утюжка по дешевой цене». А рядом с запиской подсунута желтоватая визитная карточка:

«Николай Карлович Ц<ыбульский>, свободный художник, не окончивший С.-Петербургской консерватории».

— Николай Карлович дома?

И, не подымая лохматой головы от чего-то бурого и замасленного, перелицовываемого или переделываемого, портной хмуро отвечает:

— Спит.

Спит — значит, дома. Что же можно делать дома, как не спать, после вчерашнего похмелья, набираясь сил для сегодняшнего.

В большой комнате полутемно, шторы опущены. В сумраке виден рояль, люстра в чехле, стол с грудой бумаг. В углу, на кровати, кто-то похрапывает...

— Николай Карлович!

Дремлющий грузно переворачивается, заставляя трещать все пружины матраца.

— Чего надо? К черту! Который час?

— Поздно. — Действительно не рано — пятый час дня. — Вставайте.

Всклокоченная голова тяжело приподымается с подушки. Руки выпрастываются из-под шубы. Голос хриплый, но приятный и барственный, слегка грассируя, говорит:

— Будьте добры, «мон шевалье», если это вас не затруднит, зажечь электричество, чтобы я мог видеть ваши благородные черты.

При свете впечатление от комнаты меняется.

В сумраке она выглядела приличной, даже внушительной. Высокий потолок, раскрытый рояль, «следы труда и вдохновенья»... Но при свете...

Пол в окурках, спичках, бумажках. Груды старых газет, пустых бутылок, коробок от консервов.

На рояле прикапан, прямо к доске, огарок восковой трехкопечной свечки. Другой, догорев, расплылся затейливым сталактитом на выложенной перламутром надписи: «Бехштейн». На стенах подтеками сырости, углем нарисованы рожи: Адам и Ева, срывающие плод (крайне натурально), коты с задранными хвостами, черти. Кровать — хаос пестрого тряпья. На ночном столике — бутылка, с водкой на доньшке.

Хозяин, свободный художник, «не окончивший консерватории», — толстый, опухший, давно небритый. Выражение лица — смесь тошноты после перепоя и иронии. Но в манерах протягивать руку, надевать плохо слушающимся пальцами пенсне, закуривать длинную папиросу — какая-то респектабельность.

— Очень мило, дорогой маркиз, что вы навестили старого пьяницу. Прощу садиться...

* * *

Если в Петербурге особенный туман, то самый «особенный» он вечерами на Васильевском острове...

На пересечении проспектов Большого, Малого и Среднего — пивные. На Василеостровских линиях туман, мгла, тишина. Но с перекрестков бьют снопы электричества, пьяного говора, «Китайночка» из хриплого рупора:

После чая, отдыхая,
Где Амур-река течет,
Я увидел китайянку...

Некоторые пивные замечательные.

Устроили их немцы в 80-х годах с расчетом на солидных и спокойных клиентов — немцев тоже. Солидные мраморные столики, увесистые пивные кружки, фаянсовые подставки под них с надписями вроде:

— Morgenstunde hat Gold im Munde¹.

На стенах кафелями выложены сцены из «Фауста», в стеклянной горке — посуда для торжественных случаев. Она давно под замком, — старых, хороших клиентов давно нет, солидная немецкая речь давно не слышна. Теперь в этих «Эдельвейсах» и «Рейнах» собираются по вечерам отрешенная петербургской богемы.

...Визжит и хрипит разудалая «Китайянка». Зеркальные, исцарапанные надписями стены сияют немывтым блеском, жирная белая пена ползет по толстому стеклу.

— Человек! Еще парочку. Тепленького!

От теплого пива скорее «развозит». Холодное пьют одни «пизоны».

...Китайянка, китайянка,
Китайяночка моя...

К десяти вечера — «Эдельвейс» полон. «Торгуют» официально до двенадцати — засиживаются гости до часу. Потом «Доминик» на Невском, открытый до трех ночи... А в четыре утра, на Сенной, начинают открываться извозчицки чайные — яичница из обрезков и спирт в битом чайнике на коричневой от грязи скатерти. Это называется пить «с пересадками»...

...Китайянка... Китайянка...

¹ Утренние часы — золото в устах (нем.). Т.е.: Кто рано встает, тому Бог подает.

Почти все столики полны. В углу — три стола сдвинуты рядом под пыльной искусственной пальмой. Этот угол — поэтически-литературно-музыкальный. Там председательствует Ц<ыбульский>. И идут бесконечные разговоры.

Вот Ш., поэт, вечный студент — длинный, черный, какой-то обожженный, в долгополом выгоревшем сюртуке. Необыкновенно ученый, полусумасшедший. Для него «путешествие с пересадками» начинается с утра — вместо кофе стакан водки и две кильки. Он уже совсем пьян — и замогильным голосом толкует что-то о Ницше. Г., тоже поэт и тоже пьяный, захлебываясь, его перебивает:

— Романтизм, романтизм... Новалис... Голубой цветок.

Еще какие-то люди. Тоже поэты, или музыканты, или философы, — кто их знает. Шумней всех М. — актер, не спившийся и даже не пьяный — притворяется только. Зачем он притворяется? Всем известно, что от Доминика он уже улизнет — домой, спать. Ведь завтра — репетиция — Боже сохрани пропустить. И пить-то он не любит, и денег жаль — а приходится не только за себя, и за других платить. Зачем же он это делает?

Из чести. Странная, казалось бы, честь. А вот подите же...

М. шумно чокается, нарочно проливая, шумно предлагает бестолковый тост. Он жестикулирует, бьет себя в грудь, плачет... — Выпьем за искусство... Построим лучезарный дворец... Эх, молодость, где ты...

Пьяницы непритворные чокаются и пьют. Они знают, что М. притворяется, что никаких «разбитых надежд» заливать ему нечего, что он просто балагур, пошляк. Но им безразлично — с кем пить, чью болтовню слушать. Все давно безразлично. Все на свете чушь, вздор, галиматья. — Человек! Еще парочку!..

...Китаянка-китаянка... Романтизм... Голубые дали... Так говорил Заратустра...

Голос Ц<ыбульского> — хриплый и барственный — вдруг покрывает все это:

— Если есть бессмертные души... Да... А оно есть... И Бог спросит меня... Там... Что ты, Николай, сделал... Сыграй!.. Я ему сыграю... Да... Я ему сыграю... Чижика. И буду... прав, а?..

— Прав... прав... — кричат пьяные голоса. — Здорово, Ц<ыбульский>... Так и надо. Чижика ему... Выпьем...

М. в восторге лезет целоваться.

Сталкиваясь с разными кругами «богема», делаешь странное открытие.

Талантливых и тонких людей — встречаешь больше всего среди ее подонков.

В чем тут дело? Может быть, в том, что самой природе искусства противна умеренность. «Либо пан, либо пропал». Пропадают неизмеримо чаще. Но между верхами и подонками — есть кровная связь. «Пропал». Но мог стать паном, и, может быть, почище других. Не повезло, что-то помешало — голова «слабая», и воли нет. И произошло обратное «пану» — «пропал». Но шанс был. А средний, «чистенький», «уважаемый» никак, никогда не имел шанса — природа его совсем другая.

В этом сознании связи с миром высшим, через голову мира почтенного, — гордость подонков. Жалкая, конечно, гордость.

Ц<ыбульский> начал блестяще.

— ...Вот был в консерватории мальчик Ц<ыбульский>. Какой был Божий дар, — вспоминал старичок-генерал Кюи. — Если бы остался жив — понятие о музыке перевернул бы. Какой дар, какой размах!

— Да Ц<ыбульский> не умер. Недавно еще какой-то его романс у Юргенсона. Очень талантливый, конечно, хотя...

Кюи качал головой. — Романс? Талантлив? Нет, не тот Ц<ыбульский>, не может быть тот. Тот, если бы жил, — показал бы...

Так как Ц<ыбульский> не умер и не «перевернул понятия о музыке», ему оставалось единственное — спиться.

...Комната у портного на Конюшенной. Два оплывающих огарка. Высокий потолок расплывается в сумраке. Рояль раскрыт.

Облезлых стен, пятен сырости, окурков и пустых бутылок — не видно. Комната кажется пустой и торжественной. Пламя огарков колеблется.

В этом колеблющемся свете не видно и того, что так бросается в глаза в «мертвом, беспощадном свете дня» в лице Ц<ыбульско-го>: опухлость бессонных ночей, давно не бритые щеки, едкая, безнадежная «усмешечка» идущего на дно человека. Оно помолодело, это лицо, и изменилось. Глаза смотрят зорко и пристально в растрепанную нотную рукопись...

Ц<ыбульский> берет два-три аккорда, потом смахивает ноты с пюпитра.

— К черту! Я буду играть так.

«Так» — значит, импровизировать. Разные бывают импровизации, но то, что делает Ц<ыбульский>, — ни на что не похоже.

Сначала — «полосканье зубов» — как он сам называет свою прелюдию. Нечто вроде гамм, разыгрываемых усердной ученицей, только что-то неладное в этих гаммах, какая-то червоточина. Понемногу, незаметно отдельные тона сливаются в невнятный, ровный, однообразный шум. Минута, три, пять — шум нарастает, тяжелеет, превращается в грохот. — Вот так импровизация! — Какой-то стук тысячи деревянных ложек по барабану. Какая же это музыка?..

Тс... Не прерывайте и вслушайтесь. Слышите? Еще нет? А... слышите теперь?

...Среди тысячи деревянных ложек — есть одна серебряная. И ударяет она по тонкому звенящему стеклу...

Слышите?

Ее едва слышно, она скорее чувствуется, чем слышна. Но она есть, и ее тонкий, легкий звон проникает, осмысливает, перерождает этот деревянный гул. И гул уже не деревянный — он глохнет, отступает, слабеет...

Не отрывая пальцев от клавиш, Ц<ыбульский> оборачивается к слушателям. Его лицо покраснелось, глаза шальные. Он перекиривает музыку:

— Людоеды отступают, щелкая зубами. Им не удалось сожрать прекрасного англичанина!

Не обращайтесь внимания на это дикое «пояснение». Слушайте, слушайте...

...Шум исчез. Чистая, удивительная, ни на что не похожая мелодия — торжествует победу. Лучше закрыть глаза. Закрыть глаза и слушать это торжество звуков. Нет больше ни Конюшенной, ни оплывающих огарков, ни залитого пивом рояля. Наступила минута, когда

Все исчезает, — остается

Пространство, звезды и певец.

Слушайте! Сейчас все оборвется, крышка рояля хлопнет, и хриплый голос пробасит:

— Ну довольно ерунды!

— Какую прелесть вы играли, Н.К. Почему вы не запишете этого?

— Записать? — Делано-глуповатая усмешка. — Записать? Пробовал-с. И неоднократно. *Не поддается записи...*

Да и к чему. И так слышно. «Имеющие уши да слышат», — затягивает Ц<ыбульский>, как диакон. Потом жеманно раскланивается:

— Позвольте узнать, виконт, что вам приятнее — сидеть в конуре старого пьяницы или отправиться в небезызвестный этаблисман «Эдельвейс»?

Однажды, уже в начале войны, я зашел под вечер мимоходом к Ц<ыбульскому> — и удивился.

Гладко причесанный, чисто выбритый, — он старательно завязывал «художественный» бант на белоснежной рубашке. Визитка... разутюженные брюки... Запах одеколona... Что за чудеса?

Ц<ыбульский> улыбнулся.

— Поражены блеском моего туалета, синьор? Думаете, что с старым пьяницей? Сошел с ума? Получил наследство? Идет свататься?

— В самом деле, Н.К., куда вы так наряжаетесь?

Ц<ыбульский> щелкнул языком:

— Много будете знать... Впрочем, если угодно, возьму вас с собою. Обещаю — прелюбопытное зрелище... и недурной ужин. Едемте, в самом деле, — не пожалеете.

— Куда?

Он сделал важную мину.

— В Санкт-петербургское общество внеслуховой музыки. Да-с — внеслуховой. Не слышали такого термина? И понятно. Открытие сие покуда держится в тайне...

Он переменял выпененный тон на свой обычный, — идем, не пожалеете. Да что объяснять — увидите сами.

Делать мне было в тот вечер — нечего. Я поехал.

...Мы вошли в темноватый подъезд какого-то особняка. Швейцар молча, поклонившись, снял с нас шубы. Так же молча лакей повел нас через какие-то пустовато и дорого обставленные комнаты. Мне стало неловко — являюсь в чужой дом, никем не званный, да еще в сером костюме...

— Чушь, — сказал на это Ц<ыбульский>. — Здесь на пиджаки не смотрят. Здесь, забирай выше, смотрят на духовную сущность человека. Да, вот мы здесь какие... Конечно, смотрят в книгу, видят фигу — это уж «общечеловеческое», — но поползновения-то благие...

...В большой, неярко освещенной гостиной было человек двадцать. Несколько дам в черных платьях, несколько накрахмаленных пластронов. Остальные попроще, но тоже приличного и культурного вида.

Ц<ыбульского> встретили тихими аплодисментами. Он важно раскланялся, пожал кое-кому руки, все это безмолвно, как в кинематографе.

— Глухонемые, — шепнул он мне. — Все глухонемые. Не говорите громко, это их раздражает, когда они приготовились слушать. Не звук голоса, конечно, а жесты, движения губ. Народ нервный. Сядьте вон там. Сейчас начнется

...Лакей щелкнул выключателем. Лампы погасли. На эстраде вспыхнул бледно-серым светом диск в пол-аршина диаметром. Этот бледный свет едва освещал высокий инструмент вроде пианино и грузную фигуру Ц<ыбульского> за ним. Все остальное было погружено в темноту. Стояла полная тишина.

И вот Ц<ыбульский> ударил по клавишам из всей силы. Вместо грома музыки — послышался только глухой стук. Но диск вспыхнул — ярко-оранжевым, потом синим, потом со стремительной быстротой в нем пронеслись все оттенки красного — от бледно-розового до пунцового...

Так вот она, внеслуховая музыка!

Немые клавиши сухо трещали под сильными ударами пальцев Ц<ыбульского>. Оранжевый, синий, красный, зеленый — пронеслись по диску в дикой какофонии красок.

И вдруг... в зале послышалось какое-то сопение, шорох, гул. — Глухонемые слушатели начали *подпевать*.

Сначала робко, тихо, потом все сильней. Нестройный шум, похожий на ворчание, все возрастал, делаясь все более нестройным. Уже не ворчанье — лай, блеяние, крик, вой, хрипенье наполняли комнату...

Диск мелькал и мелькал. Когда он вспыхивал особенно ярко — видны были слушатели. На всех лицах выражение не то блаженства, не то ужаса. Одни орали — выделяли ртом странные движения, некоторые, опрокинувшись, обхватывали голову руками, другие раскачивались всем телом, третьи размахивали руками, точно дирижируя...

...Глухонемой швейцар, получив от меня двугривенный, страшно замычал в благодарность. Пока я одевался — Ц<ыбульский> догнал меня в прихожей.

— Уходите? Испугались? Что за глупости?! Я проиграю им еще две-три вещицы, и потом будем ужинать, всей семейкой. Оставайтесь, право. Если не вмоготу слушать — посидите где-нибудь в другой комнате.

Я сослался на головную боль — и действительно, голова начала трещать. Ц<ыбульский> пожал плечами. — Ну, до свидания.

Так уж не понравилась музыка? А знаете, кстати, что я им играл и что они подпевали? Ведь они перед концертом готовятся, разучивают по нотам — Девятую симфонию!..

V

На визитных карточках стояло: Борис Константинович Пронин — доктор эстетики, *honoris causa*. Впрочем, если прислуга передавала вам карточку — вы не успевали прочитать этот громкий титул. «Доктор эстетики», веселый и сияющий, уже заключал вас в объятия. Объятие и несколько сочных поцелуев куда попало были для Пронина естественной формой приветствия, такой же, как рукопожатие для человека менее восторженного.

Облобызав хозяина, бросив шапку на стол, перчатки в угол, кашне на книжную полку, он начинал излагать какой-нибудь очередной план, для исполнения которого от вас требовались или деньги, или хлопоты, или участие. Без планов Пронин не являлся, и не потому, что не хотел бы навестить приятеля — человек он был до крайности общительный, — а просто времени не хватало. Всегда у него было какое-нибудь дело и, понятно, неотложное. Дело и занимало все его время и мысли. Когда оно переставало Пронина занимать — механически появлялось новое. Где же тут до дружеских визитов?

Пронин всем говорил «ты». — Здравствуй, — обнимал он кого-нибудь попавшегося ему у входа в «Бродячую собаку». — Что тебя не видно? Как живешь? Иди скорей, *наши* (широкий жест в пространство) все *там*...

Ошеломленный или польщенный посетитель — адвокат или инженер, впервые попавший в «Петербургское художественное общество», как «Бродячая собака» официально называлась, беспокойно озирается — он не знаком, его приняли, должно быть, за кого-то другого? Но Пронин уже далеко.

Спросите его: — С кем это ты сейчас здоровался?

— С кем? — широкая улыбка. — Черт его знает. Какой-то хам!

Такой ответ был наиболее вероятным. «Хам», впрочем, не значило ничего обидного в устах «доктора эстетики». И обнимал он первого попавшегося не из каких-нибудь расчетов, а так, от избытка чувств.

Явившись с проектом, Пронин засыпал собеседника словами. Попытка возразить ему, перебить, задать вопрос, — была незна-

дежна. — Понимаешь... знаешь... клянусь... гениально... невероятно... три дня... Мейерхольд... градоначальник... Ида Рубинштейн... Верхарн... смета... Судейкин... гениально... — как горох, летело из его не перестававшего улыбаться рта. Редко кто не был оглушен и редко кто отказывал, особенно в первый раз.

«Гениальное» дело, конечно, не выходило. Из-за «пустяка», понятно. Пронин не унывал. Теперь все предусмотрено. Гениально... невероятно... изумительно... Рихард Штраус...

Умудренный опытом, обольщаемый жметса.

— Да ведь и в прошлый раз по вашим словам выходило, что все устроится.

«Ах, Боже мой, что за человек, — выражает лицо Пронина, — не хочет понять простой вещи. Да ведь тогда провалилось, потому что он стал интриговать. Теперь он наш. Теперь все пойдет изумительно, вот увидишь...»

И кто-то снова, вздыхая, выписывает чек, или едет хлопотать в министерство, или пишет пьесу, по мере сил участвуя в работе этой работающей впустую машины, которая зовется деятельностью Бориса Пронина.

* * *

Машина, впрочем, работала не совсем впустую, какие-то крупинки эта мельница, рассчитанная, казалось бы, на сотни пудов, все-таки молола. «Что-то» в конце концов получалось или «наворачивалось», как Пронин выражался.

Так, навернулись по очереди — «Дом интермедии», потом «Бродячая собака», наконец «Привал комедиантов». Не так мало, в сущности, если не знать, сколько энергии, и своей и чужой, на них убито.

Пронин хлопотал над устройством «Привала комедиантов». «Машина» работала вовсю. Рабочие требовали денег, а денег не было; какое-то военное учреждение прислало солдат для очистки помещения, на которое, оказывается, оно имело права; вода бежала со всех стен (это еще ничего) и из только что устроенных каминов, что было хуже, т.к. без каминов как же было сушить стены?

Воду откачивали насосами. Вместо подмокших поленьев накладывались новые, вода из Мойки, на углу которой «Привал» помещался, их вновь заливала. Пронин, растрепанный, без пиджака, несмотря на холод (в волнении он всегда снимал пиджак, где бы ни находился), в батистовой белоснежной рубашке, но с галстуком на боку и перемазанный сажей и краской, распоряжался,

кричал, звонил в телефон, выпроваживал солдат, давал руку на отсечение каменщикам, что завтра (это завтра тянулось уже месяцев шесть) они получают деньги, сам хватался за насос, сам подливал керосину в не желающие гореть дрова...

Зашедших его навестить он встречал с энтузиазмом и вел показывать свои владения.

— Это, — Пронин кивал на грязную сводчатую комнату со стенами в бурых подтеках и кашей из извести и грязи вместо пола, — «венецианский зал». Его устроит мэтр Судейкин. Черный с золотом. Там будет эстрада. Никаких хамских стульев — бархатные скамьи без спинок...

— Так ведь будет неудобно?

— Удивительно неудобно! Скамейка-то низкая и покатая, *венецианская*... Но ничего, *свои* будут сидеть сзади, на стульях. А это специально для буржуев — десятирублевые места... А здесь — мон-мартрское бистро. Распишет все Борис Григорьев — изумительно распишет. Вот — смотри, газ уже проведен, будет совсем как в Париже.

На стене уныло торчит газовый «бек». По всем потолкам видны следы работы электропроводчиков, и этот рожок единственный во всем помещении.

— Специально проводили, — горделиво шелкает по нему Пронин. — В семьсот рублей обошелся, специальную трубу пришлось прокладывать. Зато — шик, совсем как в Париже. Буржуи будут закуривать и ахать.

— А здесь что?

Пронин еще сам не решил, что будет здесь, между бистро и Венецией. Но не хочет показать этого.

— Здесь... — так, уголок, бросим какую-нибудь ткань, ковер, широкий диван...

— А эта комната напоминает купальню.

— Купальню? — Пронин прищуривается. — Купальню? Гениально! Изумительно! Именно, здесь будет восточная купальня. Завтра велю ломать бассейн. Напустим воды. — Ее-то хватит! — Разноцветные стены, стекла... в бассейне плавают лебеди... свет сверху...

— Ну, свет сверху мудрено устроить...

— Ничуть — проломим потолок.

— Это шесть этажей проломаете?

— Что же такого? Сниму все квартиры и проломаю... Впрочем, кажется, я того — фантазирую...

— Борис Константинович, — вбегает мальчишка-обойщик с озабоченно-восторженным лицом. — Вода!

— А, черт! — И с таким же озабоченно-восторженным видом, как у своего подручного, Пронин бежит в «венцианский зал», откуда слышно глухое плескание заливающей пол воды...

* * *

Вряд ли самому Пронину пришла бы мысль бросить насиженное место в подвале на Михайловской площади и заняться «динамитно-подрывной» работой на углу Мойки и Марсова поля. «Собака» была частью его души, если не всей душой. Дела шли хорошо, т.е. домовладелец — мягкий человек — покорно ждал полагающейся ему платы, пользуясь покуда, в виде процентов, правом бесплатного входа в свой же подвал и почетным званием «друга Бродячей собаки». Ресторатор, итальянец Франческо Танни, тоже терпеливо отпускал на книжку свое кислое вино и непервосортный коньяк, утешаясь тем, что его ресторанчик, до тех пор полупустой, стал штаб-квартирой всей петербургской богемы. Большинство новых посетителей, впрочем, тоже платили лишь в исключительных случаях — больше обедали в кредит.

У этого Франческо Танни часто устраивались и импровизированные пиры. Так, однажды Пронин, встав утром, решил, что сегодня его именины. Их надо отпраздновать. Но поздно уже звонить в телефон или рассылать записки. Пронин сделал так: он стал прогуливаться по солнечной стороне Невского — и приглашать всех знакомых, которые ему попадались. Знакомых у Пронина было достаточно. В назначенный час в маленьком и тесном помещении «Франческо» набилось человек шестьдесят, желавших чествовать «дорогого именинника». Сдвинули столы; пошли в дело и кисловатое каберне, и мутноватое шабли, и не особенно тонкий, но чрезвычайно крепкий коньяк таинственной французской фирмы «Прима». Ну, и кьянти, конечно. Пил «именинник», пили его «друзья», пил хозяин, respectable седой итальянец, похожий на знаменитого скрипача. Наконец «все съедено, все выпито», ресторан пора закрывать. Пронину подают счет. Неслушающимися пальцами Пронин его разворачивает.

— Это... это что такое?

— Счет-с, Борис Константинович.

— А это?.. — Палец, помотавшись некоторое время в воздухе, как птица, выбирает место, чтобы сесть, — тычет в сумму счета.

— Двести рублей-с...

Отблеск удивления и ужаса мелькает на блаженном лице «именинника». Он минуту молчит, потом патетически восклицает:

— Хамы! Кто же будет платить!..

Нет, сам Пронин вряд ли бы по своему почину расстался с Михайловской площадью. Идею переменить скромные комнаты «Собаки», с соломенными табуретками и люстрой из обруча, на венецианские залы и средневековые часовни «Привала» внушила ему Вера Александровна.

Портрет «Веры Александровны», «Верочки» из «Привала» должен был бы нарисовать Сомов, никто другой.

Сомов — как бы холодно ни улыбнулись, читая это, строгие блюстители художественных мод, — Сомов удивительнейший портретист своей эпохи: трагически-упоительного заката «Императорского Петербурга».

Я так представляю это ненарисованное полотно: черные волосы, полчаса назад тщательно завитые у Делькро, — уже слегка растрепаны. Сильно декольтированный лиф сползает с одного плеча, — только что не видна грудь. Лиф черный, глубоким мысом врезающийся в пунцовый бархат юбки. Пухлые руки, странно-белые, точно набеленные, беспомощно и неловко прижаты к груди, со стороны сердца. Во всей позе тоже какая-то беспомощность, какая-то растерянная пышность. И старомодное что-то: складки парижского платья ложатся на кринолин, крупная завивка напоминает парик. Прищуренные серые глаза, маленький улыбающийся рот. И в улыбке этой какое-то коварство...

* * *

Незадолго до войны в Петербург приехал Верхарн. Как водится — его чествовали, и, тоже как водится, чествование вышло бестолковое и даже как бы обидное для знаменитого гостя. То есть намерения были самые лучшие у чествующих и хлопотали они усердно. Но как-то уж все само собой обернулось не так, как следовало бы. Едва банкет начался — все это почувствовали — и устроители, и приглашенные, и, кажется, сам Верхарн. Несколько патетических речей, обращенных к «дорогому учителю», под стук ножей и гавканье, ни с того ни с сего, «ура» — с дальнего конца стола, где успела выпить малая литературная братия. «Сервис» «Малого Ярославца» с запарившимися лакеями в нитяных перчатках, чересчур большое количество бутылок не

особенно важного вина... Словом, лучше бы его не было — этого банкета...

Почти всех присутствующих я, понятно, знал, в лицо по крайней мере. И меня удивило, что рядом с Верхарном сидит какая-то дама, совершенно мне незнакомая. Она была вычурно и пышно одета, бриллианты сияли в ушах, серые глаза шурились, маленькие губы улыбались...

Кто это? Я спросил своего соседа, тот не знал. Еще кого-то — то же. Верхарн очень оживленно и любезно, по-стариковски морща нос, разговаривал с этой незнакомкой, не слушая приветственных речей, где через третье слово повторялось «хаос» и через пятое — «космос».

Кто бы она могла быть? Как раз мимо проходил Пронин, знаменитый Пронин — «доктор эстетики», директор «Собаки». Жилет его фрака был расстегнут, на лице блаженство, в каждой руке по горлышку шампанской бутылки...

— Борис, кто эта дама?

Вездесущий «доктор эстетики» пожал плечами:

— Не знаю. И никто не знает. Сама приехала, сама села рядом с Верхарном...

И глубокомысленно добавил:

— Может быть, это жена его или, — блаженная улыбка, — или... племянница.

Пронин, по-видимому, вскоре убедился в своей ошибке насчет таинственной дамы. По крайней мере, когда в Петербурге, через полгода, появился другой поэтический гость — Поль Фор, Пронин, знакомя его с Верой Александровной, отрекомендовал ее:

— *Voilà la maîtresse du Chien...*¹

Он желал сказать — хозяйка «Бродячей собаки». Вера Александровна была уже женой беспутного и веселого «доктора эстетики».

* * *

Когда мы познакомились ближе, я услышал от Веры Александровны такие признания:

— Я бы согласилась на какую угодно муку, как андерсеновская ундина — при каждом шаге испытывать боль, точно ходишь по гвоздям, — только бы власть, власть над людьми...

— Власть над душами или... ну, как у исправника или царя?

¹ — А вот любовница Собаки... (фр.)

— Ах, — всякую! Мне бы сначала хоть чуточку власти. Даже как у исправника хорошо. Даже такая власть — страшная сила, уметь только воспользоваться...

— Вам бы в Мексику, В.А., там это можно — женщин в губернаторы выбирают.

Но она не слушает.

— Власть, — говорит она протяжно, точно пробуя на вес это слово. — Власть... Над душами? Но ведь всякая власть над душами. Властвовать — над кем-нибудь, значит, унижать его. Унижать его — возвышать себя. Чем больше кругом унижения, тем выше тот, кто унижает...

Она смеется.

— Что вы так на меня смотрите? Это я не сама выдумала — у Бальзака прочла. Или, может быть, у Гюисманса...

И таинственно, точно секрет, сообщает:

— Власть — это деньги. Больше всего на свете я хочу денег.

— Все хотят, В.А., — отвечаю я ей в тон тем же таинственным шепотом.

Она топает ногой.

— Перестаньте. Разве я *так* хочу? И... знаете, кстати, кто была моей героиней в детстве?

— Лукреция Борджиа?

— Нет. Тереза Эмбер.

И — «каблуком молоточа паркет»:

— Слаще всего издеваться над людьми.

От стука французского каблучка по полу синие чашки подпрыгивают на лакированном столике. Маленькая, пухлая, точно набеленная, рука протягивает тарелку с кексом...

— Я, конечно, шучу. Я самая обыкновенная женщина. Даже чтобы стать актрисой, у меня не хватило воли. А не то что...

Серые глаза холодно щурятся, накрашенные губы улыбаются. И в улыбке этой — какое-то коварство...

* * *

Выйдя замуж за Пронина и став «la maîtresse du Chien», Вера Александровна сразу начала все переделывать, изменять и расширять в «Бродячей собаке». И, конечно, на третий месяц заскучала.

Как было не заскучать? «Собака» — был маленький подвал, усроенный на медные гроши — двадцатипятирублевки, собранные по знакомым. В нем становилось тесно, если собиралось сорок человек, и нельзя было повернуться, если приходило шестьдесят.

Программы не было — Пронин устраивал все на авось. — Федя (т.е. Шаляпин) обещал прийти и спеть... Если же Шаляпин не придет, то... заставим Мишку, — дворняжку Пронина, — танцевать кадрили... вообще, «наоборотим» чего-нибудь... — В главной зале стояли колченогие столы и соломенные табуретки, прислуги не было — за едой и вином посетители сами отправлялись в буфет. Посетители эти были, по большей части, «свои люди» — поэты, актеры, художники, которым этот распорядок был по душе, и менять они его не хотели... Словом, в «Собаке» Вере Александровне делать было нечего. Попытавшись неудачно ввести элегантные новшества, перессорившись со всеми, кто носил почетное звание «друга “Бродячей собаки”», и поскучав в слишком скромной для себя и своих парижских туалетов роли, она, по выражению Пронина, решила «скрутить шею собачке». По ночам бессонные бродяги из петербургской богемы перестали будить дворника у ворот, на углу Михайловской и Итальянской, — и труба вентилятора, на которой на страх забредавшим в «Собаку» «буржуйам» была зловещая надпись — «Не прикасаться: смерть», — перестала гудеть на узкой лесенке входа на третьем дворе.

На Марсовом поле был снят огромный подвал — не для того, чтобы возродить «Собаку», — чтобы создать что-то грандиозное, небывалое, удивительное. Над подвалом поселилась хозяйка этого будущего «грандиозного и небывалого». Квартира была тоже огромная, с саженными окнами и необыкновенной высоты потолками. Холод в ней был ужасный. Несколькими этажами выше, в квартире Леонида Андреева — печи топились день и ночь, все было в коврах и портъерах, и все-таки дыхание вылетало из ртов — струйкой пара. Такой уж был холодный дом. А в квартире Веры Александровны не было ни ковров, ни портьер, часто не было и дров, даже окна не все замазаны. С утра до вечера снизу оглушительно стучали молотки каменщиков, с утра до вечера на парадной и черной лестницах обрывали звонки люди, желавшие получить по каким-то счетам, оплатить которые было нечем. Пронин от холода и от нечего делать спал, навалив на себя все шубы, какие только были, а Вера Александровна, завитая и накрашенная, сидела часами у леденеющего зеркала, мечтая не знаю уж о чем — о будущем «Привале комедиантов» (так называлось новое кабаре) или о власти над душами...

От холода она куталась в свои широкие пушистые соболя. Впрочем, соболя иногда бывали в ломбарде, и тогда она куталась в одеяла.

— Как, В.А., вам и здесь скучно?

— Очень.

— И тесно?

— Да.

— Что же, будете еще перестраиваться и расширяться?

— Я уже сняла соседний подвал. Летом проломают стену, тогда венецианскую залу будет продолжать галерея. В этой галерее...

Она машет рукой.

— Не знаю, может, и не буду перестраиваться, или оставлю все Борису, пусть делает, что хочет. Уеду куда-нибудь...

И высоко подымая нарисованные брови:

— Надоело. Скучно...

Внешность «Привала» была блестящая. Грязный подвал с развороченными стенами — превратился действительно в какое-то «волшебное царство». Из-под кружевных масок свет неясно освещал черно-красно-золотую судейкинскую залу; «бистро» оказалось сплошь расписано удивительными парижскими фресками Бориса Григорьева, — смежная зала была декорирована Яковлевым. Старинная мебель, парча, деревянные статуи из древних церквей, лесенки, уголки, таинственные коридоры — все это было удивительно задумано и выполнено. Вера Александровна, в шелках и бриллиантах, торжественно встречала гостей — ну, каково? Пронин сиял. Наряженный во фрак, он водил посетителей показывать разные чудеса «Привала». Объясняя что-нибудь особенно горячо, он, по старой привычке, хватался за лацканы фрака, чтобы его скинуть. Но только хватался и тотчас же опускал руки. Не то место, не те времена — бывшее в «Собаке» вполне естественным — здесь было бы неприличным.

Старые завсегдатаи «Собаки» после первых восторгов были немного охлаждены непривычным для них тоном нового подвала. В «Собаке» садились где кто хочет, в буфет за едой и вином ходили сами, сами расставляли тарелки где заблагорассудится... Здесь оказалось, что в главном зале, где помещается эстрада, места нумерованные, кем-то расписанные по телефону и дорого оплаченные, а так называемые «г.г. члены Петроградского художественного общества» могут смотреть на спектакль из другой комнаты. Но и здесь, не успевали вы сесть, как к вам подлетал лакей с салфеткой и меню и, услышав, что вы ничего не «желаете», только что не хлопал своей накрахмаленной салфеткой по носу «нестоящего» гостя...

...Улыбается Карсавина, танцует свою очаровательную «полечку» прелестная О.А.Судейкина. Переливаются черно-красно-золотые стены. Музыка, аплодисменты, шелканье пробок, звон стаканов... Вдруг композитор Цыбульский, обрюзгший, пьяный, встает, пошатываясь, со стаканом в руках: — Попрошу слова...

— За упокой собачки, господи... — начинает он коснеющим языком. — Жаль покойницу... Борис... Эх, Борис, зачем ты огород городил... зачем позвал сюда, — кивок на смокинги первых рядов, — всех этих фармацевтов, всю эту св...

* * *

В общем, получался какой-то эстетический, очень эстетический, но все же ресторан. Публике нравилось. Публика платила дорогую входную плату, пила шампанское и смотрела на Евреинова в Судейкиных костюмах...

Ну, что же, раз приходят и пьют шампанское...

И я вспоминал: «Больше всего я хочу денег...»

Но вдруг и «Привал», и верхняя квартира, и все фаянсы ост-индской компании, и все платья с глубокими декольте оказались описанными. Оказалось, что «Привал» не только не окупается — приносит страшный убыток. Все меценаты от него отказались — через неделю он пойдет с молотка.

— Как же так? — спрашивал я.

Вера Александровна устало поднимала брови:

— Так. Не знаю. Не хватило денег. Я подписывала векселя...

Но через несколько дней она встретила меня веселая. Нашелся новый меценат. На время «Привал» закроется для ремонта, для подготовки программы...

Она стояла в средневековой зале, расписанной Яковлевым, опираясь на деревянную статую какого-то святого и держа в маленькой пухлой, странно-белой руке старинный нож, только что присланный антикваром.

— Лукреция Борджиа, — пошутил я.

Она засмеялась:

— А? Вы помните тот разговор? Нет, нет, не Лукреция... Тереза. Вот, прочтите.

Я развернул бумагу.

— Что это?

— Договор с новым меценатом. Он обязуется платить мне все время, пока «Привал» закрыт, ежемесячно... — Она назвала какую-то большую цифру.

— Только пока закрыт?

Она рассмеялась:

— Господи, какой наивный! Да ведь срок не указан. Я могу всю жизнь не открывать «Привала», и он будет всю жизнь мне платить...

— Как же он подписал такое?

Она церемонно поджала губы:

— О, это очень милый человек, друг моего отца. Он подписал не читая...

* * *

Не знаю, запротестовал ли наконец «милый человек» или самой Вере Александровне снова захотелось похозяйничать — но «Привал» все-таки открылся. Летом 1917 года — там за одним и тем же «артистическим» столом сидели Колчак, Савинков и Троцкий. И Вера Александровна выглядела уже совершенно Лукрецией в этом обществе.

Она была очень оживлена, очень хороша в эти дни. Кажется, ей стало опять «не скучно» и какие-то новые «грандиозности» и «возможности» ей замерещились. Я заключил это по ее виду, — в разговоры со мною она не вступала — у нее были собеседники поинтереснее.

«Душа», которой не хватало «Привалу» в дни его расцвета, вселилась все-таки в него ненадолго, перед самой гибелью. Те, кто бывал в нем в конце 1917 — начале 1918 года, вряд ли забудут эти вечера.

Холодно. Полутемно. Нет ни заказных столиков, ни сигар в зубах, ни упитанных физиономий. Роскошь мебели и стен пообтрепалась. Электричество не горит — кое-где оплывают толстые восковые свечи...

Идет репетиция «Зеленого попугая». Пронзительная идея сыграть *такую* пьесу в *такой* обстановке, не правда ли? Шницлеровские диалоги звучат чересчур «убедительно» и для зрителей, и для актеров. Вера Александровна, бледная, без драгоценностей, в черном платье, слушает, скрестив руки на груди. Это она придумала поставить «Зеленого попугая».

Холодно. Полутемно. С улицы слышны выстрелы... Вдруг топот ног за стеной, стук прикладов в ворота. Десяток красноармейцев, под командой безобразной, увешанной оружием женщины, вваливается в «венецианскую залу». — Граждане, ваши документы!

Их смиряют какой-то бумажкой, подписанной Луначарским. Уходят, ворча: погодите, доберемся до вас... И снова — оплывающие свечи, стихи Ахматовой или Бодлера; музыка Дебюсси или Артура Лурье...

...«Привал» не был закрыт — он именно погиб, развалился, превратился в прах. Сырость, не сдерживаемая жаром каминов, вступила в свои права. Позолота обсыпалась, ковры начали гнить, мебель расклеилась. Большие голодные крысы стали бегать, не боясь людей, рояль отсырел, занавес оборвался...

Однажды, в оттепель, лопнули какие-то трубы и вода из Мойки, старый враг этих разоренных стен, их затопила.

...И все стоит в «Привале»
Невыкачанной вода.
Вы знаете? Вы бывали?
Неужели никогда?

VI

«Ротонда». Обычная вечерняя толкотня. Я ищу свободный столик. И вдруг мои глаза встречаются с глазами, так хорошо знакомыми когда-то (Петербург, снег, 1913 год...), русскими, серыми глазами. Это С. Жена известного художника.

— Вы здесь! Давно?

Улыбка — рассеянная «петербургская» улыбка. — Месяц как из России.

— Из Петербурга?

С. — подруга Ахматовой. И, конечно, один из моих первых вопросов — что Ахматова?

— Аня? Живет там же, на Фонтанке, у Летнего сада. Мало куда выходит — только в церковь. Пишет, конечно. Издавать? Нет, не думает. Где уж теперь издавать...

...На Фонтанке. У Летнего сада...

1922 год. Осень. Послезавтра я уезжаю за границу. Иду к Ахматовой — проститься. Летний сад шумит уже по-осеннему. Инженерный замок в красном цвете заката. Как пусто! Как тревожно! Прощай, Петербург!..

Ахматова протягивает мне руку. — А я здесь сумерничаю. Уезжаете?

Ее тонкий профиль рисуется на темнеющем окне. На плечах знаменитый темный платок в большие розы:

Спадает с плеч твоих, о, Федра,
Ложноклассическая шаль...

— Уезжаете? Кланяйтесь от меня Парижу.

— А вы, Анна Андреевна, не собираетесь уезжать?

— Нет. Я из России не уеду.

— Но ведь жить все труднее.

— Да. Все труднее.

— Может стать совсем невыносимо.

— Что же делать.

— Не уедете?

— Не уеду.

...Нет, издавать не думает — где уж теперь издавать... Мало выходит — только в церковь... Здоровье? Да здоровье все хуже. И жизнь такая — все приходится самой делать. Ей бы на юг, в Италию. Но где денег взять. Да если бы и были...

— Не уедет?

— Не уедет.

— Знаете, — серые глаза смотрят на меня почти строго, — знаете, — Аня раз шла по Моховой. С мешком. Муку, кажется, несла. Устала, остановилась отдохнуть. Зима. Она одета плохо. Шла мимо какая-то женщина... Подала Ане копейку — Прими, Христа ради. — Аня эту копейку спрятала за образа. Бережет...

* * *

1911 год. В «башне» — квартире Вячеслава Иванова — очередная литературная среда. Весь «цвет» поэтического Петербурга здесь собирается. Читают стихи по кругу, и «таврический мудрец», щурясь из-под пенсне и потряхивая золотой гривой, произносит приговоры. Вежливо-убийственные по большей части. Жестокость приговора смягчается только одним — невозможно с ним не согласиться, так он едко-точен. Похвалы, напротив, крайне скупы. Самое легкое одобрение — редкость.

Читаются стихи по кругу. Читают и знаменитости, и начинающие. Очередь доходит до молодой дамы, тонкой и смуглой.

Это жена Гумилева. Она «тоже пишет». Ну, разумеется, жены писателей всегда пишут, жены художников возятся с красками, жены музыкантов играют. Эта черненькая смуглая Анна Андреев-

на, кажется, даже не лишена способностей. Еще барышней она писала:

И для кого эти бледные губы
Станут смертельной отравой?
Негр за спиною, надменный и грубый,
Смотрит лукаво.

Мило, не правда ли? Непонятно, почему Гумилев так раздражается, когда говорят о его жене как о поэтессе?

А Гумилев действительно раздражается. Он тоже смотрит на ее стихи как на причуду «жены поэта». И причуда эта ему не по вкусу. Когда их хвалят — насмешливо улыбается. — Вам нравится? Очень рад. Моя жена и по канве прелестно вышивает.

— Анна Андреевна, вы прочтете?

Лица присутствующих «настоящих» расплываются в снисходительную улыбку. Гумилев, с недовольной гримасой, стучит папиросой о портсигар.

— Я прочту.

На смуглых щеках появляются два пятна. Глаза смотрят растерянно и гордо. Голос слегка дрожит.

— Я прочту.

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки,
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки...

На лицах — равнодушно-любезная улыбка. Конечно, не серьезно, но мило, не правда ли? — Гумилев бросает недокуренную папиросу. Два пятна еще резче выступают на щеках Ахматовой...

Что скажет Вячеслав Иванов? Вероятно, ничего. Промолчит, отметит какую-нибудь техническую особенность. Ведь свои уничтожающие приговоры он выносит серьезным стихам настоящих поэтов. А тут... Зачем же напрасно обижать...

Вячеслав Иванов молчит минуту. Потом встает, подходит к Ахматовой, целует ей руку.

— Анна Андреевна, поздравляю вас и приветствую. Это стихотворение — событие в русской поэзии.

В обставленном удивительной «Александровской» мебелью кабинете Аркадия Руманова висит большое полотно Альтмана, только что вошедшего в славу: Руманов положил ей начало, купив этот портрет за «фантастические» для начинающего художника деньги.

Несколько оттенков зелени. Зелени ядовито-холодной. Даже не малахит — медный купорос. Острые линии рисунка тонут в этих беспокойно-зеленых углах и ромбах. Это должно изображать деревья, листву, но не только не напоминает, но, напротив, кажется чем-то враждебным:

...в океане первозданной мглы
Нет облаков и нет травы зеленой,
А только кубы, ромбы да углы,
Да злые металлические звоны.

Цвет едкого купороса, злой звон меди. — Это фон картины Альтмана.

На этом фоне женщина — очень тонкая, высокая и бледная. Ключицы резко выдаются. Черная, точно лакированная, челка закрывает лоб до бровей. Смугло-бледные щеки, бледно-красный рот. Тонкие ноздри просвечивают. Глаза, обведенные кругами, смотрят холодно и неподвижно — точно не видят окружающего.

...только кубы, ромбы да углы, —

и все черты лица, все линии фигуры — в углах. Угловатый рот, угловатый изгиб спины, углы пальцев, углы локтей. Даже подъем тонких, длинных ног — углом. Разве бывают такие женщины в жизни? Это вымысел художника! Нет — это живая Ахматова. Не верите? Приходите в «Бродячую собаку» попозже, часа в четыре утра.

Да, я любила их — те сборища ночные:
На маленьком столе стаканы ледяные.
Над черным кофе пахучий, тонкий пар.
Камина красного тяжелый зимний жар.
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

Четыре-пять часов утра. Табачный дым, пустые бутылки. Час назад было весело и шумно — кто-то пел, подыгрывая сам себе, глупые куплеты, кто-то требовал еще вина. Теперь шумевшие либо разошлись, либо дремлют. В подвале почти тишина.

Мало кто сидит за столиками посередине зала. Больше по углам, у пестро расписанных стен, под заколоченными окнами.

Навсегда забиты окошки,
Что там — изморозь иль гроза?

Не все ли равно, что там, на улице, в Петербурге, в мире... От выпитого вина кружится голова, дым застилает глаза. Разговоры идут полупшепотом.

Здесь цепи многие развязаны,
Все сохранит подземный зал,
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.

И вдруг — оглушительная, шалая музыка. Дремавшие вздрагивают. Рюмки подпрыгивают на столах. Пьяный музыкант ударил изо всех сил по клавишам. Ударил, оборвал, играет что-то другое, тихое и грустное. Лицо играющего красно, потно. Слезы падают из его блаженно-бессмысленных глаз на клавиши, залитые ликером.

Пятый час утра. «Бродячая собака».

Ахматова сидит у камина. Она прихлебывает черный кофе, курит тонкую папироску. Как она бледна!

Да, она очень бледна — от усталости, от вина, от резкого электрического света. Концы губ — опущены. Ключицы резко выделяются. Глаза глядят холодно и неподвижно, точно не видят окружающего.

Все мы грешники здесь, блудницы.
Как невесело вместе нам.
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.

Но —

...в океане первозданной мглы
Нет облаков и нет травы зеленой.

Трава, облака, жизнь, смех — все осталось там — за «навсегда забитыми окошками». Здесь только:

Веселость едкая литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий...

Слишком едкая веселость. Слишком жуткие взгляды.

Ахматова никогда не сидит одна. Друзья, поклонники, влюбленные, какие-то дамы в больших шляпах и с подведенными глазами. С памятного вечера у Вячеслава Иванова, когда она срывающимся голосом читала стихи, прошло два года. Она всероссийская знаменитость. Ее слава все растет.

Папироса дымится в тонкой руке. Плечи, закутанные в шаль, вздрагивают от кашля.

— Вам холодно? Вы простудились?

— Нет, я совсем здорова.

— Но вы кашляете.

— Ах, это? — Усталая улыбка. — Это не простуда, это чахотка.

И, отворачиваясь от встревоженного собеседника, говорит другому:

— Я никогда не знала, что такое счастливая любовь...

...Несла мешок. Остановилась отдохнуть. Какая-то женщина...

...Молодые люди в смокингах почтительно ловят каждое слово Ахматовой. Влюбленные глаза следят за каждым ее движением.

...Аня эту копейку спрятала... бережет...

В Царском Селе у Гумилевых дом. Снаружи такой же, как и большинство царскосельских особняков. Два этажа, обсыпаящаяся штукатурка, дикий виноград на стене. Но внутри — тепло, просторно, удобно. Старый паркет поскрипывает, в стеклянной столовой розовеют большие кусты азалий, печи жарко натоплены. Библиотека в широких диванах, книжные полки до потолка... Комнат много, какие-то все кабинетики с горой мягких подушек, неярко освещенные, пахнущие невыветриваемым запахом книг, старых стен, духов, пыли...

Тишину вдруг пререзает пронзительный крик. Это горбоносый какаду злится в своей клетке. Тот самый:

А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.

«Розовый друг» хлопает крыльями и злится. — Маша, накиньте платок на его клетку...

Дома, и то очень редко, можно увидеть совсем другую Ахматову.

У Гумилевых — последний прием. Конец мая. Все разъезжаются.

— Я так рада, — говорит Ахматова, — что в этом году мы не поедем за границу. В прошлый раз в Париже я чуть не померла со скуки.

— От скуки? В Париже!..

— Ну да. Коля целые дни бегал по каким-то экзотическим музеям. Я экзотики не выношу. От музеев у меня делается мигрень. Сидишь одна, такая, бывало, скука. Я себе даже черепаху завела. Черепаха ползает — смотрю. Все-таки развлечение.

— Аня, — недовольным тоном перебивает ее Гумилев, — ты забываешь, что в Париже мы почти каждый день ездили в театры, в рестораны.

— Ну уж и каждый вечер, — дразнит его Ахматова. — Всего два раза.

И смеется, как девочка.

— Как вы не похожи сейчас на свой альтмановский портрет!

Она насмешливо пожимает плечами.

— Благодарю вас. Надеюсь, что не похожа.

— Вы так его не любите?

— Как портрет? Еще бы. Кому же нравится видеть себя зеленой мумией.

— Но иногда сходство кажется поразительным.

Она снова смеется:

— Вы говорите мне дерзости. — И открывает альбом. — А здесь — есть сходство?

Фотография снята еще до свадьбы. Веселое девическое лицо...

— Какой у вас тут гордый вид.

— Да! Тогда я была очень гордой. Это теперь присмирела...

— Гордились своими стихами?

— Ах, нет, какими стихами. Плаванием. Я ведь плаваю как рыба.

Тот же дом, та же столовая. Ахматова в те же чашки разливает чай и протягивает тем же гостям. Но лица как-то желтей, точно состарились за два года, голоса тише. На всем — и на лицах, и на разговорах — какая-то тень.

И хозяйка не похожа ни на декадентскую даму с альтмановского портрета, ни на девочку, гордящуюся тем, что она плавает «как рыба». Теперь в ней что-то монашеское.

— ...В Августовских лесах погребло два корпуса...

— Нет ни оружия, ни припасов...

- У Z убили двух сыновей.
- Говорят, скоро не будет хлеба...
- Гумилева нет — он на фронте.
- Прочтите стихи, Анна Андреевна.
- У меня теперь стихи скучные.
- И она читает «Колыбельную»:

...Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
 Я дурная мать.
 Долетают редко вести
 К нашему крыльцу.
 Подарили белый крестик
 Твоему отцу.
 Было горе, будет горе,
 Горю нет конца.
 Да хранит Святой Егорий
 Твоего отца...

Еще два года. Две-три случайные встречи с Ахматовой. Все меньше она похожа на ту, прежнюю. Все больше на монашенку. Только шаль на ее плечах прежняя — темная, в красные розы. «Ложноклассическая шаль». Какая там шаль ложноклассическая — простой бабий платок, накинутый, чтобы не зябли плечи!

Еще год. Пушкинский вечер. Странное торжество — кто во фраке, кто в тулупе — в нетопленном зале. Блок на эстраде, говорит о Пушкине — невнятно и взволнованно. Ахматова стоит в углу. На ней старомодное шелковое платье с высокой талией. Худое — жалкое — прекрасное лицо. Она стоит одна. К ней подходят, целуют руку. Чаще всего — молча. Что ей, такой, сказать. Не спрашивать же, «как поживаете».

...Еще полгода. Смоленское кладбище. Гроб Блока в цветах. Еще две недели — панихида в Казанском соборе по только что расстрелянном Гумилеве...

...Да, я любила их, те сборища ночные,
 На низких столиках стаканы ледяные...

Ладан. Заплаканные лица. Певчие.

...Веселость едкую литературной шутки...
 И друга первый взгляд...

В кабинке лифта кнопками приколот плакат. Черт со смеющейся рожей, зелеными глазками и лиловым хвостом. Под ним — надпись:

«Просят ядовитое зелье (табак) не курить».

Кто просит? Домохозяин?

Нет. Плакат повешен квартирантом с третьего этажа — Сергеем Городецким.

Но как же это он распоряжается? Ведь лифт не его квартира?

Ах, что там — как распоряжается. Кто же ему запретит?

Сергей Митрофанович такой милый человек, такой славный. Если бы и захотел домовладелец сделать ему замечание, — как сделаешь? Тот ему — «К сожалению моему, должен вас просить...» — А Городецкий, не дослушав, хлопнет его по плечу. — Как поживаете, дорогой? Как драгоценное? Супруга что, детишки...

Детей обожает. Рисует им картинки — вот вроде как в лифте: «Чертик в печке», «Девять мышек и кошечка Маня». Состроит страшные глаза, сделает «козу», стишки тут же сочинит. — Как тебя зовут? Петя. Ну, так слушай:

Жил на свете мальчик Петя,
Много Петь живет на свете.
Только Петя мой —
Был совсем другой...

Глаза светлые, взгляд открытый, «душевный». Волосы русые — кудрями. Голос певучий. Некрасив, но приятнее любого красавца — «располагающая наружность», и наружность не обманывает: действительно милый человек. Всякому услужит, всякому улыбнется. Встретит на улице старуху с мешком — «бабушка, дай подсоблю». Нищего не пропустит. Ребенку сейчас леденец, всегда в кармане носит...

Помог, пошутил, улыбнулся и идет себе дальше, посвистывая или напевая. Глаза блестят, белые зубы блестят. Даже чухонская шапка с наушниками как-то особенно мило сидит на его откинутой голове.

* * *

«Ядовитое зелье просят не курить». Впрочем, для неисправимых курильщиков — отведен в квартире Городецкого закоулок. Если невтерпеж, они туда удаляются. Там, с обязательством плот-

но притворять двери, они могут вдоволь «отравляться» у окна, распахнутого на черную лестницу. Стены заутка разрисованы поучительной историей: «Упорный куритель, и что с ним было». Очень талантливо нарисовано. Вообще, что за талантливое существо Городецкий! За что ни возьмется — талантливо. И все с налету, шутя, с улыбкой, мимоходом... Так и стихи начал писать и, шутя, — прославился. Лег спать никому неведомым двадцатилетним студентом, а наутро — вышла «Ярь» — проснулся знаменитостью. И кто не читал через месяц наизусть:

Стоны, звоны, перезвоны,
Стоны-звоны, звоны-сны,
Высоки крутые склоны.
Крутосклоны зелены...

...Вечером во вторник — приемный день у Городецких. Перед закутком для курильщиков — очередь. Чиркнут спичкой, глотнут наскоро дыму и, уступая место другим, возвращаются в гостиную. Там — в центре комнаты — большой круглый стол. На столе розы в хрустальном цилиндре, дынное варенье, дымящиеся гарднеровские чашки. В окружении литераторских дам жена Городецкого, «Нимфа», сияя несколько тяжеловесной красотой, разливает пухлыми пальчиками чай. Почему Городецкий, ненавистник всякой «классической мертвечины», назвал жену Нимфой? И почему Нимфа? Скорее уж Церера... Но за Анной Александровной это прозвище прочно укрепилось, после того особенно, как одна из книг Городецкого вышла с посвящением: «Тебе — Нимфа».

Вдоль канареечных стен гостиной — в два ряда размещены поэты.

В два ряда. Внизу на тахтах гости. На стенах их портреты в натуральную величину, работы хозяина дома.

Если вы познакомились с Городецким, начали у него бывать и вы поэт — он непременно вас нарисует. Немного пестро, но очень похоже и «мило». И обязательно на рогоже.

Рисует Городецкий всегда на рогоже — это его изобретение. И дешево — и есть в этом что-то «простонародное» — любезное его сердцу. И хотя народ рогожами пользуется отнюдь не для живописи — Городецкому искренно кажется, что, выводя на рогоже Макса Волошина, в сюртуке и с хризантемой в петлице, он много ближе к «родной неумемной стихии», чем если бы то же самое он изображал на полотне.

С одной стороны, «стихия», с другой — Италия. Раскрашенные квадратики рогож — чем не мозаика?

Страсть к Италии внушил недавно Городецкому его новый, ставший неразлучным, друг — Гумилев. После «разговора в ресторане, за бутылкой вина» об Италии — с Гумилевым, Городецкий, час назад вполне равнодушный, — «влюбился» в нее со всей своей пылкостью. Влюбившись же, по причине той же пылкости, не мог усидеть в Петербурге, не повидав Италию собственноручно и немедленно.

И вот через неделю Городецкий уже гулял по Венеции, потряхивая кудрями и строя «итальянчикам» козу. Ничего — понравилось.

* * *

Портреты на рогожах сияли всей пестротой красок. Оригиналы их, размещавшиеся вдоль стен, выглядели, естественно, более буднично. Они разделялись на просто гостей и гостей почетных. Первые были в пиджаках и воротничках и изъяснялись на «мертвом интеллигентском языке». Вторые говорили на *о* и нараспев и одеты были в поддевки и косоворотки.

У Городецкого, при всей переменчивости его взглядов и вкусов, было одно «устремление», которое не менялось: страсть к лубочному «русскому духу»... Безразлично, что «воспевал» он в разные времена, в разных пустых, звонких и болтливых строфах. Их лубочная суть оставалась все та же — не хуже, не лучше. «Сретенье царя» не отличается от оды Буденному, и описания Венеции слегка отдают «чайной русского народа»...

Естественным дополнением пристрастия к «русскому духу» было стремление Городецкого открывать таланты из народа и окружать себя ими.

Казалось бы, что дурного — если известный и влиятельный петербургский писатель так дружественно, так широко и охотно идет навстречу начинающим. Тем более начинающим «из деревни», самым неопытным, самым беспомощным на первых порах. Казалось бы, напротив — хорошо.

Но получалось плохо. Даже очень.

Получалось так. Приезжает в Петербург Есенин. Шестнадцатилетний, робкий, бредящий стихами. Его мечта — стать «настоящим писателем». Он приехал в лаптях, но с твердым намерением сбросить всю свою «серость». Вот он уже как-то «расстарался», справил себе «тройку», чтобы не отличаться от «городских», «ученых». Но он понимает, что главное отличие не в платье. И со всем

своим шестнадцатилетним «напором» старается стереть это различие. Конечно, такое рвение тоже небезопасно, — слишком усердно «стирая», можно стереть и самобытность, и свежесть. Помощь расположенного и опытного старшего товарища тут очень нужна. Помимо такой профессиональной помощи, нужна и другая — просто дружеская рука, протянутая человеку, теряющемуся в совершенно чужой ему обстановке.

Понятно, что Есенин и вообще «Есенины», пообмерзнув в традиционном петербургском «холоде», — были счастливы, когда встречали Городецкого.

После месяца хождения с тетрадкой стихов «по писателям» — деревенский начинающий смущен и разочарован.

Писатели — люди «черствые», равнодушные, смотрят на него как на обыкновенного новобранца литературного войска — много их ходит, с тетрадками. Холодное одобрение Блока... Строгий взгляд через лорнетку З.Гиппиус... Придирчивый разбор Сологуба — вот эта строчка у вас недурна, остальное зелено... И ко всем этим скупым похвалам — один и тот же припев: учиться, учиться. Работать, работать, работать...

И вдруг знакомство с Городецким, таким сердечным, ласковым, милым, такой «родной душой». И в первой же беседе с этой родной душой — полная «переоценка ценностей». Начинающий из деревни (как и всякий начинающий) сам считал, конечно, что «свет его недооценивает», но вряд ли, до беседы с «родной душой», понимал, до какой степени этот бездушный свет глух и слеп. Оказывается — он гений, это решено. И не просто гений, а народный, что много выше обыкновенного. И много проще. Все эти штуки с упорной работой — для интеллигентов, существ низших. Дело же народного гения — «выявлять стихию». Вот оно что. «Серость», оказывается, вовсе не надо стирать, — она и есть «стихия». Скорее вон из головы «мертвую учебу», скорее лапти обратно на ноги, скорее обратно поддевку, гармонику, залихватскую частушку.

* * *

Для своей «народной школы», пополнявшейся каждый сезон новыми «соблазненными мужичками», кроме домашних беседований, где «гениально», «выше Пушкина» и т.п. звучало обычной похвалой, Городецкий устраивал еще и открытые вечера — «гала», так сказать. Там

...Было все очень просто, было все очень мило...

На эстраде — портрет Кольцова, осененный жестяным серпом и деревянными вилами. Внизу — два «аржаных» снопа (от частого употребления порядочно растрепанных) и полотенце, вышитое крестиками. Фон декорирован малороссийской плахтой из кабинета Городецкого. Этим смягчается «интеллигентское безличие» эстрады и создается настроение, близкое к «стихии». Должно быть, чтобы еще ближе перенести слушателей в обстановку русской деревни — обычный распорядительский колокольчик отменяется. Вместо него — какой-то не то гонг, не то тимпан. С бубенцами... В обычное время он висит в том же кабинете — у печки.

Городецкий выходит на эстраду и ударяет в этот тимпан. Вид у него восторженно-сияющий, ласково-озабоченный. Кудри взъерошены. Голубая или «алая» косоворотка... Внимательный глаз иногда различит под косовороткой очертание твердого пластрона — это значит, что после вечера надо ехать в изящный клуб, где любит ужинать «Нимфа», и рубашка надета, для скорости обратного переодевания, поверх крахмального белья и черного банта смокинга.

Городецкий ударяет в свой «тимпан» и приглашает к вниманию. Свет гаснет. Только эстрада с Кольцовым и снопами — в ярком блеске рефлекторов.

Сергей Есенин.

Зеленая плахта с малиновыми разводами откидывается. Выходит Есенин.

На нем тоже косоворотка — розовая, шелковая. Золотой кушак, плисовые шаровары. Волосы подвиты, щеки нарумянены. В руках — о, Господи! — пук васильков — бумажных.

Выходит он подбоченясь, весь как-то «по-молодецки» раскочиваясь. Прорепетировано, должно быть, не раз. Улыбка ухарская и... растерянная. Тоже, верно, репетировалась эта улыбка. Но смущение сильнее. Выйдя, он молчит, беспокожно озираясь...

— Валяй, Сережа, — слышен одобряющий голос Городецкого из-за плахты. — Валяй, чего стесняться.

Чего, в самом деле?

Есенин приободряется. Голос начинает звучать уверенней. Ухарская улыбка шире расплывается. Есенина я видел полгода тому назад, до его знакомства с Городецким. Как он изменился, однако. И стихи как изменились...

...Лады, Лели, гусли-самогуды, струны-самозвоны... — Вряд ли раньше Есенин и слышал об этих самогудах и Ладах... Иногда среди них выскочит и неприличное, «похабное» словцо. Это он, ко-

нечно, знал и раньше, но по «неопытности» полагал, должно быть, что вставлять их не то что в стихи, а и в разговор нехорошо. Теперь, бойко их выкрикивая, оглядывает еще публику: Что? Каково?..

Сергей Клычков...

Выходит наряженный коробейником из хора Клычков. Читает нараспев — как оперные слепцы. Те же Лады и гусли, только более деревянно, менее находчиво, чем у Есенина. Тоже недавно держался просто, писал проще и лучше. Теперь, спасибо наставнику, «нашел себя». А то, было, совсем пропал — в университет готовился, латынь зубрил...

Николай Клюев...

Клюев спешно обдергивает у зеркала в распорядительской поддевку и поправляет пятна румян на щеках. Глаза его густо, как у балерины, подведены. Морщинки (Клюеву лет сорок) вокруг умных, холодных глаз сами собой расплываются в деланую сладкую, глуповатую улыбочку.

— Николай Васильевич, скорей!..

— Иду... — отвечает он нараспев и истово крестится. — Иду... только что-то боязно, братишечка... Ну, была не была — Господи, благослови... — Ничуть ему не «боязно» — Клюев человек бывалый и знает себе цену. Это он просто входит в роль «мужичка-протачка».

Потом степенно выплывает, степенно раскланивается «честному народу» и начинает истово, на о:

Ах ты, птица, птица райская,
Дребезда золотоперая...

Единственного настоящего поэта этого жанра Городецкий как раз проглядел. Прочел его рукописи и не обратил внимания. Открыл Клюева «бездушный» Брюсов.

Но, приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-трагавести.

— Ну, Николай Васильевич, как устроились в Петербурге?

— Слава тебе, Господи, не оставляет Заступница нас, грешных. Сыскал клетушку-комнатушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской, за углом, живу...

Я как-то зашел к Клюеву. Клетушка оказалась номером «Отель де Франс», с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстукe, и читал Гейне в подлиннике.

— Маракую малость по-басурманскому, — заметил он мой удивленный взгляд. — Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистой, ох, голосистой... Да что ж это я, — взволновался он, — дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табуку не курю, пряника медового не припас. А то, — он подмигнул, — если не торопишься, может, пополудничаем вместе. Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился.

— Ну вот и ладно, ну вот и чудесно — сейчас обряжусь...

— Зачем же вам переодеваться?

— Что ты, что ты — разве можно? Собаки засмеют. Обожди минутку — я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке: — Ну вот — так-то лучше!

— Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят.

— В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушк-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно...

* * *

Публика аплодирует. Публика довольна. Городецкий сияет.

Он искренне счастлив, этот милый, приятный, обходительный, даровитый человек. Он от души рад, что все так хорошо и всем так нравится, и больше всех ему, Городецкому. Он весело окидывает зал ясными, открытыми глазами, кого-то хлопает по плечу, кому-то жмет руки, обнимает кого-то...

Бывают и неприятности, конечно. Сологуб, например, прощаясь, проворчит по-стариковски:

— А где ваш главный распорядитель?

— Какой, Федор Кузьмич?

— Да Лейферт, костюмер. Лапти-то у него напрокат брали?

Но что понимает Сологуб в «народном искусстве»?

Гумилев в советские времена часто вздыхал:

— Жаль, что Городецкого нет.

— Он, кажется, у белых?

— Да. На юге где-то. Это, впрочем, к лучшему. Застрянь он здесь, его живо бы расстреляли.

— Нас же не расстреливают?

— Мы другое дело. Он слишком ребенок: доверчив, восторжен... и прост. Стал бы агитировать, резать большевикам правду в лицо, попался бы с какими-нибудь стишками... Непременно бы расстреляли. Слава Богу, что он у белых. Но мне его часто не хватает — того веселья, которое от него шло.

И прибавлял, улыбаясь:

— В сущности, вся наша дружба с ним — дружба взрослого с ребенком. Я — взрослый, серьезный, скучный. А Городецкий живет — точно в пятнашки играет. Должно быть, нас и привлекло друг в друге то, что мы такие разные.

* * *

Весной 1920 года Городецкий приехал в Петербург. Приехал с новеньким партийным билетом в кармане и в предшестве коммунистки Ларисы Рейснер. Муж Рейснер, известный Раскольников, комиссар Балтфлота, захватил где-то на фронте вместе с поездом «Освага» и работавшего в «Осваге» Городецкого.

...На эстраде на этот раз стоял не Кольцов, а Ленин, и не вилы, а молот перекрещивался с серпом. И уж не косоворотка, а «революционный» френч был на Городецком.

Рейснер говорила вступительное слово. — Кто из нас бросит в него камнем? У кого из нас руки не выпачканы... грязными чернилами «Речи»? Он заблуждался, — теперь он наш. Забудем прошлое...

После Рейснер — Городецкий, встряхнув кудрями и окинув аудиторию милыми добрыми серыми глазами, читал стихи о Третьем Интернационале.

Гумилев сказал, пожимая плечами:

— В самом деле, как в него бросишь камнем? Мы же эту его неменяемость поощряли, за нее, в сущности, и любили его. Ведь не за стихи же? Вот он и продолжает играть в пятнашки...

— Только, — прибавил он, — теперь я вижу — Бог с ней, с этой детскостью. Потерял я к ней вкус. Лучше уж жить с обыкновенными, незабавными... отвечающими за себя людьми.

* * *

Перед отъездом за границу, осенью 1922 года, я был в Москве. В табачной лавке кто-то хлопнул меня по плечу — Городецкий.

Такой же, как был. Так же мило смотрит, так же улыбается.

— А я, — улыбка расплывается и становится ребяческой, — а я, кто б мог думать, на старости лет — курителем стал... Скажите, что, «Баядерка» — хорошие папиросы?..

Соб, рая сдачу, он опять, словно вдруг вспомнив, ко мне обернулся. Теперь его серые глаза смотрели грустно и «душевно»:

— А бедный Гумилев!.. Такое несчастье...

Я промолчал.

VIII

В седьмом часу утра лица тех, кто еще оставался сидеть в «Бродячей собаке», делались похожи на лица мертвецов. Яркий электрический свет, пестро раскрашенные стены, объедки и пустые бутылки на столах и на полу. Пьяный поэт читает стихи, которых никто не слушает, пьяный музыкант неверными шагами подходит к засыпанному окурками роялю и ударяет по клавишам, чтобы сыграть похоронный марш, или польку, или то и другое разом. Сонный вешальщик спит, забыв доверенные ему шубы. Директор «Собаки», Борис Пронин, сидит на ступеньках узкой лестнички выхода, засыпанных снегом, гладит свою лохматую злую собачонку Мушку и горько плачет:

— Мушка, Мушка — зачем ты съела своих детей!..

Лица похожи на лица мертвецов. Кто спит, кто притворяется оживленным. Но какое уж там оживление...

Кто-то выключил электричество в зале. Теперь освещена только соседняя буфетная, и из двери, открытой на лестницу, на ступеньках которой плачет Пронин, падает узкая серая полоса рассвета. В этом сумраке из угла выходит человек и, покачиваясь, идет ко мне. Подходит. Смотрит. У него — кажется — рыжие волосы и тяжелый пристальный взгляд. Я не знаю, кто он, вижу впервые.

— Вы сидите один, и я один. Давайте сидеть вместе.

— Давайте, — говорю я.

— Пьяны?

— Ничуть.

— А я вот пьян. Но это ничего. Это даже хорошо. Но вы, если не пьяны, зачем здесь сидите? Ждете трамвая?

— Поезда. В Гатчину.

— Поезда... В Гатчину... — повторяет мечтательно человек. — Гатчина... Поезд подходит... Снег. Белый. Нет. Синий. Всё в снегу. Встает солнце. Блеск — больно смотреть... Какие-нибудь молочницы плетутся... Пар. Деревья в инее... — Он зевает. — Впрочем, все это чепуха. Воняет сажей, как и здесь. И зачем, скажите пожалуйста, вы живете в Гатчине?

Я сказал, что ничуть не пьян. Но это неправда. Я пьян немножко. Я не знаю, кто мой собеседник. И какое ему дело, где я живу? Но так как я не совсем трезв, его вопрос меня не удивляет. Я не отвечаю — «живу потому, что нравится» или «там суше воздух», — я говорю ему правду. Я переехал в Гатчину потому, что влюблен и та, в которую я влюблен, живет там. Мой собеседник слушает молча, дымя короткой трубкой. Он меня не перебивает — и я говорю, повторяя то, что он только что мне говорил — о снеге и встающем солнце. Ну да — я немножко пьян. Но это ничего, это даже хорошо. Я выбалтываю незнакомому человеку, о котором знаю только, что он курит трубку, — выбалтываю все, вплоть до того, что «она мне вчера сказала», вплоть до любовных стихов, позавчера сочиненных:

Закат золотой. Снега
Залил янтарь.
Мне Гатчина дорога,
Совсем как встарь...

Я выбалтываю все. Потом мне становится неловко. Я обрываю фразу, не кончив. Человек с трубкой молчит. Потом говорит с расстановкой:

— Самое лучшее — кончать с собой на рассвете. Понятно, если не яд. Яд противно пить утром — все существо содрогается. Так уж человек устроен. Вы решили умереть. Чтобы умереть, вам необходимо проглотить рюмку жидкости или облатку. Но вы — одно, а ваш живот — другое. Он не желает умирать. Он сопротивляется. Он хочет глотать не стрихнин, а кофе со сливками... Но стреляться на рассвете очень легко, я бы сказал, весело.

— Вешаться тоже весело? — поддерживаю я разговор.

— Вешаться нельзя весело, — отвечает он серьезно, — вешаться надо торжественно. Конечно, если наспех, на собственных подтяжках, как проворовавшийся подмастерье... Но, представьте, — вы делаете все медленно и методично. Шелковый шнурок хорошо намылен. Крюк прочно вбит. Петля тщательно завязана. Можно прочесть молитву, выкурить последнюю папиросу, выпить последний глоток коньяку. Палач торопит — довольно — к делу. Вы не спорите — бесполезно. Вы надеваете петлю... — Как хороша жизнь!.. Я не хочу!.. — Это ваш живот, легкие, мускулы сопротивляются... Но мозг, палач, беспощаден. — Поговори еще у меня! Трах! Стул, вышибленный из-под ног, катится в угол. Прощайте,

господин Лозина-Лозинский... Прощайте, неудачный поэт Любяр!..

Тут мне делается неприятно. Я знаю, что Любяр — псевдоним поэта, который несколько раз неудачно кончал с собой и наконец, недавно, покончил. Я читал его стихи, то бессмысленные, то ясные, даже слишком, с каким-то оттенком сумасшествия. Во всяком случае, талантливые стихи. Упоминание его имени мне неприятно. Зачем тревожить память мертвого? Я говорю это вслух.

— Предрассудки, — зевает мой собеседник. — Почему можно говорить непочтительно о Петре Петровиче, пока он жив, и нельзя, если он умер. Чепуха. И потом... — Он недоговаривает, что потом. — Ну, мне пора, да и вам, господин влюбленный. Садитесь на извозчика, потом в поезд — солнце, снег.. Она сладко спит...

Не буди ее в тусклую рань,
Поцелуем дремоту согрей...

Впрочем, это к вашему случаю не относится. Анненский все эти поцелуи на чистоту не принимал. Он знал, что они значат...

— Что же они значат? — спрашиваю я, разыскивая шубу. Он молчит. Я не повторяю вопроса. У подъезда несколько извозчиков. Мой собеседник садится в первого из них.

— Ну, до свидания.

— Постой, — осаживает он тронувшегося было извозчика. — Послушайте, может быть, позвоните мне как-нибудь? Вот моя карточка. Буду очень рад, очень рад... А насчет поцелуев Анненский, поверьте, знал и всегда помнил — оскаленные зубки, вытекшие глазки, расплзающиеся щечки... Трогай!..

Прозябшая лошадь резво уносит сани. Я смотрю на визитную карточку: А.Любяр... Лозина-Лозинский... такая-то улица...

* * *

Месяца через два я получил повестку общества «Медный Всадник» на заседание памяти поэта Любяра. На этот раз (недели через три после нашей встречи) самоубийца-неудачник своего добился.

Вечер был нелепый. В огромном модернизированном кабинете профессора С. собрались человек тридцать. Был чей-то скучный доклад. Потом М.Лозинский читал стихи Любяра, читал он, как всегда, прекрасно, но после чтения вышла глупая путаница с каким-то студентом, предложившим выразить сочувствие «бра-

ту покойного и великолепному чтецу его произведений», который на самом деле был лишь однофамильцем, никогда не выдавшим покойного в глаза. Хозяин-профессор, чтобы загладить впечатление... выпустил Яворскую читать сонеты его собственного сочинения, посвященные разным поэтам. Когда Яворская с актерским пафосом закончила сонет, посвященный Кузмину:

...и юноши нагие,
Стыдливость позабыв, скрываются в альков... —

кто-то свистнул. Профессор покраснел, как бурак. Воцарилась еще большая неловкость.

Стали разносить чай. Все пили молча, молча же жуя птифуры. Один молодой человек, желая развеселить общество, вздумал петь, подыгрывая на рояле, армянские куплеты:

Как в Тифлисе у меня
Был один товарищ,
Очень славный человек,
Только очень глуп.

Лариса Рейснер, тогда еще почти девочка, слушала, слушала, потом встала, топнула ногой и раскричалась, что все это мерзко, недостойно, что она пришла на вечер памяти поэта, а ее угощают пошлостями.

Все разбирали шапки, торопясь поскорей убраться. Хозяин провожал гостей, багровый от конфуза. Его почтенная борода тряслась и руки дрожали.

Вечер был безобразный, что и говорить. Но, шагая домой через Троицкий мост, я вспоминал усмешечку моего недавнего ночного собеседника, и мне казалось, что, может быть, именно такими поминками был бы доволен этот несчастный человек.

IX

Между Петербургом и Москвой от века шла вражда. Петербуржцы высмеивали «Собачью площадку» и «Мертвый переулок», москвичи попрекали Петербург чопорностью, несвойственной «русской душе». Враждовали обыватели, враждовали и деятели искусств обеих столиц.

В 1919 году, в эпоху увлечения электрификацией и другими великими планами, один поэт предложил советскому правительству проект объединения столиц в одну. Проект был прост. Запретить в Петербурге и Москве строить дома иначе, как по линии Николаевской железной дороги. Через десять лет, по расчету изобретателя, оба города должны соединиться в один — Петросква, с центральной улицей — Куз-невский мос-пект. Проект не удалось провести в жизнь из-за пустяка: ни в Петербурге, ни в Москве никто ничего не строил — все ломали. А жаль! Может быть, это объединение положило бы конец двухвековым раздорам.

* * *

Лубочный, но пышный расцвет Москвы времен символизма пришел к концу — «Весы» закрылись.

«Торжествующая реакция» основала петербургский «Аполлон», и Георгий Чулков протанцевал в нем каннибальский танец над трупом врага («О Весах»). Безработные московские «звезды» из второстепенных волей-неволей стали наведываться в Петербург. Кто просто искал заработка, кто собирался «взрывать врага изнутри», делать заговоры и основывать новые школы.

Однажды я попал на такое заговорщицкое собрание. К., молодой человек, писавший стихи, отвел меня где-то в сторону и таинственно сказал, что со мной очень хочет познакомиться Борис Садовский. Я был польщен. Мне было лет восемнадцать, и я не был особенно избалован славой. Правда, несколько дней тому назад в «Бродячей собаке» какой-то господин буржуазного вида представился мне как мой горячий поклонник, но, когда на его замечание: «Вы такой молодой и уже такой знаменитый» — я, с притворной скромностью, возразил: — «Ну какой же я знаменитый», — он с пафосом воскликнул: «Помилуйте, кто же не знает Вячеслава Иванова!..»

Итак — я был польщен и ответил К., что очень рад, в свою очередь, познакомиться с Садовским. К. радостно закивал. «Вот и прекрасно. Приходите к нему завтра вечером — я его предупрежу».

Извозчик подвез меня к мрачному дому на Коломенской улице. На облезлой вывеске над подъездом значилось — «меблированные комнаты» — не то «Тулон», не то «Марсель». Что-то средиземное, во всяком случае. С опаской я поднялся по мрачной лестнице. Босой коридорный нес кипящий самовар. Я спросил его о Садовском. «Пожалуйста за мной, — как раз им самоварчик подаю».

Толкнув коленом дверь, он, без стука, вошел в комнату, обдавая меня, шедшего сзади, чадом. Так, предшествуемый коридорным с самоваром, я впервые — не знаменательно ли! — вошел к поэту, который назвал именем этой машины для приготовления чая одну из своих книг:

Если б кончить с жизнью тяжкой
У родного самовара,
За фарфоровую чашкой,
Тихой смертью от угара.

* * *

Я рисовал себе это свидание несколько иначе. Я думал, что меня встретит благообразный господин, на всей наружности которого отпечатлена его профессия — поэта-символиста. Ну, что-нибудь вроде Чулкова или Рукавишникова. Он встанет с глубокого кресла, отложит в сторону том Метерлинка и, откинув со лба поэтическую прядь, протянет мне руку. «Здравствуйте. Я рад. Вы один из немногих, сумевших заглянуть под покрывало Изиды...»

...В узком и длинном «номере» толпилось человек двадцать поэтов — все из самой зеленой молодежи. Некоторых я знал, некоторых видел впервые. Густой табачный дым застилал лица и вещи. Стоял страшный шум. На кровати, развалясь, сидел тощий человек, плешивый, с желтым потасканным лицом. Маленькие ядовитые глазки его подмигивали, рука ухарски ударяла по гитаре. Дрожащим фальцетом он пел:

Русского царя солдаты
Рады жертвовать собой,
Не из денег, не из платы,
Но за честь страны родной.

На нем был расстегнутый... дворянский мундир с блестящими пуговицами и голубая шелковая косоворотка. Маленькая подагрическая ножка лихо отбивала такт...

Я стоял в недоумении — туда ли я попал? И даже если туда, все-таки не уйти ли? Но мой знакомый К. уже заметил меня и что-то сказал игравшему на гитаре. Ядовитые глазки впились в меня с любопытством. Пение прекратилось.

— Иванов! — громко прогнусавил хозяин дома, делая ударение на *о*. — Добро пожаловать, Иванов! Водку пьете? Икру съели,

не надо опаздывать! Наверстывайте — сейчас жженку будем варить!..

Он сделал приглашающий жест в сторону стола, уставленного всевозможными бутылками, и снова запел:

Эх, ты, водка,
Гусарская тетка!
Эх, ты, жженка,
Гусарская женка!..

— Подтягивай, ребята! — вдруг закричал он, уже совершенно петухом. — пей, дворянство российское! Ура! С нами Бог!..

Я огляделся — «дворянство российское» было пьяно, пьян был и хозяин. Варили жженку, проливая горящий спирт на ковер, читали стихи, пели, подтягивали, пили, кричали «ура», обнимались. Недолго был трезвым и я. — «Иванов не пьет. Кубок Большого Орла ему!» — распорядился Садовский. Отделаться было невозможно. Чайный стакан какой-то страшной смеси сразу изменил мое настроение. Компания показалась мне приятной и начальственно-приятельский тон хозяина — вполне естественным.

...Табачный дым становился все сильнее. Стаканы все чаще падали из рук, с дребезгом разбиваясь. Как сквозь сон, помню надменно-деревянные черты Николая I, глядящие со всех стен, мундир Садовского, залитый вином, его сухой, желтый палец, поднесенный к моему лицу, и наставительный шепот:

— Пьянство есть совокупление астрала нашего существа с музыкой (ударение на *ы*) мироздания...

* * *

Та же комната. Тот же голос... Те же пронзительно-ядовитые глазки под плешивым лбом. Но в комнате чинный порядок, и фальцет Садовского звучит чопорно-любезно. В черном длинном сюртуке он больше похож на псаломщика, чем на забуддыгу-гусара.

На стенах, на столе, у кровати — всюду портреты Николая I. Их штук десять. На коне, в профиль, в шинели, опять на коне. Я смотрю с удивлением.

— Сей муж, — поясняет Садовский, — был величайшим из государей не токмо российских, но и всего света. Вот сынок, — меняет он выпранный тон на старушечий говор, — сынок был гусь

неважный. Экую мерзость выкинул — хамов освободил. Хам его и укокошил...

Среди портретов всех русских царей от Михаила Федоровича, развешанных и расставленных по всем углам комнаты, — портрета Александра II нет.

— В доме дворянина Садовского ему не место.

— Но ведь вы в Петербурге недавно. Что же, вы всегда возите с собой эти портреты?

— Вожу-с.

— Куда бы ни ехали?

— Хоть в Сибирь. Всех — это когда еду надолго, ну месяца на два. Ну, а на неделю, тогда беру только Николая Павловича, Александра Благословенного, матушку Екатерину, Петра. Ну, еще Елизавету Петровну — царица она, правда, была так себе, зато уж физикой хороша. Купчиха! Люблю!..

Садовский излагает свои «идеи», впиваясь в собеседника острыми глазами: принимает ли всерьез. Мне уже успели рассказать, что крепостничество и дворянство напускные, и я всерьез не принимаю.

Острые глазки смотрят пронзительно и лукаво. «...Священная миссия высшего сословия...» Он обрывает фразу, не окончив. — Впрочем, ну все это к черту. Давайте говорить о стихах!..

— Давайте.

* * *

Борис Садовский был слабый поэт. Вернее, он поэтом не был. От русского поэта у него было только одно качество — лень. Лень помешала ему заняться его прямым делом — стать критиком.

Если имя Садовского еще помнят за его бледно-аккуратные стихи — статьи его забыты всеми. Несправедливо забыты. Две книжки Садовского «Озимь» и «Ледоход», право, стоят многих «почтенных» критических трудов.

«Цепная собака “Весов”» — звали Садовского литературные враги — и не без основания. Список ругательств, часто непечатных, кем-то выбранный из его рецензий, занял полстраницы петита.

Но за ругательствами — был острый ум и понимание стихов насквозь и до конца. За полемикой, счетами, дворянскими придурями, блаженной памятью Николая I были страницы вполне замечательные.

Кстати, карьера Садовского — пример того, как опасно писателю держаться в гордом одиночестве. Сидеть в своем углу и пи-

сать стихи — еще куда ни шло. Но Садовский, когда его связь — случайная и непрочная — с московскими «декадентами» оборвалась, попытался «поплыть против течения», подавая «свободный глас» из своего «хутора Борисовка, Садовской тож». И его съели без остатка.

Выход «Озимии» и «Ледохода» был встречен общим улюлюканием. На свою беду, Садовский остроумно обмолвился — о поэзии по прусскому образцу с Брюсовым-Вильгельмом, Гумилевым-кронпринцем и их «лейтенантами». «Гумилев льет свою кровь на фронте, и мы не позволим...» — бил себя в грудь в «письмах в редакцию» Ауслендер. «Мы не позволим», — бил за ним в грудь Городецкий. Время было военное — Садовскому пришлось плохо. За «оскорбленным» Гумилевым никто не прочел и не оценил хотя бы удивительной статьи о Лермонтове, может быть, лучшей в нашей ли. ературе:

«...Собрание поэм Лермонтова — в сущности, гряда гениальных черновиков, перебелить которые помешала смерть...»

* * *

Среди окружавших Садовского забавной фигурой был тоже «бывший москвич» — поэт Тиняков-Одинокый. При Садовском он был не то в камердинерах, не то в адъютантах.

«Александр Иванович, сбегай, брат, за папиросами». — Тиняков приносил папиросы. — «Александр Иванович — пива!» — «Александр Иванович, где это Кант говорит то-то и то-то?» — Тиняков без запинки отвечал.

Это был человек страшного вида, оборванный, обросший волосами, ходивший в опорках и крайне ученый. Он изучил все, от клинописи до гипнотизма. Главным коньком его был Талмуд, изученный им досконально, но толковавшийся несколько специфически. Тиняков в трезвом виде был смирен и имел вид забитый и грустный. В пьяном, а пьян он был почти всегда, — он становился предприимчивым.

«Бродячая собака». За одним столиком сидят господин и дама — случайные посетители. «Фармацевты», на жаргоне «Собаки». Заплатили по три рубля за вход и во все глаза смотрят на «богему».

Мимо них неверной походкой проходит Тиняков. Останавливается. Уставляется мутным взглядом. Садится за их стол, не спрашивая. Берет стакан дамы, наливает вина, пьет.

«Фармацевты» удивлены, но не протестуют. «Богемные нравы... Даже интересно...»

Тиняков наливает еще вина. «Стихи прочту, хотите?»
«...Богемные нравы... Поэт... Как интересно... Да, пожалуйста, прочтите, мы так рады...»

Икая, Тиняков читает:

Любо мне, плевку-плевочку,
По канавке проплывать,
Скользким боком прижиматься...

— Ну, что... Нравится?

— Как же, очень!

— А вы поняли? Что же вы поняли? Ну, своими словами расскажите...

Господин мнется.

— Ну... эти стихи... вы говорите... что вы плевок... и...

Страшный удар кулаком по столу. Бутылка летит на пол. Дама вскакивает, перепуганная насмерть. Тиняков диким голосом кричит:

— А!.. Я плевок!.. я плевок!.. а ты...

Этот Тиняков в 1920 году неожиданно появился в Петербурге. Он был такой же, как всегда, грязный, оборванный, небритый. Откуда он взялся и чем занимается, никого не интересовало. Однажды он пришел в гости к писателю Г. Поговорили о том о сем и перешли к политике. Тиняков спросил у Г., что он думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думает.

— А, вот так, — сказал Тиняков. — Ты, значит, противник рабоче-крестьянской власти! Не ожидал! Хоть мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск. — И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных ЧК...

* * *

В 1916 году я был в Москве и завтракал с Садовским в «Праге». Садовский меня «приветствовал», как он выражался. Завтрак был пышный, счет что-то большой. Когда принесли сдачу, Садовский пересчитал ее, спрятал, порылся в кармане и вытащил два медных пятака. «Холоп! — он бросил пятаки на стол. — Тебе на водку». — «Покорнейше благодарим, Борис Александрович», — подобострастно раскланялся лакей, точно получив баснословное «на чай». Я был изумлен. «Балованный народ, — проворчал Садовский. — При матушке Екатерине за гривенник можно было купить теленка...»

Он медленно облачался в свое потертое пальто. Один лакей подавал ему палку, другой шарф, третий дворянскую фуражку.

Через несколько дней я зашел в «Прагу» один. Подавал мне тот же лакей. «Осмелюсь спросить, не больны ли Борис Александрович, — что-то их давно не видать». — «Нет, он здоров». — «Ну, слава Богу, — такой хороший барин». — «Ну, кажется, на чай он вас не балует?» — Лакей ухмыльнулся. — «Это вы насчет гривенника? Так они когда гривенник, а когда и четвертную отвалят... Не жалуемся — господин хороший...»

X

Осенью 1910 года из третьего класса заграничного поезда вышел молодой человек. Никто его не встречал, багажа у него не было — единственный чемодан он потерял в дороге.

Одет путешественник был странно. Широкая потрепанная крылатка, альпийская шапочка, ярко-рыжие башмаки, нечищенные и стоптанные. Через левую руку был перекинут клетчатый плед, в правой он держал бутерброд...

Так, с бутербродом в руке, он и протолкался к выходу. Петербург встретил его неприязненно: мелкий холодный дождь над Обводным каналом — веял безденежьем. Клеенчатый городской под мутным небом, в мрачном пролете Измайловского проспекта, напоминал о «правожительстве».

Звали этого путешественника — Осип Эмильевич Мандельштам. В потерянном в Эйдкунене чемодане, кроме зубной щетки и Бергсона, была еще растрепанная тетрадка со стихами. Впрочем, существенна была только потеря зубной щетки — и свои стихи, и Бергсона он помнил наизусть...

* * *

— ...В твои годы я сам зарабатывал свой хлеб!

Растрепанные брови грозно нахмуриваются над птичьим личиком. Тарелка с супом, расплескиваясь, отскакивает на середину стола. Салфетка летит в угол...

Отец — не в духе. Он всегда не в духе, отец Мандельштама. Он неудачник-коммерсант, чахоточный, затравленный, вечно фантазирующий. Постоянные надежды: вот наладится кожевенное дело. И сейчас же на смену разочарование: не повезло, не вышло, провалилось...

Мать — грузная, вялая, добрая, беспомощная, тайком сующая сыну рубль, сэкономленный на хозяйстве. Девяностолетняя высохшая бабушка, с тройными очками на носу, сгорбленная над Библией: высчитывает сроки пришествия Мессии...

Мрачная петербургская квартира зимой, унылая дача летом. И зимой, и летом — обеды в грозном молчании, разговоры вполголоса, страх звонка, страх телефона. Тень судебного пристава, вежливая и неумолимая, дымящийся бурый сургуч... Слезы матери — что мы будем делать? Отец точно лейденская банка, только тронь — убьет...

Висячая лампа уныло горит. Чай нейдет в горло.

«Что мы будем делать?» — Вексель предъявлен к протесту...

Тяжелая тишина. Из соседней комнаты — хриплый шепот бабушки, сгорбленной над Библией: страшные, непонятные древнееврейские слова.

Ничего, — как-то обходится. Пристав снял печати. Вексель согласились переписать. Снова — надежда: кажется, наладится экспорт масла...

Но все знают, что ничего не наладится, все неверно, неустойчиво — должно кончиться чем-нибудь страшным — разрывом сердца, самоубийством, нищетой.

...Худой, смуглый, некрасивый подросток, отделавшись наконец от томительного чаепития, читает у себя в комнате «Критику чистого разума». Трудно читать. Но Куно Фишер валяется под столом — к черту Куно Фишера.

«Головой» — трудно еще уследить за Кантом, но уже все существо впитывает, как воздух, его «чудный холод». В голове шумок тоже «чудный»: самое сладкое читать так — не умом, предчувствием...

Он откладывает книгу и подходит к окну. На пустом Каменноостровском — фонари. На морозном небе — зимние звезды. Как просторно там, в Петербурге, в мире, в пространстве...

— Осип, ложись спать. Опять отец рассердится.

— Ах, сейчас, мама.

...В голове туман. Кант... Музыка... Жизнь... Смерть... Сердце начинает стучать... Губы начинают шевелиться.

Образ твой, мучительный и зыбкий,

Я не мог в тумане осязать.

«Господи», — сказал я по ошибке,

Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди —
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...

* * *

Мандельштам — самое смешливое существо на свете.

Где бы он ни находился, чем бы ни был занят — только подмигните ему, и вся серьезность пропала. Только что вел важный и ученый разговор с не менее важным и ученым собеседником, и вдруг:

— Ха-ха-ха-ха...

Он хохочет до удушья. Лицо делается красным, глаза полны слез. Собеседник удивлен и шокирован. Что такое с молодым человеком, рассуждавшим так умно, так вдумчиво? Не болен ли он?..

О нет, не болен. Впрочем — пусть болен. Все-таки это более правдоподобно, чем если объяснять действительную причину смеха: кто-то чихнул, муха села кому-то на лысину...

— Зачем пишется юмористика? — искренне недоумевает Мандельштам. — Ведь и так *все* смешно.

Раз мы проходили по Сергиевской, мимо дома, где два года назад Мандельштам, «временно» проклятый и изгнанный отцом (это случалось часто), жил у тетушки с дядюшкой. Я навещал его несколько раз в этом изгнании. Жилось Мандельштаму там несравненно лучше, чем дома. И дядюшка, и тетушка ухаживали за племянником чрезвычайно. Тетушка, веселая, розовая, круглая, как шар, закармливала его чем-то жирным и вкусным, худощавый и лысый дядюшка потчевал хорошими папиросами, коньяком и совал в карман пятирублевки. Мандельштам тоже их искренне любил.

«Славные старики, милые старики...»

Мы проходили мимо дома этих «славных стариков». Я заметил на окнах их квартиры белые билетки о сдаче.

— Твои родные переехали? Где же они теперь живут?

— Живут?.. Ха... ха... ха... Нет, не здесь... Ха... ха... ха... Да, переехали...

Я удивился.

— Ну, переехали, — что ж тут смешного?

Он совсем залился краской.

— Что смешного? Ха... ха... А ты спроси, куда они переехали!..

Задыхаясь от хохота, он пояснил:

— В прошлом году... Тю-тю... от холеры... на тот свет переехали!
И, оправдываясь от своей неуместной веселости:

— Стыдно смеяться... Они были такие славные... Но так смешно — оба от холеры... А ты... ты... еще спрашиваешь... Куда пе... Ха... ха... ха... Пе... переехали...

Смешлив — и обидчив.

Поговорив с Мандельштамом час — нельзя его не обидеть, так же, как нельзя не рассмешить. Часто одно и то же сначала рассмешит его, потом обидит. Или — наоборот.

Это, впрочем, «общепозэтическое» — чувствовать обиды, настоящие и выдуманнные, с необыкновенной остротой. И тут же смеяться над ними и над собой.

Мандельштам обижался за то, что он некрасив, беден, за то, что стихов его не слушают, над пафосом его смеются...

Ну, а Байрон? Он был красив, знаменит и богат, но зато прихрамывал. О, чуть-чуть, почти незаметно.

А вряд ли не с этого прихрамывания пошел весь «байронизм»...

Да, это «общепозэтическое». Только о Мандельштаме как-то особенно «позаботилась» недобрая фея, ведающая судьбами поэтов. Она дала ему самый чистый, самый «ангельский» дар и бросила в мир вполне голым, беззащитным, неприспособленным... Барахтайся как можешь.

Он и барахтался:

Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!

* * *

Стихи, сочинявшиеся в Швейцарии или Гейдельберге русским студентом, удивлявшим местных жителей смешным клетчатым пледом, общипанными рыжими бачками и привычкой в учебные часы прогуливаться где-нибудь в парке, монотонно бормоча себе под нос (так стихи и сочинялись), стихи эти, рукопись которых потерялась вместе с Бергсоном и зубной щеткой, появились в ноябрьской книжке «Аполлона».

Дано мне тело. Что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

Я прочел это и еще несколько таких же «качающихся», туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце:

— Почему это не я написал?

Такая «поэтическая зависть» — очень характерное чувство. Гумилев считал, что она безошибочней всех рассуждений определяет «вес» чужих стихов. Если шевельнулось — «зачем не я» — значит, стихи «настоящие».

Стихи были удивительные. Именно удивительные. Они прежде всего удивляли.

Я очень «уважал» тогда «Аполлон», чрезмерно, пожалуй, уважал. Сам еще там не печатался и на всех печатавшихся смотрел как на каких-то посвященных. До этой ноябрьской книжки 1910 года все, печатавшееся в стихотворном отделе «Аполлона», я искренне считал поэзией. Но книжка со стихами Мандельштама впервые ввела меня в «роковое раздумье». Она выглядела особенной, непохожей на прежние. И не к украшению это ей служило...

Впервые блеск «Сребролукого» показался мне несколько... оловянным.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...

Стихи, подписанные неизвестным именем «О. Мандельштам», переливались, сияли, холодели, как звезды в воде. И от этого «звездного» соседства очень уж явно обнаруживалась природа всего окружающего — типографская краска и верже высшего качества.

Недели через две, в своей царскосельской гостиной, Гумилев, снисходительно улыбаясь (он всегда улыбался снисходительно), нас познакомил:

— Мандельштам. Георгий Иванов.

Так вот он какой — Мандельштам!

На шуплом теле (костюм, разумеется, в клетку, и колени, разумеется, вытянуты до невозможности, что не мешает явной франтоватости: шелковый платочек, галстук на боку, но в горошину

и пр.), на шуплом маленьком теле несоразмерно большая голова. Может быть, она и не такая большая, — но она так утрированно откинута назад на чересчур тонкой шее, так пышно выются и встают дыбом мягкие рыжеватые волосы (при этом посередине черепа лысина — и порядочная), так торчат оттопыренные уши... И еще чичиковские баки пучками!.. И голова кажется несоразмерно большой.

Глаза прищурены, полузакрыты веками — глаз не видно. Движения странно несвободные. Подал руку и сразу же отдернул. Кивнул — и через секунду еще прямее вытянулся. Точно на веревочке.

Заговорил он со мной, неизвестно почему, по-французски, старательно грассируя. На каком-то слишком «парижском» rrr... как-то споткнулся. Споткнулся, замолчал, залился густой малиновой краской, выпрямился еще надменной...

Это он, совсем меня не зная, не сказав со мной ни одной связанной фразы, — уже обиделся на меня. За что? — За то, что он не так что-то выговорил или не так подал руку и я это заметил и, про себя, что-нибудь непременно подумал...

А через четверть часа он за чаем смеялся до слез какому-то вздору, который я рассказал случайно. Что-то о везшем меня извозчике — чушь какую-то. Смеялся как ребенок, уткнувшись лицом в салфетку и задыхаясь.

Когда я впервые услышал стихи Мандельштама в его чтении, я был удивлен еще раз.

К странным манерам читать — мне не привыкать было. Все поэты читают «своеобразно» — один пришепetyвает, другой подвыывает. Я без всякого удивления слушал и «шансонетное» чтение Северянина, и рыканье Городецкого, и панихиду Чулкова. И все-таки чтение Мандельштама поразило меня.

Он тоже пел и подвывал. В такт этому пенью он еще покачивал обремененной ушами и баками головой и делал руками как бы пассы. В соединении с его внешностью пение это должно было казаться очень смешным. Однако не казалось.

Напротив — чтение Мандельштама, несмотря на всю его нелепость, как-то околдовывало. Он подпевал и завывал, покачивая головой на тонкой шее, и я испытывал какой-то холодок, страх, волнение, точно перед сверхъестественным. Такого беспримесного проявления всего существа поэзии, как в этом чтении, как в этом человеке (во всем, во всем, даже в клетчатых штанах), — я еще не видал в жизни.

И еще раз мне пришлось удивиться в этот первый день нашего знакомства. Кончив читать — Мандельштам медленно, как страус, поднял веки. Под красными веками без ресниц были сияющие, пронизывающие, прекрасные глаза.

* * *

«Над желтизной правительственных зданий» светит, не грея, шар морозного солнца. Извозчики везут седоков, министры сидят в величественных кабинетах, прачки колотят ледяное белье, конногвардейцы завтракают у «Медведя», — но что же делать в этом распорядке царского Петербурга — ему, Мандельштаму, точно и впрямь свалившемуся с какого-то Марса на петербургскую мостовую? Денег у него нет. Его оттопыренные уши мерзнут.

Летит в туман моторов вереница,
Самолюбивый скромный пешеход,
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет..

Что же, чем не занятие — шагать по тротуару, вдыхая бензин и стыдясь бедности! Тем более что —

...И в мокром асфальте поэт
Захочет — так счастье находит.

Вскоре по приезде из-за границы (в родительском доме стало ему совсем «не житье») Мандельштам зажил самостоятельно.

Мандельштам — и самостоятельная жизнь!

Жил все-таки. Ценою долгих разговоров, сложных обменов готового белья на превосходящую его груду нестираного — из цепких, красных рук прачек вырывались ослепительные пестрые рубашки, которыми любил блистать Мандельштам. Каким-то чудом поддавались уговорам и непреклонные по природе мелкие портные и кроили в кредит, вздыхая и качая головами, крупноклетчатые костюмы на его нелепую фигуру. Это и карманные деньги было самой сложной частью самостоятельного существования. Квартира и стол были делом пустяжным: симпатичные полковники в отставке и добродушные старые евреи, сдающие комнаты и не слишком притесняющие жильцов, в дореволюционные времена водились в Петербурге... Карманные деньги были нужны на табак и на черный кофе: для написания стихотворения в пять строф — Мандельштаму тре-

бывалось, в среднем, часов восемь, и в течение этого времени он уничтожал не менее пятидесяти папирос и полуфунта кофе.

Если денег окончательно нет — остается последний выход, утомительный, но верный. Броситься, как в пучину, под замороженную полость извозчика. — Пошел...

Заплатить нечем. Но ведь придется заплатить. Значит, кто-то где-то заплатит. А уж наверно у того, кто заплатит извозчику, найдется трехрублевка и для седока...

...Замороженный ванька плетется в «неизвестном направлении». Мелькают другие извозчики, знающие, куда ехать, с седоками, имеющими квартиры и текущие счета в банках. В витринах Елисеева мелькают тени ананасов и винных бутылок, призрак омара завивает во льду красный чешуйчатый хвост. На углу Конюшенной и Невского продаются плацкарты международных вагонов в Берлин, Париж, Италию... Раскрасневшиеся от мороза женщины кутаются в соболя; за стеклами цветочных магазинов — груды срезанных роз. — И все это так... кажушееся...

Реально — пальто, подбитое ветром, комната, из которой выселяют, извозчик, за которого неизвестно кто заплатит, некрасивое лицо с багровеющими от холода ушами, обиды настоящие и выдуманные, — выдуманные часто больше настоящих... И все то же, единственное жалкое утешение:

...И в мокром асфальте поэт
Захочет — так счастье находит.

...Зачем пишут юмористику — не понимаю, ведь и так *все смешно*...

Раз Мандельштам должен был срочно ехать в Варшаву. Он был влюблен (разумеется, безнадежно). И от этой поездки зависела как-то (или ему казалось, что зависела) «вся его судьба». Было военное время, но он проявил небывалую энергию и выхлопотал все пропуска и разрешения. Но в хлопотах он забыл о «пустяшном» — деньгах на поездку.

Ему надо было — «непреренно, или умереть» — быть в Варшаве к определенному сроку. И вот — нет денег. И полная, абсолютная невозможность их достать. Я столкнулся с ним в дверях одной редакции, где «высоко ценили» его «прекрасное дарование», но аванса, конечно, не дали. Он сказал тогда:

— Я только теперь понял, что можно умереть на глазах у всех, и никто даже не обернется...

В Варшаву он попал все-таки — его взял в свой санитарный поезд покойный Н.Н.Врангель. В Варшаве с его «судьбой» произошла какая-то катастрофа — Мандельштам стрелялся, конечно неудачно. Отлежавшись в госпитале — он вернулся в Петербург. На другой день после его приезда я встретил его в «Бродячей собаке». Давясь от смеха, он читал кому-то четверостишие, только что им сочиненное:

Не унывай,
Садись в трамвай,
Такой пустой,
Такой восьмой...

* * *

Когда пришел Октябрь и «неудачникам всех стран» были обещаны и дворцы, и обеды, и всяческие удачи, Мандельштам оказался «на той стороне» — у большевиков. Точнее — около большевиков. В партию он не вступил (по робости, должно быть: придут белые — повесят), товарищем народного комиссара не пристроился. Но терся где-то около, кому-то льстил, пожимал какие-то руки, которые не следовало пожимать, — пожимал и какими-то благами за это пользовался. Это было, конечно, не совсем хорошо, но и не так уж страшно, если подумать, какой безответственной (притом голодной, беспомощной, одинокой) «птицей Божьей» был Мандельштам. Да и не одному ему из «литераторов российских», и отнюдь при этом не «птицам», вроде Мандельштама, увы, придется элегически вздохнуть:

Какие грязные не пожимал я руки,
Не соглашался с чем... —

вспомнив 1918—1920 годы, Смольный, «Асторию», «Белый коридор» Кремля...

...1918 год. Мирбах еще не убит. Советское правительство еще коалиционное — большевики и левые эсеры. И вот в каком-то реквизированном московском особняке идет «коалиционная» попойка. Изобразить эту или подобную ей попойку не могу по простой причине: не бывал. Но вообразить ее нетрудно: интеллигентские бородки и золотые очки вперемежку с кожаными куртками. Советские дамы. «За милых женщин, прелестных женщин»... «Пупсик»... «Интернационал». Много народу, много выпивки

и еды. Тут же, среди этих очков, «Пупсика», «Интернационала», водки и икры — Мандельштам. «Божья птица», пристроившаяся к этой икре, к этим натопленным и освещенным комнатам, к «ассигновочке», которую Каменева завтра выпишет, если сегодня ей умело польстить. Все пьяны. Мандельштам тоже навеселе. Немного, потому что пить не любит. Он больше насчет пирожных, икры, «ветчинки»...

Советская попойка, конечно, тоже смешна, и как всякое сборище людей и «индивидуально»; и советскими манерами «прелестных женщин», и этим «мощным интернационалом», и мало ли чем. «Коалиция» пьет, Мандельштам ест икру и пирожные. Каменева на тонкую лесть мило улыбнулась и сказала: «Зайдите завтра к моему секретарю». «Пупсик» гремит. Тепло. Все хорошо. Все приятно. Все забавно. И... много пить не следует, но рюмку, другую...

Но вдруг улыбка на лице Мандельштама как-то бледнеет, вянет, делается растерянной... Что такое? Выпил лишнее? Или пепел душистой хозяйской сигареты прожег сукно только что, с такими хлопотами сшитого костюма?..

Или зубы, несчастные его зубы, которые вечно болят, потому что к дантисту, который начнет их сверлить, пойти не хватает храбрости, — зубы эти заныли от сахара и конфет?..

Нет, другое.

С растерянной улыбкой, с недоеденным пирожным в руках Мандельштам смотрит на молодого человека в кожаной куртке, сидящего поодаль. Мандельштам знает его. Это Блюмкин, левый эсер. Знает и боится, как боится, впрочем, всех, кто в кожаных куртках. Он решительно предпочитает мягко поблескивающие очки Луначарского или надушенные, отманикюренные ручки Каменевой. Кожаные куртки его пугают, этот же Блюмкин особенно. Это чекист, расстрельщик, страшный, ужасный человек... Обыкновенно Мандельштам старается держаться от него подальше, глазами боится встретиться. И вот теперь смотрит на него не сводя глаз, с таким странным, жалким, растерянным видом. В чем дело?

Блюмкин выпил очень много. Но нельзя сказать, чтобы он выглядел совершенно пьяным. Его движения тяжелы, но уверенны. Вот он раскладывает перед собою на столе лист бумаги — какой-то список, разглаживает ладонью, медленно перечитывает, медленно водит по листу карандашом, делая какие-то отметки. Потом, так же тяжело, но уверенно, достает из кармана своей кожаной куртки пачку каких-то ордеров...

— Блюмкин, чем ты там занялся? Пей за революцию...

И голосом, таким же тяжелым, с трудом поворачивающимся, но уверенным, тот отвечает:

— Погоди. Выпишу ордера... контрреволюционеры... Сидоров? А, помню. В расход. Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно в расх...

Вот на это-то смотрит, это и слушает Мандельштам. Бездомная птица Божья, залетевшая сюда погреться, поклевать икры, выпросить «ассигновочку».

Слышит и видит:

— ...Сидоров? А, помню, в расх...

...Ордера уже подписаны Дзержинским. Заранее. И печать приложена. «Золотое сердце» доверяет своим сотрудникам «всецело». Остается только написать фамилии и... И вот над пачкой таких ордеров тяжело, но уверенно поднимается карандаш пьяного чекиста.

— ...Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно...

И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит, как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, выхватывает ордера, рвет их на куски.

Потом, пока еще ни Блюмкин, ни кто не успел опомниться, — опрометью выбегает из комнаты, катится по лестнице и дальше, без шапки, без пальто, по ночным московским улицам, по снегу, по рельсам, с одной лишь мыслью: погиб, погиб, погиб... Всю ночь он пробродил по Москве, в страшном возбуждении. Может, благодаря этому возбуждению он, хватавший ангину от простого сквозняка, тут, пробыв на морозе без пальто всю ночь, даже не простудился. — «О чем же ты думал?» — спросил я его. «Ни о чем. Читал какие-то стихи, свои, чужие. Курил. Когда начался рассвет и Кремль порозовел, сел на скамейку у Москвы-реки и заплакал...»

Сел на скамейку, заплакал. Потом встал и поплелся в этот самый зарозовевший Кремль, к Каменевой.

Каменева, конечно, еще спала, он ждал. В десять часов Каменева проснулась, ей доложили о Мандельштаме. Она вышла, всплеснула руками и сказала:

— Пойдите в ванную, причешитесь, почиститесь! Я вам дам пальто Льва Борисовича. Нельзя же в таком виде везти вас к товарищу Дзержинскому.

И Мандельштам «чистился» в каменевской ванне, лил себе на голову каменевский одеколон, перевязывал галстук, ваксил башмаки. Потом пил с Каменевой чай. Пили молча.

Она молчала, и он молчал.

И о чем говорить, мой друг?..

Потом поехали.

Дзержинский принял сейчас же, выслушал внимательно Каменеву. Выслушал, потеребил бородку. Встал. Протянул Мандельштаму руку.

— Благодарю вас, товарищ. Вы поступили так, как должен был поступить всякий честный гражданин на вашем месте. — В телефон: — Немедленно арестовать товарища Блюмкина и через час собрать коллегия ВЧК для рассмотрения его дела. — И снова, к дрожащему дрожью счастья и ужаса Мандельштаму: — Сегодня же Блюмкин будет расстрелян.

— Ттоварищ... — начал Мандельштам, но язык не слушался, и Каменева уже тянула его за рукав из кабинета. Так он и не выговорил того, что хотел выговорить: просьбу арестовать Блюмкина, сослать его куда-нибудь (о, еще бы, какая же, если Блюмкин останется в Москве, будет жизнь для Мандельштама!). Но... «если можно», не расстреливать.

Но Каменева увела его из кабинета, довела до дому, сунула в руку денег и велела сидеть дня два, никуда не показываясь, — «пока вся эта история не уляжется»...

Выполнить этот совет Мандельштаму не пришлось. В двенадцать дня Блюмкина арестовали. В два — над ним свершился «строжайший революционный суд», а в пять какой-то доброжелатель позвонил Мандельштаму по телефону и сообщил: «Блюмкин на свободе и ищет вас по всему городу».

Мандельштам вздохнул свободно только через несколько дней, когда оказался в Грузии. Как он добрался туда — одному Богу известно. Но добрался-таки, вздохнул свободно. Свобода, впрочем, была довольно относительная: его посадили в тюрьму, приняв за большевистского шпиона.

Через несколько месяцев Блюмкин провинился «посерьезнее», чем подписыванием в пьяном виде ордеров на расстрел: он убил графа Мирбаха. Мандельштам из осторожности «выждал события»: мало ли как еще обернется. Но все шло отлично — левые эсеры рассажены по тюрьмам, Блюмкин, заочно приговоренный к расстрелу, исчез. Мандельштам стал собираться в Москву. Денег у него не было, той «энергии ужаса», которая чудом перенесла его из Москвы в Грузию, тоже. Все ничего — устроилось. Помогли

друзья — грузинские поэты: выхлопотали для Мандельштама... высылку из Грузии в административном порядке.

Первый человек, который попался Мандельштаму, только что приехавшему и зашедшему поглядеть, «что и как», в кафе поэтов, был... Блюмкин. Мандельштам упал в обморок. Хозяева кафе — имажинисты — уговорили Блюмкина спрятать маузер. Впрочем, гнев Блюмкина, по-видимому, за два года поостыл: Мандельштама, бежавшего от него в Петербург чуть ли не в тот же вечер, он не преследовал...

XI

Две узкие комнаты с окошками у потолка, точно в подвале. Но это не подвал, напротив — шестой этаж. Если подняться на носки или, еще лучше, стать на стул — внизу виден засыпанный снегом Таврический сад.

Комнаты небольшие. Мебель сборная. На стенах снимки с Боттичелли: нежно-грустные дети-ангелы на фоне мягкого пейзажа, райски-земного. Много книг. Если посмотреть на корешки — подбор пестрый. Жития святых и Записки Казановы, Рильке и Рабле, Лесков и Уайльд. На столе развернутый Аристофан в подлиннике. В углу, перед потемневшими иконами, голубая «архиерейская» лампадка. Смешанный запах духов, табаку, нагоревшего фитиля. Очень жарко натоплено. Очень светло от зимнего солнца.

Это комнаты Кузмина в квартире Вячеслава Иванова.

Первая — приемная, вторая — спальня. Кузмин встает часов в десять и работает в спальне у конторки — такой, за какими купцы сводят счета. Работает — стоя. Сидя — засыпаешь, уверяет он. Пишет Кузмин, по большей части, прямо набело. Испшет несколько страниц, погрызет кончик ручки и опять, не отрываясь, покрывает новые, почти без помарок.

Пока Кузмин работает — в «приемной» начинают собираться посетители. Какие-то лощеные штатские, какие-то юнкера. Зеленые обшлага правоведов, красные — лицеистов.

Это эстеты — поклонники «петербургского Уайльда», как они Кузмина называют.

Пока мэтр работает, эстеты болтают вполголоса.

— Я сейчас перечитываю Леконт де Лиля, — говорит один. — Как это прекрасно.

Другой, менее литературный, рассеянно морщится:

— *Quel est ce comte, Andre?*¹

— Вилье де Лиль-Адан — мой милый, — вставляет насмешливо третий.

Но литературный эстет не чувствует насмешки. Он равнодушно пожимает плечами:

— *Connais pas...*²

...такие гении, как Леонардо да Винчи...

...Леонардо, Леонардо — что такое ваш Леонардо! Если бы Аким Вольтский не написал о нем книги, никто бы о нем не помнил. Вот Клевер...

...А Петька-то опять у «Медведя» устроил скандал — слышали? — вставляет, соскучившись умными разговорами, эстет вовсе серый. — Нализался, велел принести миску, пустил туда омара... — Рассуждавшие о Леонардо смотрят на него укоризненно — кричит во весь голос, и еще какую-то чушь. Что скажет мэтр?

Но мэтр как раз заинтересован.

— Что вы говорите, Жоржик? Опять нализался! Ха, ха! Омара в миску? Ха, ха! Ну и что же? Что потом? Хотел драться? Какой сорванец! Обошлось без протокола? Ну, слава Богу. Все-таки влетит ему от ротмистра. Он заедет? Лежит дома? Надо навестить бедняжку...

Кузмин возвращается к своей конторке. Горничная приносит чай. Хрустя английским печеньем, дымя египетскими папиросами, эстеты продолжают болтовню.

...Роджерс вчера была очаровательна...

Тот же день вечером. У Вячеслава Иванова гости. В сводчатой зале, обставленной старинной итальянской мебелью, — «таврический мудрец» ведет важную беседу на какую-нибудь редкую и ученую тему. Это не «среда», когда в этой гостиной собирается весь литературный Петербург; несколько избранных, «посвященных» собрались потолковать о «тайнах искусства», недоступных профанам.

Кузмина нет. Но ведь это естественно. Что ему делать среди сеledородных профессоров?

Нет — Вячеслав Иванов уже дважды посылал спрашивать, «не вернулся ли Михаил Алексеевич». Наконец Кузмин входит. Папироса в зубах, запах духов, шегольской костюм, рассеянно-легкомысленный вид. Что ему тут делать?

¹ — Что это за граф, Андре? (*фр.*)

² — Не знаю такого... (*фр.*)

— Как хорошо, что вы пришли, дорогой друг, — говорит Вячеслав Иванов. — Мы поспорили тут на интересную филологическую тему. Профессору мои доводы кажутся неубедительными. Я рассчитываю на вашу эрудицию...

* * *

Когда в 1909 году я познакомился с Кузминым, Кузмин только что сбрил бороду. Если бы это касалось кого-нибудь другого — можно было бы о бороде и не упоминать. Но в биографии Кузмина сбритая борода, фасон костюма, сорт духов или ресторан, где он завтракал, — факты первостепенные. Вехи, так сказать. По этим «вехам» можно проследить всю «кривую» его творчества.

Итак — Кузмин только что сбрил бороду. Еще точнее: перестал интересоваться своей внешностью, менять каждый день цветные жилеты, маникюрить руки. Перестал запечатывать письма оранжевым сургучом с оттиском своего герба, перестал душить их приторным «Астрисом». Короче: апостол петербургских эстетов, идеал денди с солнечной стороны Невского стал равнодушен и к дендизму, и к эстетизму.

Перестал. Но костюмы элегантного покроя еще остались, запах «Астриса» из хрустящей бумаги еще не выветрился. И эти донашиваемые костюмы, эта дописываемая бумага приобрели вдруг «шарм», которого им прежде не хватало, — законный, скромный, побочный шарм вещей «при человеке».

Перестали быть (или казаться) целью — приобрели прелесть.

Маркизы, мушки, XVIII век, стилизованное вольнодумство, подвиги великого Александра, лотосы, Нил, нубийцы, опять XVIII век и маркизы — все, о чем писал Кузмин до тех пор, — перестало его интересовать вместе с галстуками и цветными сургучами. Но галстуки еще донашивались. Кузмин, бросив изысканные темы, — перешел к обыкновенным. Но его язык, манера, легкость — остались. И, перестав быть целью, — приобрели прелесть.

...В 1909—1910 годах Кузмин дописывал роман «Прекрасный Иосиф», последние стихи из «Осенних озер» — лучшее из им написанного и в прозе, и в стихах. Вещи Кузмина той эпохи были совсем хороши, особенно проза. Казалось, что поэт-денди, став просто поэтом, выходит на настоящую, широкую дорогу.

Казалось...

На «настоящую» дорогу Кузмин не вышел. В 1909—1910 годы он дописывал свои лучшие вещи. Следующая за «Осенними озерами» книга стихов «Глиняные голубки» — падение, не резкое, но явное.

Следующий роман — «Мечтатели» — тоже. Старые галстуки донашивались, новые не покупались. «Прекрасная ясность» стала походить на опасную легкость. Изящная небрежность — быстро превратилась в неряшливость. Освободившись от своего прежнего «эстетического» содержания, писания Кузмина с каждой новой вещью все определеннее делались болтовней безо всякого содержания вообще. Зинаида Петровна — дрянь и злока, она интригует и пакостит, у нее длинный нос, который она вечно пудрит. А подпоручик Ванечка похож на ангела... — вот и тема для повести, а то и для романа. И ставшая предательской «прекрасная ясность» придает все более мертво-фотографический оттенок пустым «разговорчикам» неинтересных персонажей...

Как же это случилось?

* * *

Сбритая борода, сорт духов, ресторан, где Кузмин завтракал, повторяю, — факты первостепенные в его биографии. Такова уж его «женственная» природа: мелочи занимают одинаковое место с важным, иногда большее. Судьба таких писателей целиком зависит от «воздуха», которым они дышат, — как бы талантливы они ни были. Даже так талантливы, как Кузмин.

Вначале Кузмин попал в блестящую среду — лучше нельзя было для него придумать. Он поселился в квартире Вячеслава Иванова, и все лучшее из написанного Кузминым — написано под «опекой» этого — может быть, единственного за всю историю русской литературы — знатока, ценителя, *друга* поэзии. Сам поэт холодный, тяжелый, книжный — чужие стихи, чужой дар В.Иванов понимал и умел направлять как никто.

Жизнь у В.Иванова была именно то, что Кузмину было нужно. Он стал писать уверенней, «звук» его поэзии становился все чище.

Но произошло охлаждение, и Кузмин от Иванова уехал. Жить один он органически не мог — немного времени спустя его уже окружает новое общество, тоже литературное. Он опять живет под одной крышей с другим писателем. Жить Кузмин один не мог — ему нужен был «воздух», чтобы дышать. Но вот воздух найден. И Кузмин дышит им так же свободно, как воздухом ивановской «башни».

Теперь он под опекой писательницы Н., автора «Гнева Диониса», — живет у нее. Теперь она дает ему литературные советы. Эстетические правоведы и юнкера, перекочевав за мэтром в гостеприимные салоны этой салонной писательницы, — довольны. Здесь гораздо веселей, чем на Таврической. Доволен и Кузмин — нет над

ним «никакого начальства», никто его не «направляет», никто не «рассчитывает на его эрудицию», когда ему лень после хорошего обеда вести умные разговоры. Здесь, за глаза и в глаза, называют его гением и на каждое его слово ахают от восторга...

...Михаил Алексеевич — вы русский Бальзак!

...Кузмин — это маркиз, пришедший к нам из дали веков...

...Он выстрадал свою философию...

Автор «Гнева Диониса», знаменитая писательница, внушает своему новому «союзнику»:

— Вы тонкий. Вы чуткий. Эти декаденты заставляли вас ломать свой талант. Забудьте то, что они вам внушали... Будьте самим собой.

Забыть так нетрудно. Стать «самим собой» так приятно. Писать, не ломая талант, — так легко. Теперь не то что переделок — и помазок не бывает.

И, главное, — никаких мудрствований, никаких подводных течений. Зинаида Петровна — дрянь и злока и вечно пудрит нос. А подпоручик Ванечка — ангел...

Дважды два — четыре,
Два да три — пять.
Вот и все, что мы можем,
Что мы можем знать...

...Charmant, charmant...¹

...Он выстрадал свою философию...

* * *

— Как вы думаете, включать мне эти стихи в книгу? — спрашиваю я у Кузмина.

Кузмин смотрит удивленно.

— Почему же не включать? Зачем же тогда писали? Если сочинили — так и включайте.

Он сам «включает» все, что написалось. Пишет, между прочим, что придется. Сонет-акrostих, и поэму, и слова для балета. На одной странице — стихи о сивилле, явившейся поэту (правда, они посвящены Н., что несколько смягчает их важный тон), а на другой:

Как радостна весна в апреле,
Как нам пленительна она;

¹ Очаровательно, очаровательно... (фр.)

В начале будущей недели
Пойдем сниматься у Боасона...

На самом деле собирался идти сниматься. За завтраком у Альбера — об этом проекте заговорили, пришла рифма «весна — Боасона», а там и весь «стишок». Придя домой, Кузмин аккуратно переписал его в тетрадку. Собирая новую книгу — не забыл вставить и этот.

...Зачем же не включать? Если написали, так и включайте...

Сочиняет стихи на ходу. Шел к вам — вот, сочинил по дороге. Пишет музыку — в комнате, где играют дети сестры. Басы на рояле ему не нужны: дети колотят по басам изо всей силы. А с другого бока, на клавишах повыше, Кузмин подбирает новую песенку, стряпает свою «музычку с ядом».

Прозу пишет прямо набело. — Зачем же переписывать, у меня почерк хороший?..

Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...

Сестры «прекрасная ясность» и «опасная легкость» — ваши приметы тоже одинаковы, для невнимательных, для не желающих быть внимательными глаз...

Но сам Кузмин — какая затейливая жизнь, какая странная судьба!

...Кузмин ходит в смазных сапогах и поддевке.

...Кузмин принимает гостей в шелковом кимоно, обмахиваясь веером...

...Он старообрядец с Волги...

...Он еврей...

...Он служил молодцом в мучном лабазе...

...Он воспитывался в Италии у иезуитов...

...У Кузмина удивительные глаза...

...Кузмин урод...

В этих пересудах много вздора, но в самом вздорном есть капля истины. Шелковые жилеты и ямщицкие поддевки, старообрядчество и еврейская кровь, Италия и Волга — все это кусочки пестрой мозаики, составляющей биографию Михаила Алексеевича Кузмина.

И внешность почти уродливая и очаровательная. Маленький рост, смуглая кожа, распластанные завитками по лбу и лысине, нафиксатуренные пряди редких волос — и огромные, удивительные, «византийские» глаза.

Жизнь Кузмина сложилась странно. Литературой он стал заниматься годам к тридцати. До этого занимался музыкой, но недолго. А раньше?

Раньше была жизнь, начавшаяся очень рано, страстная, напряженная, беспокойная. Бегство из дома в шестнадцать лет, скитания по России, ночи на коленях перед иконами, потом атеизм и близость к самоубийству. И снова религия, монастыри, мечты о монашестве. Поиски, разочарования, увлечения без счета. Потом — книги, книги, книги, итальянские, французские, греческие. Наконец, первый проблеск душевного спокойствия — в захолустном итальянском монастыре, в беседах с простодушным каноником. И первые мысли об искусстве — музыке...

* * *

Кузмин готовился быть композитором — учился у Римского-Корсакова. Консерватории не кончил, но музыки не бросил. Именно занятию музыкой Кузмин обязан своей быстрой литературной славой, может быть, и всей своей карьерой.

Музыкальный критик В.Каратыгин где-то услышал игру Кузмина и ею пленился. В качестве музыканта Кузмин и вошел в петербургский поэтический круг — а там уж распознали его настоящее призвание.

Стихам Кузмина «учил» Брюсов.

— Вот вы все ищете слов для музыки, — уговаривал его Брюсов, — и не находите подходящих. А другие находят без труда — берут первое попавшееся, какого-нибудь Ратгауза, и довольны. Вы же не находите. Почему? Потому, что для вас слова не менее важны. Значит, вы должны сами их сочинять.

— Помилуйте, Валерий Яковлевич, как же сочинять? Я не умею. Мне рифм не подобрать.

И Брюсов учил тридцатилетнего начинающего «подбирать рифмы». Ученик оказался способным.

Кстати — о кузминской музыке. Сам он определял ее так: — У меня не музыка, а музычка, но в ней есть яд.

Точное определение.

Какая-нибудь петербургская гостиная. Дамы и молодые люди, поднесенные к глазам лорнетки, учтивые улыбки. — Михаил Алексеевич, сыграйте. — Кузмин по-женски жеманится. — Право, не знаю... — Пожалуйста, пожалуйста. — Жеманьясь, Кузмин идет к роялю. Тоже как-то по-женски трогает клавиши. С улыбкой оборачивается. — Но что же мне играть? Я не помню, я забыл ноты...

Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и летом сорвешь...

Кузмин, картавя и пришептывая, поет по-старушечьи, подыг-
рывая что-то сладко-меланхолическое. Голоса у него нет. Пустые,
глуповатые слова, пустая, глуповатая музыка под XVIII век. Не му-
зыка — музычка. Закройте глаза: разве это не бабушка-помещица,
окруженная внуками, играет, вспоминая молодость, старинные
чувствительные романсы?

Когда бы в юности мы знали,
Как быстро дни любви бегут,
Мы б ничего не пропускали,
Ловя блаженство там и тут...

Не музыка — музычка. Но в ней — яд.

Уже не в салоне, а окруженный знатоками, поет и играет Куз-
мин. Каратыгин. Метнер. Браудо. Они внимательно слушают это
странное «чудо». Подражательно? — Еще бы. Банально? — Баналь-
но. Легковесно? — Легковесно. Но...

— Михаил Алексеевич, еще, еще спойте...

Дребезжит срывающийся голос, плывут с простенькой мелоди-
ей глуповато-чувствительные «стишки», привычно сталкиваются
незатейливые рифмы:

Мне матушка сказала:
Беги любви злой,
Ее опасно жало,
Уколет не иглой.

Я матушке послушна,
Приму ее совет,
Но можно ль равнодушной
Прожить в шестнадцать лет?

* * *

И литературная судьба у Кузмина странная.

После 1905 года вкусы русской «передовой» публики начали ме-
няться. Всевозможные «дерзания» ее утомили. После громов пер-
вых лет символизма хотелось простоты, легкости, обыкновенного
человеческого голоса.

Кузмин появился как нельзя вовремя.

Первое стихотворение его первой книги начиналось строчками, прозвучавшими тогда как откровение:

Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку...

Вот, вот — именно. Все устали от слога высокого, все хотели «прекрасной ясности», которую провозгласил Кузмин.

И редко чье имя произносилось с большим вниманием и надеждой, чем тогда имя Кузмина. И не только читателями, но и людьми, чье одобрение вряд ли можно было заслужить не по праву, — В.Ивановым, Иннокентием Анненским. Для лучшей части тогдашней поэтической молодежи имя Кузмина было самым дорогим.

Они пленительны и сейчас, его ранние вещи. И сейчас, когда очарование новизны прошло, а все недостатки этой поэзии проступили. Перечтите «Сети», «Осенние озера», первые три тома рассказов, «Куранты любви». При всех «частностях» — это прекрасное достояние русской литературы. И это, я думаю, в ней останется.

Но:

...Зачем же переписывать — у меня почерк хороший...

...Если написали — так и включайте...

...Он выстрадал свою философию...

...В начале будущей недели пойдем сниматься к Боасона...

Прекрасная ясность — опасная легкость.

У Кузмина было все, чтобы стать замечательным писателем. Не хватало одного — твердости. «Куда ветер подует».

Ветер подул сначала в сторону бульварного романа, потом обратно к стилизации, потом к Маяковскому, потом еще куда-то. Для судеб русской поэзии эта «смена ветров» уже давно стала безразличной.

XII

Василеостровская вдова-чиновница, колебавшаяся, сдавать или не сдавать комнату Гумилеву, говорила:

— Конечно, вы господин солидный... Слава Богу, я господ знаю... Собственный домик, говорите, в Царском? Так, так. Комнатку, чтобы было где переночевать, когда наезжаете?.. Так, так. Понятно, нынче с поездами мучение. Верю, сударь, и понимаю; знаю, сла-

ва Богу, господ. Мне такой жилец, как вы, — самый подходящий. Только... Желаете, я вам адресок дам, недалеко, тут же на Тучковом — тоже комнаты сдаются. Вы поглядите, может, подойдет...

— Да зачем я пойду глядеть? Мне у вас нравится.

Вдова жеманно улыбалась.

— И вы мне нравитесь, господин. Слава Богу... Вижу, с кем имею дело. Собственный домик... Жилец тихий, образованный...

— Ну так что ж? Давайте по рукам. Завтра же и перееду.

Вдова помолчала минуту.

— Тут же, на Тучковом. За углом. Хорошие комнаты, светлые. Одна подполковница сдает. Сходите, господин, вам пондравится... А я, извиняюсь, — опасуюсь...

— Чего же вы опасаетесь?

— Да ведь вы сами сказали, что поэты. А в поэты, известно, публика идет, извиняюсь, не того... Женщина я старая, мне покой дороже. Сходите, господин, к генеральше...

Как это ни обидно, надо сознаться, что устами старухи говорила житейская мудрость. «Шла в поэты» публика действительно «не того» — странная, шалая, беспокойная...

* * *

Поэт Владимир Нарбут ходил бриться к Молле — самому дорогому парикмахеру Петербурга.

— Зачем же вы туда ходите? Такие деньги, да еще и бреют как-то странно.

— Ё-ы, — улыбается Нарбут во весь рот. — Ё-ы, действительно, дороговато. Эйн, цвей, дрей — лосьону и одеколону, вот и три рубля. И бреют тоже — эйн, цвей, дрей — чересчур быстро. Рраз — одна щека, рраз — другая. Страшно — как бы носа не отхватили.

— Так зачем же ходите?

Изрытое оспой лицо Нарбута расплывается еще шире.

— Ё-ы! Они там все по-французски говорят.

— Ну?

— Люблю послушать. Вроде музыки. Красиво и непонятно...

Этот Нарбут был странный человек.

В 1910 году вышла книжка: «Вл. Нарбут. Стихи». Талантливая книжка. Темы были простодушные: гроза, вечер, утро, сирень, первый снег. Но от стихов веяло свежестью и находчивостью — «Божьего дара».

Многое было неумело, иногда грубовато, иногда провинциально-эстетично (последнее извинялось тем, что большинство стихов

было написано каким-то медвежьим углом Воронежской губернии), многое было просто зелено — но все-таки книжка обращала на себя внимание, и в «Русской мысли» и «Аполлоне» Брюсов и Гумилев очень сочувственно о ней отозвались. Заинтересовались стихами, заинтересовались и автором — где он, каков? Оказалось — Нарбут, брат известного художника Егора Нарбута. Обратились к художнику с расспросами. Тот покрутил головой.

— Братишка мой? Ничего, парень способный. Только не надейтесь — толку не будет. Пьет сильно и вообще хулиган...

— Где же он?

— У себя в Саратовской, именице там у него. Пьянствует, должно быть, — осенью у него всегда кутеж: урожай продал.

— А в Петербург не соберется?

— Соберется, не беспокойтесь. Особенно теперь, как вы его по «Аполлонам» расхвалили. Успеете познакомиться... И пожалеть о знакомстве успеете...

Разговор шел в ноябре. А в январе секретарь «Аполлона» был вызван в суд свидетелем по делу сотрудника «Аполлона», «дворянина Владимира Нарбута». Нарбут собрался наконец в Петербург — и в первый же вечер был задержан «за оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей». Ночью, по дороге из «Давыдки» в какой-то другой кабак, подзадориваемый сопровождавшими его прихлебателями, пытался влезть на хребет одного из коней Клодта на Аничковом мосту и нанес тяжкие побои помешавшему ему городовому...

* * *

Нарбут приехал в Петербург не для того только, чтобы оседлать чугунного скакуна, уплатить по суду соответственный штраф и завести литературные знакомства. У него была цель и посерьезней — удивить и потрясти и Петербург, и литературу.

Когда Нарбуту говорили что-нибудь лестное о его прежних стихах — он только улыбался загадочно-снисходительно: погодите, то ли будет. Вскоре, то там, то здесь, в литературной хронике промелькнула новость: Вл. Нарбут издает новую книгу «Аллилуйя». Как известно, значение, которое поэт придает появлению своей книги, обратно пропорционально впечатлению от этого же события на читателя. По подсчету Брюсова, его читали, по всей России, около тысячи человек. Брюсова в преуменьшении из скромности заподозрить трудно. А подсчитано это в разгар всероссийской славы Брюсова и читательского интереса к нему. Чего же было ждать начина-

ющему? От одобрительных рецензий в «Аполлоне» и «Русской мысли» до славы, ну, по крайней мере как у Леонида Андреева, было очень далеко. Нарбут, при всей своей самонадеянности, это понимал. Но так как славы ему очень хотелось, ждать у моря погоды было не в его нравах, а довольствоваться малым он не привык, то Нарбут и решил форсировать события.

* * *

Синодальная типография, куда была сдана для набора рукопись «Аллилуйя», ознакомившись с ней, набирать отказалась «ввиду светского содержания». Содержание действительно было «светское» — половина слов, составляющих стихи, была неприличной.

Синодальная типография потребовалась Нарбуту — потому что он желал набрать книгу церковно-славянским шрифтом. И не простым, а каким-то отборным. В других типографиях такого шрифта не оказалось. Делать нечего — пришлось купить шрифт. Бумаги подходящей тоже не нашлось в Петербурге — бумагу выписали из Парижа. Нарбут широко сыпал чаевые наборщикам и метранпажам, платил сверхурочные, нанял даже какого-то специалиста по церковно-славянской орфографии... В три недели был готов этот типографский шедевр, отпечатанный на голубоватой бумаге с красными заглавными буквами, и (Саратов дал себя знать) портретом автора с хризантемой в петлице, и лихим росчерком...

По случаю этого события в «Вене» было устроено Нарбутом неслыханное даже в этом «литературном ресторане» пиршество. Борис Садовский в четвертом часу утра выпустил все шесть пуль из своего «бульдога» в зеркало, отстреливаясь от «тени Фаддея Булгарина», метрдотеля чуть не выбросили в окно — уже раскачали на скатерти — едва вырвался. Нарбут в залитом ликерами фраке, с галстуком на боку и венком из желудей на затылке, прихлебывая какую-то адскую смесь из пивной кружки, принимал поздравления. Городецкий (это он принес венок из желудей) ухаживал за «юбиларом» деятельней всех. Он уже выпил с ним на «ты» и теперь, колотя себя в грудь, пророчествовал:

— Ты... ты... я верю... вижу... будешь вторым... Кольцовым.

Но Нарбут недовольно мотнул головой.

— Ккольцовым?.. Ннне хочю...

— Как? — ужаснулся Городецкий. — Не хочешь быть Кольцовым? Кем же тогда? Никитиным?

Нарбут наморщил свой изрытый, безбровый лоб. Его острые глазки лукаво блеснули.

— Не... Хабриэлем Даннунцио...

Славы «Хабриэля Даннунцио» — «Аллилуйя» Нарбуту не принесла. Книга была конфискована и сожжена по постановлению суда.

Не знаю, подействовала ли на Нарбута эта неудача или на «Аллилуйю» ушел весь запас его изобретательности.

...Нарбут не пьет... Нарбут сидит часами в Публичной библиотеке... Нарбут ходит в университет... Для знавших автора «Аллилуйи» — это казалось невероятным. Но это была правда. Нарбут — «остепенился».

В этот «тихий» период я встречал его довольно часто, то там, то здесь. Два-три разговора запомнились. Я и не предполагал, как крепко сидит в этом кутиле и безобразнике страсть, наивная «страсть к прекрасному».

Постукивая дрянной папироской по своему неприлично большому и тяжелому портсигару (вдобавок украшенному бриллиантовым гербом рода Нарбутов), морща рябой лоб и заикаясь, он говорил:

— Меня считают дураком, я знаю. Экая скотина — снял урожай, ободрал мужиков и пропивает. Пишет стихи для отвода глаз, а поскреби — крепостник Тит Титыч, почти что орангутанг. А я?..

Молчание. Пристальный взгляд острых, маленьких, холодных глаз. Обычная плутовская «хохлацкая» усмешка сползает с лица. Вдох.

— А я?.. Какой же я дурак, если я смотрю на Рафаэля и плачу? Вот... — он достает из бумажника, тоже украшенного короной, затрепанную открытку. — Вот... Мадонна... Сикстинская... Был за границей. Берлин там. «Цоо», тигра икрой кормил, — ничего, жрет, еще просит, — видно, вкусней человечины, Винтергартен какой-то. Ну, дрянь, пошлость. Коньяк отвратительный, зато дешев — дешевле водки. Пьянствовали мы, пьянствовали, и попал я как-то в Дрезден. Тоже по пьяной лавочке, с компанией. Уж не помню, как оказались в этой, как ее... Пинакотеке... Нет, это в Мюнхене — Пинакотека. Ну, все равно, идем, глядим, ну, известно, — музей, картины, голые бабы, дичь... Идем, галдим — известно, из кабака по дороге в кабак — зашли случайно. И вдруг у какой-то двери сторож, старенький такой немец, делает нам знак, здесь, мол, кричать запрещено. Мы удивились, однако прикусили языки — может быть, в той комнате Вильгельм или какой-нибудь Бисмарк тоже осматривает... Входим осторожно. Никого в комнате нет. Так себе

зальца небольшая. И на стене эта... Сикстинская Мадонна... Полчаса, должно быть, я стоял перед нею, сволоочь свою отослал — что она понимает, — сам стою, слезы так и текут. До вечера, может быть, так простоял — сам себя заставил уйти — довольно с тебя, и так на всю жизнь хватит! Такая красота, такая чистота, главное! Сторожу дал двадцать пять марок — на тебе, говорю, даю, в ее честь даю... Понял, кажется...

Нарбут молчит минуту. Его маленькие бесцветные глазки затуманиваются. Две слезы появляются на красных веках без ресниц.

— Да, это — красота, это — искусство. Полчаса глядел — а на всю жизнь хватит. На сто жизней! Запил я после этого отчаянно — дым коромыслом. Весь Дрезден вверх дном. Чуть под суд не попали — какого-то штатсрата смазали по морде, с пылу с жару. Ничего, откупились... Да, это искусство! Или еще Пушкин:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною...

Об этих стихах даже думать спокойно не могу, сейчас сердце колотиться начинает. Когда на Кавказе был — ездил специально смотреть на эту Арагву. Речонка паршивая, кстати, мутная... Вот! Какой же я орангутанг, если я так красоту чувствую? А что безобразничаю и Брюсова не боюсь, так потому, что знаю: нечего мне его бояться — и мне, и ему, и третьему — одна цена. Если орангутанги — так все орангутанги. А к Пушкину — в лакеи поступить за счастье бы почел. Вы только вслушайтесь:

Шумит *Арагва* предо мною...

Попалась ему эта Арагва шашлычная, и что он из этой Арагвы сделал? Какое чудо!..

И слезы текут из глаз Нарбута уже одна за другой. А он не пьян. Два-три графинчика водки, только что выпитых, — не в счет.

* * *

В период остепенения Нарбут решил издавать журнал.

Но хлопотать над устройством журнала ему было лень, и вряд ли из этой затеи что-нибудь вышло бы, если бы не подвернулся случай. Дела дешевого ежечасника — «Новый журнал для всех» — после смены нескольких издателей и редакторов стали совсем плохи. Последний из издателей этого, ставшего убыточным, предпри-

ятия — предложил его Нарбуту. Тот долго не раздумывал. Дело было для него самое подходящее. Ни о чем не нужно хлопотать, все готово: и контора, и контракт с типографией, и бумага, и название. Было это, кажется, в марте. Апрельский номер вышел уже под редакцией нового владельца.

Вероятно, подписчики «Нового журнала для всех» были озадачены, прочтя эту апрельскую книжку. Журнал был с «направлением», выписывали его сельские учителя, фельдшерицы, то, что называется «сельской интеллигенцией». Нарбут поднес этим читателям, привыкшим к Чирикову и Муйжелю, собственные стихи во вкусе «Аллилуйи», прозу Ивана Рукавишникова, а отделы статей от политического до сельскохозяйственного «занял» под диспут об акмеизме с собственным пространным и сумбурным докладом во главе. Тут же объявлялось, что обещанная прежним издателем премия — два тома современной беллетристики — заменяется новой: сочинения украинского философа Сквороды и стихи Бодлера в переводе Владимира Нарбута.

Подписчики были, понятно, возмущены. В редакцию посыпались письма недоумевающие и просто ругательные. В ответ на них новая редакция сделала «смелый жест». Она объявила, что «Журнал для всех» вовсе не означает «для всех тупиц и пошляков». Последним, т.е. требующим Чирикова вместо Сквороды и Бодлера, — подписка будет прекращена, а удовлетворены они будут «макулатурой по выбору» — книжками «Вестника Европы», сочинениями «Надсона или Иванова-Разумника».

Тут уж по адресу Нарбута пошли не упреки, а вопль. В печати послышалось «позор», «хулиганство» и т.п. Более всего Нарбут был удивлен, что и его литературные друзья, явно предпочитавшие Бодлера Чирикову и знавшие, кто такой Скворода, говорили почти то же самое. Этого Нарбут не ожидал — он рассчитывал на одобрение и поддержку. И, получив вместо ожидавшихся лавров — одни неприятности, решил бросить журнал. Но легко сказать — бросить. Закреть? Тогда не только пропадут уплаченные деньги, но придется еще возвращать подписку довольно многочисленным «пошлякам и тупицам». Этого Нарбуту не хотелось. Продать? Но кто же купит?

Покупатель нашелся. Нарбут где-то кутил, с кем-то случайно познакомился, кому-то рассказал о своем желании продать журнал. Тут же в дыму и чаду кутежа (после неудачи с редакторством Нарбут «загулял всю») подвернулся и сам покупатель — благообразный, полный господин купеческой складки, складно говорящий и не особенно прижимистый. Ночью в каком-то кабаке, под цыганский

рев и хлопанье пробок — ударили по рукам, выпив заодно и на «ты». А наутро невыспавшийся и всклокоченный Нарбут был уже у нотариуса, чтобы оформить сделку — покупатель очень торопился.

Гром грянул недели через две — когда вдруг все как-то сразу узнали, что «декадент Нарбут» продал как-никак «идейный и демократический» журнал Гарязину — члену Союза русского народа и другу Дубровина...

* * *

После истории с Гарязиным Нарбут исчез из Петербурга. Куда? Надолго ли? Никто не знал. Прошло месяца три, пока он объявился.

Объявился же он так. Во все петербургские редакции пришла краткая, но эффектная телеграмма:

«Абиссиния. Джибутти. Поэт Владимир Нарбут помолвлен с дочерью повелителя Абиссинии Менелика».

Вскоре пришло и письмо с абиссинскими штемпелями и марками, в центре которых красовался герб Нарбутов, оттиснутый на лиловом сургуче с золотой искрой. На подзаголовке под штемпелем «Джибутти. Гранд-отель» — стояло:

«Дорогие друзья (если вы мне еще друзья), шлю привет из Джибутти и завидую вам, потому что в Петербурге лучше. Приехал сюда стрелять львов и скрываться от позора. Но львов нет, и позора, я теперь рассудил, тоже нет: почему я знал, что он черносотенец? Я не Венгеров, чтобы все знать. Здесь тощища. Какой меня черт сюда занес? Впрочем, скоро приеду и сам все расскажу.

...Брак мой с дочкой Менелика расстроился, потому что она не его дочка. Да и о самом Менелике есть слух, что он семь лет тому назад умер...»

Приехал Нарбут из Африки какой-то желтый, заморенный. На «приеме», тотчас же им устроенном, он охотно отвечал на вопросы любопытных об Абиссинии, — но из рассказов его выходило, что «страна титанов золотая Африка» — что-то вроде русского захолустья: грязь, скука, пьянство. Кто-то даже усумнился, да был ли он там на самом деле?

Нарбут презрительно оглядел сомневающегося.

— А вот приедет Гумилев, пусть меня проэкзаменует.

... — Как же я тебя экзаменовывать буду, — задумался Гумилев. — Языков ты не знаешь, ничем не интересуешься... Хорошо, что такое «текели»?

— Третью рома, третью коньяку, содовая и лимон, — быстро ответил Нарбут. — Только я пил без лимона.

— А... — Гумилев сказал еще какое-то туземное слово.

— Жареный поросенок.

— Не поросенок, а вообще свинина. Ну ладно, скажи мне теперь, если ты пойдешь в Джибутти от вокзала направо, что будет?

— Сад.

— Верно. А за садом?

— Каланча.

— Не каланча, а остатки древней башни. А если повернуть еще направо, за башню, за угол?

Рябое, безбровое лицо Нарбута расплылось в масляную улыбку:

— При дамах неудобно...

— Не врет, — хлопнул его по плечу Гумилев. — Был в Джибутти. Удостоверяю.

Вскоре оказалось, что Нарбут вывез из Африки не только эти познания, но еще и лихорадку. Оттого-то он и приехал такой желтый. К его огорчению, и лихорадка была вовсе не экзотическая. — В Пинске, должно быть, схватили? — спросил его доктор.

Нарбут уехал поправляться сначала в деревню, потом куда-то на юг. В 1916 году он был ненадолго в Петербурге. Шинель прапорщика сидела на нем мешком, рука была на перевязи, вид мрачный. Потом прошел слух, что Нарбут убит. Но нет — в 1920 году в книжном магазине я увидел тощую книжку, выпущенную каким-то из провинциальных отделов «Госиздата»: «Вл. Нарбут. Красный звон» или что-то в этом роде. Я развернул ее. Рифма «капитал» и «восстал» сразу же попала мне на глаза. Я бросил книжку обратно на прилавок...

XIII

Есть воспоминания, как сны. Есть сны — как воспоминания. И когда думаешь о бывшем «так недавно и так бесконечно давно», иногда не знаешь — где воспоминания, где сны.

Ну да, — была «последняя зима перед войной» и война. Был Февраль и был Октябрь... И то, что после Октября, — тоже было. Но, если взглядеться пристальней, — прошлое путается, ускользает, меняется.

...В стеклянном тумане, над широкой рекой — висят мосты, над гранитной набережной стоят дворцы, и две тонких золотых иглы слабо блестят... Какие-то люди ходят по улицам, какие-то события совершаются. Вот царский смотр на Марсовом поле... и вот красный

флаг над Зимним дворцом. Молодой Блок читает стихи... и хоронят «испепеленного» Блока. Распутина убили вчера ночью. А этого человека, говорящего речь (слов не слышно, только ответный глухой одобрительный рев), — зовут Ленин... Воспоминания? Сны?

Какие-то лица, встречи, разговоры — на мгновение встают в памяти без связи, без счета. То совсем смутно, то с фотографической четкостью... И опять — стеклянная мгла, сквозь мглу — Нева и дворцы; проходят люди, падает снег. И куранты играют «Коль славен...».

Нет, куранты играют «Интернационал».

* * *

Падает снег. После вагонного тепла — сырой холодок оттепели пронизывает, забирается в рукава и за шиворот. И что за идея ехать ночью в Царское?! Но делать нечего — приехали, и обратного поезда нет.

Тускло горят фонари. Ветки в инее. Звезды.

— Эй, извозчик...

Сани мягко летят по рыхлому, талому снегу.

Городецкий обнимает меня за талию, галантно, на поворотах. На коленях у нас Мандельштам. Гумилев с Ахматовой — на переднем извозчике указывают дорогу — это они и выдумали ехать, на ночь глядя, в Царское. Им-то что — царскоселы. «Но нам-то, нам-то всем». В самом деле, глупо. После какого-то литературного обеда, где было порядочно выпито, поехали куда-то еще — «пить кофе». Потом еще куда-то. В первом часу ночи оказались на царскосельском вокзале. От «кофе», выпитого и здесь и там, головы кружились.

— Поедем в Царское... Смотреть на скамейку, где любил сидеть Иннокентий Анненский.

— Едем, едем...

В самом деле, как раньше не догадаться? Удачней нельзя и придумать, не правда ли? Ночью, по снегу, в какой-то закоулок Царскосельского парка — на скамейку посмотреть. И за это удовольствие ждать потом до семи часов утра — первого поезда в Петербург!

Но «кофе» действовало, головы кружились.

— Едем, едем...

Вот — приехали. В вагонном тепле — укачало. На талом холодке развезло. Право, как глупо. Зачем приехали, куда приехали?!.

Гумилев с Ахматовой (им что — царскоселы) впереди — указывают дорогу. Мандельштам на моих с Городецким коленях замерза-

ет, стал тяжелый, как мешок, и молчит. За нами на третьем извозчике еще два «акмеиста», стараются не отстать, у них нет денег на оплату, останут — погибнут.

У каких-то чугунных ворот — останавливаемся. Бредем куда-то, по колено в снегу Деревья шумят заиндевевшими ветками. Звезды слабо блестят. Идем в том же порядке — мы с Городецким под ручки ведем Мандельштама, все тяжелеющего и тяжелеющего. Сугробы все глубже, холод чувствительней. О Господи...

Гумилев оборачивается.

— Пришли! Это и есть любимое место Анненского. Вот и скамья.

Снег, деревья, скамья. И на скамье горбатой тенью сидит человек. И негромким, монотонным голосом читает стихи...

...Человек ночью, в глухом углу Царскосельского парка, на засыпанной снегом скамье глядит на звезды и читает стихи. Ночью, стихи, на «той самой» скамье. На минуту становится жутко, — а ну как...

Но нет, это не призрак Анненского. Сидящий оборачивается на наши шаги. Гумилев подходит к нему, всматривается...

— Василий Алексеевич — вы?.. Я не узнал было. Господа, позвольте вас познакомиться. Это — «Цех поэтов»: Городецкий, Мандельштам, Георгий Иванов.

Человек грузно подымается и пожимает нам руки. И рекомендует:

— Комаровский.

У него низкий, силовый голос, какой-то деревянный, без интонаций. И рукопожатие тоже деревянное, как у автомата. Кажется, он ничуть не удивлен встрече.

— Приехали на скамейку посмотреть? Да, да — та самая. Я здесь часто сижу... когда здоров. Здесь хорошее место, тихое, глухое. Даже и днем редко кто заходит. Недавно гимназист здесь застрелился — только на другой день нашли. Тихое место...

— На этой скамейке застрелился?

— На этой. Это уже второй случай. Почему-то выбирают все эту. За уединенность, должно быть.

— Как же вам не страшно сидеть здесь по ночам одному? — вмешиваюсь я в разговор.

Комаровский оборачивается ко мне и улыбается. Свет фонаря падает на его лицо. Лицо круглое, «обыкновенное», — такие бывают немцы-коммерсанты средней руки. Во всю щеку румянец. И что-то деревянное в лице и улыбке.

— Нет, когда я здоров, мне ничего не страшно. Кроме мысли, что болезнь вернется.

Он в течение нашего короткого разговора несколько раз повторяет «моя болезнь», «когда я здоров», «тогда я был болен». Что это за болезнь у этого широкоплечего и краснощекого?

— Болезнь вернется? — повторяю я машинально конец его фразы.

— Да, — говорит он, — болезнь. Сумасшествие. Вот, Николай Степанович знает. Сейчас у меня «просветление», вот я и гуляю. А вообще я больше в больнице живу.

И, не меняя голоса, продолжает:

— Если вы, господа, не торопитесь, — вот мой дом, выпьем чаю — почитаем стихи.

...В большой столовой, под сияющей люстрой, мы пьем токайское из тонких желтоватых рюмок. Стелянные двери раскрыты в зимний сад, камин жарко горит. И еще — этот ослепительный свет. Все люстры, бра, лампы и в столовой, и в соседних комнатах зажжены, точно для бала. Но хозяин находит, что света еще недостаточно. Он подзывает лакея.

— Зажгите жирандоли.

— Слушаюсь, ваше сиятельство.

Еще четыре высоких хрустальных канделябра вспыхивают по углам сотней свечей.

И хозяин с круглым румяным лицом деревянно улыбается:

— Я не люблю темноты в доме...

Комаровский внимательно слушает наши стихи. Потом читает свои.

Он сидит в глубоком кресле, широко расставив ноги в толстых американских башмаках. Его редкие волосы — аккуратно расчесаны. Круглое румяное лицо — лицо немецкого бургера, вскормленного бифштексами и пивом. На лице благополучие, сытость. Глаза смотрят ясно и сонно.

...Это совершенно больной человек. Такой больной, что доктора разводят руками — как он еще живет. Его сердце так слабо, что малейшее волнение может стать роковым. От неожиданного шума, от вида крови, от всякого пустяка с Комаровским делается обморок. А с обмороком нередко возвращается «то»... Он обречен на скорую смерть — и знает это. Перейти через улицу для него — приключение. Поездка в Петербург — подвиг.

Его единственное страстное желание — побывать в Италии — так же для него неосуществимо, как путешествие на Марс. И он

утешается, читая целыми днями путеводители и описания, давно изученные наизусть. И пишет:

Иду неспешною походкою
И камешек кладу в карман
Там, где над новою находкою
Счастливый плакал Винкельман.

Два-три месяца — он живет «спокойно». Мечтает об Италии. Пишет стихи. Ночью бредет на глухую «скамейку самоубийц» в засыпанном снегом парке.

...Когда я здоров, мне ничего не страшно. Кроме мысли, что «болезнь вернется».

...Зажгите жирандоли. Я не люблю темноты в доме...

Два-три месяца. Потом, однажды ночью, он просыпается, окруженный какими-то огненными львами, кричит, отбивается от них. Потом больница, мешок со льдом, смирительная рубашка... Потом, спустя долгие месяцы, новый короткий просвет...

Комаровский недавно выписался из больницы. Припадок был очень тяжел. Думали — не выживет. Нет — выжил. Ровным, чуть деревянным голосом он читает стихи, начатые «там». О чем мог мечтать человек, лежа на койке сумасшедшего дома?..

О Риме, о славе, о Цезаре...

Лампы сияют, от запаха цветов и каминного жара трудно дышать. И ровный голос монотонно читает:

...В провалы туч, в сияющий излом,
За золотым и медленным орлом
Пылающие идут легионы...

Его поэзия блистательна и холодна. Должно быть, это самые блистательные и самые «ледяные» русские стихи. «Парнас» Брюсова — перед ним детский лепет. Но, как в голосе и улыбке Комаровского, и в этом блеске что-то деревянное. И что-то неприятно одуряющее, как в этой комнате, слишком натопленной, слишком освещенной, слишком заставленной цветами.

...Мы слушаем стихи, пьем токайское, о чем-то разговариваем. Наконец прощаемся. Как приятно вдохнуть полной грудью после благовонной духоты этого дома. Духоты и еще чего-то веющего там — среди смирнских ковров и севрских ваз...

Подморозило. Небо посинело перед рассветом. Через полчаса подадут поезд. Ох, — скорее бы в кровать, после бессонной странной ночи.

Это 1914 год, февраль или март. Комаровский говорил о своих планах на осень. Доктора надеются... Если не будет припадка... Поездка в Италию...

Он развернул газету, прочел, что война объявлена, и упал. Сначала думали — обморок. Нет, оказалось, не обморок, а смерть.

* * *

Из Дома литераторов на Бассейной домой, на Каменноостровский, путь немалый. На Троицком мосту я поставил наземь кулек с крупой, за которым путешествовал так далеко, и облокотился о перила отдохнуть.

Небо красное от заката. С моря теплый, влажный, «душистый» ветер. Снег на Неве слипся и обмяк, у берега расплылись желтоватые полыньи. Если погода не изменится, нельзя будет по льду подойти к Кронштадту. Потом начнется ледоход, и Кронштадт станет неприступным. И тогда...

Теплый ветер мягко и сильно бьет в лицо. Пушечные выстрелы — глухие с фортов, резкие с какого-то броненосца, оставшегося «верным революции». Красное небо, тающий снег.. И кругом ни души. «Хождение по улицам» — разрешено до шести вечера, а теперь пять, начало шестого. Но со служб все уже разошлись, а прогуливаться вряд ли кому взбрет в голову. Лучше уж посидеть дома. Вот если погода не изменится... Начнется ледоход, Кронштадт станет неприступным. Тогда...

Пора домой и мне. Я взваливаю свой кулек на плечи и прибавляю шаг. Конечно, хождение разрешено до шести, а мне пути минут пятнадцать, но все-таки лучше поторопиться...

По пустому мосту навстречу мне медленно приближается человек. Он идет тихо, похлопывая ладонью по перилам, явно не топясь. Вот остановился, закуривает, швырнул спичку на лед. Точно не касается его осадное положение и все «из него вытекающее». Может быть, так и есть. Тогда — неприятная встреча. «Хождение» до шести, и труднижка моя в порядке, но все-таки...

Из-под барашковой шапки выбивается выющаяся седоватая прядь. Под глазами резкие мешки, еще резче глубокие морщины у рта. Широкие плечи сутулятся. Руки зябко засунуты в карманы. И безразличный, холодный, «отсутствующий» взгляд.

Это не чекист, проверяющий документы. Это Блок.

Минуту мы стоим под красным небом, на пустом мосту, слушающая выстрелы. Несколько глухих — это с фортов; грохочущий — с броненосца.

— Пшено получили? — спрашивает Блок. — Десять фунтов? Это хорошо. Если круто сварить и с сахаром...

Он не оканчивает фразы. Точно вспомнив что-то приятное, берет меня за локоть и улыбается.

— Стреляют, — говорит он. — Вы верите? Я не верю. Помните, у Тютчева:

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон...

Мертвецы палят по мертвым. Так что, кто победит — безразлично.

— Кстати, — он улыбается снова. — Вам не страшно? И мне не страшно. Ничуть. И это в порядке вещей. Страшно будет потом... живым.

* * *

Зимой 1913 года, что-то очень рано по петербургским понятиям, — меня разбудила прислуга. «К вам господин. Говорят, по литературному делу». Я протер глаза и посмотрел на визитную карточку. Михаил Александрович Ковалев? Такого знакомого у меня не было. Кто бы это мог быть? Неужели издатель, пленившийся моими стихами в «Аполлоне» или «Гиперборее» и пришедший покупать у меня собрание сочинений? Чем черт не шутит!.. Не без волнения я приказал провести посетителя в гостиную, пока я оденусь. Но одеться мне не пришлось — гость уже входил в дверь.

— Лежите, лежите, — быстро-быстро заговорил он, картавя и пришепetyвая. — Лежите, — я к вам на минуту. Что? Можно здесь сесть? Что? Я сейчас уйду, а вы продолжайте спать. Как у вас холодно. Что? Спите с открытой форточкой? Ах, это очаровательно, но я не могу. Можно простудиться, схватить чахотку, умереть. Что? У меня слабые легкие...

Он вдруг встал в позу, точно балерина, собирающаяся сделать прыжок. Голова чуть набок, пальчики в сторону, ноги в третьей позиции. И быстро-быстро, нараспев, прошепелявил:

Сказал он, улыбнувшись кротко —
Мы рядом шли, плечо к плечу, —

Ты знаешь, у меня чахотка
И я давно ее лечу.

И прибавил, жеманно улыбаясь:

— Я поэт Рюрик Ивнев. Это мои стихи.

Пока он проделывал все это, я, несколько ошеломленный, его рассматривал.

Тоненькая, «щуплая» фигурка. Бледное, худое «птичье» лицо как-то подергивается, голубоватые глаза близоруко щурятся. Одет старательно и небрежно: костюм хороший, но помят, в пыли, на фалде прилипла нитка. Башмаки не вычищены, щегольской галстук на боку. И растерянная улыбка, растерянное подергивание, растерянное «Что? Что?» — за каждым словом...

— Я поэт Рюрик Ивнев. Это мои стихи. Что?

Прочел — и опять своей шепелявой скороговоркой:

— Как я нашел ваш адрес? Мне Н. сказал... Знаете... этот... он бывает (тут птичье личико приосанивается) в доме моего дяди Х., государственного контролера. Что? Этот Н. прочел мне ваши стихи, и я в них влюбился. Что? Я даже наизусть их запомнил. Погодите, как это? Да.

Был тихий вечер, вечер бала,
Был летний бал меж старых лип,
Там, где река образовала
Свой самый выпуклый изгиб.

— Вот в это «образовала», — протянул он, — я и влюбился. И я пришел сказать вам это. А теперь я уйду, а вы спите... Что?

Я поблагодарил его за любезность и поспешил разъяснить небольшое недоразумение: стихи, только что прочтенные, не мои. Это стихи Виктора Гофмана, всем известные, давно перепечатанные разными календарями и чтецами-декламаторами. Так что...

Ивнев удивился чуть-чуть.

— Не ваши? Гофмана? Как странно! Впрочем, это все равно — ведь они так к вам подходят..

Я предложил ему подождать меня в соседней комнате.

— Сейчас я оденусь, и будем пить кофе...

Птичье личико надменно наморщилось. — Кофе? Благодарю, я ужепил свой утренний шоколад. И вообще — который час? Ах, Господи, четверть одиннадцатого. В двенадцать я завтракаю у княгини С., надо заехать домой, переодеться. Княгиня такая прелестная

женщина... Вы встречались? Что? Я вас непременно познакомлю... Ах, ах, как поздно...

Он кивнул и убежал, подергиваясь на ходу. На кресле осталась забытая им перчатка. Она была щегольская, светло-желтой замши, на шелковой подкладке. Но для январской погоды мало подходила, особенно с распоротыми по швам пальцами...

С некоторых пор Рюрик Ивнев — постоянный гость в «Бродячей собаке».

Он сидит ночи напролет в нише красного камина, один, молча, часами. Птичье личико бледно, кажется, еще бледнее обыкновенного, близорукие светлые глаза шурятся на огонь. Перед ним «на низком столике» остывающая чашка черного кофе: вина он не пьет.

Он не любит читать стихи, когда его просят: «другой раз, не помню...» Но, иногда, под утро, он сам подымается на эстраду: «Я прочту...» Стихи его путаные, захлебывающиеся, развинченные. Жалко-беспомощные по большей части. И вдруг иногда какой-то истерический взлет:

От крови был ал платочек.
Корабль наш мыс огибал.
Голубочек, наш голубочек,
Голубочек наш погибал.

Прочтет, дернется, растерянно улыбнется на жидкие пьяные хлопки, — и снова в свой угол, сидеть до утра, шурясь близорукими глазами на пылающие головни...

— Послушайте, Рюрик, зачем, в самом деле, вы просиживаете здесь ночи? Ведь вам вредно...

— Вредно.

— И томительно...

— Томительно.

— Так зачем же сидите?

Он поднял глаза. В их водянистой голубизне мелькнуло что-то тяжелое, «сумасшедшинка» какая-то...

— Зачем сижу... Видите ли... В обыденной жизни я изнемогаю от сознания собственной нереальности. А здесь, в этой обстановке, призрачной, нелепой, я не чувствую этого... Я призрак, и кругом призраки... И мне хорошо...

И сейчас же, — точно испугавшись, — расплывается жеманной улыбочкой:

— Впрочем, вы правы, вы правы — это вредно, это надо прекратить. — Воробьем прихорашивается: — Ах, как я рассеян... — Воробьем приосанивается. — На вечере у моего дяди... Княгиня Друцкая... Что? Вы будете завтра на вернисаже? Что?..

Щебечет, будто и не он полчаса назад кликушей выкликивал:

От этой трезвости, от этой мерзости,
Куда уйти?
Неужели бритвой зарезаться!..

* * *

Начальник канцелярии по приему прошений на Высочайшее имя, хоть и привык к просьбам самым неожиданным, но, прочтя поступившее к нему прошение «титулярного советника Михаила Александровича Ковалева», был, должно быть, все-таки озадачен.

«Припадая к стопам» царя, «титулярный советник Ковалев» в выражениях «верноподданнейших», но твердых заявлял (это было в 1915 году): от службы в войсках он отказывается.

Тут же пояснялось, что он, Ковалев, собственно, и не подлежит призыву, в ближайшее время по крайней мере. Так что заявление это он делает не из личных соображений, а по долгу «перед Вашим Величеством и Россией». Долг же этот он понимал так: сложить оружие и принять победителя с колокольным звоном «как радостное искупление».

Легко представить, какой «ход» был бы дан этому прошению, если бы не навели справок и не выяснили, что проситель не только «титулярный советник», но и племянник своего дядюшки.

Узнав это обстоятельство, «учли» его: вместо того чтобы позвонить в охранное отделение, позвонили в государственный контроль. И не жандармы, которых ожидал Ивнев (после подачи прошения, от волнения и ожидания, он заболел и слег), — заплаканная тетушка ворвалась к нему и увезла вместо Сибири... на Иматру.

* * *

Две маленькие комнаты. Такие узкие, такие низкие и тесные, что даже на комнаты не похожи: футляры какие-то. И, как в футляре, ничего твердого: диванчики застелены плахтами, низкие стеганные креслица, пуховые подушечки, тряпочки, коврики. На две комнаты одна печка, зато огромная, круглая, так натопленная, что трудно дышать. На плетеных жардиньерках — герани, в углу киот, полный образов, а если отвернуть кисейную занавес-

ку, за окном виден высокий забор, утыканный поверху гвоздями, глубокие сугробы и большая лохматая собака, прогуливающаяся на цепи. Где это? В Сибири? На Волге? Нет, это в Петербурге — отыскал Ивнев квартиру по своему вкусу: после истории с прошением он, вернувшись из Финляндии, поселился самостоятельно.

В этих комнатах-футлярах по пятницам вечерами собирается человек по двадцать, двадцать пять. Помещаются как-то. Пьют чай с пtifурами от Берена, но половина гостей пьет с блюдечка: общество, которое тут собирается, не совсем обыкновенное.

...Розовый, светлоголовый мальчик в рясе, послушник из Сергиевского подворья. Рядом тоже «духовное лицо», лысый, заплывший жиром дьякон, расстриженный за сношения с сектантами. С ним истово, на о, беседует человек средних лет, в сапогах бутылками и поддевке, с умными холодными глазами. Это поэт Николай Клюев, «из мужичков», как он сам о себе говорит. «Мужичок» набелен, нарумянен и надушен «Роз Жакмино»...

Нарумянен и другой поэт «из мужичков» — голубоглазый Есенин. Вперемежку с ними — лицеисты, правоведы, какой-то бывший вице-губернатор, побывавший в ссылке, какой-то изобретатель «сердечного магнита» — наивернейшего средства привлечь сердца отступников в лоно старообрядчества. Прихлебывая чай, кто с блюдечка, кто по всем правилам английского воспитания, часами ведут странные разговоры о Книге Голубиной, о магните сердечном и о новом Иерусалиме, который воздвигнется «на Руси», когда кончится война и настанет «царство Христово»...

— Скоро, скоро, детушки, забьют фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная и правда Божья обнаружится.

— Аминь, аминь...

— Que Dieu nous benisse¹.

И хозяин, растерянно улыбаясь, щурится и нюхает английскую соль.

Это в 1915—1916-м. Понемногу состав посетителей меняется. В 1917-м в кресле, где Клюев вещал о «купели слезной», — Анатолий Васильевич Луначарский сладко и гладко беседует о марксизме. Те же или такие же лицеисты почтительно слушают, так же хозяин подергивается, улыбается и нюхает английскую соль. И в жарко натопленных комнатах-футлярах так же душно и усыпительно пахнет немного ладаном, немного духами, немного Распутиным, немного Циммервальдом...

¹ — Да благословит вас Бог (фр.).

В 1918 году Рюрик Ивнев, встретив меня на улице, предлагал мне: хотите служить у нас? Не хотите? Но почему? Советская власть — Христова власть.

И, растерянно улыбаясь:

— Я ведь не революционную службу предлагаю вам, не в Чека, — тут он задергался, и в глазах мелькнула знакомая «сумасшедшинка», — хотя у нас всякая служба чистая, даже в Чека, да, даже в Чека. Но я вам не это предлагаю: нам всюду нужны люди — вот места директора Императорских театров, директора Публичной библиотеки свободны. А? Почему не хотите?

Я смотрел на этого «сильного мира сего», так легко распоряжающегося директорскими постами, на его мордочку, дергающуюся щеку, разорванную рубашку, измятый костюм и чувствовал к нему необъяснимую, острую, пронзительную жалость, почти нежность. Так и в Чека чистая служба? Ну, что ж. Блаженны нищие духом...

— Не хотите? — он дернулся, по-воробыному приосанился. — Очень жаль. Но... может быть, вы думаете, что у нас Бог знает кто служит, сброд какой-нибудь? *C'est plein de gens du monde!*¹

XIV

Перед самым большевистским переворотом мне понадобилось за чем-то повидать беллетриста Муйжеля.

Помнит ли кто-нибудь еще это имя? Имя — пожалуй, но уж писаний, наверно, никто. Муйжель был один из так называемых писателей «с убеждениями», писавших «из народной жизни» суконым языком. Писатели этого рода держались от прочей литературы, «декадентской и беспринципной», в стороне. У них были свои читатели, свои Сент-Бёвы — Фриче и Бонч-Бруевич, свои собственные, «с убеждениями» поэты, вроде некоего Черемнова, отрывок из стихов которого я до сих пор твердо помню:

Пировать в горящем доме, спать у пасти крокодила,
На бушующем вулкане затевать лихую пляску
Никому на ум, конечно, никогда не приходило,
Ибо все предвидеть могут неизбежную развязку.

¹ Там столько светских людей!.. (фр.)

Далее в стихах, столь же проникновенных, пояснялось, что царское правительство спит у крокодилей пасти и пляшет на вулкане.

Не помню уж, что мне могло понадобиться от Муйжеля, человека совсем другого литературного круга, чем тот, к которому принадлежал я. Я его едва знал, за три года войны ни разу, кажется, не встречал его долговязую, унылую фигуру. Но вот понадобилось что-то. Адрес, который мне сообщили, оказался адресом какого-то военного учреждения — штаба, управления. Я спросил Муйжеля. Через минуту ко мне вышел щеголеватый прапорщик.

— Вы к командующему X. дивизией? Его нет. Он на фронте.

— Да нет же. Я к Муйжелю, писателю.

— Точно так. Это он и есть. Только он теперь на фронте. Впрочем, если что-нибудь спешное, могу передать по прямому проводу...

...«Это он и есть»... Муйжель, надежда Фриче? В крылатке, с убеждениями, с калошами, с перхотью на воротнике пиджака!..

Впервые тогда я с неотразимой ясностью почувствовал, что «дело плохо». «Дело» было действительно плохо: через месяц должно было произойти то радостное событие, десятилетний юбилей которого не так давно отпраздновали

В нашей рабоче-крестьянской стране,
В нашей далекой России...

В 1917 году то, что Муйжель «генерал», — меня поразило, потрясло. Но к чему не привыкаешь? Когда в 1919 году я встретил на Невском двадцатидвухлетнюю красивую, надушенную и разряженную женщину и услышал от нее:

— Приходите к нам. Адмиралтейство, главный подъезд. Ведь я, — очаровательная улыбка, — «коморси», — я не удивился.

А «коморси» значило — командующий морскими силами.

Серые глаза блестят, подкрашенные губы улыбаются... Шубка голубая, платье сиреневое, лайковая перчатка благоухает герленовским «Фоль арома»...

И — «коморси»...

И я — не удивился почти. Что же такое? Была барышня Лариса Рейснер, писавшая стихи о маркизах. За барышней ухаживали, над стихами смеялись. И вот теперь эта барышня — «коморси», — может сейчас же распорядиться, чтобы Балтийский флот шел бомбардировать Финляндию... Что же такое, дело житейское. В 1919 году вообще мало чему удивлялись. Разве уж чему-нибудь в самом деле колоссальному. Окороку ветчины, например.

Я поцеловал руку командующему флотом в синей шубке и обещал как-нибудь зайти.

— Непременно, непременно приходите... Адмиралтейство, главный...

Женщина всегда женщина — Лариса Рейснер, говоря, что она «коморси», немного прихвастнула, «коморси» был, собственно, ее муж, мичман Раскольников. Сама же Рейснер носила всего лишь звание «заместительницы комиссара по морским делам» — «замком по морде» (тоже ничего себе чин: по-буржуазному вроде товарищ министра).

* * *

Я познакомился с Ларисой Рейснер несколько раньше, чем она начала появляться в литературных салонах, а ее стихи о маркизах — в средней руки журналах.

Если не ошибаюсь, познакомился я с ней весной 1913 года.

Среди множества высокопочтенных профессоров, с которыми мне приходилось в Петербурге встречаться, было несколько не таких уж почтенных, как это ученому и седовласому профессору полагается. Ничего предосудительного они не делали, люди были разные, разных наружностей, разных вкусов и разных специальностей, — но во всех было нечто их объединяющее, неуловимое и явное в то же время, какой-то флюид «непочтенности», распространявшийся от этих вдумчивых лысин, солидных очков, «благоухающих седин», казалось бы неотличимых от прочих седин и лысин, составлявших гордость петербургского ученого мира. Но вот все же что-то неуловимое их отличало. Это не было мое личное впечатление. Как раз об отце Ларисы Рейснер Гумилев как-то, смеясь, сказал:

— Знаешь, смотрю я на него, и меня все подмывает взять его под ручку: «Профессор, на два слова», — и, с глазу на глаз, ледяным тоном: «Милостивый государь, мне все известно».

— Ну?

— Затрясется, побледнеет, начнет упрашивать.

— Да что же тебе известно?

— Ничего решительно. Но, уверен, смутится. Обязательно какая-нибудь грязь водится у него за душой.

Теперь, кстати, то неуловимое, что чудилось когда-то не мне одному в этих людях, таких разных, и таинственно их объединяло, — приобрело форму более реальную, осязаемую не только одной бездоказуемой «интуицией»: большинство профессоров и доцентов

с этим мистическим «душком» составляет ныне цвет «марксистской» профессуры...

* * *

Был (кажется) 1913 год, была (наверное) весна. С островов по Каменноостровскому тянуло блаженной свежестью петербургского апреля. Я шел медленно: идти было очень приятно, цель же моей прогулки была очень скучная. По поручению одной редакции, где я недолго и довольно малоуспешно исполнял обязанности секретаря, я шел переговариваться с профессором Рейснером о каких-то переделках и сокращениях в какой-то его статье.

По широкой лестнице ультрамодернизированного дома я поднялся на третий этаж. Лакированная дверь, медная доска: профессор Рейснер. Но на мой звонок никто не открывал. Я позвонил еще — то же самое. Может быть, звонок испорчен? Я хотел постучать и толкнул дверь. Она без шума распахнулась.

Из прихожей прямо против меня была видна большая белая комната с роялем и цветами — гостиная, должно быть. Окно в ней было «фонарем», большое зеркальное стекло, ничем не завешанное, на сад и розовое вечеряющее небо.

На фоне этого окна стояли девочка лет пятнадцати и мальчик — морской кадет. Они не слышали, как я вошел. Должно быть, они ничего не слышали: они целовались.

Они стояли, отодвинувшись друг от друга. Она — положив руки на погоны, он — осторожно держа ее за талию, совершенно так, как на наивных английских картинках изображается «первый поцелуй».

Первый или нет, поцелуй был очень продолжительный. Что мне было делать? Я кашлянул. Морской кадет отдернул руки и быстро отвернулся к окну. Девочка слабо ахнула, потом, мотнув белокурой головой, пошла мне навстречу. Лицо ее пылало, глаза блестели. Признаюсь, когда она подошла ближе, я позавидовал морскому кадету, с независимым видом теребившему свой рукав, — так прелестна была его подруга. Она была совершенной красавицей.

Профессор, заодно с дочерью, должно быть, меня проклял. Я потревожил его послеобеденный отдых: его острое личико было заспано и помято. Но принял он меня с преувеличенной, прямо одуряющей любезностью. Еще пенсне, со сна, плохо держалось на его носу и розовела разогретая подушкой щека, а он уже протягивал мне сигару, потчевал портвейном и говорил, говорил — слад-

ко, вкрадчиво, «душевно». Говорил о молодежи, о святом искусстве, о свободе, идеалах, светлом будущем человечества и о многих других высоких и глубоких предметах, о которых со мной, секретарем редакции, пришедшим по делу, пожалуй, можно было бы и не говорить.

Голос у профессора Рейснера был удивительно мягкий, удивительно «подкупающий». Так же мягко, так же «душевно», помню, звучал этот голос на каком-то официальном собрании в Доме ученых перед голодными и заморенными «дорогими коллегами» из числа тех, которые из-за отсутствия в их природе указанного выше «флюида» в число «красных звезд» не попали, скромно перебиваясь между торговлей собственными портьерами и академическим пайком. Душевно и подкупающе профессор говорил о «святой науке» и, попутно, о своих заслугах перед ней:

— Достаточно сказать, что в числе моих учеников есть трое ученых с европейскими именами, десять командиров Красной армии, четыре, — особенно бархатная модуляция, — председателя Чека.

* * *

— Да, да, в ссылку, по этапу, в Сибирь, на виселицу, на костер.

Она распахивает шубу и откидывает голову. Какое прекрасное «гордое человеческое лицо»! Два года назад, там, у окна, в ее полудетском силуэте мне почудилась Психея. Теперь эта красота отяжелела как-то. Нет, не Психея. Скорее Валькирия...

Сани летят по рыхлому снегу, по льду, через Неву. Желтый зимний рассвет медленно расплзается по небу. После бессонной ночи кружится голова. И это удивительное лицо, эти серые, сияющие, широко раскрытые глаза, эти отрывистые слова, «печальные и страстные».

— Да, в ссылку, на костер. Я не могу так жить. Я не хочу так жить.

С того времени, как я впервые увидел Ларису Рейснер, прошло года три. Я часто встречаю ее то там, то здесь по разным литературным местам. Особенной дружбы между нами нет: стихи ее мне чрезвычайно не нравятся, манера держаться — тоже. Она держится «по-московски»: в одно и то же время и «декаденткой» и синим чулком, и «товарищем» и потрясательницей сердец. На мой «петербургский» взгляд, все это достаточно безвкусно. Короче — я давно не завидую морскому кадету. Но...

Но сейчас, под этим бледным небом на пустынной Неве, глядя в ее удивительное лицо, слыша ее голос, я как-то забываю все

это и испытываю что-то вроде страха, как перед существом из другого мира. Валькирия?.. Может быть, и впрямь Валькирия. В Сибирь?.. На костер?.. Пожалуй, и впрямь пойдет в Сибирь, не побоятся костра...

Тут «спасительная ирония» приходит мне на помощь. Я вспоминаю снова, что Валькирия эта — просто барышня с провинциальными замашками, пишущая плохие стихи, которую я везу с «бала» у Юрия Слезкина, где подавалось много шампанского («Донского», по случаю войны).

И, «вспомнив», говорю соответственным тоном:

— У вас «vin triste»¹, Лариса Михайловна.

Но она не слушает. Она глядит широко раскрытыми, грустными серыми глазами на небо, такое же серое, такое же грустное.

И, помолчав, тихо, точно про себя, говорит:

— Нет, ничего не хочу, ничего не могу. В сказке — каменное сердце. Каменное? Это еще ничего. Но если мертвое, мертвое?..

* * *

Пышные залы Адмиралтейства ярко освещены, жарко натоплены. От непривычки к такому теплу и блеску (1920 год, зима) гости неловко топчутся на сияющем паркете, неловко разбирают с разносимых щеголеватыми балтфлотцами подносов душистый чай и сэндвичи с икрой.

Это Лариса Рейснер дает прием своим старым богемным знакомым. Пришли многие, кто — прослышав о икре, кто — просто из любопытства. Что ж, если забыть «особые обстоятельства», то прием как прием: кавалеры шаркают, дамы щебечут, хозяйка мило улыбается направо и налево.

Некоторых она берет под руку и ведет в небольшой темно-красный салон, где пьют уже не чай, а ликеры. Это для избранных. Удовольствие выпить рюмку бенедиктина несколько отравляется необходимостью делать это в обществе мамы Рейснер, папы Рейснера и красивого нагло-любезного молодого человека — «самого» Раскольниковца.

Компания, что и говорить, высокопоставленная. Ее так и зовут: «Ревсемейство».

Я, увы, попадаю в число «избранных». Ведя меня через министерские покои, Лариса Рейснер роняет тоном леди Асквит:

¹ Здесь: «дурное настроение» (фр.).

— Какое безобразие эта позолота, лепка. Вкус нашего предшественника адмирала Григоровича. Все надо отделять заново, все...

* * *

Последний раз я видел Ларису Рейснер на балу Дома искусств. Ей, должно быть, было очень весело — она все время смеялась и все время танцевала. Голубое, широкое, сияющее, полумаскарадное платье очень шло к ней. В нем она казалась моложе, тоньше, легче, опять была похожа на ту девочку с наивной картинки, не на Валькирию — на Психею...

Потом я только слышал о ней. Слышал разное. О смертных приговорах, которые она, говорят, подписывала. О капитане Щастном, которого кормила завтраком и развлекала милой болтовней, куда шли последние приготовления к его «суду» и расстрелу. Уже за границей я узнал, что Раскольников ее бросил. Потом, в какой-то советской газете, прочел ее некролог, глупый и напыщенный, как все советские некрологи.

XV

«Кирпич в сюртуке» — словцо Розанова о Сологубе.

По внешности, действительно, не человек — камень. Движения медленные, натянуто-угловатые. Лысый, огромный череп, маленькие, ледяные сверлящие глазки. Лицо бледное, неподвижное, гладко выбритое. И даже большая бородавка на этом лице — каменная. И голос такой же:

Лила, лила, лила, качала,
Два тельно-алые стекла.
Белей лилей, алее лала
Была бела ты и ала... —

читает Сологуб, и кажется, что это не человек читает, а молоток о стену выстукивает эти ровные, мерные, ничего не значащие слова.

«Обращение» тоже соответствующее.

Молодой поэт, признанная «восходящая звезда», звонит Сологубу по телефону:

— Федор Кузьмич, это вы?

— Я.

— Говорит Х. Я хотел бы прийти к вам...

- Зачем?
- Прочесть вам мои стихи.
- Я уже прочел их в «Аполлоне».
- Узнать ваше мнение...
- Я о них не имею мнения.

Сологуб — инспектор какой-то школы на Васильевском острове. И какой инспектор!

— Федор Кузьмич идет!.. — И самые отчаянные сорванцы сразу присмиривают — знают, что инспектор шутить не любит.

Впрочем, что ж школьники. Когда меня в 1911 году впервые подвели к Сологубу и он устал на меня бесцветные ледяные глазки и протянул мне, не торопясь, каменную ладонь (правда, мне было семнадцать лет) — зубы мои слегка щелкнули — такой «холодок» от него распространялся.

Вот что, кстати, сказал знаменитый поэт начинающему при этой первой встрече:

— Я не читал ваших стихов. Но, какие бы они ни были, — лучше бросьте. Ни ваши, ни мои, ничьи на свете — они никому не нужны. Писание стихов — глупое баловство и потеря времени...

Сам Сологуб начал заниматься «глупым баловством» поздно, годам к тридцати пяти.

Что было до этого? — То же самое.

Пустая, бедно обставленная казенная квартира, единицы школьникам, прогулка медленным, «каменным» шагом по пустынным «линиям» Васильевского острова. Одинокое вечера под висячей керосиновой лампой, над «письменными» или, когда они просмотрены, над такой же «каменной», как он сам, как все его окружающее, — «Критикой чистого разума» — любимой книгой.

«Кирпич в сюртуке». Машина какая-то, созданная на страх школьникам и на скуку себе. И никто не догадывается, что под этим сюртуком, в «кирпиче» этом есть сердце. Как же можно было догадаться, «кто бы мог подумать»? Только к тридцати пяти годам обнаружилось, что под сюртуком этим сердце есть.

Сердце, готовое разорваться от грусти и нежности, отчаяния и жалости.

* * *

Однажды, в минуту откровенности, Сологуб признался (в разговоре с Блоком):

— Хотел бы дневник вести. Настоящий дневник, для себя. Но не могу, боюсь. Вдруг, случайно, как-нибудь, подчитают. Или умру

внезапно — не успею сжечь. Останавливает меня это. А, знаете, иногда до дрожи хочется. Но мысль — вдруг прочтут, и не могу. О самом главном — не могу.

— О самом главном?

— Да. О страхе перед жизнью.

И, в параллель к этому разговору, другая обмолвка Сологуба:

— Искусство — одна из форм лжи. Тем только оно и прекрасно.

Правдивое искусство — либо пустая обывательщина, либо кошмар. Кошмаров же людям не надо. Кошмаров им и так довольно.

Я хорошо помню «каменную» улыбку, с которой говорилось это. Говорилось в 1914 году в «блестящем» литературном салоне, и эстетические хлыщи с удовольствием повторяли и запоминали «меткий парадокс» скупого на них «мэтра». Так же, как и хлыщи эти, я запомнил, потом забыл. Но пришлось еще раз вспомнить...

Жена Сологуба, Анастасия Чеботаревская, была маленькая, смуглая, беспокойная. Главное — беспокойная. В самые спокойные еще времена — всегда беспокоилась. О чем? О всем. Во время процесса Бейлиса, в обществе эстетическом и безразличном и к Бейлису, и ко всему на свете, хватала за руки каких-то незнакомых ей дам, отводила в угол каких-то нафаршированных Уайльдом лицеистов и, мигая широко открытыми серыми «беспокойными» глазами, спрашивала скороговоркой: «Слушайте. Неужели они его осудят? Неужели они посмеют?»

— Да... ваазмутительно... — бормотал лицеист, любезно изгибая стан и стремясь поскорей от нее отделаться. Но она не отпускала. Она говорила еще быстрее, еще горячее и беспокойней. То, что собеседник глуп и безучастен ко всему на свете, кроме своего пробора, — не замечала. Напротив, он сказал «возмутительно», ну конечно, он тоже возмущен, как она, в нем то же беспокойство. Она уже была благодарна, уже видела в нем союзника...

Беспокоилась по важному, беспокоилась и по пустякам. Разницы, кажется, не замечала. Вечная тревога делала ее подозрительной. С той же легкостью, с какой находила мнимых друзей, видела всюду мнимых врагов.

«Враги» — естественно — стремились ущемить, насолить, подставить ножку Сологубу, которого она обожала. Донести на него в полицию (о чем? Ах, мало ли что может придумать враг!). Умалить его славу, повредить его здоровью. И ей казалось, что новый рыжий дворник — сыщик, специально присланный следить за Федором Кузьмичом. Х., из почтенного, толстого журнала, — злобный маник, только и думающий о том, как разочаровать читателя в Сологу-

бе. И чухонка, носящая молоко, вряд ли не подливает сырой воды «с вибрионами» нарочно, нарочно...

Так было в еще «спокойные», мирные времена. Что же тогда в военные, в советские!

В 1921 году, после долгих хлопот, казалось, что сбудется то, о чем она мечтала, о чем рассказывала, блестя широко раскрытыми глазами, встреченным на улице, на лекции, в хлебной очереди «друзьям». То, что она тщательно скрывала (донесут, все испортят) от неимоверно возросших в числе и ставших особенно злобными «врагов». Отъезд за границу.

«Вырваться из ада» — на это последние месяцы ее жизни были направлены все силы души, все ее «беспокойство». Она не говорила и не думала уже ни о чем другом. «Вырваться из ада». И вот после долгих, утомительных, изводящих хлопот — двери «ада» приоткрылись. Через две-три недели будет получен заграничный паспорт. Это наверно. «Друзья» помогли, «враги» отступились.

То, что ад в ней самой и никакой Париж с «белыми булками и портвейном для Федора Кузьмича» ничего не изменит, — не знавала. Хлопотала, бегала по городу оживленная, веселая. Отводила в сторону встреченных «друзей», оглядывалась, не слышат ли «враги». Беспокойно блестя глазами, шептала:

— Через десять дней. Наверно. И вы приезжайте.

Что ад в ней самой, не понимала. Но не поняла ли вдруг, сразу, в тот вечер, когда она без шляпы выбежала на дождь и холод, точно ее позвал кто-то? Сологуба не было дома. Женщина, работавшая в квартире (перед отъездом столько дела), спросила — надолго ли барыня уходит. Она кивнула: «Не знаю». Может, правда не знала. Может быть, сейчас вернется, будет обедать, уедет через несколько дней в Париж... Выбежала на дождь без шляпы, потому что вдруг со страшной силой прорвалась мучившая ее всю жизнь тревога.

Какой-то матрос видел, как бросилась в Неву с Николаевского моста, в том месте, где часовня, какая-то женщина. Он не успел ее удержать. Был вечер. Фонари в то время не зажигались. Матрос не разобрал ни лица женщины, ни как она была одета. Кажется, она была без шляпы? Кажется, на ней было черное пальто-накидка, как на исчезнувшей Чеботаревской?.. Тела не нашли, может быть, и не искали. Кому была охота шарить в ледяной воде из-за какой-то там жены какого-то там Сологуба? У петербургского пролетариата были дела поважней. Да и спустя несколько дней (как раз к тому сроку, как был обещан, только обещан, разумеется, заграничный паспорт) — стала Нева.

Чеботаревская за мгновение до смерти все еще «не знала». И Сологуб с того осеннего вечера до весны, когда лед пошел и тело его жены нашли, — тоже «не знал».

Он не изменил ничего в распорядке своей жизни. В хорошую погоду выходил гулять — по Девятой линии на Неву, до часовни у Николаевского моста, и потом по солнечной стороне обратно. Вечером под зеленой лампой, в столовой, — писал стихи «бержеретты» во вкусе XVIII века или переводы для «Всемирной литературы» — Готье, Верлена. Когда его навещали, он принимал гостей все с той же холодной любезностью, как всегда. Иногда в разговоре — вскользь упоминал о Чеботаревской таким тоном, точно она ушла ненадолго из дому. Шутил, охотно читал стихи, пастушеские, легкомысленные «бержеретты»...

...Зеленая лампа бросает неяркий круг на покрытый пестрой клеенкой стол. На столе аккуратно разложены книжки и рукописи. Тут же вязанье Анастасии Николаевны. Одна спица воткнута в шерсть, другая лежит в стороне. Так она оставила его в «тот вечер». Так оно и осталось.

Сологуб читает стихи. Лицо его обычное, каменно-любезное, старчески-спокойное. И голос такой же, как всегда, без оттенков, тоже «каменный».

А стихи — пастушеские, легкомысленные «бержеретты»:

...С позволения вашей чести,
Милый мой — пастух Колен...

Однажды я засиделся. Служанка (та самая, что спрашивала, когда барыня вернется) пришла накрывать стол.

— Может быть, пообедаете со мной, — предложил Сологуб. — Маша, поставьте третий прибор.

Я отказался от обеда, но, должно быть, плохо скрыл удивление — для кого же второй прибор, если для меня ставят третий? Должно быть, как-нибудь это удивление на мне отразилось.

И каменно-любезный Сологуб пояснил:

— *Этот* прибор для Анастасии Николаевны.

А весной, когда тело Чеботаревской нашли, Сологуб заперся у себя в квартире, никуда не выходил, никого не принимал. Иногда его служанка приходила во «Всемирную литературу» за деньгами или в Публичную библиотеку за книгами. Это была молчаливая

старуха, от которой ничего нельзя было узнать, кроме того, что «барин, слава Богу, здоровы, всё едят, велит не беспокоиться». Удивляло всех, что книги, которые брал Сологуб, были все по высшей математике.

Зачем ему они?

Потом Сологуб стал снова появляться то здесь, то там, стал принимать, если к нему приходили. Об Анастасии Николаевне как о живой не говорил больше, и второй прибор на стол уже не ставился. В остальном, казалось, ни в нем, ни в его жизни ничего не изменилось.

Зачем ему нужны были математические книги, — узнали позже.

Один знакомый, пришедший навестить его, увидел на столе рукопись, полную каких-то выкладок. Он спросил Сологуба, что это.

— Это дифференциалы.

— Вы занимаетесь математикой?

— Я хотел проверить, есть ли загробная жизнь.

— При помощи дифференциалов?

Сологуб «каменно» улыбнулся.

— Да. И проверил. Загробная жизнь существует. И я снова встречусь с Анастасией Николаевной...

...Этот прибор — для Анастасии Николаевны.

...Да, я много пишу. Всё больше бержеретты...

Вот это — вчера написал:

...С позволения вашей чести,
Милый мой — пастух Колен...

Голос тот же. И улыбка та же. И сюртук — побелел только по швам. И стихи — бержеретты пастушеские. Ну да, — «Искусство только тем и прекрасно... А кошмар...»

* * *

Много было весен,
И опять весна.
Бедный мир несносен,
И весна бедна.

Что она мне скажет
На мои мечты,

Ту же смерть покажет,
Те же все цветы,

Что и прежде были
У больной земли,
Небесам кадили,
Никли да цвели.

Те же цветы, та же смерть. В стихах этих ключ ко всему Сологубу.

«Искусство — одна из форм лжи»? Искренне ли Сологуб считал, что это так? Или, напротив, боясь «до дрожи», чтобы в искусстве его не «подчитал» кто-нибудь «самого заветного», — придумывал — «одну из форм лжи» — такие фразы?

Не знаю. И не важно это. Важно другое.

В лучшем из созданного Сологубом, его стихах, никакой «лжи» нет. Напротив, стихи его — одни из самых «правдивых» в русской поэзии.

Они «правдивы до конца» — и художественно, и человечески. И своей сдержанностью, чуждой всему внешнему и показному, и — ясным целомудрием отраженной в них «детской» души поэта.

Совсем недавно, в одном из ответов на литературную анкету, Сологуб был назван «великим поэтом». Это преувеличение, разумеется.

В искусстве «великое» начинается как раз с какой-то «победы» над тем «страхом перед жизнью», которым заранее и навсегда был побежден Сологуб. Но, конечно, он был поэтом в истинном и высоком смысле этого слова — не литератором и стихотворцем, а одним из тех, которые перечислены в «Заповедях Блаженства».

* * *

И вот Сологуб умер. В последний раз, когда я его видел (зашел прощаться перед отъездом за границу, — осенью 1922 года), он сказал:

— Единственная радость, которая у меня осталась, — курить. Да. Ничего больше. Что ж — я курю...

Еще пять лет он «как-то» жил, «чем-то» жил. Курил. Писал «бержеретты», быть может. Теперь он умер.

Умер в полном одиночестве, в бедности, всеми забытый, никому не нужный. От воспаления легких, при котором не теряют сознания до последней минуты, а вот курить как раз нельзя...

В 1914 году летом по Италии путешествовал молодой человек.

Он только что кончил гимназию — это было его первое самостоятельное путешествие. Ему было семнадцать лет, он был очень красив — черноглазый, стройный, высокий, — свободен от всяких забот, вполне обеспечен денежно. Все у него было — молодость, Италия, в которую он был влюблен с детства, деньги, которые можно тратить не считая, время, которым можно распоряжаться как угодно. Вздумалось — и завтра же можно уехать: ну, хоть в Норвегию, или, напротив, остаться на месяц, на год, на два в этом чуть старомодном, уютном пансионе, в белой высокой комнате, где ползучие розы заплели широкое окно и сквозь них блаженно синее Неаполитанский залив... Молодость, свобода, Италия — женщины в него наперебой влюбляются, каждый день в пансион, где он живет, присылаются цветы или надушенные записки, адресованные «красивому русскому синьору». Молодость, Италия, свобода — вся жизнь впереди, все ему улыбается... Рай, не правда ли? Он сам согласен — рай. Но...

Но отчего же мне так больно
В моем счастливейшем раю?

Спрашивает он, сам недоумевая. Отчего, зачем, в самом деле? Да — молодость, красота, Италия, вся жизнь впереди, все ему улыбается. Но:

Зачем же груз необъяснимый
На сердце дрогнувшем моем?

Эти жалобы семнадцатилетнего «баловня судьбы», эти горькие «зачем» и «отчего» не пустые слова, не «поэтические образы». Леонид Каннегиссер там же, в Италии, в своей белой комнате с окном в розах — ведет дневник. И в каждой строке этого дневника — то же самое: Зачем? Отчего?

...У меня есть комната, обед, книги и полное отсутствие жалости к тому, у кого их нет.

Италия, молодость, свобода — «рай». Но в раю — больно, и на сердце — «необъяснимый груз».

Зачем же груз необъяснимый
На сердце дрогнувшем моем?

В одной строке вопрос, в следующей — ответ: «На сердце дрогнувшем»... Да, жизнь «улыбается» этому семнадцатилетнему мальчику, да, кругом него рай. Но сердце у него «дрогнувшее», и ни в каком раю, самом «блаженнейшем», не находит и не найдет оно покоя.

Детские стихи Леонида Каннегиссера странно перекликаются с детскими стихами Лермонтова. Помните:

Я рано начал, кончу ране,
Мой путь небольшое свершит.
В моей груди, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.

И странно перекликаются образы, которые они вызывают: Лермонтов «с свинцом в груди», покрытый шинелью, под проливным дождем. Каннегиссер с пулей в затылке, в подвале Чека.

Два «дрогнувших сердца» — нашедших наконец покой...

В «Бродячей собаке», часа в четыре утра, меня познакомили с молодым человеком, высоким, стройным, черноглазым. Точнее — с мальчиком. Леониду Каннегиссеру вряд ли было тогда больше семнадцати лет.

Но вид у него был вполне взрослый — уверенные манеры, высокий рост, щегольской фрак. — «Поэт Леонид Каннегиссер», — назвал его, рекомендуя, знакомивший нас. Каннегиссер улыбнулся.

— Ну, какой там поэт. Я не придаю своим стихам значения.

— Почему же?

— Я знаю, что не добьюсь в поэзии ничего великого, исключительного.

— Ну... Во-первых, «плох тот солдат»... а потом, не всем же быть Дантами. Стать просто хорошим поэтом...

— Ах, нет. Скучно и ни к чему.

— Так что ваша программа — победить или умереть, — пошутил я. Он улыбнулся одними губами, — глаза смотрели так же серьезно.

— Вроде этого...

— Только поприще для совершения подвига еще не выбрано?

Он снова улыбнулся. На этот раз широкой улыбкой, всем лицом. Семнадцатилетний мальчик сразу проступил сквозь фрак и взрослую манеру держаться.

— Н. выбрано!

...Под сводами подвала плавал табачный дым. Звенели стаканы, зеленели лица в ярком электрическом свете. Какая-то женщина танцевала на столе, бестолковая музыка прерывалась и вновь гремела. Мы сидели в углу, пили то черный кофе, то рислинг, то снова кофе. В голове слегка шумело. Я слушал моего нового знакомого. Должно быть, от выпитого вина он разошелся и говорил без конца. Я слушал с сочувственным удивлением: такую страстную романтическую путаницу «о доблести, о подвиге, о славе» стены «Бродячей собаки», вероятно, слышали впервые...

...Когда я попал к Каннегиссеру в гости, мне пришлось удивиться снова.

«У меня соберутся несколько друзей», — писал он мне в приглашительной записке. И я живо вообразил себе — и этих друзей, так же возвышенно и романтически настроенных, как мой ночной собеседник, и комнату, где они собираются и толкуют об «идеалах», неярко освещенную, полную ученых книг, с портретами каких-нибудь «вождей». Горячие разговоры, покрасневшие лица, окурки, чай с лимоном — словом:

До утра мы в комнате спорим,
На рассвете один из нас
Выступает к розовым зорям
Золотой приветствовать час...

Представил и, несмотря на всю симпатию, внушенную мне Каннегиссером, — мне стало заранее скучновато. Но все-таки я пошел.

...В обвешанной шелками и уставленной «булями» гостиной шебетало человек двадцать пять. Лакей разносил чай и изящные сладости, копенгагенские лампы испускали голубоватый свет, и за роялем безголосый соловей петербургских эстетов, Кузмин, — захлабывался:

Если бы ты был небесный ангел,
Вместо смокинга носил бы ты орарь...

Половину гостей я знал. Другая — по всему своему виду не оставляла сомнения в том, что она из себя представляет: увлекающаяся Далькрозом девицы, дымящие египетскими папиросами из купленных у Треймана эмалированных мундштуков; молодые люди

с зализанными проборами и в лакированных туфлях, пишущие стихи или сочиняющие сонаты. Общество достаточно определенное и достаточно пустое.

Но мой ночной романтик? При чем тут он?

Он плавал, казалось, как рыба в воде, в этой элегантно-гостиной. Костюм его был утрированно изящен, разговор томно-жеманен. Он ничем — если не считать красоты — не отличался от остальных: эстетический петербургский юноша...

Нам философии не надо
И глупых ссор.
Пусть будет жизнь одна отрада
И милый вздор...

Оборачиваясь на публику и поблескивая поощряюще своими странными глазами из-под пенсне, ворковал Кузмин.

Я подошел и взял аплодировавшего Каннегиссера за локоть.

— Вот уж не думал, что вам это может нравиться.

— Как? Вам не нравится пение Михаила Алексеевича?

— Мне-то нравится. Но с вашими взглядами на жизнь этот «милый вздор» как будто не вполне совпадает...

— Напротив, — он насмешливо раскланялся, — вполне совпадает. Не обижайтесь на меня, — тогда, в «Собаке», я просто вас мистифицировал. Какие там подвиги...

И он запел, подражая Кузмину:

Дважды два — четыре,
Два да три — пять,
Вот и все, что мы можем,
Что мы можем знать...

* * *

Вернисажи, маскарады, эстетические чаи разных артистических дам, этот ночной подвал, где мы встретились, куда каждую полночь собираются скучать до утра разные изящные бездельники, на стенах которого рукой их излюбленного поэта, наряженного, надутенного Кузмина, выведено:

Здесь цепи многие развязаны,
Все сохранит подземный зал,
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.

Не сказал бы? Может быть. Но «не сказал» — не значит — забыл. О, нет. «Такое» — не забывается. А если и забудется на свежем морозном воздухе не до конца еще отравленной эстетизмом и праздностью головой — если и забудется, то ведь: «все сохранит подземный зал», забудется — снова вспомнится, едва войдешь ночью под эти низкие своды, в эти пестрые стены. С каждым разом — «забывается» все трудней. «Запоминается» все легче. Что? Да это самое — что цепи развязаны. «Многие цепи» — почти все...

На маскарадах, вернисажах, пятичасовых чаях и полунощных сборищах все те же лица, те же разговоры. Проходят годы, точнее, сезоны, меняются фасоны пиджаков и узоры галстуков. Больше ничего не меняется. Это быт. Началось это после 1905 года, кончится в 1917-м.

Страшно кончится.

Общественность? — Скука. Политика? — Пошлость. Работа? — Божье наказание, от которого «мы», к счастью, избавлены. Богатые — тем, что у них есть деньги, бедные — тем, что можно попросить у богатых.

Маскарады, вернисажи, пятичасовые чаи, ночные сборища. Мир уайльдовских остроумий, зеркальных проборов, в котором меняется только узор галстуков. Кончится это страшно. Но о конце никто не думает.

Кончится это так. Когда в оранжерейную затхлость жизни, «красивой и беззаботной», ворвется февраль 1917 года, те, в ком этот «быт» не доконал еще человека, — опрометью бросятся на «свежий воздух». И чем больше осталось человеческого, тем стремительней бросятся, тем менее рассуждая...

А резкие перемены температуры — опасная вещь.

* * *

1916 год, зима. Поздно — часа три ночи. В гостиной полутемно и тихо. Час назад здесь толпилось и болтало много народу — слышались музыка, пение, смех. Но теперь гости разошлись, старшие отправились спать, и только в углу, в неяром желтоватом свете лампы, «полуночничают» молодой хозяин и несколько его приятелей. Гостиная петербургская, и молодые люди «петербургские». Эстетический вид и эстетический разговор.

Один из собеседников выделяется — одет он каким-то мужичком из балета. Розовая рубашка, золотой пояс, гребень на тесемочке. Впрочем, весь этот туалет — тот же «дендизм», хоть и навыворот. И на *о* этот мужичок произносит так же старатель-

но, как остальные грустируют. Лет ему немного — не больше восемнадцати. Лицо простоватое, милое. Фамилия его Есенин.

Это все молодые поэты. Разговоры о стихах, чтение стихов. Вот — мужичок нараспев читает. Талантливо, даже очень талантливо... если бы только не портила сусальная «народность», та же самая, что в гребешке и поясочке.

Вслед за ним читает черноглазый хозяин:

Сердце! Брести не надо!
Легким будь в земном пути.
Ранней ласточкой из сада
В небо синее лети...

За хозяином — какой-то белокурый подросток. Тоже не бездарно, тоже гладко и звонко, тоже «легко», приятно для слуха и не задевает сердца. Одни стихи лучше, другие хуже, один образ удачен, другой нет, — но это не важно. Важно иное — и в стихах, и в разговорах какая-то странная пустота. На ухо приятно — сердца не задевает. Недаром час тому назад, в той же гостиной, эти и такие же молодые люди с гладкими проборами и гладкими стихами наперебой просили Кузмина петь еще и еще. И тот, поблескивая своими странными глазами на окружающих юнцов, пел:

Нам философии не надо
И глупых ссор.
Пусть будет жизнь одна отрада
И милый вздор.

— Еще, еще, Михаил Алексеевич...

Дважды два — четыре.
Два да три — пять,
Вот и все, что мы можем,
Что мы можем знать...

— Еще, еще.

И «мужичок» в своей шелковой косоворотке туда же. И ему по вкусу.

— Михоил Лексеич, — про ангела спой...

Если бы ты был небесный ангел,
Вместо смокинга носил бы ты орарь...

1916 год. Неудачи на фронте все грознее. Революция «в воздухе». Да, конечно... Но ведь мы — поэты, что мы можем сделать? А раз не можем — остается одно:

Пусть будет жизнь одна отрада
И милый вздор.

Кузмин поет. От его безголосого, сладкого пения, от его томного, странного взгляда, от этих наивных словечек и простеньких мотивов идет незаметный — но страшный яд. Тот самый, защиты от которого просят в молитве св. Ефрема Сирина, «Дух праздности»...

Старый яд — верный яд. Временами казалось — выветрился. Нет, не выветрился, все тот же. Оттого-то и нравится так это безголосое пение — что идет от него вечное, верное, неотразимое... «Дух праздности»... Кузмин тут ни при чем. И слушатели ни при чем. Ему нравится, и им нравится. Вот именно это, а не другое. Не Блок, не Сологуб, не Леонид Андреев — мало ли кто. Нет, сейчас власть над этими человеческими душами, без всякого сомнения, в этих смугловатых руках, жеманно касающихся клавиш. Кузмин тут ни при чем — не он, так другой. И слушатели ни при чем — время такое.

1916 год. Неудачи на фронте. Близость революции — как подземный гул. Да, конечно... Но ведь мы поэты, что мы можем? И мужичок туда же:

— Михоил Лексеич, спой про яблоню...

А ведь он, хоть в оперной косоворотке, хоть и с золотым пояском, — а в самом деле — деревенский парень. И чтобы попасть в эту блестящую гостиную, ему пришлось многое снести, и не в области «обманутой любви и раннего разуверенья», а в самой жестокой, житейской. Все, что испытали когда-то все русские самоучки, стремившиеся «из тьмы к свету». Известно, какой нужен «напор», чтобы не погибнуть на пол-, на четверти пути. Хватило напору, все вынес, не погиб... И сидит в шелковой рубашке, в золотом пояске, с подвитыми кудрями. В порыве к «разумному, доброму, вечному» хватило сил все перенести. И вот — добился-таки. Паркет блестит, египетские папиросы дымятся, и за эраровским роялем подрумяненный денди, поблескивая пенсне, воркует и картавит.

Сетт...

«Разумное, доброе, вечное»? То, о чем так сладко и жадно мечталось когда-то в грязной избе, при дымящей лучине, за замасленным букварем?

Оно самое. В 1916 году, в Петербурге, в разгаре войны, накануне революции, в самом утонченном, самом избранном кругу истина формулируется так:

Нам философии не надо...

Сомнений, что это истина, — никаких. Да никто и не хочет сомневаться. Всем нравится. Именно это — а не другое. И никто не виноват.

Пришло время — и яд действует. Пришло время, и яду нельзя сопротивляться...

Каннегиссер в 1917 году писал:

И если, шатаюсь от боли,
К тебе припаду я, о мать,
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать,

Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню — Россия, Свобода,
Керенский на белом коне.

«О доблестях, о подвиге, о славе» — он давно мечтал. «Радостная смерть» за Россию, за свободу, за человечество — ему давно мерещилась. Но какая жестокая разница между тем, что мерещилось, и тем, что оказалось в действительности.

...Россия, Свобода,
Керенский на белом коне?..

Нет — подвал Чека, сухой треск нагана.

* * *

Мало кто знает, что убийца Урицкого — был поэтом.

«Настоящим поэтом»? Да, настоящим. Если бы он просто «писал стихи», как большинство молодых людей его возраста и круга, — не стоило бы о них упоминать.

Но Каннегиссер был впрямь поэтом. Он погиб слишком молодым, чтобы дописаться до «своего». Оставшееся от него — только опыты, пробы пера, предчувствия. Но то, что это «настоящее», видно по каждой строчке.

Так вот — убийца Урицкого был поэтом. А что такое поэт? Прежде всего, существо с удвоенной, удесятеренной, утысяченной чувствительностью. Покойный лейб-медик Карпинский, удивительнейший психоневролог, говорил:

— Понимаете, если отрезать палец солдату и Александру Блоку — обоим больно. Только Блоку, ручаюсь вам, в пятьсот раз больше.

Не знаю, как насчет пальцев, но в области душевной уверен, что «Блоку» всегда больнее, чем «не Блоку», безразлично, солдату или банкиру. Такова уж суть «поэтической природы». Непоэтам нечего на это обижаться. Гордиться, вероятно, тоже нечего...

Итак, Урицкого убил не простой «русский мальчик». Урицкого убил — поэт.

...На Миллионной схватили, как затравленного зверя. Отвезли в Чека. Что с ним делали там, как допрашивали? Грозили, что его мать, отец, вся семья будут расстреляны, уже расстреляны. Говорят — истязали. Долгие недели в тюрьме в ожидании казни... Никакого просвета, никакой надежды...

Каннегиссера очень долго не казнили. Зачем это было нужно — не знаю. Долгие недели такой «жизни» даже трудно себе представить. А ведь он «прожил» их и, кроме страшной судьбы, которую сам себе выбрал, оставался тем же Ленечкой Каннегиссером, двадцатилетним, влюбленным, гордым...

Солдату, когда ему режут палец, если и «не так больно», как «Александру Блоку», — все же страшно, невыносимо больно.

А тут еще эта адская «таблица умножения»:

Красивый × двадцатилетний × веселый × влюбленный × гордый... и еще поэт.

* * *

Уже здесь, в Париже, я видел последнюю фотографию Каннегиссера, снятую за два или три дня до казни.

Когда родных Каннегиссера выпустили, спустя несколько месяцев, из тюрьмы, даже мебель из их квартиры оказалась наполовину вывезенной. От бумаг, писем, фотографий, разумеется, ничего — если уж и рояль взяли в качестве «вещественного доказательства».

И, вернувшись, после долгих месяцев, из тюрьмы, родители Каннегиссера не нашли ни одного портрета своего казненного сына.

«Все уничтожено», — ответили в Чека на просьбу вернуть хоть одну фотографию.

В кабинете следователя было несколько человек. Когда отец Каннегиссера был уже на улице, его окликнули. Чекист в кожаной куртке, один из бывших в кабинете. Он протягивал фотографии.

— Вот. Нам всем раздавали. Возьмите.

И, помолчав, прибавил:

— Ваш сын умер как герой...

Два маленьких бледных отпечатка, такие, как делают для паспортов.

Особенно страшен один, в профиль. Это — Каннегиссер? Тот, которого мы знали, красивый, веселый, гордый мальчик?

Да, Каннегиссер. Только ни его красоты, ни молодости, ни веселья, ни стихов — уже нет. Осталось на этом лице только одно — гордость.

Губы крепко сжаты. Глаза смотрят спокойно и холодно. Волосы гладко причесаны, и щеки выбриты. Но есть в этом лице что-то такое, от чего вздрогнет всякий, взглянувший на этот портрет, даже не зная, *чей он, откуда он...*

* * *

Каннегиссера держали в Кронштадтской тюрьме. На допросы в Петербург его возили по морю в катере. И вот рассказ одного из вживших матросов. В середине пути разыгралась буря, и катер начало заливать. Каннегиссер сказал:

— Если мы потонем, я один буду смеяться.

В том, что эти слова подлинные, не усомнится никто из знавших Каннегиссера. Весь он в этой фразе. Он бы и рассмеялся, наверное, если бы катер перевернуло. А везли его из тюрьмы в застенок. Позади — долгие недели в ожидании казни. Впереди — никакого просвета, никакой надежды...

Балтийское море дымилось
И словно рвалось на закат.
Балтийское солнце садилось
За синий и дальний Кронштадт...

XVII

Я близко знал и Блока, и Гумилева. Слышал от них их только что написанные стихи, пил с ними чай, гулял по петербургским улицам, дышал одним с ними воздухом в августе 1921 года — месяце их

общей — такой разной и одинаково трагической — смерти... Как ни неполны мои заметки о них — людей, знавших обоих так близко, как знал я, в России осталось, может быть, два-три человека, в эмиграции — нет ни одного...

Блок и Гумилев. Антиподы — в стихах, во вкусах, мировоззрении, политических взглядах, наружности — решительно во всем. Туманное сияние поэзии Блока — и точность, ясность, выверенное совершенство Гумилева. «Левый эсер» Блок, прославивший в «Двенадцати» Октябрь: «мы на горе всем буржуйам — мировой пожар раздуем» — и «белогвардеец», «монархист» Гумилев. Блок, относящийся с отвращением к войне, и Гумилев, пошедший воевать добровольцем. Блок, считавший мир «страшным», жизнь бессмысленной, Бога жестоким или несуществующим, и Гумилев, утверждавший — с предельной искренностью, — что «все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога». Блок, мечтавший всю жизнь о революции как о «прекрасной неизбежности», — Гумилев, считавший ее синонимом зла и варварства. Блок, презиравший литературную технику, мастерство, выучку, самое звание литератора, обмолвившийся о ком-то:

Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец... —

и Гумилев, назвавший кружок своих учеников «Цехом поэтов», чтобы подчеркнуть важность, необходимость изучать поэзию как ремесло. И так вплоть до наружности: северный красавец, с лицом скальда, прелестно вьющимися волосами, в поэтической бархатной куртке, с мягким расстегнутым воротником белой рубашки — Блок, и некрасивый, подтянутый, «разноглазый», коротко подстриженный, в чопорном сюртуке — Гумилев...

Противоположные во всем — всю свою недолгую жизнь Блок и Гумилев то глухо, то открыто враждовали. Последняя статья, написанная Блоком, «О душе», появившаяся незадолго до его смерти, — резкий выпад против Гумилева, его поэтики и мировоззрения. Ответ Гумилева на эту статью, по-гумилевски сдержанный и корректный, но по существу не менее резкий, напечатан был уже после его расстрела.

* * *

Осенью 1909 года Георгий Чулков привел меня к Блоку. Мне только что исполнилось пятнадцать лет. На мне был кадетский

мундир. Тетрадку моих стихов прочел Чулков и стал моим литературным покровителем.

Что же описывать чувства, с которыми я входил в квартиру Блока?.. Блок жил тогда на Малой Монетной, в пятом этаже.

Большое, ничем не занавешенное окно с широким видом на крыши, деревья, Каменноостровский. Блок всегда нанимал квартиры высоко, так, чтобы из окон открывался простор. На Офицерской 57, где он умер, было еще выше, вид на Новую Голландию, еще шире и воздушней... Мебель красного дерева — «русский ампир», темный ковер, два больших книжных шкапа по стенам, друг против друга. Один с отдернутыми занавесками — набит книгами. Стекла другого плотно затянуты зеленым шелком. Потом я узнал, что в этом шкапу, вместо книг, стоят бутылки вина — «Нюи» елисеевского разлива №22. Наверху — полные, внизу — опорожненные. Тут же пробочник, несколько стаканов и полотенце. Работая, Блок время от времени подходит к этому шкапу, наливает вина, залпом выпивает стакан и опять садится за письменный стол. Через час снова подходит к шкапу. «Без этого» — не может работать.

Каждый раз Блок наливает вино в новый стакан. Сперва тщательно вытирает его полотенцем, потом смотрит на свет — нет ли пылинки. Блок — самый серафический, самый «неземной» из поэтов — аккуратен и методичен до странности. Например, если Блок заперся в кабинете, все в доме ходят на цыпочках, трубка с телефона (помню до сих пор номер блоковского телефона — 612-00!..) снята — все это совсем не значит, что он пишет стихи или статью. Гораздо чаще он отвечает на письма. Блок получает множество писем, часто от незнакомых, часто вздорные или сумасшедшие. Все равно — от кого бы ни было письмо — Блок на него непременно ответит. Все письма перенумерованы и ждут своей очереди. Но этого мало. Каждое письмо отмечается Блоком в особой книжке. Толстая, с золотым обрезом, переплетенная в оливковую кожу, она лежит на видном месте на его аккуратнейшем — ни пылинки — письменном столе. Листы книжки разграфлены: № письма. От кого. Когда получено. Краткое содержание. Краткое содержание ответа и дата...

Почерк у Блока ровный, красивый, четкий. Пишет он не торопясь, уверенно, твердо. Отличное перо (у Блока все письменные принадлежности отборные) плавно движется по плотной бумаге. В до блеска протертых окнах — широкий вид. В квартире тишина. В шкапу, за зелеными занавесками, ряд бутылок, пробочник, стаканы...

— Откуда в тебе это, Саша? — спросил однажды Чулков, никак не могший привыкнуть к блоковской методичности. — Немецкая кровь, что ли? — И передавал удивительный ответ Блока: — Немецкая кровь? Не думаю. Скорее — самозащита от хаоса.

* * *

Чулков, близкий к Блоку человек, вошел в кабинет, потряхивая своей лохматой гривой, улыбаясь бритым актерским лицом, тыча пальцем в мой кадетский мундир. — Вот привел к тебе военного человека, ты хоть не любишь армию, а его не обижай... — Я вслед за Чулковым робко ступал не совсем слушавшимися от робости ногами.

Больше всего меня поразило то, как Блок заговорил со мной. Как с давно знакомым, как со взрослым и точно продолжая прерванный разговор. Заговорил так, что мое волнение не то что прошло — я просто о нем забыл. Я вспомнил о нем с новой силой уже потом, спустя часа два, спускаясь вниз по лестнице с подаренным мне Блоком экземпляром первого издания «Стихов о Прекрасной Даме» с надписью «На память о разговоре».

Потом у меня собралось несколько таких книг, все с одинаковой надписью, только с разными датами. О чем были эти разговоры? Была у меня и пачка писем Блока — из его Шахматова в наше виленское имение, где я проводил каникулы. Письма были длинные. О чем Блок мне писал? О том же, что в личных встречах, о том же, что в своих стихах. О смысле жизни, о тайне любви, о звездах, несущихся в бесконечном пространстве... Всегда туманно, всегда обворожительно... Почерк красивый, четкий. Буквы оторваны одна от другой. Хрустящая бумага из английского волокна. Конверты на карминной подкладке. Туманные слова, складывающиеся в зыбкомерцающие фразы...

Зачем Блок писал длинные письма или вел долгие разговоры со мной, желторотым подростком, с вечными вопросами о технике поэзии на языке? Время от времени какой-нибудь такой вопрос с моего языка срывался.

— Александр Александрович, нужна ли кода к сонету? — спросил я как-то. К моему изумлению, Блок, знаменитый «мэтр», вообще не знал, что такое кода...

В дневнике Блока 1909 года есть запись: «Говорил с Георгием Ивановым о Платоне. Он ушел от меня другим человеком». В этой записи, быть может, объяснение и писем, и разговоров. Должно

быть, Блок не замечал моего возраста и не слушал моих наивных реплик. Должно быть, он говорил не столько со мной, сколько с самим собой. Случай — я был перед ним, в его орбите, — и он посы­лал мне свои туманные лучи, почти не видя меня.

* * *

В эту блоковскую орбиту попадали немногие — но те, что попадали, все казались попавшими в нее случайно. Настоящих друзей, сколько-нибудь ему равных, у Блока не было. Связи его молодости либо оборвались, либо переродились, как в отношениях Блока с Андреем Белым, — в мучительно сложную, неразрешимую путаницу. Обычной литературной среды Блок чуждался. А близкие к нему люди, приходившие к нему запросто, спутники его долгих утренних прогулок и частых ночных кутежей, — были все какие-то чудаки.

Нормальным человеком и к тому же все-таки, — хотя и второ­степенным, — писателем был среди них один Чулков. — Но что связывало Блока с этим милым, поверхностно талантливым изобре­тателем «мистического анархизма», в который никто, в том числе и сам Чулков, всерьез не верил?

Непонятна его дружба с Пястом, еще непонятней — с Евгением Ивановым и В.Зоргенфреем, которым, кстати, посвящены два шедевра блоковской поэзии: одному — «У насыпи во рву некошенном», другому — потрясающие «Шаги Командора».

Пяст, поэт-дилетант, лингвист-любитель, странная фигура в вечных клетчатых штанах, носивший канотье чуть ли не в декабре, постоянно одержимый какой-нибудь «идеей»: то устройства колонии лингвистов на острове Эзеле, то подсчетом ударений в цоканье соловья — и реформы стихосложения на основании этого подсчета, и с упорством маниака говоривший только о своей, очередной, «идее», пока он был ею одержим... Евгений Иванов — «рыжий Женя» — рыжий от бороды до зрачков, готовивший сам себе обед на спиртовке из страха, что кухарка обозлится вдруг на что-нибудь и «возьмет да подсыпет мышьяку». «Рыжий Женя», в противоположность болтливому Пясту, молчал часами, потом произносил ни с того ни с сего какое-нибудь многозначительное слово: «Бог», или «смерть», или «судьба», — и снова замолкал. Почему Бог? Что смерть? Но рыжий Женя смотрит странно, странными рыжими «глазами, скалит белые, мелкие зубы, точно хочет укусь», и не отвечает. Зоргенфрей — среднее между Пястом и Ивановым — говорит вполне вразумительно и логично. Только

заводит разговор большею частью на тему о ритуальных убийствах — это его конек. Он большой знаток вопроса — изучил каббалу, в переписке с знаменитым ксендзом Пранайтисом. Точно в на­смешку, природа дала ему характерную еврейскую внешность, хотя по отцу он прибалтийский немец, а по матери грузин...

Почему эти люди близки Блоку? Чем близки? Вернее всего — он их не замечает. Они попали в его орбиту — общаясь с ними, он видит только себя, свое одиночество в «Страшном мире». И их лица, их голоса, даже их странности, к которым он привык, — то же, что аккуратно протираемый полотенцем стакан, разграфленная «полу­чено — отвечено» книжка с золотым обрезом, методический поряд­ок на письменном столе. Все та же «самозащита от хаоса»...

Эти четверо — Зоргенфрей, Иванов, Пяст и Чулков — неизмен­ные собутыльники Блока, когда, время от времени, его тянет на кабацкий разгул. Именно — кабацкий. Холеный, барственный, чисто­плотный Блок любит только самые грязные, проплеванные и прокуренные «злачные места»: «Слон» на Разъезжей, «Яр» на Большом проспекте. После «Слона» или «Яра» — к цыганам...

...Чад, несвежие скатерти, бутылки, закуски. «Машина» хрипло выводит — «Пожалей ты меня, дорогая» или на «Сопках Маньчжу­рии». Кругом пьяницы. Навеселе и спутники Блока. — «Бог», — не­ожиданно выпаливает Иванов и замолкает, скалясь и поводя рыжи­ми зрачками. Зоргенфрей тягуче толкует о Бейлисе. Пяст, засыпая, что-то бормочет о Лопе де Вега...

Блок такой же, как всегда, как на утренней прогулке, как в сво­ем светлом кабинете. Спокойный, красивый, задумчивый. Он тоже много выпил, но на нем это не заметно.

Проститутка подходит к нему. «О чем задумались, интересный мужчина? Угостите портером». Она садится на колени к Блоку. Он не гонит ее. Он наливает ей вина, гладит ее нежно, как ребенка, по голове, о чем-то ей говорит. О чем? Да о том же, что всегда. О страшном мире, о бессмысленности жизни. О том, что любви нет. О том, что на всем, даже на этих окурках, затоптанных на кабацком полу, как луч, отражена любовь...

— Саша, ты великий поэт! — кричит пришедший в пьяный экс­таз Чулков и, расплескивая стакан, лезет целоваться. Блок смотрит на него ясно, трезво, задумчиво, как всегда. И таким же, как всегда, трезвым, глуховатым голосом медленно, точно обдумывая ответ, отвечает:

— Нет. Я не великий поэт. Великие поэты сторают в своих сти­хах и гибнут. А я пью вино и печатаю стихи в «Ниве». По полтинни-

ку за строчку. Я делаю то же самое, что делает Гумилев, только без его сознания правоты своего дела.

* * *

С тем, что Блок одно из поразительнейших явлений русской поэзии за все время ее существования, — уж никто не спорит, а те, кто спорят, не в счет. Для них, по выражению Зинаиды Гиппиус, «дверь поэзии закрыта навсегда». Но вокруг создателя этой поэзии, ее первоисточника — Блока-человека — еще долго будут идти противоречивые толки. Если они теперь утихли, это только потому, что спорить некому... Там — Блок забыт, по циркуляру политбюро, как «несозвучный эпохе», здесь — в силу все возрастающей усталости и равнодушия ко всему, кроме грустно доживаемой жизни... Но когда-нибудь споры о личности Блока вспыхнут с новой силой. Это неизбежно, если Россия останется Россией и русские люди русскими людьми. Русский читатель никогда не был и, даст Бог, никогда не будет холодным эстетом, равнодушным «ценителем прекрасного», которому мало дела до личности поэта. Любя стихи, мы тем самым любим их создателя — стремимся понять, разгадать, если надо — оправдать его.

Блок как раз как будто нуждается в оправдании. «Двенадцать» — одна из вершин поэзии Блока, и именно потому, что она одна из вершин, на имя Блока и на все написанное им ложится от нее зловеющий отблеск кощунства в отношении и России, и Христа. Стихи подлинных поэтов вообще, а шедевры их поэзии в особенности, неотделимы от личности поэта. И раз Блок написал «Двенадцать» — значит...

Дальше я расскажу, как умирал Блок. Одного его предсмертно-го бреда достаточно, по-моему, чтобы это «значит» потеряло значение. Но прежде, чем показать, как он сам, умирая, относился к своей прекрасной и отвратительной поэме, я хочу попытаться объяснить, почему Блок не ответствен за создание «Двенадцати», не запятнан, невинен.

Первое — чистые люди не способны на грязный поступок. Второе — люди самые чистые могут совершать ошибки, иногда страшные, непоправимые. Блок был человек исключительной душевной чистоты. Он и низость — исключают друг друга понятия. Говоря его же стихами, он

...был весь дитя добра и света,
был весь свободы торжество.

И он же написал «Двенадцать», где во главе красногвардейцев, идущих приканчивать штыками Россию, поставил — «в снежном венчике из роз» Христа!.. Как же совместить с этим свет, свободу, добро? Если Блок действительно «дитя добра и света», как он мог благословить преступление и грязь?

Объяснение в том, что Блок только казался литератором, взрослым человеком, владельцем Шахматова, «квартиронанимателем», членом каких-то Союзов... Все это было призрачное. В нереальной реальности, в которой он жил и писал стихи, Блок был заблудившимся в «Страшном мире» ребенком, боявшимся жизни и не понимавшим ее...

Одаренный волшебным даром, добрый, великодушный, предельно честный с жизнью, с людьми и с самим собой, Блок родился с «ободранной кожей», с болезненной чувствительностью к несправедливости, страданию, злу. В противовес «страшному миру» с его «мирской чепухой», он с юности создал мечту о революции-избавлении и поверил в нее как в реальность. Февральская революция, после головокружения первых дней, разочаровала Блока. Предпарламент, министры, выборы в Учредительное собрание — казались ему профанацией, лозунг «Война до победного конца» — приводил в негодование...

И в картавых, домогательских выкриках человеконенавистника и атеиста Ленина Блоку почудилась любовь к людям и христианская правда...

Предельная искренность и душевная честность Блока — вне сомнений. А если это так, то кошунственная, прославляющая октябрьский переворот поэма «Двенадцать» не только была создана им во имя «добра и света», но она и есть, по существу, проявление света и добра, обернувшееся страшной ошибкой.

Я не прошу.
Душа твоя невинна.
Я не прошу ей никогда, —

писала, прочтя «Двенадцать», Зинаида Гиппиус. Эти ее строчки подтверждают мои слова. Их противоречивость только кажущаяся. По существу они — как всё у Гиппиус — очень точны и ясны. Гиппиус близко знала Блока и очень любила его. То, что в своей непримиримости она так резко отказывается Блока простить, только усиливает силу ее признания-утверждения: «душа твоя невинна».

За создание «Двенадцати» Блок расплатился жизнью. Это не красивая фраза, а правда. Блок понял ошибку «Двенадцати» и ужаснулся ее непоправимости. Как внезапно очнувшийся луна-тик, он упал с высоты и разбился. В точном смысле слова он умер от «Двенадцати», как другие умирают от воспаления легких или разрыва сердца.

Вот краткий перечень фактов. Врачи, лечившие Блока, так и не могли определить, чем он, собственно, был болен. Сначала они старались подкрепить его быстро падавшие без явной причины силы, потом, когда он стал, неизвестно от чего, невыносимо страдать, ему стали впрыскивать морфий... Но все-таки от чего он умер? «Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем». Эти слова, сказанные Блоком на Пушкинском вечере, незадолго до смерти, быть может, единственно правильный диагноз его болезни. За несколько дней до смерти Блока в Петербурге распространился слух: Блок сошел с ума. Этот слух определенно шел из большевизанствовавших литературных кругов. Впоследствии в советских журналах говорилось в разных вариантах о предсмертном «помешательстве» Блока. Но никто не упомянул одну многозначительную подробность: умирающего Блока навестил «просвещенный сановник», кажется, теперь благополучно расстрелянный, начальник Петрогослитиздата Ионов. Блок был уже без сознания. Он непрерывно бредил. Бредил об одном и том же: все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть один? — «Люба, хорошенько поищи и сожги, все сожги». Любовь Дмитриевна, жена Блока, терпеливо повторяла, что все уничтожены, ни одного не осталось. Блок ненадолго успокаивался, потом опять начинал: заставлял жену клясться, что она его не обманывает, вспомнив об экземпляре, посланном Брюсову, требовал везти себя в Москву. — «Я заставлю его отдать, я убью его...» И начальник Петрогослитиздата Ионов слушал этот бред умирающего...

Брюсов, бывший «безумец», «маг», «теург», во время войны сильно начавший склоняться к Союзу русского народа, теперь занимал ряд правительственных постов — комиссарствовал, заседал, реквизировал частные библиотеки «в пользу пролетариата». Писал, как всегда, множество стихов, тоже, разумеется, прославлявших пролетариат и его вождей. Возможно, что по привычке «теургов» заглядывать в будущее — славя живого Ленина, сочинял, уже про запас, оду на его смерть:

Вот лежит он, Ленин, Ленин,
Вот лежит он, скорбно тленен...

Пильняк рассказывал как курьез, что на второй или третий день после посещения Блока Ионовым Брюсов в московском «Кафе поэтов» подробно, с научными терминами, объяснял характер помещательства Блока и его причины. Партийная директива была уже принята бывшим «безумцем» к исполнению.

* * *

В дни, когда Блок умирал, Гумилев из тюрьмы писал жене: «Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Гумилев незадолго до ареста вернулся в Петербург из поездки в Крым. В Крым он ездил в поезде Немица, царского адмирала, ставшего адмиралом красным. Не знаю, кто именно, сам ли Немиц или кто-то из его ближайшего окружения, состоял в том же, что Гумилев, «таганцевском заговоре», и, объезжая в специальном поезде, под охраной «красы и гордости революции» — матросов-коммунистов, Гумилев и его товарищ по заговору заводили в крымских портах среди уцелевших офицеров и интеллигенции связи, раздавали кому надо привезенное в адмиральском поезде из Петербурга оружие и антисоветские листовки. О том, что в окружении Немица был и агент Чека, провокатор, следивший за ним, Гумилев не подозревал. Гумилев вообще был очень доверчив, а к людям молодым, да еще военным — особенно. Провокатор был точно по заказу сделан, чтобы расположить к себе Гумилева.

Он был высок, тонок, с веселым взглядом и открытым юношеским лицом. Носил имя известной морской семьи и сам был моряком — был произведен в мичманы незадолго до революции. Вдобавок к этим располагающим свойствам этот «приятный во всех отношениях» молодой человек писал стихи, очень недурно подражая Гумилеву...

Вернулся Гумилев в Петербург загоревший, отдохнувший, полный планов и надежд. Он был доволен и поездкой, и новыми стихами, и работой с учениками-студентами. Ощущение полноты жизни, расцвета, зрелости, удачи, которое испытывал в последние дни своей жизни Гумилев, сказалось, между прочим, в заглавии, которое он тогда придумал для своей «будущей» книги: «Посередине странствия земного». «Странствовать» на земле, вернее, ждать расстрела в камере на Шпалерной, ему оставался неполный месяц...

Гумилев в день ареста вернулся домой около двух часов ночи. Он провел этот последний вечер в кружке преданно влюбленной в него молодежи. После лекции Гумилева — было, как всегда, чтение новых стихов и разбор их по всем правилам акмеизма — обязатель-

но «с придаточным предложением», т.е. с мотивировкой мнения: «Нравится или не нравится, потому что...», «Плохо, оттого что...» Во время лекции и обсуждения стихов царила строгая дисциплина, но когда занятия кончались, Гумилев переставал быть «мэтром», становился добрым товарищем. Потом студисты рассказывали, что в этот вечер он был очень оживлен и хорошо настроен — потому так долго, позже обычного, и засиделся. Несколько барышень и молодых людей пошли Гумилева провожать. У подъезда Дома искусств на Мойке, где жил Гумилев, ждал автомобиль. Никто не обратил на это внимания — был «нэп», автомобили перестали быть, как в недавние времена «военного коммунизма», одновременно и диковиной, и страшилищем. У подъезда долго прощались, шутили, улаживались «на завтра». Люди, приехавшие в стоявшем у подъезда автомобиле с орденом Чека на обыск и арест, ждали Гумилева в его квартире.

Двадцать седьмого августа 1921 года, тридцати пяти лет от роду, в расцвете жизни и таланта, Гумилев был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель?! Нет — ужасная, но имеющая глубокий смысл. Лучшей смерти сам Гумилев не мог себе пожелать. Больше того, именно такую смерть, с предчувствием, близким к ясновидению, он себе предсказал:

...умру я не на постели,
При нотариусе и враче.

* * *

Сергей Бобров, автор «Лиры лир», редактор «Центрофуги», сноб, футурист и кокаинист, близкий к ВЧК и вряд ли не чекист сам, встретив вскоре после расстрела Гумилева М.Л.Лозинского, дергаясь своей скверной мордочкой эстета-преступника, сказал между прочим, небрежно, точно о забавном пустяке:

— Да... Этот ваш Гумилев... Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу... Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж — сваял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны...

Эту жуткую болтовню дополняет рассказ о том, как себя держал Гумилев на допросах, слышанный лично мной уже не от получекиста, как Бобров, а от чекиста подлинного, следователя петербург-

ской Чека, правда по отделу спекуляции, — Держибашева. Странно, но и тон рассказа, и личность рассказчика выгодно отличались от тона и личности Боброва. Держибашев говорил о Гумилеве с неподдельной печалью, его расстрел он назвал «кровавым недоразумением». Этого Держибашева знали многие в литературных кругах тогдашнего Петербурга. И многие, в том числе Гумилев, — как это ни дико — относились к нему... с симпатией. Впрочем, Держибашев был человек загадочный. Возможно, что должность следователя была маской. Тогда объясняется и необъяснимая симпатия, которую он внушал, и его неожиданный «индивидуальный» расстрел в 1924 году.

Допросы Гумилева больше походили на диспуты, где обсуждались самые разнообразные вопросы — от «Принца» Макиавелли до «красоты православия». Следователь Яковсон, ведший «таганцевское дело», был, по словам Держибашева, настоящим инквизитором, соединявшим ум и блестящее образование с убежденностью маниака. Более опасного следователя нельзя было бы выбрать, чтобы подвести под расстрел Гумилева. Если бы следователь испытывал его мужество или честь, он бы, конечно, ничего от Гумилева не добился. Но Яковсон Гумилева чаровал и льстил ему. Называл его лучшим русским поэтом, читал наизусть гумилевские стихи, изощренно спорил с Гумилевым и потом уступал в споре, сдаваясь — или притворяясь, что сдался, — перед умственным превосходством противника...

Я уже говорил о большой доверчивости Гумилева. Если прибавить к этому его пристрастие ко всякому проявлению ума, эрудиции, умственной изобретательности — наконец, не чуждую Гумилеву слабость к лести, — легко себе представить, как, незаметно для себя, Гумилев попал в расставленную ему Яковсоном ловушку. Как незаметно в отвлеченном споре о принципах монархии он признал себя убежденным монархистом. Как просто было Яковсону после диспута о революции «вообще» установить и запротоколировать признание Гумилева, что он непримиримый враг Октябрьской революции. Вернее всего, сдержанность Гумилева не изменила бы его судьбы. «Таганцевский процесс» был для петербургской Чека предлогом продемонстрировать перед Чека всероссийской свою самостоятельность и незаменимость. Как раз тогда шел вопрос о централизации власти и права казней в руках коллегии ВЧК в Москве. Именно поэтому так старался и спешил Яковсон. Но кто знает!.. Притворись Гумилев человеком искусства, равнодушным к политике, замешанным в заговор случайно, может быть, престиж его имени — в те дни для боль-

шевиков еще не совсем пустой звук — перевесил бы обвинение? Может быть, в этом случае и доводы Горького, специально из-за Гумилева ездившего в Москву, убедили бы Ленина...

* * *

...Семилетний Гумилев упал в обморок от того, что другой мальчик перегнал его, состязаясь в беге. Одиннадцати лет он покушался на самоубийство: неловко сел на лошадь — домашние и гости видели это и смеялись. Год спустя он влюбляется в незнакомую девочку-гимназистку. Он следит за ней, бродит за ней по улицам, наконец однажды подходит и, задыхаясь, признается: «Я вас люблю». Девочка ответила «дурак» и убежала. Гумилев был потрясен. Ему казалось, что он ослеп и оглох. Он не спал ночами, обдумывал способы мести: сжечь дом, где она живет? похитить ее? вызвать на дуэль ее брата? Обида, нанесенная двенадцатилетнему Гумилеву, была так глубока, что в тридцать лет он вспоминал о ней смеясь, но с оттенком горечи...

Гумилев подростком, ложась спать, думал об одном: как бы прославиться. Мечтая о славе, он вставал утром, пил чай, шел в Царскосельскую гимназию. Часами блуждая по парку, он воображал тысячи способов осуществить свою мечту. Стать полководцем? Ученым? Изобрести перпетуум-мобиле? Безразлично что — только бы люди повторяли имя Гумилева, писали о нем книги, удивлялись и завидовали ему.

Понемногу эти детские мечты сложились в стройное мировоззрение, которому Гумилев был верен всю жизнь. Гумилев твердо считал, что право называться поэтом принадлежит тому, кто не только в стихах, но и в жизни всегда стремится быть лучшим, первым, идущим впереди остальных. Быть поэтом, по его понятиям, достоин только тот, кто, яснее других сознавая человеческие слабости, эгоизм, ничтожество, страх смерти, на личном примере, в главном или в мелочах, силой воли преодолевает «ветхого Адама». И, от природы робкий, застенчивый, болезненный человек, Гумилев «приказал» себе стать охотником на львов, уланом, добровольно пошедшим воевать и заработавшим два Георгия, заговорщиком. То же, что с собственной жизнью, он проделал и над поэзией. Мечтательный грустный лирик, он стремился вернуть поэзии ее прежнее значение, рискнул сорвать свой чистый, подлинный, но негромкий голос, выбирал сложные формы, «грозовые» слова, брался за трудные эпические темы. Девиз Гумилева в жизни и в поэзии был: «всегда линия наибольшего сопротивления». Это миро-

воззрение делало его в современном ему литературном кругу одиноким, хотя и окруженным поклонниками и подражателями, признанным мэтром и все-таки непонятым поэтом. Незадолго до смерти — так за полгода — Гумилев мне сказал: «Знаешь, я сегодня смотрел, как кладут печку, и завидовал — угадай, кому? — кирпичикам. Так плотно их кладут, так тесно, и еще замазывают каждую шелку. Кирпич к кирпичу, друг к другу, все вместе, один за всех, все за одного. Самое тяжелое в жизни — одиночество. А я так одинок...»

* * *

Всю свою короткую жизнь Гумилев, признанный, становившийся знаменитым, был окружен непониманием и враждой. Очень остро сам сознавая это, он иронизировал над окружающими и над собой.

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда —
Все, что смешит ее, надменную,
Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.

О нет, я не актер трагический,
Я ироничнее и суше.
Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.

Он помнит головы курчавые,
Склоненные к его подножью,
Жрецов молитвы величавые,
Леса, охваченные дрожью,

И видит, горестно смеющийся,
Всегда недвижимые качели,
Где даме с грудью выдающейся
Пастух играет на свирели.

Наперекор этой чуждой ему современности, не желавшей знать ни подвигов, ни славы, ни побед, Гумилев и в стихах, и в жизни ста-

рался делать все, чтобы напомнить людям о «божественности дела поэта», о том, что

...в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово — это Бог.

Всеми ему доступными средствами, всю жизнь, от названия своей юношеской книги «Путь конквистадора» до спокойно докуренной перед расстрелом папиросы, — Гумилев доказывал это и утверждал. И когда говорят, что он умер за Россию, необходимо добавить — «и за поэзию».

* * *

Блок и Гумилев ушли из жизни, разделенные взаимным непониманием. Блок считал поэзию Гумилева искусственной, теорию акмеизма ложной, дорогую Гумилеву работу с молодыми поэтами в литературных студиях вредной. Гумилев как поэт и человек вызывал в Блоке отталкивание, глухое раздражение. Гумилев особенно осуждал Блока за «Двенадцать». Помню фразу, сказанную Гумилевым незадолго до их общей смерти, помню и холодное, жестокое выражение его лица, когда он убежденно говорил: «Он (т.е. Блок), написав «Двенадцать», вторично распял Христа и еще раз расстрелял Государя».

Я возразил, что, независимо от содержания, «Двенадцать» как стихи близки к гениальности. — «Тем хуже, если гениально. Тем хуже и для поэзии, и для него самого. Дьявол, заметь, тоже гениален — тем хуже и для Дьявола, и для нас...»

Теперь, когда со дня их смерти прошло столько лет, когда больше нет «Александра Александровича» и «Николая Степановича», левого эсера и «белогвардейца», ненавистника войны, орденов, погон и «гусара смерти», гордившегося «нашим славным полком» и собиравшегося писать его историю, когда остались только «Блок и Гумилев», — как грустное утешение нам, пережившим их, — ясно то, чего они сами не понимали.

Что их вражда была недоразумением, что и как поэты, и как русские люди они не только не исключали, а скорее дополняли друг друга. Что разъединяло их временное и второстепенное, а в основном, одинаково дорогое для обоих, они, не сознавая этого, братски сходились.

Оба жили и дышали поэзией — вне поэзии для обоих не было жизни. Оба беззаветно, мучительно любили Россию. Оба ненавиде-

ли фальшь, ложь, притворство, недобросовестность — в творчестве и в жизни были предельно честны. Наконец, оба были готовы во имя этой «метафизической чести» — высшей ответственности поэта перед Богом и собой — идти на все, вплоть до гибели, и на страшном личном примере эту готовность доказали.

XVIII

27 декабря 1925 года Сергей Есенин покончил с собой в гостинице «Англетер» — известном всем петербуржцам стареньком, скромно-барственным отеле на Исаакиевской площади.

Из окон этой гостиницы виден — направо за Исаакием, дворец из черного мрамора — дом Зубовых; налево, по другую сторону Мойки, высится здание Государственного контроля. В обоих этих домах, в предреволюционные годы, бился пульс литературно-художественной петербургской жизни, в обоих — частым гостем бывал Есенин...

Не раз, вероятно, сквозь зеркальные окна кабинета графа Валентина Зубова он смотрел на приютившийся на другой стороне площади двухэтажный «Англетер». Смотрел, читая стихи, кокетничая, как всегда, нарочито-мужицкой грубостью непонятных слов:

...Пахнет рыжими драченами,
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз...

Прелестно... Прелестно... Аплодисменты, любезные улыбки — Сергей Александрович, Сережа... Прочтите еще или, еще лучше, спойте. Вы так грациозно поете эти... как их?... частушки.

Шелест шелка, запах духов, смешанная русско-парижская болтовня. Рослые лакеи в камзолах и белых чулках разносят чай и шерри-бренди, сладости. И среди всего этого звонкий голос Есенина, как предостережение из другого мира, как ледяной ветерок в душистой оранжерее:

...Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист, —
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист!..

Налево от Исаакия, по той стороне Мойки, в бельэтаже здания Государственного контроля гостиные менее пышные, мебель не такая редкостная, как у Зубовых. Но общество почти то же. Эта квартира — известного сановника Х.

Впрочем, сам Х. на приемах этих никогда не показывается. Гости — приятели его племянника М.А.Ковалева, поэта Рюрика Ивнева. Рюрик Ивнев — ближайший друг и неразлучный спутник Есенина. Шуплая фигура, бледное птичье личико, черепаховая дамская лорнетка у бесцветных шурящихся глаз. Одет изысканно-неряшливо. На дорогом костюме — пятно. Изящный галстук на боку. Каблуки лакированных туфель — стоптаны. Рюрик Ивнев все время дергается, суетится, оборачивается. И почти к каждому слову прибавляет — полувопросительно, полурастерянно: Что? Что? — Сергей Есенин? Что? Что? Его стихи — волшебство. Что? Посмотрите на его волосы. Они цвета спелой ржи — что?

Общество почти то же, как и в зубовском дворце, однако не совсем. Здесь вперемежку с лощеными костюмами мелькают подрясники, волосы в скобку и сапоги бутылками.

Есенин сидит на почетном месте. С ним нараспев беседует, вернее, поучает его, человек средних лет, одетый «под ямщика». На его лице расплывается сахарная улыбочка, но серые глаза умны и холодны. Это тоже мужицкий поэт — «олонецкий гусяр», как он сам себя рекомендует, — Николай Клюев.

— Скоро, скоро, Сереженька, забьют фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная и правда Божья обнаружится, — воркует Клюев. Есенин почтительно слушает, но в глубине его глаз прячется лукавый огонек. Он очень любит Клюева и находится под его большим влиянием. Но в «фонтаны огненные», по-видимому, не особенно верит...

— Что? Что? — слышится рядом шепелявый голосок Рюрика Ивнева. — Я? Я — убежденный пацифист! Что? Даже, вернее сказать, — пораженец. Единственный шанс России — открыть фронт и принять победителей с колокольным звоном. Единственная возможность спастись. Что?

Кстати, оба — Клюев и Ивнев — сыграют в жизни Есенина роковую роль. Через них он заведет те знакомства, которые сблизят его впоследствии с большевиками. Судьбы этих двух, таких различных, людей тоже различны. Последнее, что дошло до меня в конце 20-х — начале 30-х годов — о Ивневе, был слух о назначении его... советским полпредом не то в Персию, не то в Афганистан... Клюева, в эпоху раскулачивания, сослали в Сибирь. Из Сибири он обра-

тился к Сталину с патетическим прошением в стихах, кончавшимся так: «Дай жить или умереть позволь!» — «Отец народов» великодушно позволил Ключеву умереть...

* * *

Поздно вечером в день самоубийства Есенин неожиданно пришел именно к Ключеву. Отношения их уже давно испортились, и они почти не встречались. Вид Есенина был страшен. Перепугавшийся Ключев, по-стариковски лепеча — «Уходи, уходи, Сереженька, я тебя боюсь...», — поспешил выпроводить своего бывшего друга в декабрьскую петербургскую ночь. От Ключева Есенин поехал прямо в отель «Англетер».

Есенин покончил с собой на рассвете. Сперва неудачно, пытался вскрыть вены, потом повесился, дважды обмотав вокруг шеи ремень от заграничного чемодана — память свадебного путешествия с Айседорой Дункан. Перед смертью он произвел в комнате невероятный разгром. Стулья были перевернуты, матрас и белье стянуты с постели на пол, зеркало разбито, все кругом забрызгано кровью. Кровью же, из неудачно вскрытой вены, Есенин написал предсмертное письмо-восьмистишие, начинающееся словами:

До свиданья, друг мой, до свиданья...

* * *

Всю свою короткую, романтическую, бесшабашную жизнь — Есенин возбуждал в окружающих бурные, противоречивые страсти и сам раздирался страстями, столь же бурными и противоречивыми. Ими жил и от них погиб. Может быть, оттого, что эти страсти не нашли себе полного выхода ни в его стихах, ни в оборванной судорогой самоубийства жизни, — с посмертной судьбой Есенина произошла волшебная странность. Он мертв уже четверть века, но все связанное с ним, как будто выключенное из общего закона умирания, умиротворения, забвения, продолжает жить. Живут не только его стихи, а все «есенинское», Есенин «вообще», если можно так выразиться. Все, что его окружало, волновало, мучило, радовало, все, что с ним как-нибудь соприкасалось, — до сих пор продолжает дышать трепетной жизнью сегодняшнего дня...

Я ощущаю это приблизительно так. Если, например, где-нибудь сохранились и висят на вешалке пальто и шляпа Есенина, — то висят они как шляпа и пальто живого человека, которые он только что снял. Они еще сохраняют его тепло, дышат его сущест-

вом. Неясно? Недоказуемо? Согласен. Ни пояснять, ни доказывать не берусь. Убежден, однако, что не я один из числа тех, кому дорог Есенин, ощущаю эту недоказуемо-неопровержимую жизненность всего «есенинского»... вплоть до его старой шляпы. И это же необычайное свойство придает всем, даже неудачным, даже совсем слабым стихам Есенина — особую силу и значение. И заодно заранее лишает объективности наши суждения о них. Беспристрастно оценят творчество Есенина те, на кого это очарование перестанет действовать. Возможно, даже вероятно, что их оценка будет много более сдержанной, чем наша. Только произойдет это очень не скоро. Произойдет не раньше, чем освободится, исцелится физически и духовно Россия. В этом исключительность, я бы сказал «гениальность», есенинской судьбы. Пока Родине, которую он так любил, суждено страдать, ему обеспечено не пресловутое «бессмертие» — а *временная*, как русская мука, и такая же долгая, как она, — *жизнь*.

* * *

Впервые имя Есенина я услышал осенью или зимой 1913 года. Федор Сологуб со своим обычным надменно-брюзгливым выражением гладко выбритого белого «каменного» лица — «кирпич в сюртуке» — словцо Розанова о Сологубе — рассказывал в редакции журнала «Новая жизнь» о юном крестьянском поэте, приходившем к нему представляться.

— Смазливый такой, голубоглазый, смиренный... — неодобрительно описывал Есенина Сологуб. — Потеет от почтительности, сидит на кончике стула — каждую минуту готов вскочить. Подлизывается напропалую: «Ах, Федор Кузьмич!.. Ох, Федор Кузьмич!..» И все это чистейшей воды притворство! Лыстит, а про себя думает: ублажу старого хрена — пристроит меня в печать. Ну, меня не проведешь, — я этого рязанского теленка сразу за ушко да на солнышко. Заставил его признаться и что стихов он моих не читал, и что успел до меня уже к Блоку и Мережковским подлизаться, и насчет лучины, при которой якобы грамоте обучался, — тоже вранье. Кончил, оказывается, учительскую школу. Одним словом, прощупал хорошенько его фальшивую бархатную шкурку и обнаружил под шкуркой настоящую суть, адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало. Обнаружил, распушил, отшлепал по заслугам — будет помнить старого хрена!..

И тут же, не меняя брюзгливо-неодобрительного тона, Сологуб протянул редактору Н.Архипову тетрадку стихов Есенина.

— Вот. Очень недурные стишки. Искра есть. Рекомендую напечатать — украсят журнал. И аванс советую дать. Мальчишка все-таки прямо из деревни — в кармане, должно быть, пятиалтынный. А мальчишка стоящий, с волей, страстью, горячей кровью. Не чета нашим тютюкам из «Аполлона».

Потом о Есенине заговорили сразу со всех сторон. Вскоре мы познакомились и стали постоянно то тут, то там встречаться. Начало карьеры Есенина прошло у меня на глазах. Но после Февральской революции он, примкнув к имажинистам, перебрался в Москву, и я его больше, кроме одной случайной встречи в Берлине, — не видел.

За три, три с половиной года жизни в Петербурге — Есенин стал известным поэтом. Его окружали поклонницы и друзья. Многие черты, которые Сологуб первый прощупал под его «бархатной шкуркой», проступили наружу. Он стал дерзок, самоуверен, хвастлив. Но странно, шкурка осталась. Наивность, доверчивость, какая-то детская нежность уживались в Есенине рядом с озорством, близким к хулиганству, самомнением, недалеким от наглости. В этих противоречиях было какое-то особое очарование. И Есенина любили. Есенину прощали многое, что не простили бы другому. Есенина баловали, особенно в леволиберальных литературных кругах.

Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 года вдруг распространился и потом подтвердился «чудовищный слух»: «наш» Есенин, «душка» Есенин, «прелестный мальчик» Есенин — представлялся Александре Федоровне в Царскосельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге!

Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю «передовую общественность», когда обнаружилось, что «гнусный поступок» Есенина не выдумка, не «навет черной сотни», а непреложный факт. Бросились к Есенину за объяснениями. Он сперва отмалчивался. Потом признался. Потом взял признание обратно. Потом куда-то исчез, не то на фронт, не то в рязанскую деревню...

Возмущение вчерашним любимцем было огромно. Оно принимало порой комические формы. Так, С.И. Чацкина, очень богатая и еще более передовая дама, всерьез называвшая издаваемый ею журнал «Северные записки» «тараном искусства по царизму», на пышном приеме в своей гостеприимной квартире истерически

рвала рукописи и письма Есенина, визжа: «Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!» Тщетно ее более сдержанный супруг Я.Л.Сакер уговаривал расхोdivшуюся меценатку не портить здоровья «из-за какого-то ренегата».

Книга Есенина «Голубень» вышла уже после Февральской революции. Посвящение государыне Есенин успел снять. Некоторые букинисты в Петербурге и в Москве сумели, однако, раздобыть несколько корректурных оттисков «Голубня» с роковым: «Благоговейно посвящаю...» В магазине Соловьева на Литейном такой экземпляр, с пометкой «чрезвычайно курьезно», значился в каталоге редких книг. Был он и в руках В.Ф.Ходасевича.

Не произойди революции, двери большинства издательств России, притом самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких «преступлений», как монархические чувства, — русскому писателю либеральная общественность не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шел на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг, неизвестно. Но, конечно, зря Есенин не стал бы так рисковать. Революция, разрушив эти загадочные расчеты Есенина, забавным образом освободила его и от неизбежных либеральных репрессий. Произошла забавная метаморфоза: всемогущая оппозиция, свергнув монархию, превратившись из оппозиции во власть, неожиданно стала бессильной. «Соль земли русской» вдруг потеряла вкус... До революции, чтобы «выгнать из литературы» любого «отступника», — достаточно было двух-трех телефонных звонков «папы» Милюкова кому следует из редакционного кабинета «Речи». Дальше машина «общественного мнения» работала уже сама — автоматически и беспощадно. Но на Милюкова-министра и на всех остальных недавних вершителей литературных судеб, превратившихся в сановников «великой, бескровной», — Есенину, как говорится, было «плевать с высокого дерева». Ему было прекрасно известно, что «настоящие люди» сидят не в министерствах Временного правительства, а на даче Дурново, в особняке Кшесинской, в «совете рабочих, крестьянских и солдатских» депутатов... Связи в этой среде — открывали все двери, уничтожали последствия любого не только опрометчивого поступка, но и любого преступления. У Есенина же через Рюрика Ивнева, Клюева, Горького, Иванова-Разумника, Бонч-Бруевича знакомства, разветвляясь, поднимались до самых «вершин» — Мамонта Дальского, Луначарского, Троцкого... до самого Ленина...

Сразу же после октябрьского переворота Есенин оказался не в партии, — членом ВКП он никогда так и не стал, — но в непосредственной близости к «советским верхам». Ничего странного в этом не было. Было бы, напротив, удивительно, если бы этого не случилось.

Представить себе Есенина у Деникина, Колчака или тем более в старой эмиграции психологически невозможно. От происхождения до душевного склада — все располагало его отвернуться от «керенской России» и не за страх, а за совесть поддержать «рабоче-крестьянскую».

Прежде всего, для Есенина сближение с большевиками не имело, неизбежного для любого русского интеллигента, зловещего оттенка *измены*. Наоборот, по его тогдашним понятиям, это Временное правительство изменило царю и народу, а Ленин, отняв у Керенского власть, — выполнил народную волю. Так, по мужицки, инстинктивно рассуждал он сам. Так думали и его тогдашние друзья: Клюев, Пимен Карпов, Клычков.

Напротив, кадетско-эсеровские круги, в которых Есенин вращался до революции, ставшие «февральской властью», были ему органически чужды. Там его в свое время любили и баловали, а он позволял себя баловать и любить. Этим и исчерпывались отношения. Уже случай с императрицей вскрыл глубину взаимного непонимания между Есениным и его интеллигентными покровителями. Для Ленина и К° «ужасный поступок» Есенина был просто «забавным пустяком». — «Ну, пробрался парень с заднего крыльца к царице в расчете пожить! Экая, подумаешь, важность! Раз теперь он с нами, да к тому же, как человек талантливый, нам нужен, и дело с концом». — «Ты за кого? За нас или против? Если против — к стенке. Если «за», иди к нам и работай». Эти слова Ленина, сказанные еще в 1905 году, оставались в 1918-м в полной силе. Есенин был «за». И ценность этого «за» вдобавок увеличивалась его искренностью.

Да, искренностью. Среди примкнувших к большевикам интеллигентов большинство было проходимцами и авантюристами. Есенин примкнул к ним, так сказать, «идейно». Он не был проходимцем и не продавал себя. В Смольный его привели те же надежды, с которыми полтора года тому назад он входил в Царскосельский дворец. От Ленина он, вероятно, ждал приблизительно того же, что от царицы. Ждал осуществления мечты, которая красной нитью проходит сквозь все его ранние стихи, исконно русской, пророс-

шей сквозь века в народную душу, мечты о справедливости, идеальном, святом мужицком царстве, осуществиться которому не дают «господа».

Клюев, повлиявший на Есенина больше, чем кто-нибудь другой, называл эту мечту то «Новым Градом», то «Лесной Правдой». Есенин назвал ее «Инонией». Поэма под этим названием, написанная в 1918 году, — ключ к пониманию Есенина эпохи «военного коммунизма». Как стихи это, вероятно, самое совершенное, что он создал за всю свою жизнь. Как документ — яркое свидетельство искренности его безбожных и революционных увлечений.

Очищенная от стилистических украшений и поэтических инсказаний, эта «мужицкая мечта» Есенина—Клюева сводилась в общих чертах к следующему. Идеальное «Лесное Царство» наступит на Святой Руси, когда в ней будет уничтожено все наносное, искусственное, чуждое народу, называемое империей, культурой, интеллигенцией, правовым порядком и т.д. Надо запустить красного петуха, который все это сожжет. Тогда-то и встанет из пепла, как Китеж со дна озера, «Новый Град». Откуда запустят красного петуха — справа или слева, что поможет осуществиться на Руси «Лесной Правде» — дубинка Союза Михаила Архангела или динамитные жилеты и бомбы террористов, особого значения не имеет...

Клюев вскоре после захвата власти большевиками выразил все это в замечательном стихотворении. К сожалению, помню из него только несколько строк, но и они достаточно выразительны:

Есть в Смольном потемки трущоб,
Где привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси Великой.
Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах...

То, что «Великая Русь» лежит в Смольном в гробу, отнюдь не выражение горя Клюева по поводу ее смерти или негодования по адресу ее убийц из Смольного. Совсем наоборот. Скорее радость — долгожданное начало сбываться. Былая Русь, пусть «великая», но господская, интеллигентская, «не наша», наконец умерла — туда ей и дорога. И Ленин — сегодняшний убийца былой Руси — подходящий строитель будущей. Стихи отмечают радующие Клюева в Ленине черты: керженский, т.е. народный, мужицкий дух. Игуменский, т.е. одновременно хозяйский и монастырско-церковный

«окрик» в декретах. Ясно: Ленин — человек стоящий, правильный, свой. И помогать ему — «правильное дело», долг каждого мужика.

Боже, свободу храни,
Красного государя коммуны! —

тогда же восклицал Клюев. И в те дни для него, для Есенина и для близких им по духу людей, а таких было много, это звучало не нелепостью, как теперь, а торжественным «ныне отпускаеши»...

* * *

Есенин в СССР давно развенчан и разоблачен. В учебниках словесности ему посвящают несколько строк, цель которых — внушить советским школьникам, что Есенина не за что любить, да и незачем читать: он поэт второстепенный, «мелкобуржуазный», несозвучный эпохе...

Ни в печати, ни по радио имя Есенина никогда не упоминается. Из библиотек его книги изъяты. Одним словом, официально Есенин забыт и навсегда сдан в архив...

А популярность Есенина между тем все растет. Стихи его в списках расходятся по всем углам России. Их заучивают наизусть, распевают, как песни. Возникают, несмотря на неодобрение властей, кружки его поклонниц под романтическим названием «невесты Есенина». Оказавшись в условиях относительной лагерной свободы, ди-пи переиздают его стихи. И эти неряшливо отпечатанные и недешево стоящие книги бойко расходятся не только в лагерях, но и в среде старых эмигрантов — людей, как известно, к поэзии на редкость равнодушных.

В чем же все-таки секрет этого все растущего обаяния Есенина?

Без сомнения, Есенин очень талантливый поэт. Но так же несомненно, что дарование его нельзя назвать первоклассным. Он не только не Пушкин, но и не Некрасов или Фет. К тому же ряд обстоятельств — от слишком легкой и быстрой славы до недостатка культуры — помешали дарованию Есенина гармонически развиться. И в его литературном наследстве больше падений и ошибок, чем славных находок и удач...

Но как-то, само собой, случилось так, что по отношению к Есенину формальная оценка кажется ненужным делом. Конечно, стихи Есенина, как всякие стихи, состоят из разных «пэонов, пиррихийев, анакруз»... Конечно, и их можно под этим углом взвесить и разобрать. Но это вообще скучное занятие, особенно скучное, когда

в ваших руках книжка Есенина. Химический состав весеннего воздуха можно тоже исследовать и определить, но... насколько естественней просто вдохнуть его полной грудью...

И совершенно так же не хочется подходить к биографии и личности Есенина с обычными мерками: нравственно — безнравственно, допустимо — недопустимо, белое — красное. В отношении Есенина это тоже неважно и бесполезно.

Важно другое. Например, такой удивительный, но неопровержимый факт: на любви к Есенину сходятся и шестнадцатилетняя «невеста Есенина», комсомолка, и пятидесятилетний, сохранивший стопроцентную непримиримость, «белогвардеец». Два полюса искаженного и раздробленного революцией русского сознания, между которыми, казалось бы, нет ничего общего, сходятся на Есенине, — т.е. сходятся на русской поэзии. Т.е. на поэзии вообще. Т.е. на том, суть чего Жуковский когда-то так хорошо определил:

Поэзия есть Бог в святых мечтах земли...

Бог в святых мечтах... т.е. противоядие против безбожия, диамата, рабства тела, растления душ... т.е., в конечном свете, антибольшевизм.

Распространенное объяснение опалы Есенина тем, что он крестьянский поэт, неудовлетворительно. Доживи Есенин, как Клюев, до коллективизации, вероятно, и ему бы пришлось ответить за «кулацкие тенденции». Но Есенин давно мертв. А, беспощадный к живым, большевизм, мы знаем, на редкость снисходителен к покойникам, особенно знаменитым. Это понятно: атрибутов «Великого Октября», которые можно сохранить без опасности для нынешнего режима, становится все меньше и меньше. Одной мумии Ленина, как-никак, недостаточно. Эту недохватку и заполняют с успехом разные прославленные мертвецы, разные «города Горького», «площади Маяковского» и т.д. Не сомневаюсь, что нашлась бы площадь и все остальное и для Есенина, если бы за ним числились только грехи, совершенные им при жизни... Но у Есенина есть перед советской властью другой непростительный грех — *грех посмертный*. Из могилы Есенин делает то, что не удалось за тридцать лет никому из живых: объединяет русских людей звуком русской песни, где сознания *общей вины и общего братства сливаются в общую надежду на освобождение...*

Оттого-то так и стараются большевики внушить гражданам СССР, что Есенина не за что любить. Оттого-то он и объявлен «несозвучным эпохе»...

В конце 1921 года в Москву, в погоне за убывающей славой, приехала Айседора Дункан.

Она была уже очень немолода, раздалась и отяжелела. От «божественной босоножки», «ожившей статуи» — осталось мало. Танцевать Дункан уже почти не могла. Но это ничуть не мешало ей наслаждаться овациями битком набитого московского Большого театра. Айседора Дункан, шумно дыша, выбегала на сцену с красным флагом в руке. Для тех, кто видел прежнюю Дункан, — зрелище было довольно грустное. Но все-таки она была Айседорой, мировой знаменитостью и, главное, танцевала в еще не избалованной знатными иностранцами «красной столице». И вдобавок, танцевала с красным флагом! Восторженные аплодисменты не прекращались. Сам Ленин, окруженный членами Совнаркома, из царской ложи подавал к ним сигнал.

После первого спектакля на банкете, устроенном в ее честь, — знаменитая танцовщица увидела Есенина. Взвинченная успехом, она чувствовала себя по-прежнему прекрасной. И, по своему обыкновению, оглядывала участников банкета, ища среди присутствующих достойного «разделить» с ней сегодняшний триумф...

Дункан подошла к Есенину своей «скользящей» походкой и, недолго думая, обняла его и поцеловала в губы. Она не сомневалась, что ее поцелуй осчастливит этого «скромного простачка». Но Есенина, уже успевшего напиться, поцелуй Айседоры привел в ярость. Он оттолкнул ее — «Отстань, стерва!» Не понимая, она поцеловала Есенина еще крепче. Тогда он, размахнувшись, дал мировой знаменитости звонкую пощечину. Айседора ахнула и в голос, как деревенская баба, зарыдала.

Сразу протрезвившийся Есенин бросился целовать ей руки, утешать, просить прощения. Так началась их любовь. Айседора простила. Бриллиантом кольца она тут же, на оконном стекле, выцарапала:

Esenin is a huligan,
Esenin is an angel! —

«Есенин хулиган, Есенин ангел». Вскоре роман танцовщицы и гонимого ею в сыновья «крестьянского поэта» — завершился «законным браком». Айседора и Есенин, зарегистрировавшись в московском ЗАГСе, уехали за границу — в Европу, в Америку, из Америки обратно в Европу. Брак оказался недолгим и неудачным...

Весной 1923 года я был в берлинском ресторане Ферстера, на Монтчштрассе. Кончив обедать, я шел к выходу. Вдруг меня окликнули по-русски из-за стола, где сидела большая шумная компания. Обернувшись, я увидел Есенина. Я не удивился. Что он со своей Айседорой в Берлине, я уже слышал на днях от М. Горького.

Я не встречался с Есениным несколько лет. На первый взгляд, он почти не изменился. Те же васильковые глаза и светлые волосы, тот же мальчишеский вид. Он легко, как на пружинах, вскочил, протягивая мне руку. — Здравствуйте! Сколько лет, сколько зим. Вы что же, проездом или эмигрантом заделались? Если не торопитесь, присоединяйтесь, выпьем чего-нибудь. Не хотите? Ну, тогда давайте я вас провожу...

Швейцар подал ему очень широкое, короткое черное пальто и цилиндр. Поймав мой удивленный взгляд, он ухмыльнулся. — Люблю, знаете, крайности. Либо лапти, либо уж цилиндр и пальмерстон... — Он лихо нахлобучил цилиндр на свои кудри. — Помните, как я когда-то у Городецкого в плисовых штанах, подпоясанный золотым ремешком, выступал? Не забыли?

— Помните? — Есенин смеется. — Умора! На что я тогда похож был! Ряженный!.. — Да, конечно, ряженный. Только и сейчас в Берлине в этом пальто, которое он почему-то зовёт «пальмерстоном», и цилиндре у него тоже вид ряженого. Этого я ему, понятно, не говорю.

Мы идем по тихим улицам Вестена. Есенин, помолчав, говорит: — А признайтесь — противен я был вам, петербуржцам. И вам, и Гумилеву, и этой осе Ахматовой. В «Аполлоне» меня так и не напечатали. А вот Блок — тот меня сразу признал. И совет мне отличный дал: «Раскачнитесь посильнее на качелях жизни». Я и раскачнулся! И еще раскачнусь! Интересно, что бы сказал Александр Александрович, если бы видел мою раскачку, а?

Я молчу, но Есенин как будто и не ждет от меня ответа. Он продолжает о Блоке: — Ах, как я любил Александра Александровича. Влюблен в него был. Первым поэтом его считал. А вот теперь, — он делает паузу. — Теперь многие — Луначарский там, да и многие пишут, что — я первый. Слышали, наверно? Не Блок, а я. Как вы находите? Врут, пожалуй? Брехня?

Он вдруг останавливается: — Хотите, махнем к нам в «Адлон»? Айседору разбудим. Она рада будет. Кофе нам турецкий сварит. Поедем, право? И мне с вами удобней — без извинений, объяснений... Я ведь оттого сегодня один обедал, что опять поругался с ней. Ругаемся мы часто. Скверно это, сам знаю. Злит она меня. Замечатель-

ная баба, знаменитость, умница — а недостает чего-то, самого главного. Того, что мы, русские, душой зовем...

— Поедем, право, в «Адлон». Не хотите? Ну, как-нибудь в другой раз. Следует вам все-таки с ней познакомиться. Посмотреть, как она с шарфом танцует. Замечательно. Оживает у ней в руках шарф. Держит она его за хвост, а сама в пляс. И кажется, не шарф — а хулиган у нее в руках. Будто не она одна, а двое танцуют. Глаз не веришь, такая — как это? — экспрессия получается... Хулиган ее и обнимает, и треплет, и душит... А потом вдруг — раз! — и шарф у ней под ногами. Сорвала она его, растоптала — и крышка! Нет хулигана, смятая тряпка на полу валяется... Удивительно она это продельывает. Сердце сжимается. Видеть спокойно не могу. Точно это я у нее под ногами лежу. Точно это мне крышка.

Я тороплюсь, меня ждут. Описание танца с шарфом оставляет меня холодным. Мне представляется запыхавшаяся Дункан, тяжело прыгающая с красным флагом по сцене московского Большого театра. Волнение, с которым говорит Есенин, не передается мне. Волнение я испытаю потом, когда прочту, как Есенин повесился на ремне одного из тех самых чемоданов, которые сейчас лежат в его номере «Адлона» — самой шикарной гостиницы Берлина. И еще потом, года два спустя, узнав, что Айседору Дункан в Ницце, на Promenade des Anglais, задушил ее собственный шарф...

Да:

Бывают странными пророками
Поэты иногда...

Как не согласиться — бывают...

Я останавливаюсь у подъезда дома, где меня ждут.

— Как? Уже? — удивляется Есенин. — А я только разоткровенничался с вами. Жаль, жаль, как говорит Заяц в сказках Афанасьева. Ну, все равно. Со мной ведь всегда так. Только разоткровенничаюсь — сейчас что-нибудь и заткнет глотку. И в жизни, и в стихах — всегда. Скучно это. Завидуют мне многие, а чему завидовать, раз я так скучаю. И хулиганю я, и пьянствую — все от скуки. Правильно я как-то сам себе сказал:

Проплясал, проплакал день весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Поднимать глаза.

Ах, до чего скучно! До черта. Ну... до свиданья... я уж со скуки этой закачусь куда-нибудь. Пущу дым коромыслом. Раскачнусь.

Взмах цилиндра, широкая пола «пальмерстона», мелькнувшая в дверцах такси...

* * *

После этой нашей последней встречи — Есенин прожил два года с небольшим. Но испытанного и пережитого им за это время хватило бы на целую — долгую, бурную и очень несчастную — жизнь. Было с ним, до 23 ноября 1925 года, много, очень много «всякого».

Был разрыв с Айседорой и одинокое возвращение в Москву. Была новая женитьба и новый разрыв. Было, попутно, много других любовных встреч и разлук. Было путешествие в Персию и «вынужденный отдых»... в лечебнице душевнобольных. Была последняя, очень грустная, поездка в деревню, где все разочаровало поэта. Были, наконец, новые кутежи и дебоши, отличавшиеся от прежних тем, что теперь они неизменно кончались антисоветскими и антисемитскими выходками. Пьяный Есенин чуть ли не каждую ночь кричал, на весь ресторан, а то и на всю Красную площадь, — «Бей коммунистов — спасай Россию» — и прочее в том же духе. Всякого другого на месте Есенина, конечно бы, расстреляли. Но с «первым крестьянским поэтом» озадаченные власти не знали, как поступить. Пробовали усюветить — безрезультатно. Пытались припугнуть, устроив над Есениным «общественный суд» в Доме печати, — тоже не помогло. В конце концов, как это ни странно, большевики уступили. Московской милиции было приказано: скандалящего Есенина отправлять в участок для вытрезвления, «не давая делу дальнейшего хода». Скоро все милиционеры Москвы знали Есенина в лицо...

Есенин — типичный представитель своего народа и своего времени. За Есениным стоят миллионы таких же, как он, только безымянных, «Есениных» — его братья по духу, «соучастники-жертвы» революции. Такие же, как он, закруженные вихрем ее, ослепленные ею, потерявшие критерий добра и зла, правды и лжи, вообразившие, что летят к звездам, и шлепнувшиеся лицом в грязь. Променившие Бога на «диамат», Россию на «Интернационал» и, в конце концов, очнувшиеся от угара у разбитого корыта революции. Судьба Есенина — их судьба, в его голосе звучат их голоса. Поэтому-то стихи Есенина и ударяют с такой «неведомой силой» по русским сердцам и имя его начинает сиять для России наших дней пушкински-просветленно, пушкински-незаменимо.

Подчеркиваю: *для России наших дней*. Т.е. для того, что уцелело после тридцати двух лет нового татарского ига от Великой России.

Ту былую Россию даже скупой на похвалы, холодный сноб Поль Валери назвал в своем дневнике «одним из трех чудес мировой истории» — Эллада, итальянский Ренессанс и Россия XIX века.

Сознаемся, как это ни горько, что от этого «чуда мировой истории» в нынешнем СССР сохранилось не многим больше, чем от Эллады Фидия... в современной Греции. Достоевский сказал: «Пушкин — наше всё». И нельзя было точнее и вернее определить взаимоотношения Пушкина и России до революции. «Наше всё» значило, что величие Пушкина равно величию породившей его культуры, что имена Пушкина и России почти синонимы.

Увы! — Пушкин и СССР не только не синонимы, но просто несравнимые величины. Нельзя, пожалуй, опуститься ниже по сравнению с уровнем его божественной, нравственной и творческой гармонии, чем опустилась «страна пролетарской культуры», наша несчастная Родина!

Обрести право опять назвать Пушкина «нашим всем», подняться до него — дело долгое и трудное, которое еще очень не скоро удастся России.

Значение Есенина именно в том, что он оказался как раз на уровне сознания русского народа «страшных лет России», совпал с ним до конца, стал синонимом и ее падения, и ее стремления возродиться. В этом «пушкинская» незаменимость Есенина, превращающая и его грешную жизнь, и несовершенные стихи в источник света и добра. И поэтому о Есенине, не преувеличивая, можно сказать, что он наследник Пушкина наших дней.

К ИТАЙСКИЕ ТЕНИ

Вопросы культуры и искусства в Китае

Вопросы культуры и искусства в Китае

Вопросы культуры и искусства в Китае

Вопросы культуры и искусства в Китае

Вопросы культуры и искусства в Китае

Вопросы культуры и искусства в Китае

Вопросы культуры и искусства в Китае

Вопросы культуры и искусства в Китае

Вопросы культуры и искусства в Китае

Вопросы культуры и искусства в Китае

Вопросы культуры и искусства в Китае

Вопросы культуры и искусства в Китае

Вопросы культуры и искусства в Китае

Вопросы культуры и искусства в Китае

Тема моих очерков — быт литературного Петербурга последних десяти-двенадцати лет.

Год наибольшего расцвета и напряжения этой жизни, «последняя зима перед войной», был годом моего вступления в литературу. С нее я и поведу свой рассказ. Поневоле я вынужден его начать с круга узкопоэтического, постепенно расширяя границы впечатлений и встреч. Еще мне часто придется говорить как будто о мелочах и пустяках; но я думаю, эти мелочи достойны внимания, если именно они были тем воздухом, которым дышало целое поколение деятелей русского искусства. Как был живителен этот воздух и как нам теперь его недостает, знает каждый поэт или художник, когда-то им дышавший.

«ГИПЕРБОРЕЙ»

Зимой 12/13 года каждую пятницу в квартире М.Л.Лозинского на Тучковой набережной происходили собрания «Гиперборея».

«Гиперборей» — «ежемесячник стихов и критики», как значилось на титульном листе, был маленький журнальчик — 32 страницы в восьмую долю. Печаталось экземпляров двести. Расходилось... хорошо, если четверть. Были, впрочем, и подписчики. Однажды редактору-издателю Лозинскому кто-то сказал: «Послушайте, как запаздывает ваш журнал; сейчас май, а январская книжка еще не вышла. Что подумают подписчики?» Лозинский сделал серьезную мину: «Вы правы. Действительно неудобно». Вдруг лицо его прояснилось: «Ну ничего — я им скажу».

Подписчики вместе с сотрудниками собирались по пятницам в большом кабинете с желтыми кожаными креслами, толстым ковром и огромным окном на Малую Невку, Тучков Буян, бесконечный ряд парусников и барок на фоне красного зимнего заката. Пили чай, курили. Сначала приходила мелкота — совсем молодые поэты, раз-

ные студенты, «интересующиеся», но скрывающие, что «они тоже пишут». Мэтры прибывали позже, по-генеральски.

Из внутренних комнат появлялся хозяин дома. Статный, любезный, блестяще остроумный, он имел дар очаровывать всех — и случайного посетителя, и важного гостя, какого-нибудь профессора или знаменитого иностранца (заплывали в «Гиперборей» и такие).

* * *

Когда ожидалась новая книжка журнала и корректура, все немножко волновались. Особенно те, конечно, чьи стихи должны были увидеть свет. Уже шестой час, а Лозинского все нет — задержался в типографии. Но вот скрип двери, шорох портьеры.

Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
С душой отцовско-материнской,
Выходит Михаил Лозинский,
Рукой лелея исполинской
Свое журнальное дитя.

Так описал этот выход в шуточном стихотворении «По пятницам в “Гиперборее” Василий Гиппиус, тогда студент и начинающий поэт.

* * *

С царскосельским поездом приезжали супруги Гумилев и Ахматова. Вбегал Мандельштам и, не здороваясь, искал «мецената», который бы заплатил за его извозчика. Потом бросался в кресло, требовал коньяку в свой чай, чтобы согреться, и тут же опрокидывал чашку на ковер или письменный стол. Мандельштам вечно мерз, шубы не имел, кутался поверх осеннего пальто в башлыки или шарфы, что плохо помогало. Однажды он ехал с Гумилевым в «Гиперборей» на извозчике и вел какой-то литературный спор. В пылу спора Гумилев не заметил, что ядовитые реплики из-под башлыка становились все реже и короче. И вдруг уже недалеко от гиперборейского подъезда на колени Гумилеву падает совсем бесчувственный Мандельштам. Споря, он замерз. И его долго растирали, тормошили и отпаивали, прежде чем привели в чувство. Поэт Владимир Нарбут потом требовал себе медали за спасение погибающего. Он уверял, что пока все без толку хлопотали над замерзшим, он догадался поднести к его носу трехрублевку. Близость столь крупной суммы будто бы и подействовала оживляюще на всегда безденежного поэта.

* * *

Городецкий часто приводил с собой какой-нибудь новый талант «из народа». Он очень любил их разыскивать. Но дара на это у него не было. «Таланты» попадались один другого хуже. Единственным открытием Городецкого в те времена, тоже довольно сомнительным, был С.Клычков, но Городецкий не унывал. Он не унывал никогда и ни в чем, брался за все весело и с каким-то детским жаром. Эта легкость, эта постоянная беспечная улыбка и пленила, должно быть, Гумилева и была основой их недолгой дружбы и недолгого литературного союза.

Союз, в сущности, был совершенно неестественный. «Европейца» Гумилева и стройную теорию его акмеизма Городецкий со своим русским жанром дешевого пошиба только компрометировал. Ни стихов Городецкого, ни его статей никто, даже самый неопытный из нас, не принимал всерьез. Но в нем самом было что-то чрезвычайно милое и привлекательное. Таким он и остался.

* * *

Центральной фигурой гиперборейских собраний был, конечно, Гумилев. В длинном скюртуке, в желтом галстуке, с головой почти наголо обритой, он здоровался со всеми со старомодной церемонностью. Потом садился, вынимал огромный, точно сахарница, серебряный портсигар, закуривал. Я не забуду ощущения робости (до дрожи в коленях), знакомого далеко не мне одному, когда Гумилев заговаривал со мною. В те времена я уже был с ним на «ты» и формально на товарищеской ноге, но это «ты, Николай», увы, сильно походило на «Ваше Превосходительство» в устах только что произведенного подпоручика.

* * *

Новая книжка «Гиперборея» в цветной обложке с елизаветинским набором роздана сотрудникам и гостям. Счастливые авторы жадно рассматривают свои стихи. Есть и огорчения. Седая дама мужественного вида, врач царскосельского госпиталя, друг императрицы, княжна В.И.Гедройц краснеет, как девочка, от обиды. Редакция своей властью сократила ее стихи. Но Гумилев подходит к ней. «Вера Игнатьевна, — важно цедит он сквозь зубы, — не правда ли, ваши стихи выигрывают в таком виде». Голос мэтра словно гипнотизирует ученицу, в два раза старшую годами, чем он. И она отвечает: «Да, Николай Степанович». Она уже забыла свое негодование, уже согласна и довольна.

* * *

Когда все в сборе, коллегия, т.е. Гумилев, Городецкий и Лозинский, удаляется в соседнюю комнату на редакционное совещание. Здесь решается судьба стихов, безжалостно мараются рецензии, назначается день ближайшего цехового собрания. Сотрудники вызываются иногда в это святилище — по большей части для какого-нибудь разноса. Однажды на самых первых порах своего участия в «Цехе» я тяжко провинился, поместив стихотворение в футуристическом сборнике. И право, я вошел в столовую, где заседала коллегия, с таким чувством, точно испанская инквизиция будет меня судить. Дело обошлось — я написал письмо в редакцию о «досадном недоразумении». Бывали случаи и посерьезнее. Я помню, как поэт Н.А.Бруни, очень милый застенчивый мальчик, вышел отсюда красный, как кумач, со слезами на глазах. Коллегия постановила исключить его за писание плохих стихов. Стихи действительно были очень плохи.

* * *

Чай допили, пепельница завалена окурками, в чинном кабинете беспорядок и дым. Гумилев встает: «Мне пора». Вслед за ним поднимаются все остальные. Гурьбой идут по лестнице, гурьбой подходят к «ручке» Ахматовой. Уже застегивая полость саней, Гумилев бросает: «Жоржик, я жду тебя завтра. Осип, не забудь принести мне моего Верлена. До свиданья, господа». «Господа» идут по пустой набережной, засыпанной снегом, тускло освещенной газом. Заветный номер «Гиперборея» в кармане. Что-то скажут там о моих новых стихах?

II

«Античные глупости», «Транхопс», «Жора» — так назывались эти стихи. Они сочинялись, вернее, импровизировались повсюду — в «Бродячей собаке», на извозчике, в редакции, после революции — в Доме литераторов или во «Всемирной литературе»*. Это не пародии, по крайней мере — лучшие из них. Эпиграммы? — Иногда. Чаще же всего это «несерьезные стихи, написанные вполне серьезно».

* Основанное М.Горьким издательство, где работали и кормились все петербургские писатели в голодные 1918—1920 годы. (Здесь и далее примечания под звездочками принадлежат автору. — *Ред.*)

В этом их очарование и превосходство над профессиональной юмористикой. Покойный Н.Гумилев чрезвычайно ценил этот жанр, даже переоценивал, пожалуй. Так, незадолго до смерти он серьезно уверял одного своего друга, автора прославившейся в те дни (на неделю, разумеется) баллады, что охотно отдал бы все им до сих пор написанное — от «Романтических цветов» до «Костра» — за дар «Транхоса». Н.С.Гумилев этого дара не имел. Писали другие. Н.С. же был главным критиком и знатоком этих оеувге'ов¹, повторяю — даже пристрастным. Достаточно сказать, что сравнения с такими мэтрами остроловия, как Козьма Прутков и Теодор де Банвиль, неизменно делались им в пользу наших «Античных глупостей».

Настоящий очерк есть маленькая антология того, что осталось в моей памяти. Никто этого не записывал, тем более не печатал, и многое погибло. Из того, что осталось, не все, к сожалению, сохранит для широкого читателя первоначальные соль и смысл. Где можно, я даю краткие пояснения. Авторами печатаемых ниже стихов, часто коллективными, являются М.Л.Лозинский, О.Э.Мандельштам, пишущий эти строки, реже Вл.Пяст, В.Зоргенфрей и В.Шилейко*.

1

АНТИЧНЫЕ ГЛУПОСТИ

Наиболее прославленные, из стихов этого рода, по заданию должны были соединять классическую простоту формы с истинно античной просветленно-глубокомысленной глупостью.

Лесбия, где ты была? — Я лежала в объятьях Морфея.
— Женщина! Ты солгала: в них я покоился сам.

* * *

Ветер с окрестных деревьев срывает желтые листья.
Лесбия, о погляди — фиговых сколько листов!

* * *

Катится по небу Феб в своей золотой колеснице —
Той же стезей ввечеру он возвратится назад.

¹ Произведений (*фр.*).

* Шилейко В.К. — поэт, профессор археологии.

На М.Л.Лозинского:

Буйных гостей голоса покрывают шумящие краны.
Ванну, хозяин, прими, но принимай и гостей.

* * *

Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей угощая:
«Скифам любезно вино, мне же любезны друзья».

На В.К.Шилейко:

Путник, откуда идешь? — Я был в гостях у Шилейки.
Дивно живет человек. Смотришь — не веришь очам:
В бархатном кресле сидит. За обедом кушает гуся.
Кнопки коснется рукой — сам зажигается свет.
Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,
Путник, молю, объясни — кто же живет на Восьмой?

2

Стихи Мандельштама, написанные о самом себе. Здесь в несколько приподнятом стиле описываются семейные неприятности поэта. К сожалению, помню только отрывок:

В девятьсот двенадцатом, как яблоко румян,
Был канонизирован святой Мустамиан*,
И к неувядаемым блаженствам приобщен
Тот, кто от чудовищных родителей рожден.
Серебро закладывал, одежды продавал,
Тысячу динариев менялам задолжал.
Гонят люди палками того, кто наг и нищ.
Охраняют граждане добро своих жилищ.

3

Надпись к портрету художника Натана Альтмана. Читается с немецким акцентом.

Эт-то есть художник Альтман.
Отшень старый шеловек.

* От Мустамяк в Финляндии, где описываемые события происходили.

По-немецки значит Альтман
Отшень старый шеловек.
Он художник старой школы,
Целый свой трудился век —
Оттого он невеселый,
Отшень старый шеловек.

4

«Жора». Особый род стихов, изобретенный В.Шилейко. В каждой строке должно быть сочетание слогов «жо-ра». Остальное — по вкусу автора. Желавшие написать «жору» должны были испрашивать у Шилейко разрешения, даваемого с разбором. Так, у меня Шилейко потребовал письменного согласия родителей. «Но мой отец умер». — «Это меня не касается», — ответил изобретатель «жоры» — и не разрешил.

«Жор» было написано много. Вот образчики:

Обжора-вор арбуз украл
Из сундука тамбур-мажора.
«Обжора, — закричал капрал, —
Ужо расправа будет скоро...»

Другая, помню, начиналась так:

Свежо рано утром. Проснулся я наг.
Уж орангутанг завозился в передней...

5

Покойному Н.И.Кульбину, действительному статскому советнику, мистика и дилетанту-футуристу, из ресторана «Вена» была отправлена с посылным записка:

В мистических кругах известно всем,
Что лучшая из цифр есть цифра семь!

Ответ Кульбина гласил:

Известно мистику и должно знать поэту,
Что лучше тройки цифры нету.

К письму была приложена трехрублевка.

6

Период революционный, 1919—1921 годы. Альбом Розы. Роза — старая толстая еврейка, неизвестно как и с чьего разрешения появившаяся во «Всемирной литературе» и продававшая сотрудникам в кредит съестное, табак и пр. Вся ее сила была в кредите — товары были ужасные, цены мародерские. Сидела она, окруженная своими товарами, напротив кассы, так что получающий деньги ускользнуть от нее никак не мог.

На что нам былая свобода,
На что нам Берлин и Париж,
Когда ты направо от входа
Насупротив кассы сидишь, —

писал В.Зоргенфрей. Эта Роза по собственному почину завела альбом и всех своих клиентов заставляла ей что-нибудь написать. «Что вы думаете, через сто лет мой альбом будет стоить огромные деньги», — говорила она. Роза была требовательна, любила мадригалы галантного стиля, вроде этого:

Печален мир. Все суета и проза.
Лишь женщины нас тешат да цветы.
Но двух чудес соединенье ты:
Ты женщина! Ты роза!

Мандельштам, самый безнадежный из ее должников, осмелился ей написать:

Не сожалей, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч:
Помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать.

Какой-то комиссариат или комитет выпустил афишки популярно-научно-атеистического содержания. Картинка, под ней стихи — и то и другое очень глупое. Это вызвало подражание:

Видел каждый человек
Солнце, звезды, воду, снег.
Но не каждый понимает,
Что все это означает.
Например: и в час грозы,
И в тихую погоду
Разнообразные газы
Образуют воду.
Блещет так, что дрожь берет,
Камень драгоценный,
Между прочим, углерод
Он обыкновенный.
Человек и перья птиц,
Водка и карета —
Из одинаковых частиц
Состоит все это.
Хоть всего не описать,
Да и не нужно много,
Чтоб научно отрицать
Существование Бога.

Издательство «Петрополис» издавало наши книги с изяществом, редким не только для революционного, но и для обычного времени. Черная неблагодарность сотрудников к заботам о внешности их книг, проявляемым главой издательства Я.Н.Блохом, выразилась в посвященной ему балладе:

На Надеждинской жил один
Издатель стихов,
Назывался он господин
Блох.

Всем хорош был... Лишь одним он был

Плох.

Фронтисписы слишком полюбил

Блох.

Фронтиспис его и погубил.

Ох!

Труден издателя путь, и тяжел, и суров, и тернист,

А тут еще марка, ex-libris, шмуцтитул, и титул, и титульный лист.

Книгу за книгою Блох отправляет в печать —

Издal с десяток и начал смертельно скучать.

Добужинский, Чехонин не радуют взора его,

На Митрохина смотрит, а сердце, как камень, мертво.

И шепнул ему дьявол однажды, когда он ложился в постель:

«Яков Ноевич, есть еще Врубель, Бердслей, Рафаэль».

Всю ночь Блох фронтисписы жег,

Всю ночь Блох ex-libris'ы рвал,

Очень поздно лег,

С петухами встал.

Он записки пишет, звонит в телефон,

На обед приглашает поэтов он.

И когда собрались за поэтом поэт,

И когда принялись они за обед,

Поднял Блох руку одну*,

Нож вонзил в бок Кузмину.

Дал Мандельштаму яду стакан,

Выпил тот и упал на диван.

Дорого продал жизнь Гумилев,

Умер, не пикнув, Жорж Иванов.

И когда покончил со всеми Блох,

Из груди его вырвался радостный вздох,

Он сказал: «Я исполнил задачу свою:

Отделение издательства будет в раю —

Там Врубель, Ватто, Рафаэль, Леонардо, Бердслей,

Никто не посмеет соперничать с фирмой моей».

Это и есть баллада, так пленившая покойного Н.Гумилева.

* «Поднимает лошадь одну ногу» (И.Одоевцева).

Гумилев ушел осенью 1914 года добровольцем на войну. Сначала вольноопределяющимся лейб-гвардии уланского полка, потом офицером александрийского (гусары смерти); он всю кампанию до Февральской революции пробыл на фронте.

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
И святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.

Это биографически точно. Гумилев участвовал во многих боях, заработал два Георгиевских (солдатских) креста и ни разу не был ранен: «Кому суждено...»

Два-три раза за это время Гумилев приезжал ненадолго в Петербург в отпуск. В последний свой приезд — в конце 1916 — начале 1917 года — он казался грустным, шел третий год войны, она стала затяжной и обыденной. На смену романтике кавалерийских атак пришло сидение без конца во вшивых окопах. Гумилеву стало скучно. Тут произошла революция, подвернулся удачный случай, и Гумилев уехал в командировку в Салоники.

Но до Салоник он не доехал: октябрь 1917 года застал его в Париже. За границей Гумилев прожил больше года, сперва в Париже, потом в Лондоне. «Демобилизованный» событиями, он с жаром принялся за стихи. Тут была написана целиком большая драматическая поэма «Отравленная туника» и очень много стихов. Весной 1918 года Гумилев собрался в Россию. Он так рассказывал о своем отъезде: «Нас было несколько человек русских офицеров, застрявших случайно в Лондоне. Однажды, собравшись в кафе, мы как-то сразу и все вместе решили, что делать нам здесь больше нечего, надо уезжать. Стали решать куда». Одни говорили: в Африку — стрелять львов, другие — продолжать войну в иностранных войсках. «А вы, Гумилев, куда?» Поэт ответил: «Я повоевал достаточно и в Африке был уже три раза, а вот большевиков никогда не видел. Я еду в Россию, — не думаю, чтобы это оказалось опасней охоты на львов». Увы, это оказалось опасней!..

Летом 1918 года Гумилев уже был в Петербурге. Он приехал с двумя фунтами стерлингов в кармане. Имение его было конфисковано. Дом в Царском Селе заселен. Но он не растерялся, как не терялся никогда.

«Теперь меня должна кормить поэзия», — сказал он мне в одну из наших первых встреч в те дни. Я улыбнулся его самонадеянности: поэзия и во времена более благополучные была плохой «кормилицей». «Может быть, и должна, — сказал я, — только вряд ли она тебя прокормит».

Гумилев стал хлопотать. Он добился кредита в какой-то типографии, напечатал свои новые книги — «Костер», «Фарфоровый павильон», переиздал старые — «Романтические цветы», «Колчан», «Чужое небо», и через месяц, встретив меня, он сказал, самодовольно улыбаясь:

— Вот видишь, я живу с молодой женой, — он только что женился на А.Н.Энгельгардт, — вожу ее в балет, покупаю ей пирожные, — высшая роскошь в те дни, — и икру, и все это — на доходы с моих книг.

Я его поздравил, но, конечно, все это, т.е. пирожные и икра, долго не продолжалось: деньги кончились, издавать дальше было нечего.

Осенью 1918 года М.Горьким и А.Тихоновым было основано на казенный счет издательство «Всемирная литература». Об издательстве этом стоит поговорить отдельно и подробно. Его значение очень велико — и тем, что добрая сотня русских писателей спасена им от голодной смерти (академические пайки появились много позже, года через полтора), и благодаря ряду превосходных переводов, им изданных или приготовленных к печати. Техника перевода, в частности стихотворного, была поднята «Всемирной литературой» на небывалую у нас до сих пор высоту. Например, из переводов известного брокгаузовского издания Байрона, считавшегося еще недавно классическим, в издании «Всемирной литературы» было оставлено много если четверть — остальное признано неудовлетворительным и переведено заново. Эта работа пришлось очень по душе Гумилеву. Он стал редактором отделов французской и английской поэзии и без усталости редактировал и переводил.

Вскоре при «Всемирной литературе» образовалась студия переводчиков. Руководил ею, разумеется, Гумилев. Слушатели ее, все начинающие поэты, естественно, вскоре перешли от переводов на стихи свои собственные. Несколько раз в течение 1918—1921 годов эта студия распадалась и вновь организовывалась. Чуждые элементы отходили, зато крепло основное ядро. Это были люди молодые, восторженные, очень преданные поэзии, но особенно даровитых среди них не было. Я сказал как-то Гумилеву об этом. Он ответил:

— Что же, если я их не сделаю поэтами, я, во всяком случае, научу их быть хорошими читателями наших стихов.

Пожалуй, он был прав. До сих пор собрания «Звучащей раковины» — так называется кружок бывших студентов Гумилева — одно из наиболее приятных и культурных мест литературного Петербурга.

4

Гумилев прожил все эти годы (только за месяц до смерти он переехал в Дом искусств) в доме №5 по Преображенской улице, в квартире его друзей Ш., куда-то бежавших. Квартира была довольно трепаная и старая, обставленная чем попало, но Н.С. ее очень любил. Свое холостое хозяйство (Анна Николаевна с ребенком жила в деревне) он вел весело и самоуверенно. Он любил приглашать к себе кого-нибудь из друзей обедать и с церемонной любезностью потчевал его пшенной кашей и жареной селедкой. Если обедала дама, Гумилев обязательно облачался во фрак и белый жилет и беседовал по-французски. Я помню много таких вечеров. Я часто оставался на Преображенской ночевать, иногда оставался еще кто-нибудь из общих друзей. У печки в передней, превращенной в маленький кабинетик, мы далеко за полночь читали стихи, спорили, говорили о своих любовных делах. Гумилев был всегда влюблен. Он серьезно не понимал, как может быть иначе. Поэту быть влюбленным еще важнее, чем путешествовать, говорил он.

5

В один из таких вечеров с нами сидел Мандельштам, два года пропадавший в занятом белыми Крыму и неожиданно появившийся в Петербурге как ни в чем не бывало. Он читал новые чудесные

стихи, потом вошедшие в «Tristia», и рассказывал свои приключения у белых, где его арестовали за коммунизм (он действительно участвовал в каком-то коммунистическом съезде, происходившем для конспирации... на пляже во время купания) и чуть не расстреляли. Однако смилостивились и отправили в Грузию. В Грузии его в свою очередь хотели расстрелять уже безо всякой вины. Какие-то грузинские поэты его спасли, и

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.

Мы трое, разбросанные было в разные углы Европы, снова сидели вместе у огня и читали друг другу стихи, точно в Царском в дни первого «Цеха».

Мандельштам, напуганный своими недавними арестами, очень волновался, как ему легализоваться, т.е. достать советский паспорт — трудовую книжку.

— Тебе надо представить в Совдеп какое-нибудь удостоверение личности. Есть ли оно у тебя?

— Есть, есть, — радостно закивал Мандельштам и вытащил из кармана смятое и порванное свидетельство на право жительства в Севастополе, выданное каким-то штабом или градоначальством... генерала Врангеля.

6

Гумилев часто говорил мне, что вполне доволен своей нынешней судьбой и не согласился бы отдать свою студию и редакционную коллегия «Всемирной литературы» в обмен на прежнюю обеспеченность. Но с деньгами у него часто бывало очень туго, несмотря на академический паек и гонорары. На руках его, в Бежецке Тверской губ., были жена, двое детей, мать и еще какая-то старая тетка. Иногда он ненадолго уезжал к ним и рассказывал потом забавные истории своих путешествий. Например, однажды в теплушке он встретил бывшего конюха из своего имения. Пришел контролер, и знакомый Гумилева оказался безбилетным. Сейчас же нагрянули разные власти составлять протокол и арестовывать «зайца». Это была для пойманного нешуточная неприятность, грозившая месяцем, а то и двумя принудительных работ. Гумилев

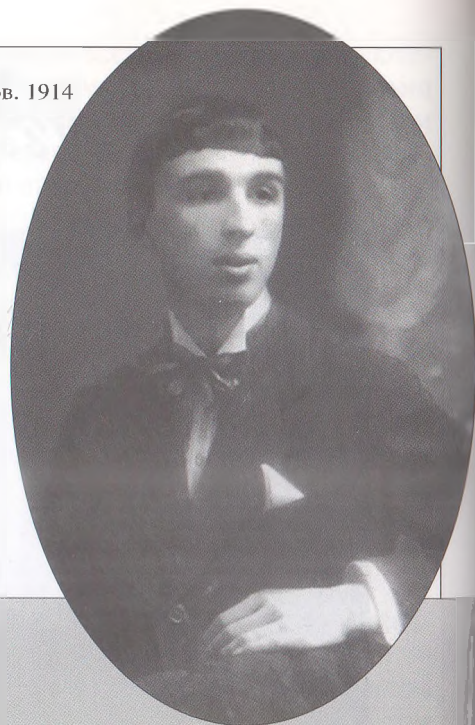
Май 20
ГЕК



Черные АНГЕЛЫ

Георгий Иванов. 1914

Первая книга Г.Иванова. 1912



Петербург. Вид на Неву у Николаевского моста. 1910-е годы

ФУТУРИСТЫ

„ГИЛЕЯ“

БУРЛЮК ДАВИД, ВЛАДИМИР, ПИКСЛАЙ,
АЛЕКСАНДРЪ АРЪЧЕНСКЪ, БЕПЕДИТЬ ПИВШИЦЪ
ВЛАДИМИРЪ МАЯКОВСКИЙ, ВИКТОРЪ ХЛЪБНИНОВЪ

ДОХЛАЯ ЛУНА

Съставъ: проза, драма,
песни, очерки.

ОСЕНЬ
1913
МОСКВА

«КЛУБ РАВНОДЕЙСТВУЮЩИХ.
АСОЦ-ХУД-ПОЭТ-ФУТ-КУБ,
ИМПРЕССИОНИСТОВ»

Иллюстрация к сборнику
«Студия Импрессионистов».
Рисунок Д.Бурлюка. 1910



Обложка работы Д.Бурлюка. 1913



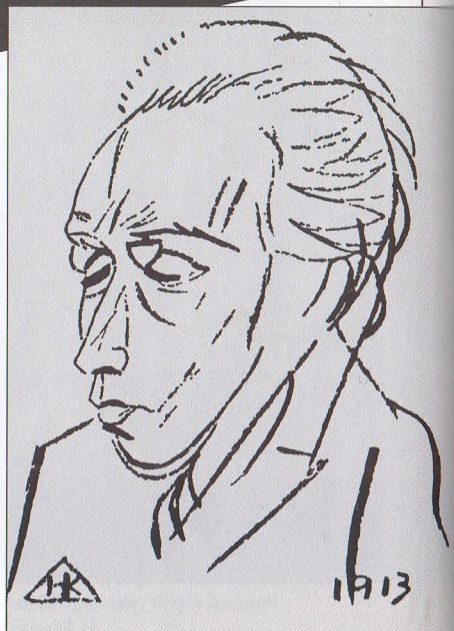
Русские футуристы. Слева направо: А.Крученых, Д.Бурлюк,
В.Маяковский, Н.Бурлюк, Б.Лившиц. 1912

Черные АНГЕЛЫ

Николай
Кульбин —
«основопологатель
русского
футуризма». 1913



Ф.Т.Маринетти.
Рисунок Н.Кульбина. 1914



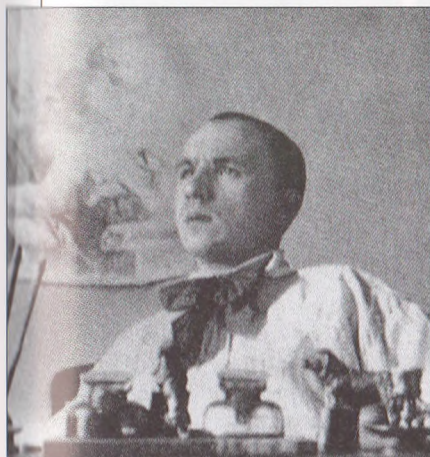
Велимир Хлебников.
Рисунок Н.Кульбина. 1913

«ДИРЕКТОРАТ» РЕШИЛ ДЕЙСТВОВАТЬ, ЗАВОЕВЫВАТЬ СЛАВУ
И ДЕЛАТЬ ЛИТЕРАТУРНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ. СЛОЖИВШИСЬ ПО ПОЛТОРА РУБЛЯ,
МЫ ВЫПУСТИЛИ МАНИФЕСТ ЭГОФУТУРИЗМА...»



Игорь Северянин

Константин Олипов



Грааль Арельский



Иван Игнатьев

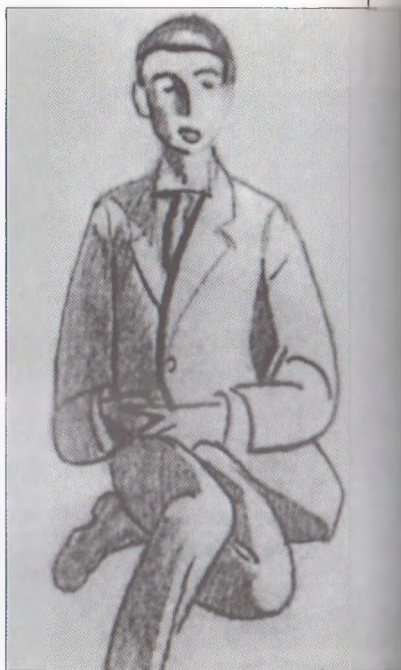
Черные АНГЕЛЫ

«Я ПЕРЕШЕЛ В "ЦЕХ ПОЭТОВ", ЗАВЯЗАЛ СВЯЗИ БОЛЕЕ "ПОДХОДЯЩИЕ" И ПОЭТОМУ БЕСКОНЕЧНО БОЛЕЕ ПРОЧНЫЕ...»

Георгий Иванов.
Рисунок П. Митурича. 1914



Николай Гумилев

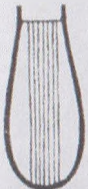


Осип Мандельштам.
1910-е годы



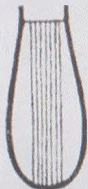
Н.Клюев, М.Лозинский, А.Ахматова, М.Зенкевич
на заседании «Цеха поэтов». Рисунок С.Городецкого. 1914

М.ЗЕНКЕВИЧЬ
ДИКАЯ
ПОРФИРА



ЦЕХЪ
ПОЭТОВЪ

АННА АХМАТОВА
ВЕЧЕРЪ
СТИХИ



ЦЕХЪ
ПОЭТОВЪ

Е.КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА
СКИФСКИЕ
ЧЕРЕПКИ



ЦЕХЪ
ПОЭТОВЪ

Обложки книг работы С.Городецкого. 1912

Черные АНГЕЛЫ

*«В "СОБАКЕ" САДИЛИСЬ ГДЕ КТО ХОЧЕТ,
В БУФЕТ ЗА ЕДОЙ ХОДИЛИ САМИ,
САМИ РАССТАВЛЯЛИ ТАРЕЛКИ,
ГДЕ ЗАБЛАГОРАССУДИТСЯ...»*

Дом на Михайловской площади,
где помешалось литературно-
художественное кабаре
«Бродячая собака»



Борис Пронин —
«доктор эстетики»,
организатор
«Бродячей собаки»
и «Привала
комиантов»



Первый бал «Бродячей собаки». 31 декабря 1911



«Привал
комиантов».
На эстраде
О.Мандельштам.
Сидят слева
направо:
А.Лурье,
Г.Тернизыен-
Иванова,
Г.Иванов,
Г.Адамович.
Рисунок
С.Полякова
(фрагмент). 1916

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО ИНТИМНОГО ТЕАТРА—СПБ.



Воскресенье. 26 Января 1914 г.

„ВЕЧЕРЪ ЛИРИКИ“.

Поэты:

Анна Ахматова, М. Кузмин, Из Румяницкиных, Вя. Плещ, Фрихт Ивнев, Моравская, Н. Гумилевъ, Г. Ивановъ, О. Мандельштамъ, Таффи, Н. Кузнецовъ.

Музыканты:

А. Зейлигеръ, Д. Карпиловскій, Д. Эссерманъ, В. Гельфельдъ, Л. Штримеръ, І. Чернякскій, Л. Цейтлинъ, Абрамъ, Эренбергъ, Е. Кушелевская, Богданская, Гольда Гутманъ, Соломея Грауванъ.

Ведущая Актёры:

Валерская, Волоска, Блюзъ, Гайлова Судейкина, Глаголина, Крамскъ, Голубева, Мивлашевскій, Лось, Егоровъ, Тиме, Суворина

Начало вечера въ 11¼ час.

Входъ неслучительно по приглашению Художественнаго Общества „Бродячей Собаки“ и по предварительной записи с г. действительныхъ членовъ О-ва. Плата—5 руб. Актёры, поэты, художники, музыканты и „друзья Собаки“—1 руб.

Афиша литературного вечера

С. Судейкин.
Обложка издания
гимна М. Кузмина
«От рождения подвала...»
1912



Черные АНГЕЛЫ

*«ВСЕ, КТО БЛИСТАЛ В ТРИНАДЦАТОМ ГОДУ –
ЛИШЬ ПРИЗРАКИ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ЛЬДУ...»*

Анна Ахматова
и Ольга Глебова-Судейкина.
1924



Анна (Нимфа)
Городецкая. 1910-е годы



Паллада Богданова-Бельская. 1915

Вячеслав Иванов и Сергей Городецкий. 1915



Рюрик Ивнев, Владимир Чернявский, Сергей Есенин. 1915

Черные АНГЕЛЫ

«О НЕТ, НЕ ОБРАЩАЮСЬ К МИРУ Я
И ВАШЕГО НЕ ЖДУ ПРИЗНАНИЯ.
Я ПОПРОСТУ ХЛОРОФОРМИРУЮ
ПОЭЗИЕЙ СВОЕ СОЗНАНИЕ...»

Георгий Иванов.
Рисунок Ю. Анненкова. 1921

ГЕОРГИЙ ИВАНОВЪ
**ПАМЯТНИКЪ
СЛАВЫ.**

СТИХОВЫЕ СБОРНИКИ



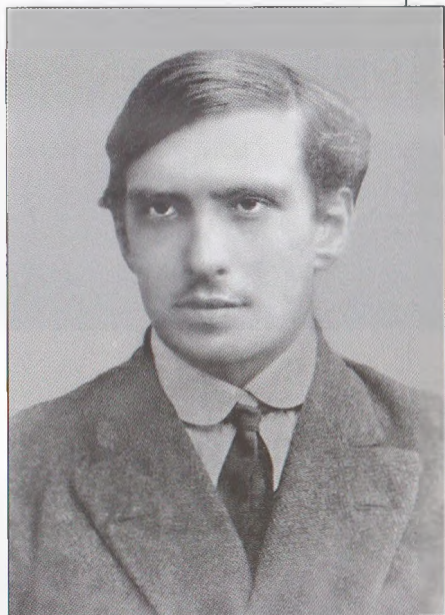
ПЕТРОГРАДЪ.



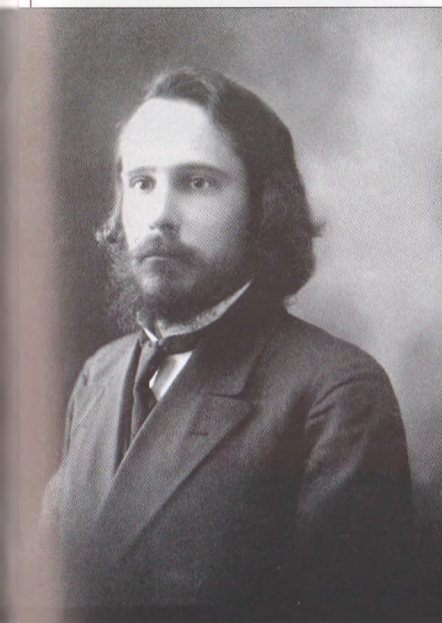
*«БОГЕМНЫЕ ПРАВЫ... ПОЭТ...
КАК ИНТЕРЕСНО...»*



Константин Фофанов.
Портрет работы И.Репина. 1888



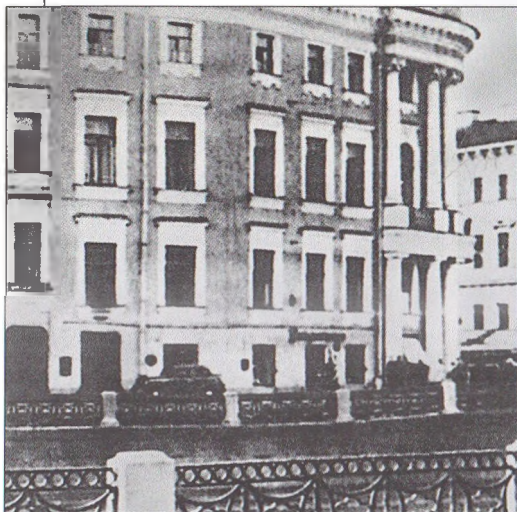
Алексей Лозина-Лозинский



Александр Тиняков —
«человек в рединготе»

Черные АНГЕЛЫ

«МЕДНАЯ ДОСКА У ПОДЪЕЗДА НИЧЕГО НЕ ОБЪЯСНЯЛА: ДОМ ИСКУССТВ? НИ СЕРПА, НИ МОЛОТА, НИ КРАСНОГО ФЛАГА. ДА И ПОСЕТИТЕЛИ ЭТОГО ТАИНСТВЕННОГО ДОМА НЕ ПОХОДИЛИ НА КОММУНИСТОВ...»



Петроград. Дом искусств

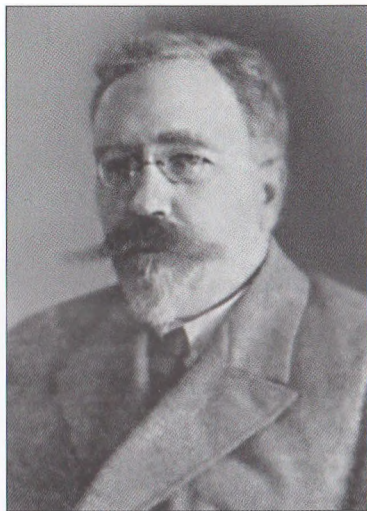
Афиша вечера
петроградских поэтов
в Доме искусств
29 декабря 1919 года

ДОМ ИСКУССТВ
ПРА ВАРВЕНБЕРГСКОЕ
В Понедельник, 29 Декабрь в 7 ч.
СОСТОИТСЯ
ВЕЧЕР
ПЕТРОГРАДСКИХ ПОЭТОВ
ПРОЧИТАЮТ: А. Блок, И. Гумилев,
Зергинерей, Г. Плещин, Ш. Куз-
нецкий, Н. Оцуп, В. Паст, В. Родце-
вский и др.
Начало в 8 час. вечера.
ПОМИЩЕНИИ ОТАПЛИВАЮТСЯ

Обитатели Дома искусств.
Рисунок И. Радлова. Справа налево:
А. Вольтер, О. Мандельштам,
М. Слонимский, В. Шкловский,
В. Шишков(?), Вл. Ходасевич,
Н. Гумилев, А. Ахматова



Заместитель председателя
Совета народных
комиссаров Л.Б.Каменев



Заведующая театральным
отделом Наркомпроса
О.Д.Каменева



Трудовая повинность.
Петроград, 1919

Черные АНГЕЛЫ

«КТО-ТО СРАВНИЛ ЛИТЕРАТУРУ С ТРАМВАЙНЫМ ВАГОНОМ. ОДНИ ДАВНО УСЕЛИСЬ, ДРУГИЕ СТОЯТ, ОЖИДАЯ, ПОКА ОСВОБОДИТСЯ МЕСТО, ТРЕТЬИ НАБИЛИ ПЛОЩАДКУ, ЧЕТВЕРТЫЕ ВИСЯТ НА ПОДНОЖКЕ...»

Владимир Пяст. 1910-е годы



Борис Садовской. 1910-е годы



Владимир Нарбут

Михаил Кузмин



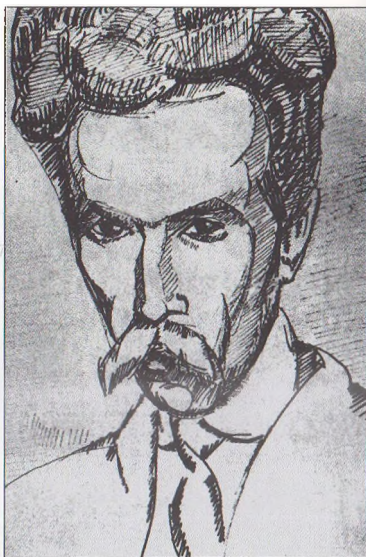
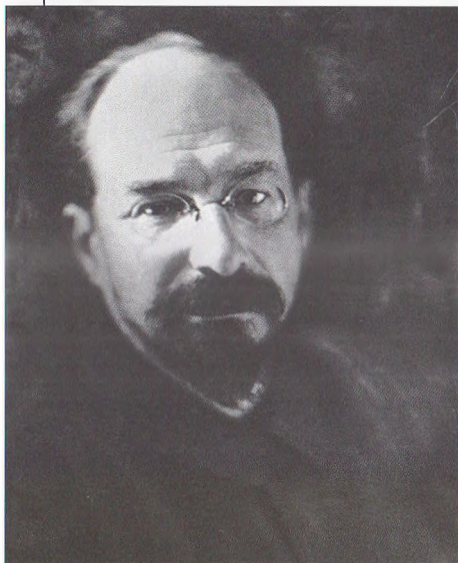
Владимир Шилейко.
Рисунок
М. Фармаковского.
1923



Федор Сологуб и Анастасия Чеботаревская

Черные АНГЕЛЫ

*«НАРОДНЫЙ КОМИССАР СИДИТ
В КАБИНЕТЕ, ОБТЯНУТОМ
“ВЕСЕЛЕНЬКИМ” КРЕТОНОМ
В ЦВЕТОЧКИ, ЗА “ДЕКАДЕНТСКИМ”
ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ БЕЛОГО ДУБА...»*



Комиссар по делам искусств
Д.П.Штеренберг. Автопортрет.
1910-е годы

Нарком просвещения
А.В.Луначарский. 1920



Лариса Рейснер и командующий Волжско-Каспийской флотилией
Федор Раскольников (в центре). 1919



Чествование М. Горького в связи с его пятидесятилетием
в издательстве «Всемирная литература».

Слева от Горького — Н. Лернер, А. Волынский, К. Чуковский;
справа — Ф. Браун, Д. Левин, Н. Гумилев, З. Гржебин, А. Блок.

Во втором ряду четвертый справа — Г. Иванов.

30 марта 1919

Черные АНГЕЛЫ

*«Я БЛИЗКО ЗНАЛ И БЛОКА И ГУМИЛЕВА —
ДЫШАЛ ОДНИМ С НИМИ ВОЗДУХОМ В АВГУСТЕ 1921 ГОДА —
МЕСЯЦЕ ИХ ОБЩЕЙ — ТАКОЙ РАЗНОЙ И ОДИНАКОВО ТРАГИЧЕСКОЙ — СМЕРТИ...»*



Николай Гумилев (в центре) с участниками студии «Звучащая раковина». На переднем плане — гости студии Георгий Иванов и Ирина Одоевцева. Фото М.Напельбаума. Петроград, июль 1921



Александр Блок. 1920



Похороны А.Блока на Смоленском кладбище. 10 августа 1921

Черные АНГЕЛЫ

*«ГОЛУБИЗНА ЧУЖОГО МОРЯ,
БЛАЖЕННЫЙ ВЗДОХ ВЕСНЫ ЧУЖОЙ
ДЛЯ НАС СКОРЕЙ ЭМБЛЕМА ГОРЯ,
ЧЕМ СИМВОЛ ПРЕЛЕСТИ ЗЕМНОЙ...»*



И.Одоевцева, Д.Мережковский, Г.Адамович, З.Гиппиус, Г.Иванов
(сидят во втором ряду) среди сотрудников журнала «Числа».
Париж, 1934



Ирина Одовцева. Рига,
1920-е годы



И.Одovцева и Г.Иванов в доме
престарелых в Йере. Август 1957



Дружеский шарж из рижской
газеты «Сегодня». 1927

Черные АНГЕЛЫ

*«ЧТО Ж, ПОЭТОМ ДОЛГО ЛИ РОДИТЬСЯ...
ВОТ СУМЕЙ ПОЭТОМ УМЕРЕТЬ!
СОБСТВЕННЫМ ПОЗОРОМ НАСЛАДИТЬСЯ,
В СОБСТВЕННОЙ БЕССМЫСЛИЦЕ СГОРЕТЬ!»*



его спас. Он не допускающим возражений тоном (как только он один умел) обратился к начальству:

— Освободите этого человека, я *председатель*, за него ручаюсь.

И с важным видом показал «мандат», удостоверяющий, что податель сего является... председателем петербургского Союза поэтов. И что же — подействовало. Власти почтительно повертели бумажку и отпустили конюха.

7

Петербургский Союз поэтов был основан в 1920 году, значительно позже, чем московский и многие провинциальные. Сама идея «профессионального Союза поэтов», конечно, довольно праздная. Поэтов слишком мало, чтобы организовать их в Союз, и какие у них «профессиональные» интересы? Но кто-то этой идеей увлекся, стал хлопотать, было собрано, как водится, общее собрание, выбран президиум во главе с А.Блоком, и петербургский Союз стал существовать. Первое его выступление было крайне неудачным и художественно, и материально — вечер Сергея Городецкого в городской думе, на который пришло десять человек.

Первый состав президиума держался недолго; вместо Блока председателем стал Гумилев. Блок правил «конституционно», Гумилев стал править «диктаторски». В поэтических делах последнее оказалось вернее — Гумилев остался председателем до самой своей смерти.

Как и во все, чем он занимался, Гумилев внес энергию и настойчивость даже в эту «литературную канцелярию». Он организовал ряд вечеров, нашел и получил большое помещение, открыл в нем клуб (Дом поэтов), действовавший очень оживленно. Там («нэп» еще едва начинался) мы устроили нечто вроде «Бродячей собаки» былых времен, собирались три раза в неделю, читали стихи, танцевали, разыгрывали пьесы, тут же сочиненные. Помню одну из них: действие происходит в Фиуме. К Габриэлю д'Аннунцио (Гумилеву) приводят сербского офицера, главу заговора против фиумского диктатора. Д'Аннунцио велит его расстрелять. Но офицер оказывается сыном Элеоноры Дузе. Д'Аннунцио потрясен — как быть?.. Не помню уже конца, должно быть, он был такой же вздорный, как и начало, но и зрители, и актеры были очень довольны. К тому же разыгрывалась она «кинематографи-

чески», и оператор, он же конферансье, часто менял темп картины, переходя от медленного к очень быстрому. Во время одного из таких переходов Д'Аннунцио свалился вместе со своим пышным треном в публику и порядочно расшибся.

Гумилев лелеял очень много замыслов. Каждый из них требовал нескольких лет работы, но его ли это могло смутить? Он хотел написать «L'art poétique»¹ и рассчитывал, что это будет 5 томов по 300 страниц каждый, писал поэму «Дракон». Темой ее были баснословные времена, участниками — драконы и первобытные жрецы. Она тоже должна была составить не то два, не то три тома.

— Но это будет очень скучно, — сказал я как-то Гумилеву.

— Вероятно.

— Но тогда твоей поэмы никто не прочтет.

— Что ж такого, зато когда-нибудь ее заставят зубрить гимназистов.

Гумилева еще очень тянуло писать прозу. Проза ему плохо удалась. Он сам это понимал, но, цитируя строфу Теофиля Готье в собственном переводе:

Чеканить, гнуть, бороться,
И зыбкий сон мечты
Вольется
В бессмертные черты, —

он надеялся «добиться своего» и от прозы.

Совсем незадолго до смерти Гумилева я рассказал ему историю, где-то мною прочитанную, о шхуне, вышедшей из какого-то американского порта и найденной потом в открытом море. Все было в порядке, спасательные лодки на месте, в столовой стоял сервированный завтрак, вязанье жены капитана лежало на ручке кресла, но весь экипаж и пассажиры пропали неизвестно куда. Гумилева очень пленила эта тема, он хотел писать на нее роман и придумал несколько вариантов, очень любопытных.

¹ «Искусство поэзии» (фр.).

Было начало августа, была теплая светлая ночь. Мы шли из Дома поэтов с Литейного мимо Летнего сада и Марсова поля домой. Я жил на Почтамтской, Гумилев — на Мойке в Доме искусств. Гумилев был очень весел: только что была решена постановка его поэмы в стихах «Гондла» — что очень его радовало. У ворот Дома искусств мы поцеловались, как обычно. «До завтра». Но ни завтра, ни никогда мы не увиделись больше. На другой день вечером я заходил к Гумилеву, но его не было дома, а наутро меня разбудил телефонный звонок: Гумилев арестован.

Последняя весть от него была открытка, полученная за два дня до смерти: «Не беспокойтесь обо мне. Я чувствую себя хорошо, играю в шахматы и пишу стихи. Пришлите табак и одеяла...»

IV

Петербургские редакции делились на две неравные части: журналы толстые, «идейные» и другие, более легковесные и по содержанию, и по объему. О первых рассказать почти нечего. Солидная скука очередного номера «Вестника Европы» или «Современного мира» царил и в редакционных помещениях. Большая, пропыленная, унылая квартира, бородатые сотрудники в очках, жидкий чай с лимоном и в редакционном кабинете — «известный критик и публицист».

Каждая редакция такого рода была в мнении их руководителей храмом, оплотом и т.п. В одном священнодействовал Иванов-Разумник, в другом — Львов-Рогачевский, в третьем — Овсянко-Куликовский. Между собой редакции глухо враждовали и на сотрудников, печатавшихся и там и там, смотрели косо.

Другое дело были редакции прочие. Здесь было бесконечное разнообразие особей и видов, нравов и вкусов. И конечно, очень много забавного.

* * *

Шебугев, прославившийся своим «Пулеметом», где на последней странице был воспроизведен октябрьский манифест с отпечатком кровавой руки («свиты Его Величества генерал-майор Трепов руку приложил»), отсидев в тюрьме сколько полагалось, — почувствовал себя эстетом. Это было и спокойней и более соответствовало вкусам публики — политика надоела. Но как соеди-

нить служение чистому искусству с бездефицитностью? Шебуев придумал. Он открыл «Весну».

«Весна» был журнал страниц в 16, формата большой газеты, сложенной наполовину. На обложке была марка — голая дама, опутанная лилиями и девизами об исканиях и красоте. Формат журнала, повторяем, был очень большой. Шрифт, напротив, самый убористый и мелкий. И сплошными столбцами шли стихи, стихи и стихи, напечатанные тесно, как объявления о кухарках. Были и рисунки, и рассказы, конечно, но их подавляли стихи без счету.

Несколько десятков авторов в номере, несколько сот стихотворений.

Идея, пришедшая Шебуеву, была не лишена остроумия — объединить графоманов. Из тысяч «непризнанных талантов», во все времена осаждающих редакции, Шебуев без труда выбирал стихи, которые можно было печатать без особого позора. Естественно, журнал «пошел». Поэты, которых он печатал, подписывались на журнал, распространяли его и раскупали десятки номеров «про запас». Другие, менее счастливые, тоже подписывались, не теряя надежды быть напечатанными, по «исправлению погрешностей размера и рифмы», как им советовал «Почтовый ящик “Весны”». Самые неопытные и робкие, не мечтающие еще о «самостоятельном выступлении» — таких тоже было много, — раскупали «Весну» в свою очередь. Для них главный интерес сосредоточивался на отделе «Как писать стихи». Вел его, понятно, сам Шебуев. Под его руководством восторженные и терпеливые ученики перелагали «Чуден Днепр при тихой погоде...» последовательно в ямб, хорей, дактиль, потом в рондо, газеллу, сонет. Все это печаталось, обсуждалось, премировалось, и число «наших друзей-подписчиков» неуклонно росло. Анкеты «Весны» о «Наготе в искусстве» и т.п. тоже привлекали многих. Набор и скверная бумага стоили недорого, гонорара, конечно, никому не полагалось.

Но вряд ли Шебуевым руководил денежный расчет. Я думаю, он ничуть не притворялся, изливаясь на страницах «Весны», как дорога ему пестрая аудитория его «весенних» (так он их звал) поэтов и художников. Стоило поглядеть на его фигуру в рыжем пальто и цилиндре, на его квартиру, полную ужасных «Nu»¹ и японских жардиньерок, прочесть какую-нибудь его «поэму в прозе» или выслушать из его уст очередную сентенцию о «красоте порока», что-

¹ «Обнаженная натура» (фр.).

бы понять, что в этом море пошлости и графомании он не самозванец, а законный суверен.

* * *

«Нива». Сотни тысяч подписчиков во всех углах России. Самый популярный из журналов. В каком имении средней руки не висела в гостиной «роскошная олеография в 24 краски» — бесплатное приложение к «Ниве» — «Бабушка с внучкой» или «Замок в Шотландии»? В чьей библиотеке не было Тургенева или Достоевского, потом, когда «хорошие писатели» все вышли, Вересаева или Л. Андреева тоже в «роскошных коленкорových переплетях». Недаром в России издается «Красная Нива». Госиздат «правильно учел» вес этого имени в уме русского обывателя. «Нива» звучало гордо. Влияние ее, и прекрасное, и дурное, было очень велико. Вместе с Тургеневым и Достоевским насаждалась «История русской литературы» Полевого, где почтительным внуком было отведено братьям Полевым («Нет глупее до Алтая Полевого Николая, и подлее нет от Понта Полевого Ксенофонта») столько же места, сколько Гоголю и Пушкину. Насаждались «роскошные олеографии» и коленкорových крышки, и редактор «Старых годов» Вейнер рассказывал, что даже им получались требования о коленкорových переплетях (для «Старых годов»!).

Глубокое почтение к «Ниве» было даже в сравнительно культурных кругах. Мой бывший корпусный воспитатель Жерве, видный военный писатель, помню, спрашивал меня, говоря о моих литературных занятиях: «Нет, что «Аполлон». Но скажи, как ты решился первый раз пойти в «Ниву»? Как решился!»

И смешно, до чего нехитер был механизм этой машины. Во главе стояли люди, не имевшие к литературе ни вкуса, ни интереса. Сначала Светлов, известный «знаток» балета. Потом некто Эйзен, очень корректный и благовоспитанный господин, но искусству вполне посторонний. Писатели писали рассказы и стихи и носили в «Ниву». Что брали, что возвращали, по вдохновению. Материала всегда было слишком много — «Нива» в нем не нуждалась. Одних рождественских рассказов Потапенки, как рассказывал мне секретарь «Нивы», было в «портфеле редакции» на двенадцать лет вперед!

Этот секретарь — Марков, господин Марков, как его все звали, милейшее и кротчайшее существо, — был занят изо дня в день кропотливым механическим трудом. Он часами сидел над рукописями, присланными в редакцию, не читая их (где там читать!), а лишь выписывая адрес и традиционное: «М<милостивый> Г<осударь>», присланная Вами рукопись, к сожалению, не подошла».

В 1912 году Ахматову, только что прославившуюся, кто-то из заправил «Нивы» очень просил дать стихи. Ахматова немного помалась: «У меня сейчас ничего нет, я вам пришлю». И действительно, скоро прислала. Месяц спустя она получила от г-на Маркова свои стихи с запиской: «М.Г. К сожалению...» Марков был не виноват — он делал свое дело. Об Ахматовой его не предупредили.

Однажды в «Ниве» решились на реформы: расширить и обновить отдел рецензий и уничтожить знаменитые «Объяснения к рисункам»: «Голуби (стр. 127). Кто из нас не любит голубей? Талантливый художник Фукс изобразил этих милых птиц, когда они...»

Но реформы публике не понравились. В письмах читателей пошли жалобы и на отсутствие объяснений, и на то, что новые рецензенты (Гумилев, Кузмин, Зноско-Боровский) пишут непонятное и о непонятном. Не помню, были ли восстановлены объяснения, но модернистов сократили, и в отделе критики снова воцарились вечные, как сама «Нива», А.Никонов и Б.Тихонов, не мучившие читателей Мейерхольдом и Гюисмансом.

В последние годы «Ниву» купил Сытин, и общий надзор за ней перешел в культурные руки. Увы, ненадолго.

* * *

Когда в 1914 году весной М.Суворин открыл «Лукоморье», по литературным кругам пошел глухой «ропот»: Суворин хочет купить русскую литературу. К волнению тех, кто особенно «благородно негодовал», явно примешался вопрос: «А если купил, то купит ли меня?»

Удался ли Суворину его «адский план»? Если он состоял в том, чтобы привлечь в свой журнал многих известных писателей и художников, печатать их вещи и платить хорошие гонорары, то да, удался. Сологуб, Кузмин, Городецкий, Судейкин, Нарбут, Чехонин — «все были там». Кое-кого и не было, конечно, например Блока. За отказавшимися редакция особенно не гонялась. Тех, кто согласился, обставили материально очень хорошо и «идейно» не притесняли. В последнем, впрочем, не было и надобности: началась война, и все, «объединившись», стали писать только о ней.

Сам Суворин почти не мешался в дела журнала. Всем заправлял М.Бялковский, человек неизвестно откуда взявшийся, южный, бойкий, мягкий в обращении, никогда не отказывавший в авансах. Помещалось «Лукоморье» в знаменитом доме на Эртелевом. Редакционное помещение было очень роскошным, обы-

чай — тоже. К чаю, не в пример прочим редакциям, подавались птифуры от Берена.

Это роскошное помещение соединялось непосредственно с уже совершенно дворцовыми апартаментами «Нового времени». Там были какие-то огромные залы, кабинеты, статуи, вазы, штофные обои. Иногда из этих недр показывался какой-нибудь плюгавый старичок и медленно проплывал по коврам дальше.

Атмосфера чаев с птифурами у почтительного редактора, вынимавшего по первому слову чековую книжку, штофных обоев и бюро красного дерева действовала на творчество крайне благоприятно. Я говорю на творчество, не вступая в его оценку. Качество его было... «военного времени». Были и шедевры в обратном смысле. Стихи Городецкого, такие патриотические, что даже «Лукоморье» смеялось. Или огромный роман Сологуба «Острие меча», где повествовалось о трех генеральских дочерях-невестах. Жених одной — прекрасный француз, другой — джентльмен-англичанин, третьей — немец, исчадие ада. Союзные женихи совершают чудеса доблести и благородства, немец насилует детей, взрывает Реймский собор и «коварно» убивает в бою жениха-француза. Попутно три сестры ходят босыми ногами по предутренней росе и «видят вещие сны».

Если Сологуб *такое* писал, можно ли осуждать Бялковского, что он печатал это на лучшей бумаге и оплачивал полноценными царскими сторублевками!

Были и еще разные курьезы. Полное собрание сочинений Юрия Слезкина, отпечатанное в «Сириусе»* с необыкновенной роскошью, с гербами рода Слезкиных на обложке. Была марка издательства, изображавшая безобразную кошку («У лукоморья дуб зеленый...») на цепи около пня. Кошку эту нарисовал Бакст за баснословный гонорар...

Нововременские сотрудники из второстепенных (киты «Лукоморьем» явно гнушались) не особенно любезно — как это ни странно — принимались редакцией.

Их стыдились... как купчик-эстет стыдится папеньки, на деньги которого он меценатствует. Бялковскому, после Сологуба и Кузмина и (особенно) Александра Рославлева, претили Леонид Афанасьев или Бурнакин. Между сторонами было взаимное непонимание. «Что вы мне говорите, что у меня стих хромает, — горя-

* Лучшие петербургские типографии, где печатались только очень дорогие художественные издания.

чился какой-то нововременский поэт, — меня писать стихи сам Тыгинкин* учил!» Бялковский презрительно улыбался. Для него Тыгинкин перестал быть авторитетом!

После Февральской революции и «Лукоморье» попробовало перекраситься из защитного в революционный. Но природа взяла свое, да и денег стало заметно меньше. Журнал стал чахнуть.

* * *

Не один Суворин пытался «купить русскую литературу». В 1916 году эта же идея, говорят, пришла Протопопову: была основана «Русская воля».

Был ли Протопопов действительно пайщиком «Русской воли», я не знаю. Говорят, нет дыму без огня. Какой-то «дым», вернее, туман вокруг этой газеты был. Слишком уж была она гордо-оппозиционной, слишком американский был у нее размах. Слишком... Все было в ней немного слишком.

Однажды мне позвонил по телефону В.Брусянин, беллетрист средней руки. «Мне нужно с вами поговорить по делу». Я удивился, какое дело — Брусянина я почти не знал. Оказалось, насчет участия в «Русской воле».

Следующий разговор был уже в редакции, с Леонидом Андреевым, заведовавшим литературным отделом. Знаменитого автора «Анфисы» и «Красного смеха» я увидел впервые.

В его внешности, в аффектации его речи, трагических складках на лбу было что-то от монмартрских (не монпарнасских) художников. Тех, которые в бархатных куртках и беретках сидят в ночных кабачках, толкуя о своих великих замыслах. Слишком вдохновенный вид, слишком скорбные очи. И внешность, и имя Леонида Андреева чрезвычайно подходили ко всему «антуражу» газеты. В огромном кабинете, под огромным абажуром, меланхолически дымя папиросой, он долго и витиевато говорил со мной о современности и войне, о вечности и Боге. Я выждал паузы и спросил о гонораре. Он сделал широкий и презрительный жест рукой: «Назначьте сами — это безразлично».

За мое недолгое сотрудничество в «Русской воле» (до революции 1917 года, когда газетам стало не до литературы) я несколько раз виделся с Андреевым, обедал у него, вел долгие разговоры. Он выигрывал при знакомстве более близком. Это был затравленный и роб-

* Тыгинкин — редактор «Иллюстрированного приложения» к «Новому времени».

кий человек, скрывавший свою сущность за эффектной маской «великого писателя». Он понимал свое ложное положение в «большой литературе», понимал, кажется, и невозможность изменить его. Больше всего Андреева раздражало, что его «не пускают» в замкнутый круг писателей-модернистов, к которому его чрезвычайно тянуло. «Но ведь я ваш, я с вами. Я в прозе делал то же, что Брюсов с Бальмонтом в поэзии!» Что можно было ему на это ответить!

Помню один разговор. Андреев попросил меня написать о Надсоне к какому-то юбилею. Я сказал, что не могу. Сочувственно ничего не скажешь, то, что я о Надсоне думаю, говорить неуместно. Андреев очень взволновался. «Нет, нет, это партийная узость! Надсон — поэт, не может не быть поэтом, раз сотни тысяч русской молодежи плакали и плачут над его стихами». Он очень волновался, очень горячился, явно защищая (может быть, бессознательно) в Надсоне самого себя. Ведь и над ним тоже плакала та же русская молодежь...

И в редакционном кабинете, и в квартире все у Андреева было грандиозное, как его писание, как его фигура. Гигантские кресла и шкафы, гигантский письменный стол, гигантские панно на стенах. Эти панно, кстати, были воспроизведены в «Огоньке» с пояснением, что «наш знаменитый писатель в то же время и недурной художник. Печатаемые нами картины его кисти, уступающей, конечно, его гениальному перу, отлично иллюстрируют его литературные замыслы...» Картины были копиями Гойи.

Я сейчас упомянул «Огонек». Говоря о петербургских редакциях, невозможно пройти мимо этого «художественно-литературного журнала».

* * *

На Галерной 40 были расположены мрачные и унылые на вид владения С.А.Проппера — типография, две «Биржевые», утренняя и вечерняя, и «Огонек».

Особого помещения у «Огонька» не было. Редакция притыкалась то там, то тут в каких-нибудь двух комнатах. Потом эти комнаты надобились под что-нибудь другое, и «Огонек», т.е. два-три стула, писчая машинка и секретарь, маленький человек с трахомными веками и внушительной фамилией — Лев, перебирался в новое, тоже временное помещение. Внешностью, показным блеском в «Огоньке» не интересовались. К чему! Так американский миллиардер, презирая элегантность, носит три года подряд свой потертый серый пиджак.

В.А.Бонди, мозг «Огонька», его душа, он же — не редактор, нет, — диктатор «Вечерней биржевки», в редакции никогда не бывал. Если вы хотели видеть его, то вас вели по бесконечным коридорам и лестницам, через наборные и машинные отделения в маленькую комнату, скорее клетку. В ней был стол, заваленный макулатурой и рукописями, стул, на котором сидел сам Бонди, и стул для возможного посетителя. Третий стул уже не мог бы поместиться. Сходство с клеткой увеличивалось тем, что сбоку кресла редактора, в стене, было окошко — пол-аршина в квадрате. Иногда оно распахивалось, доносился рев и грохот ротационных машин, и волосатая рука, вся в типографской краске, сунув Бонди пачку гранок и схватив другую, исправленную, снова захлопывала дверцу.

В.А.Бонди прежде был гвардейским офицером. Не знаю, как пришла ему фантазия переменить саблю на перо. Первые опыты его были, кажется, не очень удачны: он издал книжку новелл, которых критика не оценила. Но став во главе «Огонька» и «Биржевой», я думаю, он не имел оснований жаловаться, что его литературная карьера не удалась.

Он был обходительный человек, хотя и суровый на вид. Когда сотрудник приносил ему рукопись, он говорил: «Ну, посмотрим, что вы нам налагоухали». Если тот просил аванс, Бонди морщился очень свирепо, но по большей части давал. Повторяю, суровость его была напускная. В душе он был (могло ли быть иначе) лордом Генри.

Однажды я, войдя в его клетку, на вопрос: «Что вы нам налагоухали?» — сказал, что пока ничего, и попросил денег. Бонди страшно нахмурил брови, молча написал синим карандашом на клочке бумаги: «В контору, выдать...» — протянул мне и вдруг, смерив меня глазами с головы до ног, таинственно спросил: «Гашиш любите?»

Я несколько растерялся. Но, не желая ударить лицом в грязь, ответил: «Очень».

Он самодовольно усмехнулся. «Я это знал. Я физиономист. У вас есть складка, вот тут, около глаз, — гашиш. Приходите ко мне завтра, мне прислали дивный. Я вчера курил. Что за красочные грезы — озера, пирамиды, пальмы... Рукопись-то когда пришлете? — добавил он, возвращаясь от красочных грез к суровой жизни. — Авансы берете у нас, а рассказы носите в “Аргус”».

Гашиш оказался толстыми папиросами с какой-то зеленоватосерой прослойкой внутри табака. «Красочных грез» я не испытал, но легкую тошноту — да. «Я ошибся, — сказал на это Бонди, — вам нужен не гашиш, а эфир, морфий. Вот эта складка у рта — морфий. Я физиономист». Должно быть, он придумал этот гашиш, чтобы по-

хвастаться своей новой, только что отделанной квартирой. Квартира была действительно замечательная. Из кабинета, просто и со вкусом отделанного в виде избы с конусообразным потолком и с облицовкой из красного дерева, мы вышли в круглую залу. Посередине ее бил маленький фонтан, распространявший сильнейший запах «Садо-Якко». В спальней, устланной шкурами, как раз над изголовьем кровати висела мраморная лампада, на глаз пуда в три весу. Она держалась на трех несоответственно тонких цепочках. «Фатум, — пояснил мне Бонди, — дамоклов меч. Каждую ночь она может размозжить мне череп. Что ж. Пусть. Я готов».

В зале с фонтаном из одеколона мы присели на нишу. «Хотите шампанского?» Не дожидаясь ответа, Бонди нажал кнопку в стене. Откинулась дверца, за ней — маленький ледник — шампанское, фрукты. «Впрочем, — он захлопнул дверцу, — здесь как-то неудобно — пересядем к камину». У камина опять: кнопка, дверца, шампанское.

За шампанское, гашиш и дамоклов меч была, конечно, и неизбежная расплата: радушный хозяин прочел мне несколько своих стилизованных новелл.

Уходя, я сделал непростительную «гафф». В конусообразном кабинете-избе я забыл поднесенный мне автором экземпляр этих новелл.

* * *

Всего не перечислить. Был еще «Аргус», с редактором-«американцем» В.Регининым, евшим в редакции какую-то особую кашу от запоя. Было изд-во Каспари, издававшее одновременно «Тайны венценосцев» и изящнейший журнал Философова. Был «Весь мир», где редакторша, баронесса Таубе, принимала, сидя в гробу, окруженная скелетами и чучелами змей. Теперь она в России издает что-то революционное и гордо называет себя «Красной баронессой». Да,

...Все это было,

И это никогда не повторится!..

V

Всем известно, что сбыт в широкой публике имели только книги или картины, этой публике нравившиеся. Вкусы ее тоже хорошо известны. Отсюда ясно, что всякое издание или художественное про-

изведен.ге «идейного» порядка, безразлично, «Аполлон» или выставка доморожденных кубистов, нуждались в меценате.

Меценаты различались друг от друга образованием, общественным положением, вкусами, наконец — самым существенным — средствами и щедростью, но у всех русских покровителей искусства, которых мне приходилось встречать, было что-то общее. Один давал двести тысяч на какой-нибудь «Театр исканий», другой ссужал трехрублевками пьяных поэтов, третий основывал издательство, чтобы печатать там самого себя рядом со знаменитостями. Но при всем различии их пристрастий и деятельности все они были братьями по духу: все они родились меценатами.

* * *

Купцы, съевшие на Нижегородской ярмарке ученую дуровскую свинью, стоившую десять тысяч, без сомнения, были меценатами в душе. Не их вина, что их стремление к прекрасному вылилось в такую грубую форму. Их сыновья, прогрессируя, начали коллекционировать футуристов. Покровители искусства из купцов главным образом, конечно, водились в Москве. Петербургские были лишь — «разыгранный Фрейшиц перстами кротких учениц». Это в Москве строились особняки во «всех стилях» («У нас на все стили хватит»), спали в «неестественной позе по Сомову» и ставили «Венецианских безумцев» Кузмина в кругу миллионеров. Роли распределялись по старшинству: главные — архимиллионерам или миллионерам, средние — обладателям скромного десятка миллионов. На долю просто миллионеров оставались роли конюхов и служанок.

Один чрезвычайно эстетический петербургский журнал приносил ежегодный дефицит, что-то очень много. Меценат, некто У., терпеливо покрывал убытки. Он был образцом корректности и терпения, в дела журнала не вмешивался. Если бы не его подпись на издательском месте, — никто бы и не знал о нем. Но на седьмом году существования журнала меценат неожиданно о себе напомнил. В редакцию пришел ультиматум — немедленно в ближайшей книжке журнала поместить портрет издателя работы... Сорина.

Журнал был изящнейшего направления и отменного вкуса. Помещать репродукцию картины Сорина было для него так же ужасно, как светскому льву надеть при смокинге белый галстук. Бросились к меценату — уговаривать, предлагали ему заказать и поместить портрет работы какого-нибудь другого художника: Сомова, Б. Григорьева, Кустодиева. Но уговоры не помогли. Всегда мягкий, как воск, меценат проявил каменную твердость: или Сорин, или больше ни

копейки. Портрет был помещен на вкладном листе, в красках, перед текстом, вылизанный, сладкий, с жеманно отставленными пухлыми пальчиками.

* * *

В 1913—1914 годах из богатого приволжского города приехал в Петербург И., молодой человек, наследник многих миллионов.

Он бредил стихами, музыкой, театром. По-французски говорил отлично, по-русски же несколько на *о*, хотя и грассируя. Вскоре он попал в «Бродячую собаку» и, естественно, через неделю был окружен десятком друзей и советчиков. Он покупал картины, давал деньги на издательства и просто в долг и устраивал блестящие ужины для членов основанного им клуба поклонников красоты, называвшегося «Голубая гвоздика». Члены клуба носили в петлице гвоздику, искусственно окрашенную в мутно-голубой цвет. Это казалось крайне изящным и стоило недорого — двугривенный штука. В одной из комнат квартиры И. был сооружен «алтарь красоты» — нечто вроде киота с портретами Уайльда, Шелли и Бальмонта. Перед киотом была лампада в виде лилового стеклянного ириса с электрической лампочкой внутри. После прекрасного ужина гости располагались в этом святилище на лиловых шелковых подушках и хозяин читал им новую главу своего романа «Путь в Дамаск». Роман был написан ритмической прозой, и в нем проводилась параллель между душевными страданиями автора и какого-то римского патриция времен упадка, блистательного и несчастного. После чтения гости, выразив восхищение, по очереди отводили хозяина в сторону. Слышался шепот: «До пятницы, честное слово» — и ответный: «Пожалуйста, очень рад». Двадцатипятирублевки, мягко шурша, скользили из ладони в ладонь. Гости расходились. Хозяин удалялся в свой кабинет, устланный коврами и увешанный картинами, — работать над «Путем в Дамаск».

Помню конец привольной жизни этого поклонника красоты. Я присутствовал при этой катастрофе. Президент «Голубой гвоздики» давал обед, замечательный, как всегда. Было человек двадцать приглашенных, не менее изысканных, чем меню. Разговор велся по всем правилам уайльдовского красноречия. Уже допивали кофе. Хозяин, несколько раскрасневшийся (он вообще отличался прекрасным цветом лица, что его очень стесняло), томно играя золотым лорнетом, читал свои новые стихи:

Моя любовь так печальна,
Как кофе, который остыл...

И вдруг в сопровождении испуганного и шокированного лакея (недавно переманенного из какого-то очень хорошего дома) в столовую ввалился плотный маленький человек лет пятидесяти в куцем пиджаке. В руках он держал «ковровый» сак, такой, с какими купчихи любили ездить на богомолье. Его лицо, круглое и розовое, имело явное семейное сходство с председателем «Голубой гвоздики». Но, Боже, как вульгарно оно выглядело в этой ампирной столовой, среди шелков, цветов, хрусталя... Все застыли, недоумевая. Хозяин дома покраснел, как бурак.

«Славно, — с расстановкой сказал вошедший, садясь и озираясь. — Прекрасно, очень чудно! В Петербург учиться поехал! В консерваторию! — Он выговаривал «консельватория». — Хороша консерватория! Нам писали, мы не верили. Дармоедов, — он окинул глазами эстетических гостей, — разносолами кормить, а! Пять тыщ в месяц, и того мало! Тятка горбом копейки зашибал. В твои годы в Сибири зимой обозы сторожил, на кожах спал да по морде получал! Консерваторию завел! Нет, шалишь, брат...»

Через три дня наш меценат был увезен грозным дядюшкой в родной приволжский город. Через месяц, кажется, его женили. «Путь в Дамаск» остался неизданным.

* * *

Поэт М. был специалистом по основанию издательств, правда эфемерных. Он был необыкновенно изобретателен в способах склонить какого-нибудь денежного человека на издание альманаха или журнала. На меценатов у него был нюх, как у гончей.

Познакомившись с кем-нибудь и найдя его «подходящим», М. принимался его обрабатывать. Иногда срывалось, но бывали и удачи. Тогда М. подымал вихрь заседаний, проектов обложки, типографских смет, авансов. Неважно было, если сборник, задуманный *in folio*¹ в 200 страниц, появлялся спустя много месяцев после назначенного срока в виде тощей маленькой книжки. На М. уже были новый «костюмчик» и новые «сапожки». Подкормившийся и приодевшийся, он искал нового мецената.

— Что же ваш журнал? — спросили его как-то. — Что-то о нем не слышно.

— Я разошелся с издателем.

— И он ничего не издал?

— Издал... вопль.

¹ Как фолиант (лат.).

Однажды утром М. позвонил мне по телефону.

— Георгий Владимирович, простите за беспокойство. Не придете ли вы сейчас к Альберу по литературному делу?

— Что с тобой? — Мы были уже лет пять на «ты», и вдруг Георгий Владимирович! — Что за чушь! Приезжай ко мне сам.

— К сожалению, я приехать к вам не могу. Со мной Фридрих Фридрихович, который хочет издавать...

Я не знал никакого Фридриха Фридриховича, но зато слишком хорошо знал М. — он поймал мецената.

У Альбера М. жадно поедал одно блюдо за другим. Напротив него сидел грустный человек с большим горбом. Он не завтракал, он пил «Нарзан».

— Вот и Георгий Иванов! — оживился, неестественно ласково на меня глядя, М. — Он может быть редактором.

Маленький седой горбун посмотрел на меня грустно и неодобрительно. Должно быть, мой вид не соответствовал его представлению о редакторе.

Дело было следующее. М. познакомился с этим Фридрихом Фридриховичем в пригородном поезде. Познакомился, определил как «подходящего» и, чтобы не терять времени, привез прямо к Альберу. Горбун был ликерным фабрикантом и писал сонеты о драгоценных камнях. Он соглашался издать сборник, но желал солидного редактора.

— Да, — говорил он с сильным немецким акцентом, грустно глядя на нас. — Альманах очень хорошо, но я хочу редактора с большим именем. Ну Бальмонта, Сологуба...

Что было делать? Но М. нашелся.

— Сологуба? Бальмонта? Вы их хотите? Пожалуйста. Это нетрудно... Да что Сологуб! Я самого Димитрия Цензора берусь уговорить!

Имя Цензора вполне удовлетворило издателя. Через полчаса появился «сам» Цензор, очень заспанный. Дело устроилось.

Вышел еще маленький разговор насчет псевдонима мецената. Он осведомился, как будут печатать стихи — по алфавиту или нет. Ему сказали — по алфавиту. «Значит, кто будет первым, Ахматова?» — «Да, Ахматова». — «Ну так я выбираю себе псевдоним “Аврамов”».

На Аврамова мы не согласились. Фридриху Фридриховичу пришлось примириться с каким-то псевдонимом на «Б».

Кстати, для этого альманаха я ездил просить стихи у Сологуба. Сологуб был очень любезен, прочел мне несколько стихотворе-

ний и предложил самому выбрать. Я выбрал два, очень хороших. Покончив с этим, я извинился, что издательство на первых порах платит только по полтиннику за строчку.

Лицо Сологуба стало каменным. «Анастасия Николаевна, — крикнул он жене в соседнюю комнату. — Дайте мне... те стихи... вы знаете... на нижней полке... Вот, — буркнул он, протягивая два листка... — Стихи по полтиннику... До свиданья...»

* * *

Уговорить мецената дать деньги на какое-нибудь предприятие было делом сложным и деликатным.

Гумилев несколько месяцев вел правильную осаду на одного богатого эстета. Дело шло не о ста рублях «до завтра», а о крупной сумме на большой ежемесячный журнал. Долгие вечера проводились в разговорах об искусстве вообще и необходимости проектируемого журнала в частности. Эстет явно сочувствовал и склонялся. Когда издали заходил разговор о необходимых деньгах, он пренебрежительно говорил: «Нет, господа, деньги вздор. Верьте мне, их достать нетрудно. Гораздо важнее установить наше отношение к символистам».

Наконец все вопросы были вырешены и все позиции определены. Будущий меценат ужинал в царскосельском доме Гумилева. Ужин прошел отлично, гость и хозяин даже выпили на «ты». Развеселившийся эстет болтал о журнале как о деле решенном, повторяя, что деньги вздор. «Вот они, деньги», — даже заявил он, хлопнув себя по карману.

Гумилев повел наконец охмелевшего мецената под ручку укладывать его спать. «Слушай, Сергей, — сказал ему Гумилев, прощаясь. — Ты помнишь наш сегодняшний разговор?» — «Помню», — вяло ответил тот. «Славный будет у нас журнал!» — «Славный», — поддержал меценат так же вяло. «Так ты дашь деньги?» — поставил Гумилев вопрос ребром. «Ничего я не дам», — выговорил меценат с большой твердостью, засыпая. И действительно, ничего не дал.

* * *

Люди, имевшие пристрастие к меценатству, но сдерживаемые благоразумием, удовлетворяли свой инстинкт дачей взаймы, приглашением в рестораны и т.п., не пускаясь на более крупные дела. Это было спокойнее, но тоже выходило накладно. Один из них рассказывал: «Приходит утром поэт Х с запиской от поэта Y — болел, просит сто рублей. Вечером Б. звонит по телефону, прося де-

нег для Y — заболел и он. Через день появляется X благодарить за помощь и заодно просит выручить из беды его друга Б., попавшего под трамвай. А вечером встречаю всех троих, весело ужинающих в «Вене»».

* * *

Меценатки-дамы, как ни странно, водились реже и по большей части были очень скупы. Впрочем, я знал одну, при воспоминании о которой многие представители петербургской богемы улыбнутся с нежностью. Ее муж, некто П., разбогател во время войны — феноменально, сказочно разбогател. И она, вчера еще жена мелкого торговца, вдруг оказалась одна в пышной квартире на Сергиевской. Она была очень некрасива — наряды ее не интересовали. И она отдалась двум страстям — покровительству искусству... и покупке ламп и вообще всякой затейливой электрической арматуры. Которая из страстей была более сильна? Не знаю. Деньги «на искусство» она раздавала направо и налево, трогательно выводя на чеке «выдать одну *тысячу*». А в ее будуаре я сосчитал тридцать четыре лампы — фарфоровых, бронзовых, деревянных, маленьких, больших и огромных. Увы, все это кончилось так же неожиданно, как началось, — 25 октября 1917 года — и деньги, и лампы.

* * *

Мне вспомнился еще один из породы мелких меценатов, охотно дававший деньги займы без отдачи за удовольствие толкаться в художественной среде. Это М., элегантный петербургский молодой человек. Он одевался в Лондоне, дружески переписывался с кронпринцем и сочинял сонеты по-испански. После революции он куда-то пропал. И вот совершенно неожиданно я встретил его в 1920 году в засыпанном снегом уездном городе. Он там служил при Наркомпросе и голодал. Весь заросший наполовину седой бородой, в тридцать пять лет он выглядел шестидесятилетним. Однажды вечером я проходил мимо его освещенного окна. М., в тулупе, рукавицах и бараньей шапке, при свете маленькой коптилки читал. Из рта его валил пар. В левом глазу сиял монокль — единственное, что у него осталось от Петербурга, заграницы, всей его жизни. Обложка книжки была отвернута. Я прочел заглавие: «*Fleurs du mal*»¹.

¹ «Цветы зла» (фр.).

ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ

Домом литераторов управлял Харитон. Его недоброжелатели писали карандашом на стенах Дома:

Даже солнце не без пятен,
Так и Харитон.
Очень часто неприятен
Этот Харитон!

Администрация стирала надписи. На следующий день они снова появлялись. Они были несправедливы — Харитон был сама выдержка, благожелательность, мягкость.

С раннего утра Дом литераторов наполнялся посетителями. Право входа имели все, но, чтобы получить обед, надо было предьявить членскую карточку, выдававшуюся «литераторам и их семьям». Но как было определять в советские времена, кто действительно литератор, кто самозванец? Издательств, газет, редакций уже давно не было.

На прием к Харитону являлся человек, оборванный и явно голодный. «Я журналист». — «Где вы писали?» Человек мнетя: «В сибирских газетах... и вообще...» Харитон раздумывает минуту (для виду), потом тянется за заповедной карточкой. «Вот... членский взнос уплатите, когда сможете... Обеды выдают с 11 дня...»

О, эти обеды! Их главное неудобство было в бесконечных очередях. Сначала за каким-то купоном, потом за посудой, наконец за самим обедом.

Советское меню — селедка и пшенная каша — всем известно. Дом литераторов старался его украшать как мог — не его вина, если это плохо удавалось. Кроме обеда все получали один леденец в бумажке — и сколько угодно чаю, т.е. бурого кипятку. Любители выпивали вприкуску до десяти стаканов, и еще оставалось полведра на вечер.

Помещение — барский особняк на Бассейной улице — было безобразное и неудобное. Залы, обитые вылинявшим штофом, дрянные огромные картины по стенам. Мебели было мало — тоже плохой и роскошной. Зато при доме был прекрасный старый сад.

Если среди «клиентов» Дома литераторов было много людей «со стороны» — разных «сибирских журналистов» и «благородных

вдов», попавших туда благодаря мягкосердию распорядителей, — все же здесь кормился почти весь литературный Петербург.

«Хожу сюда каждый день, как лошадь в стойло», — говорил Гумилев. Блок, простояв в кооперативной очереди часа два, торжественно уносил к себе на Офицерскую пуд мороженой картошки. Кузмин, живший по соседству, уходил и появлялся каждые полчаса. Он принадлежал к числу любителей чая и, распивая его, любил поболтать, только не о серьезном.

— О чем опять спорите? — спрашивает он со стариковской улыбочкой, проходя мимо «поэтического» стола.

— О стихах, Мишенька, тебе неинтересно, — говорит Гумилев.

— Ах, опять о стихах... Когда кончите, скажите — приду к вам посидеть...

* * *

Длинная очередь вьется за супом. С жестяными мисками и ложками в руках стоят, как богаделки, писатели и профессора. В «хвосте» идет тихий разговор.

Студистка, стоящая рядом с В.Пястом, дает ему урок немецкого языка. На плечах Пяста плед, нижняя часть костюма — серая в крупную клетку — непомерно широка. Он терпеливо повторяет: «Кошка — катер, собака — хунд...»

— Простите, барышня, — вмешивается стоящий сзади старичок с густыми бровями. — Вы немецким хорошо владеете, я вижу. Пожалуйста, как будет виноград? Я прошлую ночь стал вспоминать — вертится на языке, а не вспомню. Всю ночь промаялся.

— Вейнтраубен.

— Вот, вот! Спасибо.

Вьется бесконечная очередь за супом... Вдруг у входа — движение, шум, иностранный говор. Озабоченный Харитон, оставив наблюдательный пост в столовой, спешит на шум. «Что такое?» Хорошо одетые широкоплечие господа суют ему в руки мандат от Петросовета. Представители английских безработных знакомятся с бывшей русской интеллигенцией.

Английские безработные не только розовы и хорошо одеты. Они и культурны. Просят назвать фамилии обедающих и, слыша некоторые, почтительно восклицают: «Very pleased»¹. Поглазев на залу и библиотеку, они идут в столовую.

¹ «Очень рад» (англ.).

Седой старичок, спрашивавший, как по-немецки виноград, только что получил свою миску с кашей и бережно несет ее к столу. Его имя, знаменитое по всей Европе, особенно интересует англичан. Они просят их представить, говорят какие-то любезности, раскланиваются. Старичок смотрит на них, холодно мигая красными веками. Любезности его не интересуют. Он хочет есть. Каша стынет. «Уважаемый профессор, — говорит один из делегатов, — разрешите попробовать еду, которой кормит вас ваше уважаемое правительство». Профессор глуховат и сразу не понимает, что от него хотят. Поняв, он хватает свою миску, одной рукой прижимая к груди, другой защищая: «Моя каша, моя каша! Пробуйте у других!»

* * *

Зимю, особенно в голодные и холодные 1919—1921 годы, обедающие, съев свою кашу или селедку, не торопились уходить. Все же здесь было теплей и светлей, чем у себя на квартире. И на людях.

Старики и старушки шептались по углам о политике. Появлялся какой-нибудь «сведущий человек». Любопытные тотчас же внимательно к нему присаживались. Подозрительно озираясь, «сведущий» сообщал «новости»: «Англичане стоят у Кронштадта... Белые летали над Москвой...»

Старички слушали, вздыхали, шли на свое место, шепотом сообщали новости соседу. Тот — другому. Вместе с синим дымом махорки эти слухи ползли и переплетались: «Деникин идет на Тулу... Англичане летали над Москвой...»

Молодежь слухами не интересовалась. Поэты толковали о стихах. Любители спорта — о футболе. Влюбленные, как тени, слонялись по Дому, ища укромного угла.

Весной, когда промерзшие стены Дома литераторов оттаивали, начинали зеленеть деревья и мерцать белые ночи, — влюбленных появлялось особенно много. Зимой мешали холод, оборванные шубы, стоптанные валенки. Весной нетрудно принарядиться. На «нем» — пусть заштопанный, но свежеразутуженный костюм. На «ней» — старая соломенная шляпа, выкрашенная заново, какой-нибудь цветок, бант. Старушки, вспоминая молодость, кивают: «Какая изящная пара!» Хмурый пролетарский поэт косится: «Вырядились, недорезанные...»

Советские влюбленные, в исключение из правила, были всегда голодны. Это они расхватывали роскошные «добавочные» блюда — котлеты из зайца, пирожки... «Она» в белом платье мечтательно си-

дела в саду. «Он», быстро справившись с талонами, купонами, ложками и мисками, бежал к ней, торжествуя неся сразу две или три порции чего-нибудь «очень вкусного». Все тогда казалось очень вкусным. Все, кроме селедок и пшенной каши.

Насытившись, влюбленные гуляли по саду. Старые деревья шумели, дети играли в мячик. Гуляли, мечтали, читали надписи на собачьих могилах: «Здесь лежит Бобоша, умер в Ницце в 1888 году»...

С террасы доносился взволнованный голос Харитона: «Я им сказал — вы отпустите мне муку... А они... А я...»

* * *

В Доме литераторов устраивались лекции, концерты, литературные вечера. Они устраивались часто, плата за вход была минимальная. Я думаю, многие петербуржцы, особенно жившие по соседству, в Литейном районе, с благодарностью их вспоминают. В те времена билеты в театры были по наряду, да если и не по наряду, далеко идти и страшно возвращаться. Это в стихах можно было писать:

Мне не надо пропуска ночного —
Часовых я не боюсь...

Пропуски были нужны на каждом шагу, и часовых все боялись.

Если расхватывались билеты на какое-нибудь «музыкальное трио» или доклад о «раскопках в Крыму», — то понятно, как быстро их разбирали, когда был объявлен вечер Ахматовой, в течение трех лет ничего не печатавшей и нигде не выступавшей.

В день вечера (уже около недели на дверях Дома висел аншлаг) в билетную кассу является дама в пестром платке и с бельевой корзинкой в руках: «Дайте мне два билета». Билетерша раздражена: «Вы видели аншлаг — все продано...» — «Но мне обещали...» — «Ничего не знаю — билетов нет...» Дама с корзинкой раздражается в свою очередь: «Если нет для меня билетов — я сама не приду на вечер». Кассирша язвительно улыбается: «Пожалуйста, никто не заставляет...» Дама вспыхивает: «Ах, так!» И уходит, хлопнув дверью.

На счастье, эту сцену видел издали кто-то из заправил Дома. Уже на улице он догнал негодующую Ахматову и вручил ей с поклонами и извинениями билеты.

Чтобы не быть закрытыми за «опасное направление», надо было лавировать и приспособляться. С этой целью был приглашен читать стихи Сергей Городецкий, только что прибывший с юга, со свежим партийным билетом в кармане.

Публики собралось много. Городецкий, не зная, как примет его «белогвардейская» аудитория, начал с нейтральных стихов «Об Италии». Стихи понравились. Осмелевший Городецкий перешел тогда на свой новый репертуар. Забарабанил рифмы: народа — свобода, капитал — восстал...

Из писателей на этот вечер мало кто пришел. Старички-профессора и великосветские старушки, занимавшие первые ряды, о том, что Городецкий большевик, не слыхали. Некоторые из них, может быть, вспомнили его недавние стихи о войне, такие «патриотические», что даже «Лукоморье» порой стеснялось. Внешность у Городецкого была приятная, голос звучный... Короче — его казенные восторги были приняты за смелую сатиру. Когда Городецкий кончил, ему устроили настоящую овацию.

* * *

Кто-то сказал, что дни «военного коммунизма» надо считать, как в Севастополе, — месяц за год. Но даже если считать просто, кто сможет, если бы даже хотел, забыть о трех-четырёх-пяти трудных и необычайных годах своей жизни? В 1919 году мы все с чувством пронзительной тоски ходили по Петербургу:

Мимо зданий, где мы когда-то
Танцевали, пили вино...

Мне кажется (если это нам суждено), — с тем же чувством мы пройдем когда-нибудь по блестящему, нарядному, шумному Петербургу, «мимо зданий, где мы когда-то»... ели селедочный суп.

VII

ДОМ ИСКУССТВ

В 1920 году зимой прохожие, очень редкие вечером в этой пустынной части города (угол Мойки и Невского), могли видеть странное зрелище. К ярко освещенному подъезду (среди полного мрака соседних) подходили господа и дамы буржуазного вида, и швейцар, кланяясь, распахивал дверь. Третий этаж был ярко освещен. Видны были сияющие хрустальные люстры, порой слышалась музыка. С улицы, пожалуй, больше ничего нельзя было разглядеть. Но и это-

го было достаточно, чтобы потрясти советского пешехода. По Невскому летает ветер, хлопая вывесками давно разграбленных магазинов (вышел декрет, чтобы и эти вывески снять). Холод, ночь, нищета — и вдруг...

Медная доска у подъезда ничего не объясняла: Дом искусств? Ни серпа, ни молота, ни красного флага. Да и посетители этого таинственного дома не походили на коммунистов хотя бы потому, что не подкатывали к нему на сорокацильных машинах.

* * *

Дамы и господа буржуазного вида подвигаются по ярко освещенной лестнице. Они чинно снимают шубы и идут дальше через какие-то блестящие помещения. Всюду зеркала. Дамы пудрятя, кавалеры поправляют ладонью и без того прилизанные пробыры. Сдержанный говор, шелест шелка, запах духов...

...Ночь, холод, нищета, 1920 год!

В огромной зале за роялем знаменитый пианист. Изящные дамы и господа чинно слушают его игру.

В соседних гостиных — другие курят, болтают, пьют чай. Чай разносят лакеи в серых куртках, ловко ступая по толстым сплошным коврам.

Концерт кончен. Начинаются танцы. Мелькают голые плечи, развеваются фалды фраков... Но все-таки что же действительность? Советский Петербург 1920 года или это изящное общество в этих раззолоченных салонах?

* * *

Фраков и бальных платьев было действительно довольно много. Это было не так уже хитро. Фраки не находили покупателей (вот смокинг — другое дело). Не в цене были и роскошные платья. Покупатели — псковские мужички и чухонки-молочницы — ни в фалдах, ни в голых плечах не нуждались.

Чтобы убедиться, что это общество не выходцы из другого мира, а настоящие советские петербуржцы, — достаточно было поглядеть на их сапоги или руки. У большинства сапоги в заплатках, руки, почерневшие от кухни и черной работы. Но губы улыбаются, манеры изящны, все словно играют роль...

Так и было. Раз в неделю советские граждане, вымывшись и нарядившись, собирались и играли в «старое время». На час-два один снова был знаменитым адвокатом, другой — светлейшим князем. Назывались эти «птиже» «пятницами Дома искусств».

Помещением Дома искусств была квартира X, известного петербургского богача.

Есть безвкусице невинное, порой уютное, порой милое: шелковые будуары, фотографии, «декадентские» вещицы, семь слонов. Пошло, но «человечно». Покои Дома искусств были совсем в другом роде.

Главная лестница — мрамор и золоченый чугун, рытый ковер, китайские вазы. В прихожей фальшивая готическая мебель. Столовая — копия из дворца Медичи, на стенах тисненные инициалы владельца под дворянской короной. Потолок большой залы — копия одного из версальских. (Художник не рассчитал, и живопись не вполне уместилась — кое-кто из фавнов остался без хвоста.) Другая столовая — роспись Каразина: купидоны с цветами. Один из них вместо розы играет Станиславом 3-й степени. Библиотека — потолок в виде заросшего тиной пруда, кувшинки электрические. В шкафах буль (фальшивый) «Тайны венценосцев» и «Русский паломник». Баня (4 комнаты). Предбанник в помпейском вкусе, парильня — «декадентская» — вся в лилиях. Спальня хозяев — единственное окно во двор — почти полная темнота, похожа на гроб...

В «салонах» гобелены, электрические «поленья» в каминах, мрамор на золоченых тумбах. «Настоящий» Гинзбург.. «Подлинный» Жуков... Когда Дом искусств принимал имущество, в темном углу нашли мраморную группу, закутанную в марлю. Прислуга пояснила: господу купили, не понравилось — велели вынести. Мрамор, «не понравившийся господам», — оказался первоклассным Роденом.

Но эти версальские залы и помпейские предбанники были натоплены, ярко освещены и казались райскими людям, одуревшим от коптилок и буржук. Именно в свете, тепле, чистоте просторных комнат было главное значение Дома искусств. То, что считалось главным — «культурно-просветительная деятельность» — разные лекции в студии, — было, в сущности, делом второстепенным.

О бесчисленных советских студиях стоит рассказать особо. В те дни студии — литературные, театральные, научные — были в чрезвычайной моде. Не отставал и Дом искусств. Читал Гумилев, читали Замятин, Чуковский, Волынский, читались десятка два разных курсов, в разные дни, в разных залах...

В числе молодежи, посещавшей эти «классы», были, разумеется, способные люди. Некоторые из них успели прошуметь, напри-

мер кружок «Серапионовых братьев», бывших студентов Замятина. Насколько их успехам содействовала пройденная ими «учеба», я не знаю. То, что из студентов Гумилева, «педагога», во всяком случае, не менее умелого, чем Замятин, за три года работы не вышло ни одного поэта, скорее говорит о противном.

* * *

В Петербург приехал Уэллс. Дом искусств чествовал его банкетом.

Приглашенные — человек тридцать — собрались к сроку, прохаживались мимо столовой и поглядывали на сервированный великокняжеской посудой стол. Всех интересовал завтрак. Наиболее предприимчивые наведывались на кухню — сообщали: «Кулебяка... ростбиф с горошком...»

Но Уэллс не ехал, завтрака не подавали. Традиционное понятие об английской точности и вежливости колебалось.

Наконец вбежал Чуковский, размахивая длинными руками, красный, взволнованный: «Идет! Идет!» За Чуковским в сопровождении Горького — сам Уэллс.

Небольшой рост. Серый костюм. Плечист. Толстое лицо. По виду — лавочник средней руки, сознающий, что он — центр внимания. С таким видом провинциальные мэры закладывают какой-нибудь «первый камень». Величие, важность, небрежность...

Банкет был позорный. Уэллс с видимым усилием ел «роскошный завтрак», плохо слушал ораторов и изредка невпопад им отвечал. Ораторы... некоторые из них выказали большое гражданское мужество — например Амфитеатров, предложивший присутствующим, чтобы показать высокому гостю, «что они с нами сделали», — расстегнуться и продемонстрировать ему свой «дессу».

* * *

Это смелое предложение принято не было. Но Амфитеатров был наказан: Уэллс, обратившись к нему, назвал его мистером Шкловским.

Остальные речи были в том же роде. Чуковский вился вьюном, смягчая в переводе наиболее острые места. Горький, хмурясь, как морж, кусал усы.

«Большевики чествовали меня в Доме искусств», — обмолвился Уэллс, вспоминая об этом банкете. Бедные ораторы. Стоило стараться, рискуя тюрьмой!

Если Уэллсу меню завтрака явно не понравилось, то чувствовавшие его «большевики» были другого мнения. После банкета, додая набранный в карманы шоколад, развлекались беседой с «говорившим по-русски» сыном Уэллса, мальчиком-подростком.

— Как вам нравится Петроград?

— О... да...

— А Москва?

— О... да...

— Долго ли вы собираетесь пробить в России?

Пауза. Застенчивая улыбка: «Не понимай!» Говорившие по-английски и не скомпрометированные крамольными речами были представлены Уэллсу и удостоились от него услышать, что Москва — lovely и погода — cold¹.

* * *

При Доме искусств было общежитие для писателей и художников. Кто понастойчивей — захватили под жилье роскошные «барские» комнаты с потолком в виде пруда. Более стоворчивые расселились по бесчисленным людским и службам. Гумилев, Ходасевич, Пяст, Мандельштам, В.Чудовский, Вольтинский, Шагинян, Леткова-Султанова, В.Рождественский — это только начало длинного списка обитателей Дома искусств. По вечерам на просторной кухне собиралось блестящее литературное общество. Комнаты, конечно, отапливались... но все-таки не мешало погреться у плиты. При общежитии был буфет. Очень скромный, но по тогдашним временам роскошный. «Своим людям» продавались даже пирожные.

Кстати, о пирожных. Эти кружки сладкого теста, залитые кремом или шоколадом, имели особое мистическое значение в те годы.

Когда все потребности были сведены к минимуму — не умереть с голоду и не замерзнуть, — пирожное стало символом всего запретного и соблазнительного. Съедая его, гражданин тогдашней РСФСР чувствовал себя на мгновение приобщенным к беззаботной и расточительной буржуазной жизни.

Так смотрели на это и власти. В январе 1921 года в Доме искусств был бал-маскарад. Первый петербургский бал за три с половиной года. Не знаю, как удалось получить разрешение, но маскарад этот состоялся и вышел необыкновенно веселым и многолюдным.

¹ Очаровательна; холодная (англ.).

Ни капли вина, разумеется, не было выпито, но все казались немно- го пьяными, как разыгравшиеся дети. И как дети, расхватывали единственное, что было в буфете, — пирожные.

На другой день в «Красной газете» под грозным псевдонимом «Браунинг №...» появились стихи «Бал на Помойке»:

Разутюженные брючки,
Миль пардон, какие ручки.

Автор (Василий Князев) описывал, негодуя, в этих стихах на- глые толпы буржуев, обедающих пирожными в «сердце Крас- ной России», и взывал: «Чека, где ты?»

Чека откликнулась. Однажды во время завтрака все выходы были заняты мрачного вида красноармейцами и элегантный мо- лодой человек в галифе, проверив заодно документы у всех завт- ракавших, опечатал буфетную красными огромными печатями. Через неделю печати были сняты и «задержанное имущество» — десяток увядших эклеров — было возвращено буфетчику. Он был человек со связями.

* * *

Осенью 1922 года, перед отъездом за границу, я зашел в Дом искусств. Давно кончились «пятницы» и литературные вечера, кончились без лекторов и слушателей студии. В залах Дома ис- кусств, освещенных «ажирно», были поставлены столы для ру- летки и баккара. Уголовного вида крупье во фраках слонялись без дела: «казино» безнадежно пустовало, конкуренция с казенным «Сплендидом» была не по силам.

Это был закат Дома искусств — жалкий закат! Какие-то неиз- вестно откуда взявшиеся дельцы всем распоряжались. Прислуга не знала, кого слушаться. Во всем была бестолочь. Положение пансионеров Дома искусств становилось все неприятнее. Кто мог — выезжал, остальных переселяли в подвалы и чердаки.

В прихожей полдюжины лакеев подобострастно бросаются к случайно забредшим «хорошим гостям» — толстому нэпману и его накрашенной спутнице... Я вышел на улицу. Швейцариха мокрой тряпкой сцарапывала со стекла нижнего этажа уцелевшую здесь рукописную афишу. Всего полтора года назад, весной 1921 года, эти афиши рисовал и расклеивал со своими сотрудниками покойный Гумилев!..

У народного комиссара Луначарского — прием в Зимнем дворце.

Народный комиссар сидит в кабинете, обтянутом «веселеньким» кретоном в цветочки, за «декадентским» письменным столом белого дуба. Кругом — диванчики, пуфы, семь слонов, колченогий тигр. Народный комиссар, должно быть, предпочитает «изящный уют» — дворцовой пышности. Он, конечно, мог бы выбрать помещение повнушительней. Выбирать есть из чего — весь Зимний дворец.

Вот, например, Штернберг, комиссар Отдела изобразительных искусств. Он прибыл из Парижа, точнее, из «Ротонды» прямо в Зимний дворец, чтобы «принять власть» из рук «призвавшего» его пролетариата. Выбор пролетариата был сделан правильно. У Штернберга был солидный художественный стаж фотографа-ретушера. Было и «марксистское прошлое» — вечера, проведенные на углу Распай и Монпарнаса за «боком» и художественно-революционной беседой с будущим наркомом искусств.

«Восставший пролетариат» на примере Давида Штернберга лишний раз показал свое умение ставить людей как раз на то место, к которому они предназначены самой судьбой. Телеграммой Луначарского он призвал Штернберга вершить российские художественные судьбы. Спешно отретушировав последние заказы (не стоит ссориться с клиентами — неизвестно, как еще обернутся дела), выпив в «Ротонде» прощальное «деми», — Штернберг прибыл.

Помещение себе — не в пример Луначарскому — он выбрал величественное.

Маленький, шуплый, заикающийся, он сидит в каких-то раззолоченных хоромах. Кругом малахит, штофные занавеси, саженые вазы. В гигантском кресле на львиных лапах, с кожаной обивкой, тисненной золотыми орлами, в сереньком пиджачке и голубых манжетах «Ли-ноль» (не требуют прачки — целлулоидировано — патент) сидит бывший фотограф-ретушер, а ныне, после Луначарского, «первое лицо в живописи» — Давид Штернберг. Сидит — и скучает. У Луначарского — полная приемная. У Штернберга — никого. За неимением дел он занимается на досуге... немного забытым в «Ротонде» русским языком.

— У меня болит нога, — читает он вслух.

— Нога, — поправляет приставленный к нему секретарь.

Штернберг обижается:

— Ви поправляйте настоящие ошибки! А ви придираетесь к пустякам. Нога — нога — ну какая разница!

Редких посетителей Штернберг занимает разговорами о парижской художественной жизни.

— Пикассо!.. Если только он заметит у вас там краску или интересный мотив — так кончено. Украл. У нас на Монпарнасе все художники его остерегаются. Если он придет — я так и говорил: «Погодите, господин Пикассо, — у меня не прибрано». И пока он ждет за дверью — все холсты переверну к стене. Так ему что! Такой нахал — перевернет обратно и все высмотрит. И если что ему понравится — так это уже не ваш мотив — это его мотив...

Но посетители у Штернберга редки. Похвастать секретарем и царским помещением, потолковать о Пикассо — не всегда удается. Посетители пока, минуя кабинет комиссара изобразительных искусств, осаждают приемную народного комиссара.

Кокетливая приемная — тоже кретон, пуфы и слоны — полна народу. «Какая смесь одежд и лиц!..» Итальянец — скульптор, специалист по «Ню» (преимущественно «на шкуре льва» или «со змеей») — принес проект памятника Лассалю. Актриса из «Аквариума» — очень миловидная, кстати, — хлопчет о переводе в Мариинский. Старуха княгиня с трясущейся седой головой держит свернутую трубкой жалобу на Совет, грабящий ее особняк. Тут же и председатель Совета — жуликоватый молодой человек в галифе, крутя ус, презрительно поглядывает на старуху: посмотрим, чья возьмет. Иероним Ясинский — первый из «крупных русских писателей», признавший большевиков. Саженный рост, седая грива, выражение лица — «сплошное благородство». Очень импозантный старик. Для воспроизведения на открытках, на фоне серпа и молота, вполне заменяет Льва Толстого. Ну и эстеты, поэты, художники в возрасте от семнадцати до двадцати трех, все больше левых течений — «ничевоки», «вески», «ослиные хвосты», «бубновые тузы». Теперь на их улице праздник — футуризм официально объявлен «господствующим искусством». Что ж, в добрый час!

Собственно пролетариата — почти не видно, если судить по платью. Впрочем, вот в углу два не то старших дворника, не то водочных сидельца солидно переговариваются:

— Да, это тебе не шутки. Это тебе не вакса.

— Родной племянник, сестрицын. Все наше семейство от него отчуралось. Первое дело — вор, второе дело — пьяница запойный, третье дело — хулиган. Родную мать только и не зарезал, что она прежде того от горя померла...

— Д-да... Это тебе не шутки.

— ...Лежит, бывало, на Лиговке, в дерьме, рожа расцарапана, на ногах опорки...

— Д-да... Это тебе...

— Теперь комиссар в нашем районе. Захожу к нему — все-таки племянник, сестры сын. Насчет муки и вообще. Сидит он, брат ты мой, за ломберным столом, куртка на нем кожаная, новенькая, золотые зубы вставил. Эй, кричит, подать мне мою машину. Еду в партийный комитет...

— Это тебе не вакса. Многое случается. А сюда зашли по какому делу?

— Насчет стекол. Стекла выбитые подрядились в Зимнем вставлять. А вы?

— За разрешением. На рояль. Рояль у нас в доме с самой войны в подвале стоит. Немецкий. Зря стоит. Домовый комитет постановил распилить на дрова. Ан — нельзя без Луначарского. За разрешением и пришел. Думаете, выдаст?

— Выдаст. Он, говорят, добрый...

...В общем, просителей человек пятьдесят. Секретарь Луначарского — молодой человек, бледный, томный, с челкой на лбу, с подведенными глазами и сиреневым галстуком-«папилионом». Он — эстет неопределенной профессии. Лицо его давно примелькалось всем посетителям «Вены», «Бродячей собаки», разных концертов и вернисажей. Он уже лет десять толчется в петербургской богеме. Все его знают в лицо, никто не знает толком, ни кто он, ни как его фамилия.

Женоподобный и завитой, секретарь не помнит зла. Не помнит небрежно протянутых двух пальцев, невежливо недослушанных излияний, неотвеченных поклонов на улице. Нет — «власть» не вскружила ему голову.

На любезные улыбки тех, кто вчера еще отворачивался от него, — он отвечает сияющей готовностью сделать «все от него зависящее» для «старых приятелей». Таких оказалось вдруг множество.

На густо напудренном лице товарища секретаря играет смесь томности, растерянности, удовольствия. Грациозным жестом он откидывает портьеру, отделяющую будуар-приемную от «будуара» народного комиссара. Из толпы просителей новоиспеченные «друзья» делают ему знаки — «меня»... «меня». Секретарь на минуту задумывается: как бы провести «приятелей» вне очереди, не вызвав неудовольствия остальных? А! — Придумал.

— Граждане, кто с запиской от Горького — пожалуйста.

Три четверти ожидающих радостно вскакивают: я... я...

...У народного комиссара — прием. Он сидит, обложенный папками, печатями, циркулярами и другими атрибутами власти. Поблескивая пенсне, он перебирает эти бумаги, сметы, чертежи...

Входит посетитель.

— Прошу садиться, — бросает народный комиссар, мельком, но «проницательно» взглянув на вошедшего и снова опуская взгляд. — Прошу садиться. Изложите ваше дело. По возможности короче. Я страшно занят.

Посетитель редко «излагает дело» сам. По большей части у него есть записочка «от Горького», не от Горького, так от кого-нибудь другого.

— Вот, товарищ комиссар, — мнется он. — Вот... письмо от... где... я...

Дрр... Звонит переносный телефон на столе у Луначарского. Дрр... Дрр... Дрр... — Алло! Да перестаньте же звонить, товарищ! — Алло! У телефона народный комиссар... Дрр... Дрр... Дрр... — Алло! Да перестаньте же звонить!

Наконец телефон перестает звонить. Телефон новенький. «Акустика» в нем хорошая. Не одному Луначарскому слышно, как на другом конце проволоки кто-то надрывается:

— Откуда?..

— У телефона народный комиссар...

— Откуда? Зимний? Позовите Якова.

Луначарский, пожимая плечами, оборачивается к секретарю.

— Спрашивают какого-то Якова. Есть у нас товарищ Яков?

Секретарь презрительно улыбается.

— Яков? У нас? *Connais pas*, — вдруг жеманно выпаливает он, забыв о неуместности для представителя рабоче-крестьянской власти парижских оборотов... — Понятия не имею, — поправляется он, смутившись. — Впрочем... Кажется, кто-то из товарищей служителей. Я сейчас справлюсь...

Он грациозно ныряет за портьеру.

Луначарский ждет, поблескивая пенсне и перебирая бумаги. Ждет и посетитель, машинально откручивая кончик конверта на письме, где «все изложено».

— Откуда?.. Зимний... Откуда?.. — гудит снятая телефонная трубка...

Через некоторое время секретарь возвращается в сопровождении румяной бабы. Она распространяет сильный запах жуковского мыла, рукава ее засучены.

Баба берется за трубку. Хлопок мыльной пены, помедлив на ее локте, падает на портфель народного комиссара.

— Откуда?..

— Яков Петрович вышли... На Васильевский, струмент починять. Скоро должен вернуться...

— У... У... У... — гудит трубка.

— Только сейчас признали? — жеманится баба. — Вот вы какие, не узнаете... Маланья Сидоровна и есть...

Она жеманится и болтает. Новый клок пены начинает собираться на багровом конусе ее локтя, угрожая на этот раз колену Луначарского. Народный комиссар осторожно отодвигает колено.

— Вот вы какие, — воркует баба, — без делов к нам уж и не заглянете...

На лице Луначарского смесь досады: время — деньги, с озабоченной торжественностью — да, пролетарские министры — не царские. Проситель, открутив угол рекомендательного письма, теперь тщательно его разглаживает. Губы эстета-секретаря, против его воли, складываются в брезгливую усмешку.

— Вот вы какие... А еще кумы...

Наконец это торжество демократизма кончается. Баба уходит. Снова берясь за бумаги, Луначарский бросает:

— К вашим услугам, товарищ. А?.. Письмо? Позвольте...

С сурово озабоченным видом он пробегает письмо.

— Гм... Отсрочка прибыла?.. Деятель искусства... Конечно... Лично я — бессилен... Впрочем... Товарищ, — обращается он к машинистке, — будьте добры... Военному комиссару... Прошу... В виде исключения... Отсрочку... Совершенно незаменимому... Лично мне известному... Как ваша фамилия?

— Петров.

— ...Лично мне известному товарищу Петрову... А фамилия вашего друга?

— Попов.

— ...И лично мне известному, высокоталантливому...

...Сияя, «лично известный и высокоталантливый» уходит, унося свежеотпечатанное «отношение». Просьба Луначарского — еще действует на этот раз. Комиссар, прочтя адресованную ему просьбу, поморщится, но все-таки исполнит просимое. Только все сильнее они морщатся, все неохотнее исполняют... Скоро...

...В кабинете Луначарского уже новый посетитель. Снова народный комиссар грозно — благосклонно — диктует:

— ...В изъятие из правил прошу снять арест с сейфа, принадлежащего гражданину Сапогову, председателю ассоциации поэтов-футуристов «Куб».

Снова нарком размашисто расписывается и протягивает гражданину Сапогову заветную бумажку. Гражданин Сапогов, вероятно, добьется своего и, вынув из сейфа свои брошки и портсигары, успеет уехать за границу. Но скоро... Скоро — военный комиссар, прочтя просьбу Луначарского, топнет ногой и разорвет ее в клочья. И комиссар банковский холодно улыбнется в лицо «председателя ассоциации поэтов-футуристов». — «Ничего не можем сделать... Слишком много записок пишет товарищ народный комиссар по... доброту сердца...»

Скоро в кретоновом будуаре расточительного на рекомендации народного комиссара сильно поубавится посетителей. И прибавится их — этажом выше, в кабинете просто комиссара Штернберга. Скоро комиссар Штернберг уже не будет иметь досуга изучать позабытый в «Ротонде» русский язык...

Заседание идет к концу. За столом — Штернберг-председатель и несколько членов только что образованного «И-З-О» (Отдела изобразительных искусств). Члены ИЗО — художники из левых, уже доказавшие свою преданность пролетариату прославлением его «конструктивно» — и в гипсе, и на полотне. Заседание как раз и посвящено вопросу, как поддержать этих самоотверженных борцов за революцию. Нет ведь больше Морозовых и Гиршманов, чтобы покупать картины. Да эти безвкусовые снобы разве способны были бы оценить их передовое творчество? Ну, хотя бы шедевр товарища Х, над которым он так долго работал. К гладильной доске прикреплен никелированной цепочкой от ключей кирпич. Называется «Ленин в ссылке». Разве Морозовы бы оценили?

Но пролетарская власть — оценит. Недаром Штернберг возглавляет ИЗО. В самом деле, не все ли равно, нога или нога? Было бы стремление к высшему и революционный энтузиазм.

— ...Приобрести для музея бывшего Александра III конструкцию товарища Х «Ленин в ссылке»... — читает секретарь.

...Музей Александра III, конечно, недурно. Но, в конце концов, все-таки — наследие буржуазии. Наиболее передовые товарищи даже требуют сожжения всех этих мертвецких. Сжечь, пожалуй, слишком крутая мера. Но основать собственный музей — необходимо.

— ...Постановили, — читает секретарь, — основать Музей художественной культуры... Изыскать... Установить... Ассигновать... Уп-

правление Музеем возглавляется коллегией. Председатель Штернберг, члены... — следуют имена присутствующих, секретарь, читающий протокол, с благородной скромностью произносит собственное имя.

Главное — сделано. Музей — основан. Суммы отпущены. Но все-таки — где будет помещаться Музей, чем пополняться?

Совещаются по этому поводу недолго. Там, где есть революционный порыв, — могут ли быть несогласия? Секретарь дочитывает протокол:

— ...Впредь до приискания помещения суммы, ассигнованные на Музей, выдать на руки товарищам... — следует перечень членов коллегии, — для приобретения ими произведений искусства, которые и составят ядро Музея...

Секретарь несколько обиженным гоном читает эту часть протокола. Увы, здесь его имя не фигурирует. Досадно. И несправедливо! Неужели, если человек при «кровоавом царизме» был аптекарем, для него закрыты возможности революционного строительства?! Нет, не скоро мы изживем предрассудки проклятого прошлого!

Все это — заседания у Штернберга, основание Музея, дружное согласие насчет раздела «сумм» — скоро все это осуществится. Пульс художественной жизни страны переместится из «ситцевого царства» Луначарского в пышные покои Штернберга. Переместится и забьется по-иному — ровнее, методичнее.

Посетители «с письмами от Горького» будут уходить неудовлетворенными, их даже не примет товарищ комиссар. У него нет никакого вкуса к «широкой манере» его предшественника. Конечно, эффектно, морща лоб и поблескивая пенсне, рассыпать деньги и рекомендации, как Лоренцо Великолепный, но разумно ли такое распыление «революционного порыва»? В тиши кабинета, в тесном кругу действительно «незаменимых» и впрямь «лично известных», работа идет, может быть, и не с таким блеском, зато результаты ее... реальные.

...Скоро будет так. Но пока Штернберг скучает один, а машинистка Луначарского отбила себе все пальцы, отстукивая письма и отношения. С лица изящного секретаря давно сползли пудра и крем-симон, и оно блестит вполне по-пролетарски. Сам «министр культуры» тоже как-то увял.

Со стороны может показаться не столь уж тяжелым делом — сидя в комфортабельном кресле, фигурно расчеркиваться на четверке бумаги. Но попробуйте проделать сто, а то и двести таких росчерков,

особенно если при каждом — ритуал открытых вопросов, понимающих кивков, строгих улыбок — одним концом губ...

...Завтрак опять пропущен. К «Фаусту и городу», драме, которую сочиняет народный комиссар, опять не удастся притронуться. Нет времени. Никогда нет времени! Время Луначарского — поистине деньги. Еще точнее, деньги и рекомендации.

После творческого дня — творческий отдых.

Большая гостиная. Восковые оплывающие свечи в старинном канделябре. Стол, покрытый парчой. На столе развернутая рукопись «Фауста и города». Над ней склоненное, утомленное, строгое лицо народного комиссара. Рукопись... Свечи... Стакан воды.. — Луначарский читает.

Слушают — «внимательно и чутко» — десятка два «избранных». Многие лица нам уже знакомы: они были утром на приеме в кретоновом кабинете — их принимали без очереди...

Теперь, «забыв угрозу жизни», они слушают «четкие стихи» народного комиссара в его «мастерском» чтении. Когда он останавливается на минуту, чтобы выпить глоток воды, легкий шепот восхищения проносится по залу. И снова — благоговейная тишина.

После чтения обмен восторженных мнений. X хочет писать музыку к поэме. Z — ее иллюстрировать. Y — переводить ее.

За дружеским диспутом распивают не одну бутылку вина, полученную по записке с печатью Наркомпроса со складов Смольного. Икра и ананасы в банках — тоже оттуда.

— ...Изумительно... Конструкция фразы — чисто мольеровская, — вдумчиво роняет козлотородый критик.

— При этом — гётевская просветленность, — вставляет другой.

— И темп Маринетти...

Народный комиссар — нет, не комиссар, просто поэт среди братьев по искусству, может быть, старший из них, более озаренный, более мудрый — и только, — слушает эти отзывы, мягко поблескивая стеклами пенсне. То, что товарищ X отметил просветленность, его особенно радует. Именно просветленность тона он считает важнейшим достижением поэзии. Конечно, если при этом сохраняется темп...

Пустые бутылки сменяются новыми. Икра — тоже. Хозяйка салона — пышная дама с большими бриллиантами в ушах (конечно, они спасены из сейфа благодаря хлопотам наркома), — пышная хозяйка в пышном пунцовом платье — кринолином, — отводит Луначарского в сторону.

— ...Анатолий Васильевич, — слышится шепот из угла. — Я в отчаянье... Ваша любезность... Наш театр... Все так дорого. Предыдущая ассигновка...

Луначарский отечески улыбается.

— Пустяки, дорогая. Мы это устроим...

Скоро все изменится. Скоро теперешние восторженные слушатели «Фауста и города», основав Музей художественной культуры, перестанут «гутировать» стих наркома и его мастерское чтение. Скоро благосклонная хозяйка салона станет менее благосклонной — ассигновки наркома возвращаются неоплаченными. Скоро... Много неприятностей скоро придется испытать товарищу народному комиссару просвещения и искусств...

Но пока — свечи оплывают, камин горит, ценители поэзии тихо переговариваются, доедая последний ананас. Народный комиссар собирает рукописи в портфель. Пора домой, он устал. Еще бы не устать! Но есть что-то бодрящее в этой усталости — трудовой, творческой, революционной. И *просветленность* и *темп* в одно время.

IX

«Пески» за чертой Суворовского проспекта были совсем особое царство — захудалое, сонное, провинциальное. Суворовский, конечно, тоже был не *gare de la Paix*¹, но все-таки там ходил трамвай, на одном углу кондитерская, на другом кинематограф, городской в медалях регулирует движение и публика, особенно по вечерам, идет стеной. И сама эта публика, хотя и не была блестящей, все же имела вид более или менее столичный — котелки и вуальки, перчатки и муфты. Но стоило свернуть с Суворовского на любую из пресловутых Рождественских, сделать несколько шагов в глубь «Песков» — и картина менялась.

...Восемь-девять вечера, но тишина и пустота такие, точно в три ночи. Желтый фонарь уныло мигает. До следующего, — такого же мутного и тусклого, — шагов тридцать тьмы. Огни в домах потушены, окна занавешены. Вот из «междуфонарной» тьмы вырисовывается какая-то подозрительная фигура: что если это разбойник, ко-

¹ Рю де ля Пе — улица Мира (фр.).

торому вздумается вас ограбить? Кричите сколько угодно — кругом никого, ничего.

Фигура медленно приближается к источнику мутного света, очертания ее вырисовываются ясней. Нет, это не разбойник, это мирный житель сих мест, вышедший на вечернюю прогулку. Дойдя до фонаря, он, покачнувшись, останавливается. Левой рукой обхватывает фонарный столб, правой достает из кармана полбутылки. Уши чухонской шапки треплются на ветру, голова «запрокинута к звездам», водка слабо и сладко булькает..

Рождественские пересекались Дегтярной. За этим пересечением была уж совсем глушь — фонарей еще меньше, какие-то домишки, какие-то деревянные заборы, сквозь щели которых нередко высывалась лохматая собачья голова, чтобы хватать за ногу зазевавшегося прохожего. «Пески», одним словом. И вот тут-то, в самом сердце «Песков», на углу Восьмой Рождественской и Дегтярной, помещалась редакция газеты «Петербургский глашатай».

В 1911—1912 годах, время от времени, по газетам и журналам, по литературным и театральным знаменитостям, просто по адресам, взятым наугад во «Всемирном Петербурге», рассылались отпечатанные на бледно-лиловой с жилками бумаге не то приглашения, не то уведомления, или, как значилось в подзаголовке, «инвитаии». В «инвитаии» значилось, что получившее лицо имеет право посетить устраиваемый в редакции поэзо-праздник. Далее следовало перечисление изысканных удовольствий, на этом празднестве предстоящих, например танцев с факелами в исполнении «знаменитой танцовщицы Кармен, солистки инфанта Испании», или *tire aux pigeons*¹ в роскошном зимнем саду редакции. Меню ужина, тут же сообщавшееся, было не менее «эпатантно»: филе молодых соловьев в «Шамбертене 1799 года» и фиалки в снегу из шампанского обещались тому, кто пожелает приглашением воспользоваться, не пожалев ничтожной суммы — пятьсот рублей, — взимаемой редакцией «Петербургского глашатая» на «покрытие расходов».

Пятьсот рублей были, конечно, вполне надежной гарантией, что никто, кроме составителей отдела «Смесь» на последней странице какой-нибудь «Биржевой вечерней», поэзо-праздником не интересуется. Но из вящей осторожности «директориат» «Глашатая» рассылал свои «инвитаии» с опозданием на два-три дня против числа,

¹ Стрельба в голубей (фр.).

на которое поэзо-праздник назначался. Так что если бы, против всякого вероятия, нашелся в Петербурге такой «любитель изысканного», который не пожалел бы «ничтожной суммы» за наслаждение отведать соловьиное филе под танцы испанской солистки, он, взглянув на календарь, мог только вздохнуть, — увы, я опоздал. Если же этот эстет, велев приготовить свой голубой лимузин (ибо без голубого лимузина, разумеется, такого сверхэстета немисливо себе и представить), отправился бы взглянуть хоть с улицы на место, где всего три дня тому назад происходило столь блестящее торжество, он увидел бы на углу Дегтярной и Восьмой Рождественской вросший в землю деревянный домик с мезонином, герани и клетку с канарейками в окнах, дощатый забор, утыканный по верху гвоздями, и на калитке надпись «Остерегайтесь собаки». Что подумал бы эстет, глядя из своего лимузина на все это, решить не берусь — я не эстет, слава Богу.

«Иван Васильевич Игнатъев — директор эдиции «Петербургский глашатай». Игорь Северянин, Василиск Гнедов, Константин Олимпов, Грааль Арельский — члены директориата на отдыхе в Ницце».

По тем же адресам, что и лиловые с жилками «инвитаии», рассылалась и фотография-открытка с такой подписью. «Директориат» сидел на фоне мраморной урны и трельяжа, вытянувшись по-солдатски на козетке в пуговочки. На директоре — Игнатъеве — распанутая хорьковая шуба, цилиндр и тройная цепь, пущенная по жилету. Игорь Северянин в «приличном пальто» с каракулевым воротником. Арельский — в студенческом. Олимпов и Василиск Гнедов с поэтическими кудрями, покрывающими свежезакупленные бумажные воротнички. На круглом столике перед козеткой — бутылка шампанского, предусмотрительно повернутая этикеткой назад, и пять длинных граненых бокалов из приданого бабушки «директора эдиции»...

...В начале 1911 года, когда Игорь Северянин из своего знаменитого четверостишия —

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен.
Я повсеместно обэкранен.
Я повсесердно утверден —

мог с легким сердцем (что он и делал на все лады) «утверждать» только содержимое первой строчки, ибо победой упиваться было пока не с чего — будущего мимолетного «властителя дум» медичек и бес-

тужевок еще никто не знал, — к Северянину, невероятно, пришел издатель, желающий его печатать. Он был немного молод для издателя — ему было девятнадцать лет, но хорьковая шуба выглядела солидно и тройная цепь, пущенная по жилету, была полновесной пятьдесят шестой пробы. Потом уж выяснилось, что именно эта цепь вместе с огромными наследственными часами и есть главный фонд «Петербургского глашатая». Часто, чтобы выкупить из типографии какую-нибудь «эдицию» страниц в пятнадцать объемом, цепь эта отправлялась в ломбард. Иногда за ней следовала и хорьковая шуба. Но как бы там ни было — все-таки это был издатель, первый издатель, разбивающий своим появлением стену всеобщего равнодушия, о которую уже столько лет как рыба об лед бился Северянин с 1905 года, день за днем, год за годом оживавший славы, которая все «почему-то» не приходила. Кстати, говорят, что все зависит от силы желания, если «как следует» желать, то и сбудется желаемое, как бы оно ни было маловероятно. Не этим ли объясняется успех певца «ананасов в шампанском», успех, исчезнувший так же молниеносно, как начался? Редкая «физическая» талантливость Северянина, конечно, несомненна... но все-таки, когда на вечерах «божественного Игоря» я смотрел на тысячную, без всяких преувеличений, толпу (и не из одних же швеек она состояла!), рычащую от восторга на разные его «грезовые эксцессы» и «груди как дюшес», я спрашивал себя, что же все-таки с этими людьми? В самом деле, может быть, Игорю Северянину так хотелось славы, что он вызвал ее из пустоты, как факир из пустоты вырашивает пальму. Потом «упоение победой» ослабило страстность желания и мираж исчез так же, как появился?..

Итак, Игнатъев явился к «еще неведомому избраннику» и предложил в его распоряжение свой кошелек, точнее часы и шубу. Издавать было что — три огромных тома стихов, «приготовленных к печати», давно ждали издателя. Но нет, издавать их в расчеты Игнатъева не входило. Книги можно издать когда-нибудь потом, когда «дело разовьется». Теперь же он предлагал Северянину газету, пока еженедельную, где о гении его будут писаться статьи и где самые смелые, самые «острые» его поэты будут помещаться в таком количестве, в каком Северянин пожелает. Закладывать шубу в ломбард только для того, чтобы содействовать «обэкранению» и «повсесердному утверждению» Игоря, — в расчеты Игнатъева не входило. Он не менее Северянина «желал славы». Только в отличие от Северянина, в даре которого, при всей его пустоте, было что-то и впрямь «божественное», — Игнатъев был бесталан-

ный человек с низким скошенным лбом и тяжелым взглядом, которому, на его несчастье, захотелось блистать, удивлять, очаровывать сердца, потрясать мир.

«Петербургский глашатай» начал выходить, правда, не еженедельно, а когда придется. Внешность его была жалкая — четыре страницы газетной бумаги малого формата, с расплывающейся печатью захудалой типографии. Содержание... Северянин печатал там свои поэзы, Игнатьев — критические статьи и афоризмы. Перо у него было бойкое. За неимением досуга он еще не читал ни Толстого, ни Достоевского, ни даже Пушкина, в чем без особого стеснения признавался. «Зато» — прочел всего Пшибышевского и «Портрет Дориана Грея». Лорд Генри особенно его пленил. Он считал себя подражателем уайльдовского героя, только на новый, футуристический лад, что, понятно, еще «шикарней».

В промежутках между выходом «Петербургского глашатая» устраивались те самые поэзо-праздники, о которых задним числом извещали бледно-лиловые «инвитаации».

...Часа два ночи. В трех маленьких, низких комнатах мезонина страшная жара; печи докрасна натоплены, окна без форточек глухо замазаны на зиму. Под висячей керосиновой лампой — растерзанный стол с грязными тарелками и пустыми бутылками. По диванам и стульям развалились гости и «директориат», опьяненные «Шамбертенем 1799 года» из казенной лавки напротив. Северянина нет — когда «празднество» начинает становиться гнусным, он неизменно уезжает. Его и не удерживают, его умение пить, не пьянея, и барственный холодок стесняют компанию. Но вот он, единственный человек, которого здесь стесняются и побаиваются, ушел. Теперь — гуляй вовсю.

Гости, как на подбор, не просто пьяницы, а прирожденные алкоголики. Вот семнадцатилетний мальчик с голубыми глазами и розовым припухлым ртом — Константин Олимпов, сын Фофанова. Он был уже в белой горячке — стрелялся, топился, бросался на мать с ножом, дважды сидел в доме для умалишенных. Вот Василиск Гнедов, постарше, в плечах косая сажень, кулаком как-то убил волка. Тоже побывал на «одиннадцатой версте». И еще какие-то — все «поэты», все «фантасты и грезеры»... Всех их подобрал где-то по ночлежкам и пивным «директор» «Петербургского глашатая» — ссужает их двугривенными, поит «Шамбертенем 1799 года» и печатает их пьяный бред в своих «эдициях»... Зачем?

«Солистка инфанта» — Кармен — женщина лет сорока со смуглым лицом, странным и не без прелести, — плачет. На коленях перед ней огромный человек с длинными всклокоченными седыми

волосами, по фамилии Ларионов. Он тоже плачет обильными пьяными слезами. Он влюблен в эту гуляющую по вечерам между Коломенской и Пушкинской героиню Мериме.

Он плачет, размазывая рукавом по лицу текущие, как вода, слезы.

— Калмен... дологая... Калмен — я тебя люблю... — Ларионов не поэт, он только любитель поэзии и мелодекламатор. Он совершенно шепеляв, так что часто трудно его понять сразу. Это-то и пленило Игнатьева.

— Калмен, дологая... Не плачь! Плиеспай ко мне в Гатцино. Я подало тебе... самых лучших яицек импелатолского птичника...

Он не хвастает. В самом деле, пожелай только Кармен, — он подарит ей сколько угодно «яицек», самых свежих, самых отборных. Он в Гатчине заведует дворцовым птичником.

Но Кармен не слушает.

— Калмен, я буду тебе цитать стихотворения...

— Эй, — вдруг кричит Игнатьев. — Эй! Tire aux pigeons! Tire aux pigeons! — Вскрикивают все, кроме Кармен и Ларионова. — Tire aux pigeons!

Крича и толкаясь, прихлебывая из стаканов и бутылок, по узкой деревянной лесенке взбираются на чердак. На чердаке лютый холод, но никто его не замечает. Напротив, иные сбрасывают пиджаки, чтобы было ловчей...

...По низкому, тесному чердаку, между веревок с бельем и разной рухлядью, мечется ошалелый, выпущенный из клетки голубь. За ним гонятся, швыряют в него пустыми бутылками, камнями, чем попало. Деваться ему некуда, окна забиты, потолок низкий. Ошалелая птица мечется среди ошалелых людей под градом камней и бутылок. Как ни неловки пьяные движения, какой-нибудь удар попадает наконец в цель...

Сам Игнатьев не участвует в охоте. Он только смотрит и улыбается. Улыбка у него неприятная...

...Однажды Ларионова, возвращавшегося с такого поэзо-праздника, задержала полиция за появление на улице не только в пьяном, но и «неподобающем» виде. Вид был действительно неподобающий, особенно для «придворного лица», как он любил себя называть. Половина его пышной седой шевелюры была гладко выбрита и череп выкрашен был в зеленый цвет масляной краской. Лоб и щеки расписаны синими вопросительными знаками и красными восклицательными. На изрезанном в клочья пальто болтался бубновый туз...

Все это проделали над ним участники поэзо-вечера по почину и под руководством «директора эдиции». И — маленькая подроб-

ность: подбирая вокруг себя пьяниц и спаивая их, сам Игнатъев не пил ничего. Он пил клюквенный морс или чай, редко стакан пива. Так что и бритые Ларионову головы, и многое другое в том же роде — всего не перечислишь — делалось им в состоянии совершенно трезвом.

Случайно (кажется, это было в начале 1913 года) я попал к Игнатъеву на свадьбу. Я получил приглашение и запомнил адрес. Как раз в вечер свадьбы мне пришлось часу в двенадцатом ночи проходить мимо той кухмистерской на Кузнечном, название которой стояло на свадебном приглашении. Все окна были освещены, слышалась музыка. «Это не Игнатъева ли свадьба?» — спросил я у швейцара. «Так точно», — распахнул он дверь. Не зайти ли? Но раздумывать времени не было, какой-то футурист из игнатъевской свиты узнал меня и потащил представлять невесте.

Невеста была совсем молоденькая, с птичьим миловидным личиком. Она все время поправляла фату и тоненьким голоском приговаривала на все стороны: «Угощайтесь, господа, угощайтесь». Столы были завалены индейками и заливными, приглашенных видимо-невидимо. Игнатъев во фраке, напомаженный и завитой, тоже потчевал гостей и улыбался. Улыбка была всегдашняя, неприятная.

На другой день молодые делали визиты, а когда вернулись домой, Игнатъев зарезался.

— ...Иван Васильевич был, как всегда, веселый, шутил. Были у тетеньки, потом у Никифоровых, потом у полковницы... Извозчик был у нас по часам взят. Когда вышли от полковницы, Иван Васильевич говорят: «Поедем в Гостиный, выбрать тебе брошь». А я отвечаю: «Лучше завтра, устала я». Они посмотрели так сбоку и говорят: «Завтра? А если опоздаем? Впрочем, как желаешь», — и велел кучеру ехать домой.

Я еще спросила, почему же завтра поздно — ведь будний день, среда? Только они ничего не ответили...

...Как вернулись домой, вошли в кабинет, Иван Васильевич сейчас же дверь на ключ. Зачем закрыл? А он уже ко мне. Смотрит так страшно, — любишь меня, шепчет, любишь, хочешь вместе со мной умереть? И бритва в руках.

Не помню, как и вырвалась. Должно быть, хоть на ключе, да щеколда не задвинута — дверцы и поддались. Вырвалась, подняла крик. Покуда сбежались люди — они уже лежат все в крови, хрипят...

Заплаканные глазки на миловидном птичьем личике смотрят так же наивно-удивленно, как несколько дней назад на свадебном балу.

И в тонком голоске та же интонация, что тогда: «Угощайтесь, господа, угощайтесь». В кабинете Игнатьева, где мы разговариваем, чисто прибрано, канарейки заливаются, на столе аккуратно сложенная груда «эдиций» и рукописей, над столом на гвоздике пузатые часы с толстой цепью пятьдесят шестой пробы. И рядом в рамочке под стеклом — «художественное увеличение» с открытки: «Директориат «Петербургского глашатая» на отдыхе в Ницце»...

X

К собранию стихов Фофанова приложен его портрет в молодости. В сюртуке, очень худой, длинноволосый, руки вычурно заломлены на острых коленях, голова с гривой длинных волос «поэтически» закинута назад.

Помню его и таким... — чуть было не написал я. Это, разумеется, было бы «не совсем точно». Таким Фофанов был лет за десять до появления моего на свет. И в то же время действительно — «помню» и таким.

Когда в 1910 году, за год до смерти Фофанова, нас случайно познакомили, за столиком третьеразрядного ресторана, где мы встретились, — сидели два Фофанова. Один старый, обрюзгший (ему было всего сорок восемь лет, но выглядел он совершенным стариком), давно небритый, с потухшими, маленькими, ничего не выражающими щелочками глаз, и рядом другой, в сюртуке, худой, большеглазый, с головой, поэтически откинутой назад, — точная копия только что описанного портрета.

Оба — отец и сын — были сильно навеселе. Оба, размахивая руками, наперебой читали стихи. И стихи у обоих были хотя внешне и непохожие (младший Фофанов был футуристом, о старой и новой поэзии шел у них вечный бестолковый спор), но какие-то в то же время одинаковые. Неряшливый набор слов, стертых, как пятаки, или бессмысленных, в которых нет-нет и промелькнет какая-то райская музыка.

* * *

«Они меня погубили». «Из-за них я пью, из-за них умру под забором». «Они замалчивают мои книги». «Они крадут у меня размеры, рифмы, всё...» Они... они... они...

Достаточно посидеть с Фофановым четверть часа, чтобы бесконечное число раз услышать это — «они, они, они». С первого же сло-

ва знакомства с первым же встречным — будь то оценщик ломбарда, куда он принес женин оренбургский платок, или половой в трактире, или сосед по конке — Фофанов непременно заведет разговор о «них» с жалобами, проклятиями, угрозами, размашистыми жестами и, конечно, россыпью забористых словечек, не воспроизводимых в печати. Причем это «они» говорится без всяких пояснений, как о чем-то общеизвестном, разумеющемся само собой. Если же все-таки спросить, кто же это они, ответ получится краткий:

— Они? Пробочники!

Пробочники — значит, писатели-символисты. Символистов он ненавидит. Пробочники же они потому, что у самого, по понятиям Фофанова, главного из них, самого ему ненавистного — Валерия Брюсова — есть или был пробочный завод. Завод этот был высмеян Бурениным в одной из его пародий на Брюсова. С легкой руки Буренина этот завод засел в отуманенной тяжелой жизнью и водкой голове Фофанова. Иногда вместо «пробочников» он еще говорит «Дантесы». «Они», символисты, «пробочники», еще и «Дантесы» — убийцы Пушкина. Они разрушают его дело своим кривлянием и «лиловыми ногами» — это раз. Два — они «травят», «замалчивают», «обкрадывают» его, Фофанова, прямого, законного, единственного пушкинского наследника — за то, что он наследник, потому что он наследник.

— И ты Дантес! — неожиданно набрасывается Фофанов на сына, свой живой портрет в молодости, сидящий рядом с ним. — Что? Новое искусство? Футуризм? Врешь, пащенок. Нет никакого нового искусства. Есть вечная, благоуханная, — он подымает торжественно руку, голос его дрожит, слезы навертываются на глаза, — святая поэзия и есть... — Фофанов кричит на весь ресторан трехэтажное непечатное выражение. — Целуй сейчас же. — Он роется в карманах засаленного сюртука. — Целуй! — Он тычет в лицо сыну замусоленную открытку с Пушкиным. — Целуй, или убью!

Его собственный портрет, сидящий рядом с ним, встряхивает лохматой шевелюрой, закидывает еще выше голову и, равнодушно отстраняясь от открытки и трясущегося отцовского кулака, рассудительным тоном говорит:

— Отстаньте, папаша. Пушкин ваш пошляк, а вы сами мраморная муха.

* * *

Фофанов жил в Гатчине, где-то на самом краю, в самой захолустной части этого захолустного, хотя и «великодержавного» городка.

Чтобы попасть к Фофанову, надо было идти по колена в снегу через двор и потом каким-то узким темным помещением, увешанным сбруей и хомутами, пахнущим кожей и лошадьми. Наконец — маленькая облезлая дверца, из-за которой слышится пьяная возня или невнятное бормотание стихов.

К Фофанову можно прийти когда угодно, привести с собой кого угодно. Он не удивится самому неурочному часу, не выкажет недоумения при виде совершенно незнакомого человека. Напротив, кто бы когда ни пришел — он всегда рад. Усадит, закажет стряпухе самовар, принесет папиросы, сам сбегает в лавочку и выпросит в долг какую-нибудь закуску.

Фофанов и по натуре очень гостеприимен. А кроме того, он больше всего на свете боится одиночества.

— Когда остаюсь один — не могу. Сижу вот так с вами, с другим кем-нибудь, и ничего — дышу. А останусь один, и сейчас же начинается... это самое. Мерзко, что кровь-то, кровь сопротивляется, приливает к голове, к ушам, вот-вот наружу бросится. Не испытывали? Пренеприятнейшее чувство-с. Но посещает меня, исключительно когда я один. На людях никогда, ни-ни. Ну-с... За ваше здоровье.

Оставаясь один, Фофанов начинал чувствовать... давление атмосферы.

Началось это года три назад. Вычитал в календаре или в отделе «Смесь» сведение, доселе ему неизвестное, о том, что воздух имеет вес. Это, и особенно огромные цифры, его поразило. Достал какую-то популярную книжку на эту тему, внимательно перечел. Несколько дней потом ходил молчаливый, задумчивый. После и началось «это самое».

— Кровь-то, кровь — сопротивляется, приливает...

Фофанова возили по докторам, те слушали, стукали, ничего не нашли. Все-таки его лечили, даже в Гагры ездил он на счет М.А.Суворина, в «Новом времени» которого сотрудничал. Почему именно в Гагры — неизвестно. Знаю только, что в Гаграх Фофанов страшно скучал, сначала, как обещал докторам, держался. Потом — сорвался, запил, по своему обыкновению, вмертвую. Еще в Гаграх в пьяной драке он чуть не убил какого-то дьякона. Тем и кончилось лечение — от таинственной болезни давления атмосферы.

Фофанов боится одиночества. Но, собственно, бояться ему нечего. В одиночестве ему редко приходится оставаться. Шесть человек детей, жена, он сам, не считая кота, собаки, бесчисленных

канареек, — все ютятся в двух маленьких комнатах. Кроме этого, так сказать, коренного населения, в квартире Фофанова еще постоянно толкуются гости.

Гости самые разные. Околоточный из соседнего участка, хозяин пивной на углу напротив, какой-то сухонький старичок, бывший вице-губернатор, отдаленный от этого своего потерянного величия несколькими годами арестантских рот, толстая булочница, поклонница поэзии, снабжающая Фофанова хлебом и не требующая по счетам, какие-то студенты, какие-то просто оборванцы... Приходят и друзья писателя, поэты «старой школы».

Из Павловска наезжает аккуратный тихий старичок Леонид Афанасьев. Он полная противоположность Фофанову — не пьет, не курит, от непечатных слов болезненно морщится. Только в одном они сходятся — в ненависти священной к «Дантесам». У Афанасьева грустный, умный взгляд, вежливейшие манеры, совершенно лысый его череп тщательно закрашен... черной китайской тушью.

Приходит какой-то «Петр Силыч», фамилию не помню, тоже поэтический «друг былых, славных времен». «Огромный талант, — говорит о нем Фофанов. — А чтец какой — послушайте». Чтец действительно редкий. Читает он громовым голосом, делая трагические жесты, страшно выкатывая глаза и потрясая львиной гривой волос. При этом он страшно шепеляв. «Она, как бабочка, парила над толпой» — есть у Фофанова такая строчка. В передаче «замечательного чтеца» получается явственное:

Она, как бабушка, солила над толпой...

Ходят еще друзья сына — поэты, футуристы третьего разряда, бесталанные подражатели Маяковского или Игоря Северянина. В ссорах о «новой» и «старой» школе иногда доходит до драки. Но страсти быстро успокаиваются, мир легко восстанавливается. Дело в том, что футуристы эти хоть и ниспровергают «все существующее», но от самого своего литературного рождения чувствуют себя ущемленными, несправедливо обиженными — кем? Да все теми же «Дантесами», «пробочниками» — теми, кто учился в университетах, кто распоряжается издательствами и журналами, кто ходит в чистых воротничках и обедает за столом, покрытым скатертью.

— Тише, — вдруг говорит Фофанов, перебив какой-нибудь спор или чужое чтение. — Тише! Я, — надо слышать, как гордо порой произносит он это «я», — я буду читать.

Ты — небо ясное в светилах,
Я — море темное. Взгляни,
Как мертвецов в сырых могилах,
Я хороню твои огни.

Читает он прекрасно, сдержанно, отчетливо, дрожащим, но звучным голосом. От стихов Фофанова в его чтении, даже от неудачных стихов, всегда что-то «распространяется». Какое-то величие неосуществленное, невоплотившееся и все-таки веющее между строк. Читает он долго, словно забывшись. Из забвения его выводит голос сына-футуриста:

— Папаша, ей-богу же, вы — мраморная муха!

Фофанов обрывает неоконченное стихотворение и смотрит на сына с изумлением, точно не понимая, откуда тот взялся. Потом устало машет рукой и, ничего не сказав, устало тянется к бутылке.

Фофанов писал:

Я и сам хочу в могилу
И борьбе своей не рад.
И бреду я через силу,
Кое-как и невпопад.

Тема эта бесконечно варьируется в его стихах — «Устал», «Не хочу больше», «Хочу в могилу». И в разговорах он постоянно повторял то же: «не хочу», «не могу», «устал».

Но перед самой смертью в нем со страшной силой проснулось желание жить, дикое сопротивление перед этой, уже раскрытой для него, могилой. «Не хочу, не хочу, не хочу умирать», — повторял он непрерывно, точно заклинание. С этим страстным «не хочу» на губах он и умер. В агонии ему мерещился Брюсов с когтями и хвостом, он рвался с постели, чтобы вступить с ним в единоборство. Трое мужчин едва его удерживали. Перед смертью в нем — человеку довольно тщедушном — проснулась необыкновенная физическая сила: он рвал в клочья толстые полотняные простыни, согнул край железной кровати...

* * *

Хоронили Фофанова в мае 1911 года. За гробом шла разношерстная, не очень большая толпа. Шло несколько литераторов из второстепенных, шли гатчинские кумушки, шел приятель околоточный и приятель хозяин пивной на углу. Но многие плакали навзрыд.

В глубоком трауре, но очень свежая, нарумяненная и набеленная, шла за гробом его некрасивая, психически больная жена, которой посвящена одна из лучших книг Фофанова — «Иллюзия».

Когда гроб опустили в могилу, поэт-футурист, живой портрет отца, вышел, чтобы сказать надгробное слово. Он помолчал, коснулся лба рукой, откинул поэтически голову, обвел всех мутными голубыми глазами и рассудительным тоном сказал: «Наш Фофан в землю вкопан». И заплакал. Его подхватили под руки и увели. Он был сильно пьян и, когда его уводили, отбивался и выкрикивал что-то о футуризме и мраморных мухах.

XI

Всю ночь валил снег, такой обильный, что сугробы выросли сейчас же, как только дворничьи лопаты переставали на минуту расчищать тротуар. Часов в двенадцать дня ко мне пришел Мандельштам. Он был похож на белого медведя и требовал водки, коньяку, пуншу — иначе он сейчас же простудится и умрет. Я постарался отогреть его, чем мог. Пока мы завтракали, снег стал реже, воздух светлее, блеснуло солнце. Через час мы уже шли по Невскому — наведаться в университет, оттуда зайти в «Гиперборей». На Васильевский остров со Знаменской путь не маленький; но погода стала вдруг так хороша, что мы соблазнились. Соблазн оказался «роковым».

Казанская площадь была полна народу. Флаги, портреты, «Боже, царя храни» — с одной стороны, с другой — свист, крики «долой», «погромщики». Это была манифестация по случаю взятия Скутари, столкнувшаяся здесь, на Казанской площади, с неблагоприятными элементами.

Мы вмешались в толпу, чтобы поглядеть, что происходит. Толпа нас сжала, потом цепь конных городских с криком «Расходитесь, расходитесь, господа» оттиснула нас в сторону Казанской улицы...

И через несколько минут мы оказались в каком-то узком и мрачном дворе, где околоточный с руганью выстраивал нас в пары. Попались.

Нас долго держали во дворе — с полчаса. Когда вывели — толпы на площади уже не было. «Последние тучи рассеянной бури» — партии таких же, как мы, арестованных, окруженные конвоем, уводились куда-то вглубь по Конюшенной. Тем же путем последовали и мы.

Мне стоило большого труда успокоить моего спутника. Мандельштам требовал телефона, письменных принадлежностей, чтобы

писать кому-то жалобу; кричал, что он знаком с Джунковским, и волновался ужасно. Волноваться же было совершенно бесполезно — никто его не слушал, надо было, покорясь судьбе, сидеть и ждать очереди, пока не вызовут в кабинет пристава.

Пристав оказался человеком любезным и обходительным. Он просил успокоиться начавшего снова доказывать и протестовать Мандельштама.

— Маленькое недоразумение... Сейчас мы это уладим... — Он взялся за карандаш. — Ваши фамилии, господа, адреса...

Когда Мандельштам назвал свою фамилию и «род занятий», пристав приятно ослабилсся.

— Не сын ли вы известного адвоката, позвольте узнать?

Мандельштам даже привскочил. Он стал весь красный.

— Господин пристав. Даю вам слово... Даже не знаком...

— Но позвольте...

— Даю вам слово... Я сын купца. Сын купца.

— Но позвольте, молодой человек, почему вы так нервничаете? — удивился пристав. — Вы вон писатель... Я и предположил, не из семейства ли нашего известного...

— Нет, нет. Сын купца.

Пристав пожал плечами, попросил нас расписаться, и нас выпустили.

— Почему ты так испугался? — спросил я Мандельштама, когда мы вышли.

Он смерил меня взглядом, полным снисходительного презрения к моей несообразительности:

— Как? Ты не понял? Ты не понял? Так это же была провокация.

Я повторил жест любезного пристава: молча пожал плечами.

В университет было поздно, но в редакцию «Гиперборей» в самый раз. Да и куда же ехать, чтобы поделиться нашими приключениями, как не в эту приятнейшую из редакций.

В зеркальные окна просторного, натопленного, устланного коврами кабинета видна Невка, покрытая зимующими во льду барками, Тучков Буян, мост. Все это завалено снегом, залито красным зимним закатом. Так успокоительно в этом просторном, теплом, уютно освещенном кабинете. Горничная в наkolке разносит чай, бисквиты, коньяк. Уже собрался кое-кто. Хозяина — редактора — еще нет, задержался в типографии. Но вот — скрип двери, шорох портьеры:

Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,

С душой отцовско-материнской,
Выходит Михаил Лозинский,
Рукой лелея исполинской
Свое журнальное дитя.

Мало кто помнит о «Гиперборее», да и имя Михаила Лозинского известно только в узких литературных кругах. Поэтому скажу два слова об обоих.

В 1907 году в Париже русские начинающие поэты выпускали журнал «Сириус». Журнал был тощий — вроде нынешних сборников Союза молодых поэтов, поэты решительно никому не известны. Неведомая поэтесса А. Горенко печатала там стихи:

На руке его много блестящих колец
С покоренных им девичьих нежных сердец.
Но на этой руке нет кольца моего.
Никому, никому не отдам я его.

Это имя — Анна Горенко — так и кануло в Лету вместе с напечатанными в «Сириусе» стихами: свои позднейшие произведения поэтесса стала подписывать псевдонимом — Ахматова.

Молодые поэты издавали этот журнал, как и полагается, в складчину. Каждую неделю члены «Сириуса» собирались в кафе, чтобы прочесть друг другу вновь написанное и обменяться мнениями на этот счет. Редко кто приходил на такое собрание без «свеженького» материала, и Гумилев, присяжный критик кружка, не успевал «припечатать» все, что хотел.

Самым плодовитым из всех был один юноша с круглым бабьим лицом и довольно простоватого вида, хотя и с претензией на «артистичность»: бант, шевелюра... Он каждую неделю приносил не меньше двух рассказов и гору стихов. Считался он в кружке бесталанным, неудачником — критиковали его беспощадно. Он не унывал, приносил новое — его опять, еще пуще, ругали. Звали этого упорного молодого человека граф А. Ник. Толстой.

Молодые люди разъехались из Парижа, собрания в кафе кончились. «Сириус» прекратился. Но память о нем осталась настолько приятная, что бывшие его сотрудники пытались восстановить «Сириус» уже в Петербурге. Первая попытка — «Остров», бывший по составу сотрудников повторением «Сириуса», скоро прекратился сам собой. Тогда Гумилеву пришла мысль — не реставрировать старый журнал, а основать новый и по духу, и по составу сотрудни-

ков, — но того же типа, т.е. поэты сами хозяева и «полная независимость».

«Гиперборей» выходил ежемесячно, аккуратно изданными книжками в 32 страницы. Книжки были аккуратные, но выходили они крайне неаккуратно — августовская в январе, январская в июле. «Послушайте, — сказали как-то Лозинскому, — ваш «Гиперборей» невозможно опаздывает — перед подписчиками неудобно». Лозинский нахмурился: «Действительно, вы правы, неловко... — Но сейчас же лицо его прояснилось. — Ну ничего, я им скажу...»

Повторяю, редакция «Гиперборея» была приятнейшей из редакций. Даже поэты, чьи стихи, «к сожалению», возвращались, вряд ли могли долго сердиться — так мягко, деликатно и необходимо для их самолюбия делал это Лозинский. Были, конечно, случаи черной неблагодарности. Так, какой-то отвергнутый поэт переменялся с редактором шапкой. Не говоря уже, что взамен своей, из великолепного котика, Лозинский получил захудалую, потертую кошку, надев ее (так он, по крайней мере, клялся), он сейчас же ощутил в ушах шум скверных рифм и прилив шестистопных строчек без цезуры.

Вряд ли, впрочем, какая бы то ни было сила в мире могла заставить Лозинского чем-нибудь погрешить в области стихотворной формы. О духе его поэзии можно спорить, ее приподнято-отвлеченная пышность может не нравиться и даже раздражать. Но необыкновенное мастерство Лозинского — явление вполне исключительное. Стоит сравнить его переводы хотя бы с такими общепризнанно мастерскими, как переводы Брюсова или Вячеслава Иванова. Они детский лепет и жалкая отсебятина рядом с переводами Лозинского. Рано или поздно, но не сомневаюсь, что они будут оценены как должно, как будет оценен этот необыкновенно тонкий, умный, блестящий человек, всегда бывший в самом центре поэтической «элиты» и всегда, намеренно, сам остававшийся в тени.

Лозинский — обаятельный хозяин. Если гости — сотрудники и «подписчики», собравшиеся в его кабинете, — оживлены, болтают и не нуждаются в том, чтобы их занимали, — его не видно, он тихо беседует с кем-нибудь в дальнем углу. Молчание, какая-нибудь заминка или неловкость — и сейчас же как-то незаметно он овладеет разговором, блеснет неожиданной остротой, рассеет неловкость, подымет упавшее оживление. «Это все равно, что Лозинский сделал бы гадость», — говорила Ахматова, когда хотела подчеркнуть совершенную невозможность чего-нибудь. Гумилев утверждал, что, если бы пришлось показывать жителям Марса образец человека, выбрали бы Лозинского — лучшего не найти.

Итак — в «Гиперборей». Мы пошли к трамвайной остановке. Успокоившийся после ареста и «провокации» Мандельштам сочинил и читает — так задыхаясь от смеха, что трудно его понять, — незамысловатый экспромт:

Не унывай,
Садись в трамвай,
Такой пустой,
Такой восьмой.

Вдруг нас останавливает голос — тихий, но какой-то властный, необыкновенный.

— Скажите, господа, где помещается «Аполлон»?

Спрашивал это... мужик. Простой мужик в картузе, в валенках, в полушубке. Стоял он спиной к фонарю — лица почти не было видно. Только этот тихий, странный голос и на мгновение блеснувшие пристальные, сверлящие глаза.

— На Разъезжей 26, — сказали мы хором. Мужик поблагодарил и пошел дальше. На полупустой улице было темно — минуту мы стояли, не понимая, почудилось нам, что ли. Нет, не почудилось, вот уже далеко мелькает его картуз, вот скрылся за угол...

Что ему могло понадобиться в «Аполлоне», этому человеку в валенках и картузе? И — еще странней — как он узнал, что мы можем ответить на его вопрос? Знать он нас не мог. Услыхал обрывок разговора? Нет, он шел нам навстречу и слышать ничего не мог, да и болтали мы какой-то вздор, не о том ли «пустом восьмом трамвае».

Гумилев скептически покачал головой на наш рассказ. «Это вам показалось со страху после участка». Практический Б.Эйхенбаум решил, что это просто швейцар или истопник шел в «Аполлон» наниматься. Позабыл адрес, ну и спросил, может быть, господа знают. Мы поглядели на Эйхенбаума с презрением: нет фантазии у человека, недаром критик. Наша собственная фантазия, разыгравшись, говорила нам совсем другое. Как раз недавно был слух, что в Петербурге видели Александра Добролюбова.

Имя Александра Добролюбова нынешнему молодому «послевоенному» поколению не говорит ровно ничего. Его просто никто не слышал. А между тем этот таинственный полулегендарный человек, кажется, жив и сейчас. По слухам, бродит где-то в России — с Урала на Кавказ, из Астрахани в Петербург, — бродит вот так, мужиком в тулупе, с посохом — так, как мы его видели или как он почудился нам на полутемной петербургской улице. — «Скажите, господа, где

помещается «Аполлон»?» Впрочем, и старшее поколение, даже те, кто его знали лично, были или звались его друзьями, тоже не много знают об Александре Добролюбове, т.е. о том Добролюбове, который в картузе и с посохом где-то, зачем-то бродит — уже очень долго, с начала девятисотых годов, — по России. Они знают только ту часть его жизни, которую он неизвестно почему вдруг прекратил, уйдя от нее вот так с посохом, куда глаза глядят и без оглядки, порвав со всем навсегда...

Странная и необыкновенная жизнь: что-то от поэта, что-то от Алеши Карамазова, еще многие разные «что-то», таинственно перепутанные в этом человеке, обаяние которого, говорят, было неотражимо. Он был из состоятельной культурной семьи, писал стихи, кажется, был очень избалован и изнежен, кажется, даже было в его ранней молодости время, когда его считали снобом. Его стихи называли, вполне серьезно, гениальными — я это слышал от таких людей, которые знают, что такое стихи. Но все они знали и Добролюбова лично, и, мне кажется, в этом секрет того обаяния, которого не знавшие его, и я в том числе, уже не могут почувствовать в этих бледных, бесплотных, каких-то нечеловеческих, из «четвертого измерения» строчках. Кстати, сборник Добролюбова назывался «Из книги невидимой». Кто знает, может быть, и впрямь «невидимая» — для нас — была видимой кому надо: кому надо «объявяться», когда придет срок? Может быть, и гениальная, только без ключа к пониманию ее гениальности? На время? Навсегда? Кто знает — поэзия дело темное. А гениальными стихи Добролюбова, между прочим, считал Блок.

Из неживого тумана
Вышло больное дитя.

Это Добролюбову посвящено. И эпитафия пушкинская к нему: «А.М.Д. своею кровью...» — имеет двойной смысл: рыцарь бедный — Александр Михайлович Добролюбов.

...Где теперь помещается «Аполлон», господа?..

Вряд ли это все-таки был Добролюбов. Петербургский снобический «Аполлон» — ну зачем он мог понадобиться «рыцарю бедному», давно порвавшему начисто и навсегда со всеми вообще «Аполлонами», какие только от века существовали на земле? Вряд ли это был он. А впрочем...

На одном из собраний парижской литературной молодежи я слышал по своему адресу упрек: «Зачем вы искажаете образ Ман-

дельштама, нашего любимого поэта? Зачем вы представляете его в своих воспоминаниях каким-то комическим чудаком? Разве он мог быть таким?»

Именно таким он был. Ни одного слова о Мандельштаме я не выдумывал — зачем же выдумывать забавное о человеке, который сам, каждым своим движением, каждым шагом «сыпал» вокруг себя чудаковатость, странность, неправдоподобное, комическое... не хуже какого-нибудь Чаплина, — оставаясь при этом в каждом движении, каждом шаге «ангелом», ребенком, «поэтом Божьей милостью» в самом чистом и «беспримесном» виде.

Я очень рад за Мандельштама, что молодые парижские стихотворцы его любят, и еще больше рад за них: эта любовь многих из них больше приближает к поэзии, чем их собственные стихи. Но и я, право, чрезвычайно люблю поэзию Мандельштама, и, кроме того, на моей стороне есть еще то преимущество, что и его самого, чудаковатого, смешного, странного — неотделимого от его стихов, — люблю не меньше и очень давно, очень близко знаю. Были времена, когда мы были настолько неразлучны, что у нас имелась, должно быть единственная в мире, визитная карточка: «Георгий Иванов и О.Мандельштам». Конечно, заказать такую карточку пришлось в голову Мандельштаму, и, конечно, одному ему и могло прийти это в голову.

И разве не слышали наши «молодые поэты», что высокое и смешное, самое высокое и самое смешное часто бывают переплетены, так что не разобрать, где начинается одно и кончается другое? Приведу для наглядности пример из жизни того же «чудака», «ангела», «комического персонажа» — из жизни поэта Мандельштама.

В «Tristia» (книге Мандельштама) есть крымские стихи: кто «Tristia» читал, тот, уж наверно, их помнит: одно из лучших стихотворений Мандельштама — одно из лучших русских стихотворений:

...Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
...Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла —
Не отрываясь целовала,
А строгою в Москве была.
Нам остается только имя:
Блаженный звук, короткий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

Так вот, это написано в Крыму, написано до беспамьятства влюбленным поэтом. Но поклонники Мандельштама, вообразив по этим данным (Крым, море, любовь, поэзия) картину, достойную кисти Айвазовского (есть, кстати, у Айвазовского такая картина, и прескверная, «Пушкин прощается с морем»), — поклонники эти несколько ошибутся.

Мандельштам жил в Коктебеле. И так как он не платил за пансион и, несмотря на требования хозяев съехать или уплатить, — выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом «живописном уголке Крыма», — ему не давали воды. Вода в Коктебель привозилась издалека и продавалась бочками. Ни реки, ни колодца не было — и Мандельштам хитростью и угрозами с трудом добивался от сурового хозяина или мегеры-служанки, чтобы ему дали графин воды; получив его, он выпивал, конечно, все сразу, и опять начиналась мука... Кормили его объедками. Когда на воскресенье в Коктебель приезжали гости, Мандельштама выселяли из его комнаты — он ночевал в чулане. Простудившись однажды на такой ночевке, он схватил ужасный флюс и ходил весь обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения «живописного уголка». Особенно, кстати, потешалась над ним «она», та, которой он предлагал «принять» в залог вечной любви «ладонями моими пересыпаемый песок». Она (очень хорошенькая, немного вульгарная брюнетка, по профессии женщина-врач) вряд ли была расположена принимать подарки такого рода: в Коктебель ее привез ее содержатель — армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен: наконец-то нашлось место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать...

С флюсом, обиженный, некормленный, Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишней раз на глаза хозяину или злой служанке. Всклоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел по берегу, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы «свиное ухо». Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком... Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески (может быть, он напоминал ей собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа), по доброте сердечной оказывала Мандельштаму «кредит»: разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока «на книжку». Она знала, конечно, что ни копейки не получит, но надо же поддержать молодого человека — такой симпатичный и, должно быть, больной: на прошлой неделе все кашлял, а те-

перь вот — флюс. Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос второго сорта, спичек, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному — коробке печенья или плитке шоколада, — добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо: «Извиняюсь, господин Мандельштам, это вам не по средствам».

И он, сразу оскорбившись, покраснев, дергал плечами, поворачивался и быстро уходил. Старушка грустно смотрела ему вслед — может быть, ее внук был такой же гордый и такой же бедный, — видит Бог, она не хотела обидеть молодого человека...

Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и выметенному постоянным унылым коктебельским ветром. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный в женщину-врача, подругу армянина, которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе — вкусный, жирный кофе, и ест горячие домашние булки, сколько угодно булок... Он шел, гордо откинув голову, большую некрасивую голову на тонкой шее, бормоча под нос — сочиняя на ходу стихи, упоительные «ангельские» стихи:

Где обрывается Россия
Над морем черным и чужим...

Коктебельские мальчишки кричали ему вслед, когда он проходил мимо: «Господин — часы обронил». И когда он гневно оборачивался, убегали, высунув «свиное ухо»...

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Вспоминания о жизни в детстве, о семье, о школе, о друзьях, о любви, о творчестве, о путешествиях, о встречах с великими людьми, о своем времени, о своем месте в истории.

Вспоминания о жизни в детстве, о семье, о школе, о друзьях, о любви, о творчестве, о путешествиях, о встречах с великими людьми, о своем времени, о своем месте в истории.

Вспоминания о жизни в детстве, о семье, о школе, о друзьях, о любви, о творчестве, о путешествиях, о встречах с великими людьми, о своем времени, о своем месте в истории.

Вспоминания о жизни в детстве, о семье, о школе, о друзьях, о любви, о творчестве, о путешествиях, о встречах с великими людьми, о своем времени, о своем месте в истории.

Вспоминания о жизни в детстве, о семье, о школе, о друзьях, о любви, о творчестве, о путешествиях, о встречах с великими людьми, о своем времени, о своем месте в истории.

Вспоминания о жизни в детстве, о семье, о школе, о друзьях, о любви, о творчестве, о путешествиях, о встречах с великими людьми, о своем времени, о своем месте в истории.

Вспоминания о жизни в детстве, о семье, о школе, о друзьях, о любви, о творчестве, о путешествиях, о встречах с великими людьми, о своем времени, о своем месте в истории.

Вспоминания о жизни в детстве, о семье, о школе, о друзьях, о любви, о творчестве, о путешествиях, о встречах с великими людьми, о своем времени, о своем месте в истории.

Иван Иванович Иванов
1915 г. р.
Москва
Ученый секретарь
Института истории и философии
Российской академии наук

Месяца два тому назад в газетах промелькнуло: «В московских литературных кругах распространился слух о самоубийстве в провинции поэта Пяста».

Слух этот так и не был ни подтвержден, ни опровергнут. Но как-то само собой все знавшие Пяста и без подтверждения этому слуху поверили.

Это понятно. Так легко представить себе именно Пяста, прижимающего к виску револьвер или старательно мастерящего петлю, и именно «где-то в провинции», в случайной какой-нибудь дыре, в жалкой какой-нибудь комнате с тараканами и стеклом, заткнутым тряпкой. И, представив, очень трудно отделаться от мысли, что, может быть, этого и не было, может быть, слух неверен.

...Керосиновая лампа коптит, тараканы шуршат оборванными обоями. Человек с водянисто-бледным, неподвижным лицом методически прилаживает петлю к крюку. Лицо его и серьезно, и спокойно: он делает важное дело. Сейчас — наконец-то — он освободится от страшного, невыносимого груза своего одиночества.

...Эти черные глаза, странные глаза моей потерянной любви, леди, леди Лигейи... Петля крепкая, выдержит... Лампа коптит, тараканы... Океан и буря... Корабль погружается... он тонет... Это — в последний раз — божественные строчки обожествленного им Эдгара бормочет человек с бледным, неподвижным лицом, решивший — наконец — умереть. А вот и собственные стихи:

О, мне песни иной не запеть,
 не запеть, не запеть.
 Только раз, только миг
 человеку все небо открыто.
 И мгновеньем одним
 все безмерное счастье избыто.
 О, безмерное счастье...

Только раз. Только миг. Сейчас этот миг — настанет.

«Советская действительность» — тараканы, разбитое окно... Но как раз тут, в этой смерти, советская действительность, вероятно, ни при чем. Ее и нет вовсе. Для человека, который сейчас себя убьет, время окаменело между 1905—1910 годами. Отчасти из-за этого он и умирает..

* * *

Водянисто-белое, неподвижное лицо. Голова откинута назад, глаза полузакрыты. Черты этого лица тонки, правильны, скорее привлекательны, только что-то мертвенное в них есть. Какая-то прозрачная неподвижность, как в музее восковых фигур. И движения тоже странно связанные, медленно-рассчитанные, плавно-механические, как у автомата. Вот он входит в какое-нибудь собрание медленным, твердым, размеренным шагом. Останавливается. Кланяется кому-нибудь, кому-нибудь пожимает руку. Достает папиросы, стучит мундштуком о коробку, закуривает. Делает, словом, все то, что делают другие, окружающие его, — и каждым поворотом головы, каждым движением руки среди этих окружающих — кто бы они ни были — неуловимо и явно отличается.

Не лицо, а парафиновая маска, прозрачная, неподвижная. Но вот она вдруг приходит в движение. Дергаются углы рта, за ними щеки, сводит сутулые плечи мгновенная судорога, пробегает по коленям, чуть шевеля складки широких, в крупную шотландскую клетку штанов, и, наконец, ступни тяжелых ног неловко и грузно переступают на месте и застывают. Как будто какая-то волна, как молния по громоотводу, пронизала этого человека и ушла в землю. И снова он стоит, неподвижный, старомодно-живописный, перемененно-вежливый, откинув голову, полузакрыв глаза, и горбинка на его правильном, тонком носу матово просвечивает, как восковая... Но если в такую минуту заглянуть ему в глаза — можно испугаться: такая ледяная тоска в этих мутно-голубых, полузакрытых, полубезумных глазах.

Таким я увидел поэта Владимира Пяста впервые — в 1910—1911 году. Таким, точно таким я видел его в последний раз — разве что неизменные его шотландские штаны были в бахроме и пятнах, и рыжая широкополая шляпа стала еще рыжей, и замысловатый изгиб ее полей еще замысловатее...

В середине сентября 1922 года я проходил по Невскому, мимо Дома искусств. У подъезда, под дождем, стоял Пяст, прилаживая к стене огромный рукописный плакат о каком-то своем вечере.

Кажется, это был вечер выразительного чтения, которым в то время Пяст очень увлекался. Мне бросился на плакате в глаза неуклюже нарисованный черный браунинг с красными клубами дыма и большими буквами под ним: «Я, Владимир Пяст, такого-то числа, в таком-то часу вечера открою беспощадную пальбу по...» По чему он собирался открыть пальбу, я не дочитал — шел дождь, мне было некогда. Да и полемические выступления Пяста, частые в те времена, давно всем приелись — никто на них не ходил — «беспощадная пальба» шла обычно при пустом зале...

На ходу я поклонился Пясту. Он церемонно и медлительно снял свою широкополую шляпу, откинул голову, и концы губ его дернулись...

* * *

«Человека надо оценивать не по судьбе, а по залогам души», — говорит где-то Розанов. Вряд ли кто-нибудь станет с этим спорить. Надо, разумеется. Но ведь мало ли что «надо» в нашем несовершенном мире, и чтобы люди не старились «надо», и чтобы не умирали они, и чтобы счастливы были?... И мало ли что еще? «Оценивать по залогам души». Хорошо сказано и «пронзительно» — только как, каким способом производить эту оценку, «по залогам», чтобы она не оказалась еще более произвольной, чем обычная, «по судьбе», оценка. Да и в чем, наконец, сами они, эти залогов...

Вот жил поэт Владимир Пяст. Был очень талантлив... и не написал ничего замечательного. Жил трудной, мучительной, страшно напряженной жизнью — но со стороны эта раздиравшая его жизнь ничем не отличалась от праздной и пустой жизни любого неудачника из богемы. Он ощущал себя — и, должно быть, справедливо — трагической фигурой, но был по большей части попросту нелеп. Он был «химически» чист и честен — «беспощадно пал» на своих вечерах, был действительно беспощаден и к другим, и к себе (задевал он всегда людей влиятельных, и влиятельные люди это запоминали) — и в то же время всякий знал, что за коробку папирос Пяст назовет в рецензии гениальными стихи дурака Нельдихена. Даже главная страсть его жизни, может быть, единственная страсть, — к Эдгару По, далеко выходящая за пределы литературного поклонения, просто даже несравнимая с ним, страсть, державшая его в постоянном каком-то экстазе и доводящая его порой вплотную к той точке, где обрываются и «судьба», и «залогов» и начинается просто сумасшествие, — даже эта страсть, несомненно у Пяста очень глубокая и где-то в глубине своей пере-

плетавшаяся корнями с очень важными и трагическими вещами, с самой сутью жизни, — «на поверхности» выглядела только странно и смешно.

...Какой-нибудь зал — студенческий литературный вечер или что-нибудь в этом роде. Разные поэты читают стихи. Один похуже, другой получше — тому хлопают больше, тому меньше. Особого оживления нет, скучновато. Но вот в клетчатых своих штанах, в своем черном галстуке бантом появляется на эстраде Пяст.

Еще не начав читать, он уже задыхается. Он еще когда ехал на этот вечер, трясясь в конке-сорокамученице из Новой Деревни, уже задыхался от волнения и страха, от беспричинной тревоги. Может быть, и от тайной надежды тоже — вдруг его оценят, полюбят, сделают ему овацию. И пока остальные участники вечера, дожидаясь своей очереди, ели в распорядительской пирожные и пили чай, он, все больше волнуясь, все выше откидывая голову и чаще дергаясь, ходил как зверь в клетке, бормоча свои стихи, репетируя. Репетировать, казалось бы, было нечего — из года в год Пяст читал почти одно и то же. Под конец — красный, взволнованный до предела, он всегда читал неизменные стихи «О Эдгаре».

Не помню, как они начинались, не помню их содержания — они были очень путанны и довольно длинны. Как какое-то заклинание в веренице самых разнообразных слов и образов, время от времени повторялось имя Эдгара По, вне видимой связи с содержанием.

Начало аудитория слушала молча. Потом, при имени По, начинали посмеиваться. Когда доходило до строфы, которую запомнил и я:

И порчею чуть тронутые зубы —
Но порча их сладка —
И незакрывающиеся губы —
Верхняя коротка —
И сам Эдгар... —

весь зал хохотал. Закинув голову, не обращая ни на что внимания, Пяст дочитывал стихотворение, повышая и повышая голос — до какого-то ритмического вопля. Потом, дернувшись с головы до ног, резко поворачивался и уходил, не поклонившись на долго не смолкающие оскорбительные аплодисменты. Потом он долго добирался до дому в Новую Деревню или на окраину Васильевского острова, пересаживаясь с трамвая на конку и глядя куда-то, поверх всего, неподвижными, полузакрытыми, мутно-голубыми глазами.

Знакомство мое с Пястом, завязавшееся в 1911—1912 годах, было одним из первых моих литературных знакомств, но с тех пор оно так и оставалось на мертвой точке, не прекращаясь и не развиваясь. Конечно, мне часто приходилось с ним встречаться и разговаривать то здесь, то там, но это были «никакие» встречи и «никакие» разговоры. И только один раз, уже во время революции, я неожиданно для себя вплотную столкнулся со «страшным миром», в котором жил этот странный человек с лицом, похожим на парафиновую маску.

Была осень 1918 года — начало октября. На Каменноостровском строились футуристические арки к первой (последней, как все были уверены) годовщине «пролетарской революции». Голодные, но еще не в полную меру, и запутанные, но еще далеко не окончательно, — обыватели глазели на них, высказывая еще довольно дерзко и неосторожно замечания и об этих созданиях «правительственного» — как тогда гордо назывался футуризм — искусства, и о самом событии, в честь которого оно воздвигалось. Был вечер, неожиданно теплый и светлый, и я, возвращаясь из города пешком, без неудовольствия делал крюк, чтобы исполнить поручение, которое принял не особенно охотно. «Всемирной литературе», только что основанной, срочно требовались какие-то справки по испанской литературе, которые Пяст — по Испании специалист — обещал прислать и вовремя не прислал. Вот меня и попросили зайти к Пясту — почта в те времена была медлительная и ненадежная, а телефона у Пяста не было. Я жил на углу Каменноостровского и Большого, Пяст немного в сторону, кажется, на Матвеевской. Если бы погода была плохая, я бы, вероятно, «забыл» об этом поручении, но вечер, повторяю, был чудный, и я к Пясту пошел.

Разыскал нужную квартиру, позвонил. Шаги за дверью, но не открывают. Между тем звонок действует — слышно, как он звонит. Я позвонил еще и еще — то же самое. А за дверью не только слышны шаги, слышен голос самого Пяста, громко декламирующего что-то. Что же это, оглох он, что ли? Я нажал звонок, не отпуская. Дверь вдруг распахнулась — с перекошенным от ярости лицом на пороге стоял Пяст. Минуту он молчал, тяжело дыша, — казалось, вот-вот он набросится на меня с кулаками — такое дикое было у него выражение. Но он перевел дух, дернулся, откинул голову и протянул мне руку.

— Раз зашли, заходите, — сказал он как-то неуверенно, и возбуждение, бывшее только что на его лице, сошло с него. — Захо-

дите, снимайте пальто. Вот сюда. Раз вы поэт, то, я думаю, можно. Даже, может, нужно, а? В такой день... Раз вы поэт — это не могло быть случайно.

Из маленькой прихожей мы вошли в столовую — бедно обставленную столовую — с ясеневым буфетом и висячей лампой. В ней был страшный беспорядок, на полу навалены книги, какие-то пиджаки, чемоданы, всё одно на другом — сапоги, вазочки, перевернутый вверх ногами пуф с продавленными пружинами. Было такое впечатление, точно все это добро наспех переволокли откуда-то, как на пожаре, что попало под руку, и бросили как попало. Я чуть не раздавил какую-то семейную группу под стеклом, валявшуюся прямо на полу. Удивленный приемом и обстановкой, я молчал. Молчал и Пяст.

— Я, кажется, потревожил вас, Владимир Алексеевич, — начал я наконец. — Но дело в том, что «Всемирной литературе»...

Он с неожиданной резвостью обернулся ко мне:

— Тсс! Океан и буря... Корабль дрожит... О, Боже... он погружается... Он тонет. Тсс... О чем вы говорите. Раз вы пришли сюда и вы — поэт. Раз уж вы пришли... Помните: Эти черные глаза, странные глаза моей потерянной любви, леди, леди Лигеи. Вот что меня мучает, ах, больше всего в жизни, — сказал он, помолчав, и сжал пальцами виски. — Вот теперь, как раз теперь он приехал в Балтимору. Он оставил багаж на вокзале и пошел в таверну. Он хотел только выпить стакан, один стакан виски и сейчас же обратно. Поезд в Филадельфию уходил через час. Он остался там, в этом кабаке — он встретил друзей. Это они его убили? А? Как вы думаете?

Мне было не по себе. Какая-то нечеловеческая тоска и тяжесть были в голосе Пяста, в его лице, в самом воздухе этой комнаты. А он, точно вдруг обрадовавшись, что есть перед кем излить душу, — продолжал:

— Как раз сегодня — шестого октября. Он ехал в Филадельфию, у него были деньги — в первый раз в жизни у него были деньги, он хотел отдохнуть, он мог отдохнуть. И вот — стакан виски, только один стакан. Какая болезнь может сравниться с тобой, алкоголь! Это он, это Эдгар сказал. Ему было только тридцать семь лет, он так хотел начать новую жизнь. Новая жизнь! Он и начал новую жизнь! Он и начал новую жизнь — его убили. Вы думаете, это они?

— О, — вдруг сказал Пяст, поднимая торжественно руку, и голос его зазвенел. — Если у меня действительно есть бессмертная душа, если я не только мясо и кости — значит, я был и тогда, когда

его убивали. И — в этом нет ничего невозможного, да, да, ничего невозможного — я, моя субстанция, моя душа — могла бы оказаться между ним и ножами убийц. В виде стенки, такой тонкой эфирной стенки, прозрачной, непроницаемой, о, абсолютно непроницаемой и ледяной... Да... И нож ударился бы о нее и сломался. Вы допускаете, что это могло случиться?.. Даже с чисто научной точки зрения могло. А если могло, то почему не случилось, как могло не случиться! Нож сломался бы, те в страхе убежали... А он уехал бы в Филадельфию и там отдохнул. Он так хотел отдохнуть!

Пяст смотрит на меня жутким пристальным взглядом. Глаза его кажутся сейчас почти черными, так расширены зрачки. Потом глаза снова становятся мутно-голубыми, веки тяжело опускаются, закрывая их наполовину.

— Спасибо, что зашли, — говорит Пяст своим обыкновенным голосом. — Я завтра же пришлю Горькому список.

* * *

Пяст очень любил сладости — в кармане у него постоянно были леденцы, шоколад. В отличие от своего бога «Эдгара» — он ничего не пил. Неверно было бы сказать, что он был мрачным, нелюдимым человеком, — напротив, он даже любил острить, рассказывать анекдоты. Он был очень щедр, добр, услужлив, вежлив. Но все его как-то сторонились — от него распространялась какая-то неопределенная тяжесть, от смеха его становилось тоскливо и неловко. В чем было дело — не знаю. Повторяю, он был одареннейшим человеком. Но и стихи его как-то неприятно действовали — никому они не нравились. Еще одна черта, такая же противоречивая, как все в Пясте: у него не было друзей, за одним-единственным исключением. Исключением этим был... Блок.

Гумилев, Пяста очень недолюбливавший, презрительно величал его «Этот лунатик». Если отбросить насмешку, которой Пяст, по моему, не заслуживал, определение очень меткое.

Действительно, что-то лунатическое было и в этом лице, и в этих связанных движениях, и в этих музыкально-томительных стихах, всей этой замкнутой в себе, обращенной куда-то в потустороннее жизни. Что-то, от чего людям становится холодно и тоскливо, что-то, с чем человеку нечего делать и где ему нечем дышать.

Его звали Вольдемар Казимирович. Почему Вольдемар, а не Владимир? Впрочем, в этом человеке все было как-то неизвестно «почему».

В Германии он считался авторитетом по ассириологии. Огромные увражи с изученными Шилейкой клинописями выходили в Лейпциге, и немецкие профессора писали о них восторженные статьи.

Но в Петербурге в египтологическом кабинете университета знали студента Шилейко. Вечного студента, который не сдает зачетов, унес на дом и прожег пеплом от трубки музейный папирус, которого из студенческого общежития хотят выселить. Каждую ночь он, вопреки правилам, возвращался на рассвете, нередко пьяный, и, когда ему надоест стучать и звонить (кастелян велел не открывать), начинал бросать камешки или куски обледеленного снега в окна квартиры этого самого кастеляна. Меньше всего, однако, Шилейко похож на веселого бурша. Ему за тридцать, да и для своего возраста он старообразен. Он смугл, как турок, худ, как Дон-Кихот, на его птичьим длинном носу блестят стальные очки. На его сутулых, до горбатости, плечах болтается выгоревшая николаевская шинель с вытертыми в войлок бобрами. Дедовская шинель.

Дед Шилейки, полковник русской службы, в 1863 году перешел к мятежникам, дрался за освобождение Польши, был ранен, взят в плен, судим полевым судом и тут же расстрелян. В прокуренной, никогда не убиравшейся комнате общежития, где обитал, вернее, гнезился Шилейко-внук, был его портрет. Шилейко-дед глядел из золотой рамы, в алом ментике и голубом доломане, над разрытой кроватью и столом, где пустые бутылки из-под пива были перемешаны с разрозненными листами Атласа древности Британского музея. Шилейко-дед улыбался со своего великолепного полотна, опираясь, как и полагается гусару, на саблю. Он был красавцем. Фамильное сходство между обоими бросалось в глаза не меньше, чем вопиющая разница материала, на котором это

сходство проявилось. Стоя перед портретом деда, внук казался его отражением в кривом зеркале, отражением, переряженным в лохмотья вечного студента и вдобавок обугленным на адском огне. Для полноты впечатления на руках обоих блеснул тот же золотой перстень с гербом. Отец Шилейки каким-то чудом его сохранил, хотя и не надевал никогда: кольцо со шляхетским гербом, снятое с руки расстрелянного мятежника, не особо подходило к его должности. Он был сначала писцом, потом столоначальником в новгородском окружном жандармском управлении.

Крайности и странности в биографии Шилейки продолжались всю жизнь. В 1914 году ему была предложена кафедра египтологии где-то в Баварии. В договоре было обусловлено, что Herr Doktor¹ должен прибыть к месту службы к 15 августа. Через год Шилейко получил наследство в десять тысяч рублей. Оставил их ему приятель детства, полусумасшедший, но одаренный изобретатель М., придумавший какую-то особую ручную гранату. Граната была принята артиллерийским ведомством, но дело тянулось, и М. сам отправился на фронт, чтобы продемонстрировать на практике качество своего изобретения. Граната была куплена и принята к производству. Случилось, однако, непредвиденное обстоятельство. В конце опытов не эта, а немецкая, «устаревшего образца» граната смертельно ранила счастливого изобретателя. Лежа на операционном столе с развороченным животом, М. почему-то вспомнил о Шилейке.

Десять тысяч были уже полностью истрачены на книги, на персидский ковер, такой большой, что он покрывал обе стены, пол и кусок потолка Шилейкиной комнаты (из общежития он переехать не пожелал), на бесконечные попойки и раздачи направо и налево в долг, — когда Шилейко мобилизовали. На войне ему побывать не пришлось. Где-то он случайно познакомился с графом С.Д.Шереметевым. Через несколько дней после этой встречи похожего на Дон-Кихота вольноопределяющегося из студентов с одним из блистательнейших русских вельмож у Шилейки были белый билет, теплая шуба, кабинет и спальня, обставленные карельской березой, в шереметевском дворце на Фонтанке. В первый раз в жизни он спал на чистом белье и лакей приносил ему в кровать утренний завтрак, Шилейко потребовал было, чтобы ему давали с утра пиво, но услышал в ответ, что «их сиятельство велют» пить кофе и кушать овсянку.

¹ Господин доктор (нем.).

Случилось чудо: Шилейко привык к овсянке и чистому белью. Щеки его порозовели и движения приобрели округлую уверенность. Оказалось, что он способен работать восемнадцать часов в сутки, и, по отзывам знатоков, работа его была замечательна. Он расшифровал что-то такое, чего самые ученые немцы расшифровать не могли. Работу эту он так и не кончил. Революция вместе с графом Шереметевым выгнала из дворца на Фонтанке и Шилейку. Поселившись в комнате на третьем дворе у «благородной вдовы», он признался, что перемена обстоятельств пришла очень кстати. Граф Шереметев с овсянкой и карельской березой смертельно ему надоел. Надоела вдруг и египтология. Он решил попробовать силы на новом поприще — начал десятками писать стихи. Стихи были недурные, о луне и о розах. Для вдохновения Шилейко включил в утренний завтрак кроме пива еще и водку. Нос его начал быстро заостряться, щеки проваливаться и зловеще темнеть. Он был счастлив. Революция ему необыкновенно нравилась, хотя из духа противоречия он разыгрывал перед робкими еще большевиками монархиста, крепостника и контрреволюционного заговорщика. Туберкулез его все увеличивался. Он кашлял кровью и строил планы на будущее. Планы были разные. Он хотел восстановить культ богини Иштар и издать стихи Пушкина в его, Шилейки, исправлении, а также не прочь был, если позволит здоровье, поступить в мореходные классы.

Теперь Шилейко умер в Советской России. Как, отчего, я не знаю. В письме, полученном с полгода тому назад одной из парижских подруг Анны Ахматовой, есть фраза: «Вольдемар Казимирович похоронен в Вологде». Почему в Вологде? Как он туда со своим туберкулезом попал? В качестве политического ссыльного или — все может быть — обличенного доверием власти научного работника? Или просто так, неизвестно зачем, собрался в Вологду, приехал, попил пива, поголодал, осмотрел какой-нибудь собор и тут схватил тиф или был задавлен автомобилем.

То, что известие о смерти этого странного человека дошло до нас через Анну Ахматову, — не случайно. Среди поворотов и зигзагов его пестрой судьбы был и такой. 1918 год, теплый вечер, Владимирский собор, священник, шафера, певчие. У аналая Шилейко и Анна Ахматова, недавно разведенная с Гумилевым. «Венчается раб Божий Владимир с рабой Божией Анной». В первую русскую поэтессу и одну из самых прелестных женщин Петербурга Шилейко был давно романтически и безнадежно влюблен. Еще бы не безнадежно! И вот: собор, певчие, венчается раб Божий. Впрочем,

то ли еще происходило тогда в безымянном и фантастическом отрезке времени и пространства, который по привычке еще назывался Россией, Петербургом, 1918 годом... Брак был неудачный. Вскоре они разошлись. Ахматова потом в стихах вспоминала об этом браке:

Мне муж — палач и дом его — тюрьма.

Я был с Шилейкой на «ты». Это совсем не означало ни тесной дружбы, ни какой-нибудь особенной близости. Это просто значило, что мы часто встречались то здесь, то там в кругах петербургской богемы и часто чокались в «Бродячей собаке» стаканами дешевого белого вина. То, что Шилейко пришел именно ко мне в тот вечер, о котором я хочу рассказать, и что именно мне пришлось заглянуть при этом в какой-то потаенный угол его жизни, конечно, не более как случайность.

* * *

Это было зимой во время войны, должно быть в 1915 году. Шилейко еще не получил десяти тысячного наследства от изобретателя ручной гранаты. В комнате его не было баснословного персидского ковра. Он очень нуждался, и, когда он неожиданно явился ко мне часов в одиннадцать вечера и начал с того, что пришел просить меня об услуге, я подумал, что он по-товарищески хочет перехватить у меня пять или десять рублей. Точно отвечая на мои мысли, он вынул из кармана скомканную двадцатипятирублевку.

— Вот, — сказал он, — деньги есть. Хватит на все. Возьмем мотор. Это далеко, на Охте.

Он путано и неясно объяснил, что от меня требуется.

— Видишь ли... Впрочем, это все равно. Он ждет меня, и если не поехать, то все расстроится. Конечно, я не верю, что он маг: магия — высокая светлая сила. Если овладеть магией, можно все иметь: славу, деньги, любовь, власть. Но откуда ему быть магом? Он простой мужик, кажется раскольник. Однако какая-то необыкновенная власть у него есть, и может быть, может быть... Только мне не хочется ехать одному. Поедем со мной, пожалуйста. Возьмем мотор и через четверть часа будем там. Если ничего не выйдет, потеряем вечер. А вдруг выйдет. И деньги есть. Ему надо дать десять рублей. И вот эта штука со мной. В другой раз будет трудно взять.

Он похлопал по своему потрепанному рыжему портфелю.

— Что за штука?

Шилейко засмеялся своей птичьей улыбкой.

— Там увидишь. Я потому и прошу тебя поехать, что ты ничего не знаешь. Я знаю и не доверяю себе. Самовнушения со своей стороны боюсь. А ты — другое дело. Увидишь — значит, правда было. Не увидишь, значит, и не было ничего. А едем мы производить магический опыт к Василию Петровичу Венникову, мужу больших познаний. Даром, что корову через «ять» пишет и по ремеслу столяр. Если и не выйдет ничего, посмотреть на него — и то любопытно. Так одевайся.

На Михайловской улице мы взяли таксомотор. Шилейко молчал. Только когда мы были на Охтинском мосту, он спросил отрывисто:

— Пушкинское «Заклинание» помнишь?

— Еще бы.

— Ну-ка прочти.

Я начал:

О, если правда, что в ночи...

— Не так, не так, — перебил он меня. — Не так читаешь. Интонация неверная. Это не обыкновенные стихи, а магические, колдовские. Пушкин сам не знал, что он написал. По существу, он был простой малый, хотя и гений. Все по поверхности скользил. Лишь бы блестело, журчало, лилось, радовало слух. О чем, ему было все равно — гроза так гроза, луна так луна. И вот взял вдруг не умом, а силой гения, договорился до последних вещей, до самой глубины глубин. Вот как это надо читать:

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустуют тихие могилы...

Он читал свистящим металлическим шепотом, полузакрыв глаза и откинув назад птичью смуглую голову. Стальные очки его поблескивали. В горле странно клокотали гласные.

Явись, возлюбленная тень, —

просвистел он, как какое-то настойчивое приказание, которому нельзя не повиноваться. Мне стало не по себе.

— Перестань, пожалуйста, — сказал я. — Ты хочешь, чтобы я был беспристрастным свидетелем какого-то опыта, а шипишь и свистишь так, точно сам колдун. Мало что может померещиться от одного такого чтения.

Он невесело усмехнулся.

— Ну, от моего чтения ничего не померещится. Это все глупости. И чтение, да и само заклинание пушкинское. Хорошие стихи, гениальные стихи, но все равно стихи, литература — дело рук человеческих. Мы же едем нечеловеческое поддеть на крючок. Да, на крючок. Как рыбу. А вот и приманка. Хорошая приманка. — И он похлопал снова по своему портфелю.

* * *

Дом был одноэтажный, новый. Новенькая вывеска «Столярная мастерская В.П.Венникова» весело засияла в свете автомобильных фонарей. Сам хозяин открыл нам дверь. И в его наружности не было решительно ничего таинственного. Синяя поддевка, борода клинышком, ярославские, светлые, с хитрецей глаза.

— Надумали-таки приехать, — протянул он не то недоумевающее, не то недовольно. — Я полагал, уже не приедете, час поздний. Ну, все равно, пожалуйста.

Он пропустил нас в чистую большую горницу. Пахло щами и свежими стружками. Чиж спал в клетке.

— Чайку с мороза не прикажете, господин Шилейкин? Не желаете? Делом, значит, сразу займемся. Как угодно.

Он вздохнул. Что-то недовольное или недоумевающее опять промелькнуло по его лицу. Как будто не хотелось ему заниматься «делом», за которым приехали мы.

— А то, может, все-таки чайку попьете? Ну, ваша воля. Сейчас принесу снаряд.

Он вернулся с куском белого холста и разостлал его на столе.

— Вещичка-то с вами? — обратился он к Шилейке. — Позвольте сюда. Вот так, — положил он небольшой сверток, вынутый Шилейкой из портфеля, под холст и, сильно прикрутив лампу, отставил ее в дальний угол.

— Садитесь, господа, прошу покорно. Как крещены? — обратился он ко мне. — Как имя то есть? Георгий — значит, Егор. Ну-с, начнем, благословясь.

Мы уселись. Хозяин посредине. Справа — я, слева — Шилейко. Накрытый холстом стол с возвышающимся бугорком подложенного под холст неизвестного мне предмета смутно белел перед на-

ми. Минуту длилось сосредоточенное, неприятное молчание. Потом тихим, монотонным голосом, немного нараспев, столяр начал бормотать:

Стоит мать сыра земля,
Бегут по земле три кобеля,
Растут на земле три гриба,
Идут по земле три Божьих раба,
Владимир, Егор и Василий.
У каждого кобеля свои дела.
У каждого гриба своя нога.
У каждого человека своя судьба,
У Владимира, у Егора, у Василия.

Он начал медленно, отдельно, отчетливо окая по-великорусски. Потом понемногу стал шептать быстрее и быстрее. Монотонный распев перешел незаметно в свист, мягкое оканье сменилось каким-то металлическим шелестом. Совсем как Шилейко читал в автомобиле пушкинское «Заклинание». «О, если правда, что в ночи...» — вспомнил я. Если правда, что этот мужик-столяр нашептывает сейчас какую-то таинственную сагу и что-то непонятное, сверхъестественное сейчас произойдет. А он шептал все быстрее, все лихорадочнее. Голос его все меньше напоминал обычный человеческий голос. Я взглянул ему в лицо. Лицо было мутно-белое. Глаза закатились, губы прыгали.

Мне стало холодно, грустно, страшно, отвратительно. Свистящая скороговорка помимо моей воли увлекала меня куда-то, и я не имел силы сопротивляться. Что-то мутно-липкое было в этом постепенном опутывании разума набором ритмических свистящих слов, где, как припев, повторялись наши имена вперемежку с Богородицей, Христом, зелеными лугами, морями-океанами и какими-то замысловатыми присказками. Несмотря на елейный смысл, неуловимый оттенок кощунства был во всем этом. Еще все повторялось о руке: «белой руке», «сахарной руке», «царской руке», о которой тоскуют и от которой чего-то ждут Владимир, Егор и Василий.

Явись, рука, из-под бела платка
Владимиру, Егору и Василию.

Вдруг совершенно отчетливо я увидел на холсте перед собой женскую руку. Это была прелестная, живая, теплая, смуглая рука.

Она шевелилась и точно тянулась к чему-то, она вся просвечивала, точно сквозь нее проникало солнце...

Шилейко вскрикнул и отшатнулся. Столяр не бормотал больше. Вид у него был разбитый, изможденный, глаза мертвые, на углах рта пена...

— Что же было в пакете? — спросил я наконец, когда мы выехали с Литейного на ярко освещенный Невский.

— Как что было в пакете? Да, ведь ты не знал. Вот, смотри.

Он достал портфель и развернул газетную бумагу. В бумаге был ящик вроде сигарного со стеклянной крышкой. Под стеклом желтела сморщенная, крючковатая лапка, бывшая когда-то женской рукой. Такая-то принцесса, назвал Шилейко. Такая-то династия. Такой-то век до Рождества Христова. Из музея. Завтра утром положи на место. Никто не узнает...

Мне было холодно, грустно, страшно, отвратительно.

<1932>

О СВИТСКОМ ПОЕЗДЕ ТРОЦКОГО, РАССТРЕЛЕ ГУМИЛЕВА И КОРЗИНКЕ С ПРОКЛАМАЦИЯМИ

На экране «Форума» — козлиная борода Троцкого, повизгивающий голос, штампованные жесты «блестящего» оратора с разжиманием и сжиманием кулаков, «страстным» скрючиваньем костлявых пальцев, хлесткими фразами о «медведе, вставшем на дыбы» — русском пролетариате. В заключение довольно сдержанные аплодисменты аудитории «счастливых», которым удалось видеть и лицезреть в тихом Копенгагене олицетворение вставшего на дыбы пролетариата в образе пожилого козловатого господина с острыми глазками, беспокойно бегающими под стеклами пенсне.

Жидкие аплодисменты смолкают. «Великий Лев» под надежной охраной шпиков едет обратно в гостиницу средней руки. Потом купе второго класса, каюта с опущенными шторами, шпики, шпики и опять шпики, четыре револьвера, высмеянные репортажами всего мира, шляпа, надвинутая на нос, морская болезнь, вечный страх покушений и снова на райских берегах Принкипо ожидание погоды, которая вряд ли наступит...

Так проходит слава земная.

Мне пришлось однажды попасть на мгновение в поле этой славы, когда она «сияла».

Зимой 1919 года я встретил на Невском доктора К. Знаменитый невропатолог, лейб-медик Николая II, первым определивший у Протопопова прогрессивный паралич и сказавший об этом государю. (К. перестали приглашать в Царское Село.) Служил К. железнодорожным врачом на Николаевской ж.д. и был очень доволен своим местом. Жалованье было неважное, и мазать йодом ушибленные коленки стрелочников (а также лечить их от сыпного тифа) было не очень интересно — зато заветная «провизионка», позволявшая провозить продукты через заградительные отряды, всегда была к его услугам. Член многих академий и ученых обществ, лейб-медик и действительный статский советник — с меш-

ком за спиной и в нагольном тулупе — путешествовал время от времени в хлебные места и благодаря этим поездкам не только жил, но и мог продолжать научную работу. Как-то он мне сказал, что счастлив: его книга, результат десятилетнего труда, кончена. «Я умру — книга останется — я теперь ничего не боюсь». Он ошибался. Месяца через два после этого разговора он был арестован. Пока К. сидел в тюрьме, вещи его растаскали соседи, а рукописи сожгли на растопку. Десять лет труда замечательного русского человека улетели в трубу чьей-то «буржуйки» с такой же легкостью, как улетела в трубу вся русская жизнь; из тюрьмы К. выпустили в апреле, в июне он умер.

Но тогда, в 1919 году, К. еще был здоров и весел. На щеках его горел яркий, свежий румянец. У этого утонченного человека, знатока и врача самых потаенных, самых редких душевных извращений, — была наружность мужика-ярославца, смекалистого и плутоватого.

— Торопитесь? — остановил он меня на углу Пушкинской. — Хотите, пойдём со мной на вокзал. Мне надо по делам на минуту, а заодно развлечемся. Товарищ Троцкий, Наполеон, верховный главнокомандующий, прибывает в три часа. Поглядим на сию особу.

Рябой комендант, увешанный оружием, пожал заодно с К. руку и мне своей широкой лапой как доброму знакомому.

— Поглядеть желаете? Это можно. Свои люди — это ничего. Вот тут в уголке встаньте — все видно будет. А я к вам, товарищ доктор, с просьбой. Больной у меня. Завтра можете заехать? Ну и чудесно — выпьем чаю, закусим — жена рада будет. Под вечер? Заметано. Кто болен, говорите? Да Сенька, кот мой. Прищемил косточку, и все пухнет плечо. Опасаемся мы, чтобы не подох, — такой он чудесный котик. Ветеринар? Был ветеринар и примочку дал — только уж и вы навестите. Ум хорошо, а два лучше.

Лейб-медик Николая II записал адрес больного кота Сеньки. Мы встали в указанном нам углу перрона. Комендант, козырнув на ходу, подбежал к своим. У входа в «царские комнаты» строился уже караул, оправлялось «начальство»: стрелка часов приближалась к трем.

Вот и дымок. Подходит поезд. Но это еще не поезд Троцкого. Это броневой. Холодком отливает сталь, мрачно чернеют отверстия для пулеметов, какие-то хмурые физиономии в шлемах-«спринцовках» высовываются то там, то здесь. Поезд уводят на запасный путь. Новый дымок, новый состав подкатывает к перрону.

Свитский поезд — в нем едут офицеры штаба Троцкого. Несколько спальных вагонов, вагон-ресторан. Развалистой барской походкой выходят штабные офицеры, ловкие, молодцеватые, денщики тащат за ними багаж. В окно ресторана виден край накрытого стола: белая скатерть, вино, серебро, хрусталь... Бывшим офицерам российского генерального штаба, «продавшим шпагу свою», живет, по-видимому, недурно. Но Бог с ними. Отводят и свитский поезд. Опять дымок и грохот паровоза: это Троцкий!

Смирна! На караул! Начальство каменеет. Как его много набралось! Три бледно-голубых литерных вагона и четвертый серый, багажный, проплывают мимо и останавливаются. «Громовые» звуки «Интернационала» встречают «вождя». Но «вождь» не выходит. Начальство и караул застыли, не шелохнутся. Минута, три, пять — Троцкого не видно. «Интернационал» гремит. В вагонах опущены шторы, поезд как мертвый. Пять, восемь, десять минут — никого. На каменных лицах начальства сквозь усердие и революционный восторг начинает проступать тоска. «Интернационал» надрывается. Наконец распахивается дверь среднего вагона. Долговязый, длинноволосый тип, похожий на дьячка, показывается в ней. Он вяло машет рукой на оркестр. «Интернационал» смолкает. Долговязый тип опять машет рукой.

— Вольно, товарищи, — говорит он кисло, шепеляво и как бы через силу. — Вольно. Товарищ Троцкий здесь не выйдет. — И он так же вяло скрывается.

— Как же так не выйдет? Что же он, ночевать здесь будет?

Рябой комендант разъясняет нам, в чем дело.

— Видели, товарищи, багажный вагон? То-то и оно. Так уж специально устроено. В багажном вагоне всегда автомобиль стоит под парами. Стенка сзади откидывается, на рельсы кладется настил — и фьють... Ждут товарища Троцкого, а товарища Троцкого след простыл. Очень специальное устройство, даже у царя не было.

Он провожает нас по грязному холодному вокзалу и на ходу рассказывает анекдот.

У Троцкого новый денщик. Троцкий, ложась спать, велит: «Разбуди меня утром». Настает время будить, но денщик не знает, как к спящему обратиться. «Вставайте, товарищ» — пожалуй, не годится. «Ваше высокопревосходительство, извольте встать» — тоже нельзя. Денщик подумал и кричит: «Вставай, проклятьем заклейменный».

Комендант расплывается всей своей рябой физиономией — так ему нравится анекдот. Он по-приятельски жмет нам руки.

— Так не забудьте, товарищ медик, моего котика. Прямо чудесный котик, увидите сами. Чайку попьем. Вставай, проклятем заклеянный, хи-хи-хи! Наше вам пролетарское.

* * *

В списке расстрелянных по «таганцевскому делу» под именем Гумилева сказано:

«Поэт, член коллегии Всемирной литературы, участвовал в боевой организации, сочинял прокламации, призывавшие к свержению советской власти».

Прокламации? Во множественном числе? Не знаю. Но одну прокламацию я помню.

Зимой к Гумилеву пришел какой-то молодой офицер с чьей-то рекомендацией и предложил принять участие в заговоре. Кажется, рекомендация была серьезная. Кажется, этот молодой офицер лично провокатором не был. Был жертвой провокации. Гумилев предложение принял. Еще бы не принять. Всю жизнь он только и занимался тем, что изобретал опасности. То ездил в Африку охотиться на львов, то шел на войну добровольцем, зарабатывать «полный бант», то из благополучной Англии, где его застал большевистский переворот, ехал, хотя и имел полную возможность остаться, в советский Петербург, чтобы посмотреть собственными глазами, какие такие большевики. Еще бы он не принял предложение вступить в заговор.

Он уговаривал и меня вступить в свою «команду». «Ты ничем не рискуешь, твое имя будет известно одному мне».

Я действительно ничем не рисковал. Я в «команду» не вступил, но о некоторых ее участниках догадывался. Все они, естественно, были очень напуганы после ареста Гумилева. Но испуг их был напрасным. Никто из них не был арестован, все благополучно здравствуют: имена их были известны только ему одному.

Кстати, когда арестовали Таганцева и пошли слухи, что раскрыт большой заговор, я Гумилева спросил: не та ли это организация, к которой он имел касательство? Он улыбнулся.

— Почем же я знаю? Я только винтик в большом механизме. Мое дело держать мое колесико. Больше мне ничего не известно.

— Но если вдруг это твое начальство арестовано, ведь могут схватить и тебя.

— Невозможно, — покачал он головой. — Мое имя знают только два человека, которым я верю как самому себе.

Через месяц Гумилев был расстрелян.

И вот о прокламации. Однажды Гумилев прочел мне прокламацию, лично им написанную. Это было в кронштадтские дни. Прокламация призывала рабочих поддержать восставших матросов, говорилось в ней что-то о «Гришке Распутине» и «Гришке Зиновьеве». Написана она была довольно витиевато, но Гумилев находил, что это как раз язык, «доступный рабочим массам». Я поспорил с ним немного, потом спросил:

— Как же ты так свою рукопись отдаешь? Хоть бы на машинке переписал. Ведь мало ли куда она может попасть.

— Не беспокойся, размножат на ротаторе, а рукопись вернут мне. У нас это дело хорошо поставлено.

Месяца через два, придя к Гумилеву, я застал его кабинет весь разрытым. Бумаги навалены на полу, книги вынуты из шкафов. Он в этих грудях рукописей и книг искал чего-то. «Помнишь ту прокламацию? Рукопись мне вернули. Сунул куда-то, куда — не помню. И вот не могу найти. Пустяк, конечно, но досадно. И куда я мог ее деть?»

Он порылся еще, потом махнул рукой, улыбнулся: «Черт с ней! Если придут с обыском, вряд ли найдут в этом хламе. Раньше все мои черновики придется перечитать. Терпения не хватит».

«Терпения», по-видимому, хватило. «Сочинял прокламации, призывавшие к свержению советской власти...»

Нашли, значит. Или, может быть, один из тех двух, о которых Гумилев говорил: «...верю как самому себе». И где теперь этот проклятый клочок бумаги, который в марте 1921 года держал я в руках, споря с Гумилевым о том, доступно или недоступно «рабочим массам» его содержание.

* * *

Я прожил пять лет в большевистском Петербурге мирным советским обывателем. В заговорах не участвовал, прокламаций не сочинял, но вот и со мной был однажды похожий на этот случай. И неизвестно, что бы со мной стало, если бы...

В 1918 году в домовых комитетах все жильцы между собой перезнакомились. Домовые комитеты были тогда еще буржуазными. Это после они стали комитетами бедноты.

И вот в доме, где я жил, председателем был некий Д. — студент, правый эсер, человек очень обходительный, приятный. Сидя вместе на ночных дежурствах, мы подружились немного. И вот, когда он собрался уезжать на Дон и попросил разрешения оставить на моей квартире «корзиночку с книгами», естественно, я согласился.

«Корзиночка» оказалась двумя большими корзинами, тяжелыми, перевязанными веревками. Места у меня в квартире было уж не так много, но что же было делать. Тем более что Д. уже уехал, спорить было не с кем.

Корзины втиснули куда-то, и я о них забыл. Вспомнил о них в день убийства Урицкого.

Урицкого убил Каннегиссер, мой близкий друг. В сообщениях об убийстве назван он был правым эсером. Весьма возможно, что и ко мне, как к другу Каннегиссера, придут с обыском. У меня ничего «такого» нет. Но на кухне у меня найдут две корзины с книгами, принадлежащими другому эсеру — Д. Какие это книги, я не знаю. И нет ли там, кроме книг, каких-нибудь писем, документов? Корзины были заперты. Мы долго рассуждали — вскрывать их или не вскрывать. Решили все-таки вскрыть.

Было уже довольно поздно.

В одной корзине действительно были книги, но в другой...

Она была вся набита одной и той же листовкой, сотнями экземпляров ее. Вероятно, это было целое нелегальное издание, которое вовремя не было распространено: «Товарищи, все против захватчиков власти! Грудью за Учредительное собрание!»

Поздно. Час или два ночи. Если придут с обыском, то придут скоро. В квартире центральное отопление. Плита модернизированная, бумаги «не берет». Только в одной комнате камин, поставленный для живописности. Как в нем сожжешь всю эту груду? Сколько часов на это понадобится? И не лучше ли оставить корзины как есть? И если найдут, как есть рассказать, откуда они, чем быть застигнутым «за работой»...

Мы все-таки стали жечь. Жгли до утра и, конечно, сожгли не больше трети. С обыском ко мне не пришли: в записной книжке Каннегиссера не было моего адреса. Он и так его отлично помнил. Те, чьи адреса в ней оказались, были арестованы той же ночью. Кто просидел три месяца, кто пять. А ведь ни у кого из них не нашли решительно ничего, даже пустяка какого-нибудь, не то что корзины с эсеровскими прокламациями.

<1932>

Майской ночью я возвращался откуда-то к себе на Петербургскую сторону. Мост был как раз разведен. «Перевоз», пароходик «Финляндского пароходства», возивший с одного берега на другой за две копейки конец, тоже, как назло, только что отвалил. Значит, ждать полчаса? Или идти в обход? Нет, ждать скучно, а в обход далеко. Проезжавший мимо ванька, видя мою беспомощность, заломил рубль двадцать до Александровского проспекта — цену несуразную. На предложенные шесть гривен он презрительно подхлестнул лошадь, и я снова остался один перед разведенным мостом, «в сиянии и безмолвии белой ночи». Белые ночи, конечно, хороши, и эта была особенно хороша — но я посмотрел на Адмиралтейство, Неву и мутно-розовое небо почти с отвращением. Пойду в обход, решил я. И зачем я не дал этому разбойнику рубль — был бы уже дома.

Но идти домой не пришлось. Пройдя несколько шагов, я услышал голоса и звон посуды. «Поплавок», излюбленное место мечтательных пьяниц, был еще открыт. Для рубля, чуть не отданного жадному ваньке, нашлось употребление менее обидное.

Народу на «Поплавке» было человек десять-двенадцать. По их оловянным взглядам, покрасневшим лицам и съехавшим на сторону галстукам было видно, что все это публика солидная, сидит здесь долго, выпила много и еще выпьет.

Я сидел в ожидании, когда придет «перевоз», прихлебывал тепловатое «калинкинское» и наблюдал. Наблюдать, впрочем, было мало что. Картина не менялась. Веселая компания в углу, понемногу соловья, все меньше закатывалась смехом и все чаще икала. Изредка кто-нибудь нетвердым голосом заказывал еще пива, то там, то здесь слышалось всхрапывание. Вода тяжело и глухо ударялась о борта баржи, на которой «Поплавок» помещался. Стало совсем светло. Пароходик, которого я ждал, пыхтя, подплывал к соседней пристани, подавая тонкие свистки. Я крикнул лакея, чтобы расплатиться. Но тут «на палубе» появился новый посетитель. Вид его заинтересовал меня. Небольшой рост. Коренастые плечи. Пальто — коричневый редингот в талию — хорошего покроя, но с побелевшими швами, заношенное, выгоревшее. На шее в несколько рядов

намотан пестрый шарф, на голове цилиндр, в руках трость с вычурнейшим набалдашником.

Он вошел, тяжело ступая. Никто, кроме меня, им не заинтересовался. Он мотнул головой лакею. Когда принесли пиво, новый посетитель, отхлебнув от кружки, дернулся, словно от отвращения, потом медленно обвел вокруг себя прищуренными глазами. Когда на секунду я попал в «поле его зрения», пришла моя очередь вздрогнуть. В серо-холодных, странно-неподвижных глазах светилось выражение дикой тоски. Дикой и слепой.

«Перевоз», жалобно свистя, отчалил от пристани. Небо совсем посветлело. Глупо, что я остался. Сейчас и «Поплавок» закроется. Вот и мост наводят, — пора. Не любоваться же всю ночь на этого пьяницу с дикими глазами.

Но когда я совсем собрался уходить, человек в рединготе вдруг забормотал что-то. Самый темп его бормотания удивил меня. Это было мерное монотонное чтение — так поэты читают стихи.

Я прислушался.

...Et pourtant vous serez semblable a cette ordure.
A cetie horrible infection...

Станный человек в рединготе, перед батареей «калинкинско-го», на заплеванном «Поплавке» читал гениальную «Charogne»¹ Бодлера. Это было забавно.

...Etoile de mes yeux, soleil de ma nature
Vous, mon ange et ma passion...²

Вдруг он оборвал чтение, выпрямился во весь рост и шагнул к паркету. Стол опрокинулся, разбитое стекло зазвенело. Еще шаг, и человек в рединготе был бы в Неве. Лакей подбежал к нему и схватил его за плечи. «Скандалить не...» — успел только выговорить он. Страшная пощечина помешала ему окончить. На отчаянный крик слуги двинулся грузный, краснорожий хозяин. Ему полетела в голову бутылка.

Как ни любопытно было посмотреть, чем это кончится, я все же поспешил к выходу, — благо он был свободен: другая бутылка с треском, как бомба, разорвалась у самого моего уха. Я «ускорил шаги».

¹ «Пададь» (фр.).

² Нет, все-таки и вам не избежать распада,
Заразы, гноя и гнилья,
Звезда моих очей, души моей лампада,
Вам, ангел мой и страсть моя! (Пер. с фр. С.Петрова.)

На шум уже перебежал наискось набережную усатый городской. В общем реве побоища голос, только что мечтательно скандировавший Бодлера, яростно гремел:

— Тронуть... меня... который в высочайшем присутствии... Меня! Друга Григория Ефимовича! Спроси Вырубову, кто я такой, — она тебе скажет. Лапы прочь! Не подходи! Убью!

* * *

Среди множества петербургских литературных обществ было и такое: «Физа».

Название это не расшифровывалось, как подобные ему советские названия. «Физа» не значило — «филологический институт звуковых анализов» или что-нибудь в этом роде. Физой звался герой поэмы, очень бездарной и очень пышной, прочитанной на открытии одним из ее великосветских учредителей. «Физа» тем и отличалась от остальных литературных мест, что хозяевами ее были любители прекрасного с громкими фамилиями и в звании камерюнкеров высочайшего двора. Теперь уж я не помню, как звалась «Физа» по-настоящему.

Над «Физой» все смеялись, но все ее посещали. Помещение было просторное, благоустроенное, где-то на Сергиевской. Выступлений эстетов-учредителей можно было не слушать, коротая время в прекрасной столовой за бесплатными сандвичами с икрой и даровой мадерой. Кто-то сказал, что в Петербурге ходят на разные сборища исключительно из-за антрактов — себя показать и людей посмотреть. Заседания «Физы» были сплошным антрактом, да еще с мадерой. И на собраниях ее всегда было шумно и многолюдно.

На одном из таких собраний я сидел по обыкновению в столовой. Дверь в залу, где шло заседание, была закрыта. Вдруг кто-то ее отворил — и я услышал знакомый голос. Знакомый. Но где я его слышал? Ах, да...

«...Etoile de mes yeux, soleil de ma nature...»

«Лапы прочь! Убью!»

На эстраде «Физы» между пальмой и роялем стоял мой «знакомый» с «Поплавка». Он был гладко выбрит, аккуратно причесан, кажется, он даже улыбался. Сюртук его имел самый обыкновенный буржуазный вид. Глаза опущены: не видно их выражения. Читал он что-то длинное, с цитатами и ссылками на источники о предшественниках Шекспира, читал с повадками заправского приват-доцента.

— Кто это? — спросил я у фон А., того самого камер-юнкера, в чьей поэме героя звали Физой.

Фон А., лощеный молодой человек с моноклем и пробором, посмотрел на меня с удивлением. Как? Вы не знаете? Восходящая звезда. Тураев в восторге, Бодуэн де Куртенэ без ума. Удивительная эрудиция, редкая разносторонность. Его исследования о елизаветинцах...

Он назвал мне фамилию, которую я мельком слышал как имя подающего надежды молодого ученого. Вот уж не ожидал.

— Кажется, он скандалист какой-то? Из распутинского окружения?

Фон А. замахал руками.

— Какой вздор. Кто вам сказал? Ученейший человек, э... э... э... светлая голова. Мы специально его пригласили в будущую субботу. Он нам прочтет доклад об ассирийских мифах — он ведь знаток э... э... э... и ассириологии. Удивительная разносторонность. И откуда вы взяли, что он распутинец? Напротив, он, кажется, э... э... э... в связи с революционерами.

В течение вечера я наблюдал «человека в рединготе». Он держался в окружении эстетических дам и великосветских учредителей «Физы». Держался скромно, грустно, достойно, не подымая глаз. Мадера стояла перед ним на столе, но он пил чай с лимоном. Уходя из собрания, я видел, как фон А. усаживал моего скандалиста с «Поплавка» в свою шегольскую карету.

* * *

Часа в три ночи, в один из тихих дней «Бродячей собаки», таких дней, когда публики «со стороны» мало, «свои люди» сидят особняком по углам, электричество из экономии притушено и даже Пронин, неутомимый директор подвала, устал и спит в чулане за кухней, — в одну из таких «будничных» ночей, когда сидишь так неизвестно зачем, разглядывая пестрые стены и глотая холодное вино, и все кругом выглядит как-то таинственно, — входная дверь хлопнула. Я обернулся на стук от камина, у которого скучал.

Он был опять в рединготе и пестром намотанном кашне. Кажется, сильно пьян. Предлога заговорить с ним мне не пришлось и выдумывать. Потоптавшись у дверей, он сел рядом со мной у камина. Скосив глаза на мою бутылку рислинга, он шелкнул языком.

— Кисленькое пьете. Нет, благодарствуйте, — отстранил он стакан, который я было ему придвинул. — Благодарствуйте, не употребляю этих напитков. Душа не принимает, да и сердце...

— Слабое? — подсказал я.

— Именно слабое. Правильно сказали. Слабое сердце. Несчастное, безумное, слабое сердце. Как и все сердца человеческие.

Он закричал в буфет:

— Эй, водки!

Мы помолчали Потом, не зная, как начать интересующий меня разговор, я сказал:

— А я вас встречал.

— Встречали? Возможно.

— Да. Весной этого года. На «Поплавке». Вы еще Бодлера читали.

— А, вот где. Припоминаю, как же. Не в себе был, чего таиться. Редко это со мной бывает. Зато метко. Вы что же, — он прищурился, — долго тогда сидели?

— Ушел, когда начали бутылки летать. За голову боялся. После жалел.

— Что же вы жалели?

Я нанес «решительный удар»:

— Жалел, что недосмотрел до конца. Кто победил и... и помог ли вам Григорий Ефимович?

Но мой «удар» не произвел того эффекта, на который я рассчитывал. Мой собеседник, внешне по крайней мере, остался невозмутимым.

— Пустяки все это, — сказал он, — и вспоминать не стоит. Ну, мне разбили морду... или я разбил. Не все ли равно. Не согласны? Это в вас молодая кровь играет — поживете с мое, будете так же рассуждать. А насчет Григория Ефимовича вопрос не так прост, как вам кажется. Вы вот — признайтесь — полагали: припер я его к стене, не отвертится. А я вот вдруг отверчусь, отверчусь и еще вас самих к стенке припру. Думаете, нет? Ан припру... Впрочем, все это пустые разговоры. И место неподходящее, и я хоть и пьян, а недостаточно. Вы вот поймите меня совсем пьяненького. Тогда и разговор между нами пойдет другой. Или, — он подмигивает, и глаза его делаются страшными и пустыми, — выпить нам с вами как следует, для первого знакомства. А? Согласны? Тогда и поговорим.

* * *

Из любопытства я еду с ним — сначала к старому Донону у Николаевского моста, потом еще в какой-то кабак, потом в извозничью чайную. Наконец попадаем к нему на квартиру. Калашниковская набережная, мрачный деревянный дом. Ветер с Охты ударяет в стекла так, что окна дрожат. Свеча, потрескивая, оплывает на смятой камчатной скатерти. По стенам, на столах, на полу — книги, книги, книги — на всех языках.

Хозяин пьян, страшно пьян, как тогда на «Поплавке». Он лезет целоваться, рот его кривится в сторону, глаза налились знакомой дикой тоской.

— Что ж ты не пьешь? — переходит он на «ты». — Пей, брат, водка хорошая, царская. Царской водкой самую едкую кислоту зовут, все она прожигает — камень, железо, все. Только алмаза не берет. И эта вот тоже царская, все зальет, все сожжет.

Он задумывается.

— Только тоски человеческой взять не может водка. Стыд — без остатка. Совесть — точно и нет никакой. Честь — а ты выпей еще стаканчик — и пошлешь эту самую честь к черту, как шлюху на Лиговке. А вот тоска — как алмаз. Ничего с ней не поделаешь. Стоит в груди и не тает.

— Ну, а насчет Григория Ефимовича как же? — говорю я. — Вы мне рассказать обещали...

Он молча берет меня за рукав и тянет в угол. Берет свечу и подносит к стеклу киота. Потемневшие старинные ризы, тусклые венчики со стертой позолотой. Первую минуту я не понимаю, в чем дело.

Он подносит огарок еще ближе. В середине под темным окладом выступают черная борода и бледное лицо Распутина. По бокам, тоже в ризах, Ницше, Бодлер, Вырубова. Вперемежку с ними настоящие иконы.

— О Григории Ефимовиче спрашивал? Вот он, Григорий Ефимович. Если желаете, можем ему помолиться.

И он на церковный лад затягивает:

— Преподобный Григорий, моли Бога о нас.

Искоса он смотрит на меня, и видно, что отвращение, которое проступает на моем лице, доставляет ему живейшее удовольствие.

* * *

Я видел его еще раз. Он сидел на Мальцевском рынке среди старух с серебряными ложками и мальчишек с пирожками. Он сидел в своем рединготе и цилиндре и торговал книгами. Вернее, безучастно смотрел, как любопытные перебирают его никому не нужный товар и уходят, ничего не купив. Шарф был туго замотан вокруг его короткой шеи, и в стоячих глазах светилась ледяная тоска. Это было при Керенском. Судя по всему, звезда «человека в рединготе» клонилась к закату...

Но в 1922 году я неожиданно услышал его имя, и мне пришлось удивиться еще раз. Это имя теперь сияло высоко, очень высоко на московском «звездном небе», притом в непосредственной близости к блистательному солнцу ГПУ.

<1933>

АНАТОЛИЙ СЕРЕБРЯНЫЙ

— Давно искал случая... Позвольте представиться: Анатолий Серебряный... Разрешите поднести вам сборник моих стихов.

И, теребя грязноватыми пальцами жидкую бородку:

— С одной стороны, будучи последователем классической традиции, с другой — считаю, что поэзия должна улавливать темп современности...

Это еще до войны, в 1912—1913 годах. С вылинявшей бородкой, плохо вымытыми руками, тощий, костлявый поэт Анатолий Серебряный всюду, где можно — на литературных вечерах, в передних редакций на улице, — останавливает совершенно незнакомых с ним людей, жмет руку, подносит свою книгу, сообщает свои взгляды на поэзию, спрашивает адрес: «Сочту долгом засвидетельствовать почтение». И никогда не забывает этого «долга».

Если вы, растерявшись, дали ему визитную карточку или номер телефона — будьте уверены: непременно явится, и в самое ближайшее время. Придет, развязно, как со старым знакомым, поздоровается, без приглашения развалится в кресле, без приглашения вытащит толстую засаленную тетрадь:

— В настоящее время я пишу стихи с мистическим уклоном, так как пришел к убеждению, что в душе современного человека мистика.

Потом он будет читать стихи. Много стихов, и «с уклоном» и без.

Голос у него неприятный, хриплый, жесткий. Читает он нараспев, размахивая руками и разбрызгивая слюну. Иногда, должно быть в самых мощных, по мнению автора, местах, чтение переходит в свистящий визг. Тогда острый кадык поэта судорожно подпрыгивает над огромным измятым бантом в горошину и слюна летит прямо в лицо несчастного слушателя.

Стихи же такие:

На струнах людской души
Дух играет злобы,

Подпевает: согреси,
Насладиться чтобы.

В промежутках между стихами и разговорами о «мистических уклонах» Анатолий Серебряный мимоходом бросает:

— Вчера на рауте у княгини Голицыной...

— Мой отец, богатый помещик... юга России... когда я еще был в школе правоведения...

И все это, разумеется, выдумки. Ни на каком рауте он никогда не был и учился в обыкновеннейшей полтавской гимназии, которую так и не окончил, должно быть, к большому огорчению своего отца — кажется, станового пристава.

Настоящая фамилия поэта Анатолия Серебряного — Пучков. Анатолий Никандрович Пучков.

Анатолий Пучков. Говорит ли вам что-нибудь это имя?

Вы не следите за поэзией? Нет, нет — поэзия тут ни при чем. Я ведь спрашиваю не о Серебряном, а о Пучкове. Пучков, Анатолий Пучков? Еще такая закорючка на подписи — вверх, вниз и опять вверх? Не вспоминаете?

Но если вы петербуржец и жили в 1918—1922 годах в северной столице — получали же вы из Домкомбеда карточку, прикрепляли ее, стояли с ней в очереди за тощим пайком?

Карточка еще такого мышиноного цвета. Наверху лозунги: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Кто не трудится — тот не ест». По бокам купоны — на невыдаваемый хлеб, на несуществующий сахар, знаменитый тридцать третий купон на гроб. Посередине печать и подпись. А на обороте стихи. Хорошие стихи, добрые:

Когда капитализм
Склонится, издыхая,
Откроет коммунизм
Для граждан двери рая.
Но то не будет рай
Господ, а рай рабочих —
Трудись и получай
За честный труд, что хочешь.

Дальше гражданам рекомендовалось «немного подождать», пока рай наступит. Ну а те, что ждать не могли, — тоже не могли считать себя неудовлетворенными: к их услугам был тридцать третий купон.

Кто же был автором этих стихов? Кто был составителем этой продовольственной карточки, так заботливо предусматривавшей

все нужды счастливых граждан, вплоть до соснового гроба? Анатолий Пучков. Чья подпись закорючкой вверх, вниз и снова вверх стояла в центре ее под печатью Петрокоммуны — Анатолия Пучкова!

«Заведующий распределительной частью Петрокоммуны Анатолий Пучк...»

И — закорючка.

То, что Петрокоммуной распоряжается Пучков, «тот самый Пучков», открыл, неожиданно для самого себя, нынешний редактор «Чисел» поэт Н.Оцуп.

Однажды во «Всемирной литературе» на общем собрании после долгих дебатов, суть которых сводилась к тому, что «все что-то получают, потому что хлопочут, а мы никогда ничего, так больше нельзя», — это «общее собрание», составленное из цвета петербургского «литературного мира» (ибо «Всемирная литература», основанное Горьким издательство всяческих переводов, была единственным местом, где можно было, «не теряя чести», если не печататься, то заниматься литературным трудом, получая за него гонорар): миловидных дактило, секретарш и библиотечкарш, пышной рыжеволосой дамы, носившей громкий титул герцогини Лейхтенбергской, — это общее собрание, после дебатов, единогласно постановило основать «хозяйственный комитет», который чего-нибудь бы доставал.

И так же единогласно председателем этого комитета решили выбрать поэта Оцупа. Почему именно Оцупа? На это были веские причины.

Во-первых, у него были оставшийся от военных времен полущубок и желтый портфель, в котором во «Всемирную литературу» носили рукописи переводов, а оттуда сахар и всякую подозрительную гастрономию нашей маркитанки Розы. Той самой Розы, которая важно сидела в прихожей «Всемирной литературы», разложив свои товары и расположившись так, чтобы получающие гонорар должники не могли уйти не заплатив, а свободный от долгов — не соблазнившись купить чего-нибудь...

Итак, у Оцупа были полущубок военного образца и портфель. От этих полущубка и портфеля, соединенных вместе, действительно так и разило «завоеваньями революции». Уполномоченный, так декорированный, имел, конечно, шанс, которого не давал ему мандат, нашелканный на нашем жалком бланке, — шанс пролезть через игольное ушко приемных, сквозь очереди и секретарей, добиться аудиенции у какого-нибудь «зава» и что-нибудь у него выпросить. Кроме того, у Оцупа, несмотря на то что он, как и все остальные, питался картошкой и продуктами Розы, —

была, от Бога, «сытая» внешность, какая и полагалась настоящему, способному внушить к себе доверие «предхозкому».

Собрание все это учло.

Бедный поэт вздохнул, положил мандат в портфель, надел свой «комиссарский» полушубок и отправился в Петрокоммуну.

Добившись приема у грозного «заведующего распределительной частью», он с удивлением и блаженством узнал в нем старого знакомого — Анатолия Серебряного.

Далее «было все очень просто, было все очень мило». Пучков прочел «венки сонетов». Оцуп одобрил рифмы. Пучков просиял и, оторвавшись на минуту от приятной беседы, прокричал в телефон распоряжение немедленно приготовить ордера «на всё» — шапки, пальто, муку..

Потом этот способ разыскивать в советских учреждениях графоманов и при их помощи устраивать железнодорожный билет или калоши стал общеизвестным, опошился, так сказать. Но честь его открытия принадлежит Н.Оцупу.

* * *

Кстати, очень характерная вещь — обилие всевозможных неудачников от искусства на высоких постах Советской России.

Каждый, кто имеет отношение к литературе, особенно если он редактировал что-нибудь, секретарствовал, читал рукописи, знает, как огромно количество этих людей. И какой «заряд» самолюбия, честолюбия заложен в каждом из них, какая жажда славы и какая уверенность, что на славу эту кто-кто, а уж он-то имеет право.

Потомки! Я бы взять хотел,
Что мне принадлежит по праву:
Народных гениев удел,
Неувядаемую славу..

Это случайно всплывшие в памяти стихи одного из таких графоманов. Не помню ни фамилии автора, ни того, где и при каких обстоятельствах пришлось с ним встретиться. Но стихи запомнились, запомнилось и лицо. Хитрая, острая мордочка, смесь наглости и робости, хвастливой самоуверенности и готовности хоть чужие сапоги целовать, только бы его приняли, напечатали.

Графоман совсем не то, что обыкновенный пишущий без особого таланта. Тот предан литературе, дышит ею. Не его вина, если у него ничего не выходит.

Для графомана наиболее, по его мнению, достойная цель — добыть «народных гениев удел».

Властвовать, распоряжаться, быть предметом внимания — вот на что направлена вся его, часто поистине железная, воля. В обыкновенные времена эта воля уходит на писание поэм и хождение с ними по редакциям. Но вот настал Октябрь...

Потомки! Я бы взять хотел,
Что мне принадлежит по праву...

О, как бы еще хотел! И как уверен, что по праву принадлежит. В обыкновенные времена, однако, «взять» не так-то легко, «близко локоть»... Но вот пришла советская власть...

Один мой «перекинувшийся» приятель, встретив меня на улице в 1918 году, соблазнял меня «шагнуть в ногу с революцией», предлагая на выбор места вроде директора государственных театров или Публичной библиотеки. «На первое время, потом вас заметят, оценят...» Предложение было вполне серьезное. То же лицо повторило его вскоре малоизвестному композитору Артуру Лурье. Тот согласился и не дольше как через месяц занимал пост, равный товарищу министра искусств.

Когда такие предложения директорских мест, мимоходом, на улице, чуть ли не первому встречному, стали реальной реальностью — подумать только, какой простор открылся перед всеми российскими неудачниками. Право, не будет большим преувеличением, что памятный саботаж «всей России» в 1917 году был прорван, как вода прорывает плотину, именно этими людьми, так долго и злобно ожидавшими «принадлежащих им по праву» власти, силы, известности.

Так долго длилось ожидание. И вот наконец директорские места валяются прямо на улице, вместе с семечками и окурками. Подбирай, кто хочет.

О, еще бы не хотеть! Ведь всю жизнь только и мечтал об этом.
— Так бери.

Пучков был, кажется, впрочем, не из числа самых первых, оценивших и реализовавших открывшиеся «возможности». Может быть, его смущало (вполне ложный, разумеется, стыд) то, что он еще совсем недавно был членом черносотенной «Палаты Михаила Архангела». Как бы там ни было, ни «Лито», ни «Музо», ни государственные театры ему уже не достались. Поэт Анатолий Серебряный превратился в продовольственного комиссара Северной Коммуны.

Купон на сахар. Купон на гроб. Под печатью с серпом и молотом: «Заведующий распределительной частью Анатолий Пучк...».

И закорючка.

Когда я слышу о все возрастающем гнете, который теперь испытывают писатели в Советской России, я удивляюсь.

Не тому, разумеется, что гнет существует. Нет — другому. Тому, что мы его не ощущали.

«Мы» — это те, кто прожил в Петербурге до 1922 года. Этот 1922 год был «поворотным».

Весной 1922 года литературная жизнь Петербурга еще текла так, как она сложилась за пять лет революции. Действовали Дома — литераторов и искусств, действовали издательства, настолько еще независимые, что не боялись, например, издавать сейчас же после казни Гумилева его книги, и, например, я, эти книги редактируя, не считал особой смелостью со своей стороны во вступительных статьях давать соответствующую оценку не только стихов, но и личности расстрелянного «белогвардейца».

Разумеется, книг издавалось мало, разумеется, цензура давала себя знать, — но это воспринималось как стеснение, неудобство такого же «физического» свойства, как отсутствие хлеба, дров. Над душой писателя власть еще не имела прав. Может быть, оттого, что тогда никому еще в голову не приходила мысль о возможности быть изданным Государственным издательством, т.е. прикрепиться. Потому тоже, что Государственному издательству не пришла в голову мысль писателей закрепить — ибо «слаб человек».

Как бы там ни было, до 1922 года, когда все как-то сразу увяло и «дошло» — и надежда на свободную газету, и наша жалкая независимость, когда одних выслали, другие принялись хлопотать об отъезде сами, — в Петербурге возможна была та своеобразная литературная духовная жизнь, о которой вспоминаешь теперь с волнением и грустью, от которой осталось ощущение — нет, не гнета, — напротив, какой-то «астральной» свободы.

Но осенью 1922 года явно пришел конец всему этому. Стало ясно — надо убираться, и чем скорей, тем лучше.

Я стал хлопотать о паспорте. Чтобы получить его, требовалось поручительство хотя бы одного коммуниста. И тут оказалось, что ни у меня, ни у моих друзей нет ни одного большевика, знакомого настолько, чтобы можно было к нему с такой просьбой обратиться. Может быть, в этом обстоятельстве и скрыто объяснение того странного чувства «свободы», которое сохранилось от пяти лет жизни в советском Петербурге.

Подпись была все-таки нужна. Наудачу я отправился к Пучкову. Я не видал его давно, очень давно — с тех самых пор, когда он

был еще Анатолием Серебряным. И когда меня впустили в кабинет, я не узнал его. От Анатолия Серебряного не осталось и тени. Из-за пышного «министерского» стола мне навстречу поднялся... Наполеон.

Ну, не Наполеон — Муссолини, Кемаль-паша, Гитлер — словом, прирожденный диктатор — сталь, гроза. Впервые я воочию убедился, как власть — даже над селедками и калошами — может изменить человека. Его движения были сама отрывистость и четкость, голос — металл, глаза (подумать только, «те же самые» водянистые, заискивающие глазки) — понижывали. Даже кадык куда-то исчез.

Принял меня диктатор, впрочем, очень любезно. Вспомнил я опять Оцупа и попросил его прочесть мне стихи. Диктатор грозно нахмурился и прочел мне поэму. Поэма была в смешанном футуристически-продовольственном вкусе. Чтобы не подражать Оцупу, я похвалил не рифмы, а ритм. Диктатор просиял, и на его «железном» лице на мгновение промелькнуло что-то прежнее, «серебряное».

Он сгоряча пообещал мне поручительство — охотно, какие могут быть разговоры, — но когда я принес ему на другой день бланк для подписи — он подписать отказался. Пробормотал что-то невнятное о партийной дисциплине и перевел разговор.

Поручился за меня какой-то знакомый моего знакомого, никогда не выдавший меня в глаза. Я послал ему в ответ (это был коммунист из мелких, какой-то красный командир) свой портсигар из слоновой кости — довольно ценную вещь. Но портсигар на другой день вернулся ко мне с благодарностью и ссылкой на ту же партийную дисциплину.

* * *

Пучков кончил странно. Недавно мне рассказали, что он не только лишен продовольственного трона, но исключен из партии и отдан под суд. Он, оказывается, влюбился, возлюбленная его умерла. И вот (должно быть, под влиянием потрясения старый яд декадентства бросился в его слабую голову) — он бальзамирует ее тело, строит под Петергофом мавзолей в египетском вкусе и ежедневно ездит туда служить какие-то мессы. Об этом узнали где следует и, естественно, возмутились. Расследование к тому же выяснило, что египетский мавзолей выстроен на «кровные пролетарские деньги» — деньги от калош и селедок.

С БАЛЕТНЫМ МЕЦЕНАТОМ В ЧЕКА

В этот день я с особенной приятностью вышел на улицу. Солнце светило, подсыхающие лужи «пахли весной», с моря летел какой-то особенный, шалый теплый ветер. Трамвай довез меня до Михайловской площади. С Михайловской я пошел пешком.

Когда-то, в давно прошедшие времена (в Советской России бывшее два года назад кажется незапамятным), когда-то в замороженном и опустошенном тогдашнем Петербурге — никто не рассуждал: «Я пойду по Невскому, заверну на Фонтанку, прогуляюсь по Летнему саду, потом домой». Не было ни Фонтанки, ни Невского, ни Летнего сада. Было одно враждебное «нечто», где

В вечном холоде советской ночи
На мосту патруль стоит.

В этом безвоздушном пространстве, где жить (и даже резвиться) может только существо с особыми жабрами — коммунист, в этом «вечном холоде» рассеяно несколько точек, где можно укрыться от холода, и от патрулей, и от коммунизма.

Несколько точек во враждебном хаосе, так и представлялся Петербург. Вышел из дому и пробираешься. Ближе всего Дом искусств на Мойке. Следующий пункт — Миллионная, Дом ученых, потом Моховая — «Всемирная литература», Бассейная — Дом литераторов. Краем света была квартира Гумилева на Преображенской. На Преображенской Петербург обрывался...

Но это было когда-то — в 1919 году, — теперь же шел март 1921 года. Казалось бы, какая разница? Только что было усмирено Кронштадтское восстание, только что снято или полуснято осадное положение — тюрьмы полны арестованными и приговоренными. Патрулей на мосту и не на мосту было не меньше, чем в 1918 году. Причем патрули эти в своей профессии сильно усовершенствовались. Отделаться от них, предъявив, как во время

оно, лошадиный аттестат или аптекарский анализ, — было невозможно. Но какая же тогда была разница? Огромная.

Прежде всего, у «бывших жителей бывшего Петербурга» — как кто-то назвал граждан Северной Коммуны — за два года плавания в «холоде советской ночи» развились свои собственные «жабрычки». «Холод» остался, но дышать им стало как-то легче. Количество спасительных точек на улицах Петербурга, несмотря на все стеснения и запреты, увеличивалось с каждым днем. Теперь между Домом искусств и Домом ученых уже не было прежнего абстрактного черного провала. Здесь — тайная папиросная лавка, там — книжная. Здесь — парикмахерская, там — кафе. Все конспиративное, разумеется. Но конспирация и придавала вкус чахлым эклерам и дрянным папиросам — «настоящей старой толстой “Сафо”» или «довоенному “Зефиру”», как рекомендовали свой товар продавцы.

«Всемирная литература» платила построчный гонорар, и гонорар довольно крупный. В период расцвета этого удивительнейшего из издательств, оплачивавшего еженедельно горы переписанных на казенной машинке переводов — едва ли тысячный процент которых попал или попадет когда-нибудь в печать, — такой «квалифицированный» переводчик мог жить по-советски безбедно. Он мог бриться у парикмахера Жака (третий двор, пятый этаж), мог купить самую толстую и самую старую «Сафо» и — предел благополучия для небольшевика — обедать в конспиративном кафе.

Сначала я обедал на Невском у какого-то старика еврея. Открыл этого еврея Гумилев, и, когда он впервые провел меня в эту столовую, богатство ее меня поразило. Гумилев, снисходительно улыбаясь, рекомендовал мне гуся с яблоками и хвастал интимной дружбой с хозяином, который трепал его по плечу, называя «господин Гумилев». Но человек ко всему привыкает и ничем не удовлетворяется. Месяца через два я в свою очередь свел Гумилева недалеко на Николаевскую, к некоей мадам Полин, где выбор блюд был гораздо разнообразней и подавали не в патриархальной спальне с огромными пуховиками и портретом кантора Сироты, а в кокетливой столовой с искусственными пальмочками, на кузнецовском фаянсе и накладном серебре.

Кроме изящества обстановки, мадам Полин имела перед гумилевским старцем еще одно неоспоримое преимущество. Она не боялась милиции. Старик еврей открывал двери только на какой-то сложный условный стук, встречая даже хорошо известных ему посетителей, делал на всякий случай изумленное и непонимающее лицо, вообще явно боялся властей как огня. Моя же Полина не бо-

ялась нисколько. Основанием к тому была вовсе не ее природная храбрость, а то, что она выплачивала ежемесячную взятку районному комиссару. Есть борщ с пирожками было приятно, но есть тот же борщ в сознании полной безнаказанности этого уголовного поступка — еще приятнее. А тут еще пальмочки вместо перин, да и скатерть чистая. Короче — симпатичный библейский старец потерял, а обходительная Полина приобрела двух новых клиентов.

...Пахло весной. Солнце светило. Теплый ветер сдувал с моего свежебритого подбородка остатки «Лебяжьего пуха» и крутил дымок «старой толстой “Сафо”». Пачки новеньких, украшенных серпом и молотом кредиток, только что обмененных на «Мазепу» Байрона или «Кристалель» Кольриджа, шелестели в кармане.

Словом, ничто не мешало, напротив, все располагало хорошо позавтракать. Я завернул на Николаевскую и поднялся на второй этаж.

Сколько раз рукой помертвелой
Я сжимала звонок-кольцо.

Сколько раз безо всякой опаски я всходил по этой лестнице и дергал за нос какого-то бронзового сфинкса у дверей Полины. Дергал уверенно и самонадеянно, зная, что дверь сейчас же откроется, приятно пахнет теплом и кухней и плутоватая, заплывшая жиром физиономия Полины улыбнется сквозь стеклянное окошечко в стене.

И на этот раз я взбежал по лестнице так же быстро, как и всегда, и так же занес руку, чтобы дернуть за нос бронзового сфинкса.

Занес, но не дернул. Рука моя, неожиданно для меня самого, точно одеревенела в воздухе. Приятное настроение, с которым я шел обедать, вдруг улетучилось, легкость, с которой я взбежал по лестнице, — пропала. Чувство гнета, тяжести, беспокойства распространялось от этой аккуратно полированной двери. Еще секунда, и я, круто повернувшись, сбежал бы вниз, махнув рукой на завтрак. Я не позвонил и не постучал. Под ногами был хотя и облезлый, но все же ковер, так что шаги мои вряд ли были слышны в квартире. Явления такого рода, должно быть, имеют научное название и объяснение. Мозговой телеграф? Телепатия? Я не знаю. Не сродство душ, во всяком случае.

Я почувствовал нечто за дверьми гостеприимной Полины. Это «нечто» в свою очередь почувствовало меня.

Дверь распахнулась. Солдат в чекистской форме оглядел меня с ног до головы почти дружелюбно и посторонился.

— Заходите, заходите, гражданин, — сказал он мягко.

Есть приглашения, от которых не отказываются.

* * *

Чекист, распорядившись обыском, посмотрел на меня так, точно все три года своей чекистской практики он только и делал, что стремился меня арестовать. И вот наконец я попался.

— Я вас знаю, я вас хорошо знаю, — процедил он многозначительно. — Обыскать.

И, передавая своим помощникам, бросил кратко: «Кокаин и бриллианты ко мне». На мне не было ни кокаина, ни бриллиантов, ни даже запретных царских или думских денег. Скоро меня оставили в покое.

Час завтрака давно прошел. Никто не приходил больше. Но нас не уводили и не отпускали. Чекисты, по-видимому, ждали, что еще кто-нибудь попадет в засаду. Ждали терпеливо, методично. Старший с папироской в зубах, держа руку на расстегнутой кобуре кольта, погрузился в найденный в спальне Полины роман «Тайны венценосцев». Подручные вытащили из кармана засаленную колоду и занялись игрой в дурачки. Картина была мирная. Арестованные шепотом переговаривались. Один из красноармейцев выравнивал ножичком свой стоптанный каблук. Время ползло как черепаха. Половина четвертого, четыре, пять. Наконец старший чекист захлопнул увлекших его «Венценосцев» и велел собираться.

Мы шли по Невскому, выстроенные рядами по-солдатски. Красноармейцы шагали по бокам, хмуро и безразлично. Чекисты, особенно старший, вились вокруг нашей колонны то здесь, то там, играя наганом и покрикивая. Это была, конечно, манера, выработанная долгой «революционной практикой», — манера, от которой они, в силу привычки, вряд ли бы отказались, даже конвоируя детский сад. «Бандиты» усердно шагали, опасливо косясь на взлетающие и опускающиеся дула наганов. Заплаканная Полина шла с известной цыганской певицей, бывший меценат и балетоман — с бабой, принесшей мясо на продажу. Со мной в паре шагал толстый румяный спекулянт, завсегдатай столовой. Его брововая шуба, наивно замаскированная пролетарской кепкой, выглядела трогательно и беззащитно. Обычно разговорчивый до надоедливости, он молчал. Я не вызывал его

на разговор, я знал секрет его внезапной молчаливости. Он боялся проглотить крупный бриллиант, спрятанный во время обыска за щеку.

* * *

И вид, и обычаи Гороховой подробно и не раз описывались. Меня поразила мелкость пошиба этого страшного учреждения. Ведь подлинно страшное — чего страшней. А впечатление как будто от дореволюционного участка — грязно, кисло, уныло, омерзительно — и только.

В общей камере, куда нас провели после нового обыска и долгого ожидания в канцелярии (обыкновеннейшей канцелярии с кокетливыми дактило и любезничающими с ними чекистами в галифе), — шестьдесят или семьдесят пар глаз поднялись на нас. Поднялись и равнодушно опустили. В самом деле, что нового могли принести мы, пришедшие с воли, кроме знакомого им беспокойного недоумения, потом, с течением времени, сменяющегося недоумением равнодушным.

Я «приткнулся» на подоконник. Как и у Полины во время обыска, другой свободной «мебели» не оказалось. Приткнулся и стал наблюдать. Чего же мне еще оставалось делать?

Желтая тусклая лампочка на потолке. Грязные стены, грязный пол, грязные решетчатые окна. Очень жарко, очень душно. И в махорочном дыму — человеческие головы, очень много голов. И все на один лад. Может быть, от света, может быть, от дыма, может быть, от объединяющего всех настроения.

Шепот, храп, шуршание тараканов. Уныние, грязь, жара. И мог же я не пойти сегодня в эту несчастную столовую и вместо того, чтобы, скрючившись на подоконнике... Ведь мог?

Кто-то берет меня за руку. Это шагавший в паре с бабой-спекулянткой бывший меценат и балетоман.

— Не спится? — спрашивает он. — Представьте, и мне тоже. — И, довольный этой остротой, показывает свои золотые зубы. — Ну так давайте проводить время как культурные люди, попавшие к краснокожим. Давайте говорить о литературе. Например, скажите, Ахматова хорошая поэтесса?

— Плохая, — отвечаю я. — Никуда не годная. Она пишет, что не променяла бы большевистскую Россию ни на что в мире.

Меценат улыбается.

— Ну так она, видите, еще здесь не сидела. Посидит — переменит мнение. Но рифмы у нее, по-моему, богатые.

На Шпалерной, куда нас перевели утром, — старшина из заключенных, розовый и пухлый господин с артистическим галстуком, утешил меня:

— Удачно попали, товарищ. 1 мая — амнистия. Ну еще то и се, с месяц проволочки. К июню можете считать себя свободным. Прямо на дачу.

Он не шутил. В самом деле, попасть за месяц до амнистии было своего рода удачей. Многие арестованные за «преступления» не больше моего уже несколько месяцев ждали той же самой амнистии.

После общей камеры Чека Шпалерная казалась комфортабельным отелом. Никаких тараканов, чистота, свет, прогулки. Старшина, узнав о моей профессии, разъяснил мне ее выгоду для тюремного житья. Раз в неделю на Шпалерной устраивались «концерты» из «наличных артистических сил», находившихся в тюрьме. Их было всегда достаточно. Для подготовки этих «концертов» устраивались репетиции, спевки и т.д. Короче — дверь моей камеры была открыта весь день. Я мог гулять по коридору, заходить к другим, сидеть в библиотеке. Вместе со мной этой свободой пользовались — уже незаконно — и два моих товарища по камере. Меценат-балетоман, донимавший меня разговорами то о вечности, то об Уайльде, и старожил, к которому нас обоих вселили, — рабочий-путиловец, пожилой человек.

Он сидел уже месяцев шесть. Дождался той же амнистии, к которой так «удачно» подоспел я. Все шесть месяцев он сидел без допроса, на одном пайке, т.е. «четверке» хлеба и селедочном супе. Но ничуть не озлобился, напротив. Был всегда услужлив, ровен, деликатен, почти весел. Он прибирал за нас камеру. Мы его подкармливали получаемыми с воли передачами. На вопрос, за что он сидит, он, кротко улыбаясь, отвечал: «За голосование». И пояснял, что куда-то он был выбран, где-то ему пришлось заседать. Через силу пришлось: «Не люблю я этого дела».

— Видишь ли, милый, приехал к нам докладчик, партийный товарищ, значит. Хороший такой товарищ, душевный. Сначала все доложил как следует, аккуратно, а потом говорит: «Это, ребята, партийная точка зрения, и желательнее нам, чтобы вы ее приняли. Но ежели с партийной точкой вы не согласны, то голосуйте против, и будет, как вы постановите». Потому что, говорит, вы хозяева, а мы ваши слуги. Душевный такой. Голосуйте, говорит, ребята, по совести, не опасаясь, кто как думает.

— И вы голосовали против?

— Против и голосовали. Как же не против? Предложение, которое по его докладу шло, нам не подходящее было. Непонимающий человек составлял, пустяки и составил.

— Ну и посадили вас за это?

— Как же. В ту же ночь и забрали. Меня и еще шестерых. — И он мягко улыбается.

— Экое смирение, — полувозмущается-полурастрагивается бывший балетоман. — *La bonte slave*¹. Вот поэтому они и сидят так крепко, что у нас хоть пруд пруди такими Каратаевыми.

— Китаев наша фамилия, — поправляет его путиловец, выслушав эту тираду.

* * *

До 1 мая мне все-таки ждать не пришлось. Делегация от Академии наук (вот какая громоздкая машина понадобилась!) ездил к чекисту Озолину хлопотать за меня, цыганскую певицу и балетного мецената и добилась освобождения «случайно задержанных, незаменимых работников искусства». К «незаменимым» как-то примазался и спекулянт с бриллиантом. Он вышел из тюремных ворот вместе с нами, благополучно унося за щечкой свое сокровище. Остальным пришлось ждать амнистии...

Небритый, облезлый, с узлом под мышкой я шел домой. Солнце сияло, дул резвый ладожский ветер, и большие льдины, треща и сверкая, проползали по темно-зеленой Неве.

<1933>

¹ Славянская доброта (*фр.*).

ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ

Родители ее были люди с фантазией: дали ей простенькое имя — Паллада.

Когда Паллада шла по улице — прохожие оборачивались.

Как было не обернуться? Петербург, зима, вечер. Падает снег, зажигаются фонари. На обыкновенных улицах обыкновенная толпа. И вдруг...

Вдруг в этой серой толпе странное, пестрое, точно свалившееся откуда-то существо. Откуда? Из Мексики? С Венецианского карнавала? С Марса, может быть?

На плечах накидка — ярко-малиновая или ядовито-зеленая. Из-под нее торчат какие-то шелка, кружева, цветы. Переливаются всеми огнями бусы. На ногах позвякивают браслеты. И все это, как облаком, окутано резким, приторным запахом «Астриса».

Прохожие оборачиваются — как не обернуться? Существо в кружевах и браслетах растерянно топчется на тротуаре, достает зеркало из сумочки, пудрится, красит рот, роняет пуховку, проливает духи. У стены — нищий. Паллада бросается к нему.

— Ах, бедняжка. Вы слепой? На оба глаза? И четверо детей? Ах, Боже! Вот возьмите!

Она роется в сумочке — в шапку слепого летят медяки, потом скомканная трехрублевка, потом кружок от театральной вешалки, унесенный по рассеянности.

Облагодетельствовав нищего, Паллада рассеянно озирается. Какая это улица? Который час? Уже пять. Ах, — опоздала! Извозчик! Извозчика как раз нет. Дороги она не знает, в трамвай сесть боится. Сегодня у нее прием, скоро начнут собираться гости, — а даже пtiфуры еще не куплены. Вот, кстати, кондитерская, кажется, приличная. К Балле все равно не поспеть.

Продавщица отвешивает товар, косясь на покупательницу. Фунт сухих, два фруктовых и киевское варенье. Всего — три шестьдесят...

Снова сумочка приходит в движение. Сыплется пудра, проливаются духи. Три шестьдесят. Ах, Боже, — не хватает двугривенного. За извозчика заплатит швейцар — но нельзя же должать в кондитерской. И куда делись деньги — ведь была сдача с десяти рублей. Ну, да — нищий. Он еще не ушел, может быть...

— Подождите, я сейчас, — говорит Паллада продавщице и выбегает на улицу. Где же этот нищий? Ушел? Нет, вот он сидит на прежнем месте. Шурша шелками, она наклоняется к слепому:

— Послушайте... как вас... Нищий! Я только что дала вам много денег. Но я купила печенья, и мне не хватает. Одолжите мне двугривенный до завтра.

* * *

Денег у Паллады мало. Талантов никаких. Воображение воспаленное. Еще в институте прочтенный тайком «Портрет Дориана Грея» решил ее судьбу. Она должна стать лордом Генри в юбке — порочной, блестящей, очаровательной, презирующей «пошлые условности».

К этой цели она и стремилась. Для этого носила ядовитые манто, курила папиросы с опиумом и часто в среду утром — ее приемный день — бежала с последней брошкой в соседний ломбард, чтобы было на что купить портвейна и шерри-бренди для эстетического общества, которое у нее собиралось.

От Загородного, у самого царскосельского вокзала, влево — переулок. Переулок мрачный, грязный. В конце его кривой газовый фонарь освещает вывеску: «Семейные бани». Эстет, впервые удостоенный чести быть приглашенным на пятичасовой чай к Палладе, разыскав дом, увидев фонарь, лоток с мылом и губками, эту надпись «Бани», — сомневается: тут ли?

Сомнения напрасны — именно тут. Самое изысканное, самое эстетическое, самое передовое общество (так, по крайней мере, уверяет хозяйка) собирается именно здесь.

У лорда Генри, конечно, был особняк с цветником из орхидей и шпалеры напудренных лакеев, но это неважно. Смело толкайте стеклянную дверь с матовой надписью «Семейные 40 копеек» и входите. Из подъезда есть дверка во двор, во дворе другой подъезд, довольно чистый, хотя не только без орхидей, но и без швейцара. Подымайтесь на четвертый этаж, звоните.

В половине шестого — в шесть «салон» в разгаре. Хозяйка в ядовитых шелках улыбается с такого же ядовитого дивана. И вся вообще обстановка — ядовитая. Горы искусственных цветов (жи-

вые, увы, не по карману), десятки разноцветных подушек, чучела каких-то зверей, перья каких-то птиц. От запаха духов, папирос, восточного порошка, горящего на особой жаровне, — трудно дышать. И еще эта пестрота стен, ковров, драпировок. И эта пестрота лиц...

Хозяйка «загадочно» улыбается. Она еще молода. Если всмотреться — видишь, что она была бы прямо хорошенькой, если бы одной из тех губок, что продаются у входа, стереть с ее лица эти белила, румяна, мушки, жирные полосы синего карандаша. И еще — если бы она перестала ломаться. Ну, и оделась бы по-человечески.

Конечно, все эти «если бы» — неосуществимы. Отнять у Паллады ее краски, манеры, пестрые тряпки — бесконечное ломанье, что же тогда останется?

Паллада загадочно улыбается. Гости толкуются по двум гостиным — голубой и оранжевой. Гостиных две, всего комнат в квартире три. Пьют чай, стряхивают пепел с египетских папирос, роняют и вбрасывают монокли, чинно улыбаются, изящно кланяются.

Кто они, эти гости?

Ну, как сказать... Дамы по большей части артистки — каких театров, об этом не принято спрашивать. Мужчины? Вот барон Врангель, историк искусства, вот граф Зубов, вот знаменитый пианист. Ну и правоведа, лицеисты разные. Есть и плохо выбритые физиономии, грязные короткие пальцы, исподтишка запикивающие в карман взятую из вазы грушу. Словом — «смешанное общество».

В том, что на одном из таких чаев среди этого «смешанного общества» меня познакомили с М., подпоручиком одного из лучших московских полков, — не было ничего удивительного. Удивило меня другое. Месяца три тому назад я уже видел его в московском «Алтаре», ночном кабаре, и хорошо запомнил его лицо. Такой редкой красоты нельзя было не запомнить. Но тогда на нем были погоны корнета и назывался он князем У.

* * *

— Ах, я так влюблена, так влюблена, — говорит Паллада, которую я спустя полгода опять зашел навестить.

— Что же, в добрый час.

— Ах, нет — в недобрый час. Я знаю. Я все знаю. Он негодяй. Убьет любого за рубль. Может быть, и убивал уже. Он меняет фа-

милии — сегодня князь, гвардеец, завтра сын банкира, послезавтра... Страшная жизнь — мошенничества, грязь, шантажи. Я со стороны слышала такое о нем... Да и сам он не скрывает, говорит: люби меня такого, как я есть.

— И вы любите?

— Безумно. Жить без него не могу. Он мой Дориан Грей, прекрасный принц.

...Еще полгода — газетная заметка: «Покушалась на самоубийство артистка Паллада Б. Причина романтическая». Больничная палата. Бледная, неподкрашенная, на пять лет постаревшая Паллада. Жалкое растерянное лицо, жалкий растерянный лепет.

— Зачем я не умерла? Я так его любила, так... Все прощала ему, все для него забыла. Он знал, что я не шучу, что отравлюсь. Он глядел как каменный: как знаешь, твое дело. И ушел. Из окна ему кричала — даже не обернулся.

...Еще год-полтора. Уже революция. Встреча с Палладой на улице.

— Да, на Украину пробираюсь, оттуда, надеюсь, в Крым, там у меня родственники. Что же мне делать здесь, как жить? Квартиру разграбили. Уезжала в Финляндию полечиться после этой... моей глупости. Вернулась: все пусто, только стул один да ножка от рояля.

— Как же вы поедете одна — теперь это дело сложное.

— Еще бы. Разве бы я могла одна. Нет, не одна еду. Со мной прекрасный принц. Он меня довезет и через границу переправит. Если бы не он...

— Как, этот?.. Но, Паллада, понимаете вы, кому вы доверяете жизнь?

— Кому? Ангелу. Чудному, изумительному человеку. Удивлены? Думаете, с ума сошла? Нет, не сошла — он ангел, ангел. Без него я погибла бы уже. Вернулась из Финляндии, больная, без денег — совсем одна. Он перевез меня к себе, полгода, как за ребенком, за мной ухаживал...

Она раскрывает сумочку, просыпает пудру, проливает духи. Ее подведенные глаза смотрят испуганно.

— Да, да, ангел. И я так за него боюсь — он такой безрассудный. Хочет в Сибирь ехать, устраивать побег государя. Долго ли погибнуть! И подумать, что его я считала негодяем.

Через месяц — открытка от Паллады из Харькова. Здорова, свободна. Если увидите «принца», скажите: на всю жизнь я его неоплатная должника.

«Максим Горький нужен, чтобы мою жизнь описать».

Весна, вечер, 1922 год. Красный отблеск заходящего солнца на небе, на решетке Летнего сада, на скамейке, где я сижу. Из глубины сада музыка, шум, голоса гуляющих. У входа «инвалид гражданской войны», пропуская «граждан» через вертушку-турникет, взимает плату за вход.

Граждане чинно платят, чинно идут по подметенным дорожкам, поглядывая на статуи с отбитыми носами и новенькие таблички: «На траве не лежать, насаждений не портить». Кому же в голову придет лежать на траве? Слава Богу, за эти годы довольно належались, довольно нагляделись всякого беспорядка, да и не такая здесь публика. Так что предупреждение таблички лишнее, но то, что она прибита, приятно радует глаз. Дорожки подметены, музыка играет, инвалид щелкает вертушкой, «На траве не лежать» — тишина, спокойствие, порядок... Приятно. После пяти лет хаоса — почти блаженно...

«Максим Горький нужен, чтобы мою жизнь описать».

Это говорит «прекрасный принц». Он сидит рядом со мной на скамейке. Проходил мимо, узнал, звякнул шпорами, подсел.

— У Паллады встречались... Должно быть, забыли? Помните? Ну — очень рад. Не грех и забыть — много воды утекло.

И — щелкая портсигаром:

— Папироску не угодно ли? Хороший табак — не то что на улице. Один товарищ из ГПУ подарил. Буржуйские папиросы — класс.

Он затягивается папиросой и кашляет мелким сухим кашлем.

— Я сам служил в ГПУ. Что? Морщитесь? Не по вкусу? Жалете, что заговорили? Что ж — на всех не потрафишь. Служил, откровенно говорю. На польской границе. Эх, — широкая была жизнь. Мне все равно где — лишь бы широкая жизнь. Неудача — пришлось смыться — едва не расстреляли. Под судом теперь.

Я смотрю на него. Так вот где — в ГПУ? Что ж — остался, чем был. И с виду такой же.

Так же ловко пригнана шинель. Так же, чуть на боку, фуражка «кавалерийского образца». И глаза те же — детские и наглые. Но щеки впалые, под глазами тени, румянец какой-то странный.

Точно отвечая на мою мысль, он поясняет:

— Это даже кстати, что под судом. Отдохну в Питере, подлечусь. На границе у нас жизнь — ну прямо сумасшедшая. Какое

там лечение. У меня, между прочим, туберкулез. В Гражданской войне нажил вместе с орденом Красного Знамени.

— За что же вы под судом?

— Так. Пустое дело. Эх, такие ли были у меня дела, а цел выхолил. Да, жизнь... Максим Горький тут нужен, чтобы описать, не меньше... Впрочем, если бы время, — сам описал бы. Что? Думаете, таланту не хватит? Хватит, и не на такое хватало. Да и какой талант для этого? Пиши все как было, и весь секрет. Знаете, что главное? Главное — не стесняться. Дорогие читатели, я, мол, такой-то, сын профессора, офицер царской армии, адъютант батьки Булака, кавалер Красного Знамени, комендант ГПУ и прочая, и прочая, заранее рекомендую: вор, подлец, прохвост. Это главное. Тогда и у меня руки развязаны, и читателю ясно. Нечистоту. Тут и без таланту можно написать так, что Толстого за пояс заткнешь.

Он опять затягивается папиросой и снова мелко, сухо закашливается.

— Как же вы все-таки в ГПУ оказались?

— Как? А просто. В восемнадцатом году наш батька под Стругами Белыми стоял. С красным отрядом. Переход к белым — это у нас было решено. Ждали случая, ну, а пока ничего, жили. Мужичье у нас по струнке ходило, чуть что — к стенке. Если из центра какие запросы — ответ один: умирняем контрреволюционные вспышки. Скоро мужичье жаловаться перестало, видят, только хуже. Ничего жили. Вот в августе узнаю: через неделю перекидываемся. Ладно, думаю, попьем польской водки. Отпросился в Питер на день, все-таки родной город, и девчонка у меня там была одна... Хорошо — еду. Трясет меня поезд, лежу на диване, и приходит мне в голову идея. Очень простая. Что в Польше нас ждет, еще неизвестно. Может, набьют нам всем морду и посадят в лагерь... А вот если по-другому сделать, то, как в газетах пишут, «ситуация ясная». Если я пойду куда надо да батьку выдам, что мне за это будет? Не меньше, как полк дадут, а то и дивизию.

— И выдали?

— Сапогом сыграл, опоздал. Марафет подвел, то есть кокаин... Приехал в Питер. Мне бы прямо в Чека. Желая видеть председателя. Так, мол, и так, по чувству революционного долга сообщаю о замышляющей измене, и дело в шляпе. Нет, черт попутал, — поехал в «Кавказский погреб». Ну вино, марафет, девчонка одна. Деньги у меня были — пошло дело. Через двое суток продираю глаза, беру «Правду». Жирными буквами: «Измена Булака». Эта-

кое невезение! Теперь не то что отличиться — шкуру свою надо спасать — ведь батька изменник, а я его адъютант. А мог бы дивизию заработать. Не повезло. Ничего. Вымазал рожу, порвал гимнастерку, явился в Чека. «Бежал с опасностью для жизни». Поварили.

Он опять курит, опять мелко закашливается.

— Ну, мне пора. И так надоел, должно быть. Руки не протягиваю, не беспокойтесь. Честь имею.

— Пойдите, — говорю я. — У меня есть к вам поручение. От Паллады. Она мне писала из Харькова, просила передать, что на всю жизнь вам благодарна. Поручение давнее, но мне кажется, передать его как раз кстати после... вашего рассказа.

Он вдруг краснеет.

— Это вы оставьте. Кстати? То есть, мол, подлец, а способен на жалость? Значит, не такой уж подлец! Ровно ничего не значит, уверяю вас. Вот меня из ГПУ выставили за то же: пропустил какую-то старуху, вроде Паллады, через границу. Привели ко мне, плачет, сапоги целует, двое ребят тут же... И влип через это в глупое дело — сам едва под расстрел не угодил. Ну что же? Одну пожалел, скольких не пожалел, это вы считали? Так что... — он щелкнул шпорами. — Счастливо оставаться.

<1933>

Десять лет тому назад — осенью 1922 года — я в течение месяца трудился, как каторжник, над переводом «Орлеанской девственницы» Вольтера. В день я переводил до полутора ста строк добротным пятистопным ямбом, избегая неполных рифм и не позволяя себе никаких неточностей. Как-никак я продолжал дело, начатое Пушкиным. Первые двадцать строк этой поэмы, столь же блестящей, сколько кощунственной и неприличной, переведены им. При большевиках, по заказу Горького, за «Орлеанскую девственницу» взялся Гумилев. После смерти Гумилева работа перешла ко мне. Целый клад: двадцать одна песня, четыреста страниц убористой печати, не считая вариантов. Горьковская «Всемирная литература» оплачивала (и довольно щедро) рукопись по представлению, не стесняясь размерами: пять строк так пять, десять тысяч так десять тысяч. Одна знаменитая седая переводчица сдала таким образом и получила гонорар за Евангелие от Марка, от Луки, от Матфея. Она собиралась перейти на Апокалипсис, когда случайно кто-то ее поймал. На недоуменный вопрос редакции о том, «как это называется», она хладнокровно ответила: «Меня ограбили, и я граблю, где могу». Тогда еще можно было безнаказанно так отвечать.

Я работал над «Орлеанской девственницей» добросовестно и не жалею об этом. Каким-то чудом книга теперь вышла в Москве. Издана она замечательно. Я с удовольствием просмотрел свой перевод, великолепные рисунки, шрифты и бумагу в собрании одного парижского библиофила. Купить мне ее не пришлось. Стоит она что-то около семидесяти латов — цена, может быть, весьма сходная по советским понятиям, но по моим — несколько дорогая.

Итак, десять лет тому назад, в это же приблизительно осеннее время, я переводил Вольтера стихами, я очень усердно переводил. На гонорар за «Девственницу» я решил уехать за границу.

Уезжать была самая пора. Был «нэп», и возможность уехать легально, до тех пор вполне «академическая», стала если не легкой, то осуществимой. Год тому назад Блок погиб, потому что разрешение на выезд в финскую санаторию все задерживалось и задержива-

лось, несмотря на хлопоты очень влиятельных лиц. То же было с Чеботаревской, женой Сологуба. Ожидая в течение многих месяцев обещанного заграничного паспорта, переходя от отчаяния к надежде, — она наконец не выдержала и в неврастеническом припадке бросилась с Николаевского моста в Неву. Процедура выезда из СССР и теперь осталась та же. Те же анкеты, поручительства, прошения, гербовые марки, справки, свидетельства, — но протекало все это много быстрее и, главное, если не всегда, то довольно часто приводило к желанному результату. Не было и особого риска, как это случалось до «нэпа», — в ответ на прошение о выезде оказаться в концлагере за контрреволюцию.

* * *

Я решил уезжать и для этого бился над «Орлеанской девственницей», которая, кстати, хоть и написана двести лет назад, ничуть не уступает, порой и превосходит откровенностью и реализмом красок прославленную «Леди Чаттерлей». Неверно было бы думать, что, сколачивая капитал на отъезд, я не готовился к самому отъезду. План задуманного мной «побега» в том и заключался, чтобы все части механизма, с помощью которого я собирался покинуть пределы СССР, были хорошо подогнаны друг к другу. Чтобы не очутиться с деньгами на руках, но без паспорта, или с паспортом, но без денег, или, имея их, задержаться (рискуя, что отберут и то и другое) по какой-нибудь второстепенной причине — отсутствия визы, места на пароходе и т.д. Все это требовало массы хлопот. Не раз надежда уехать от меня ускользала. Не раз — человек слаб — я думал: а не послать ли все это к черту и не закупить ли на гонорар за Вольтера дров на зиму, муки, чтобы печь олады, и какой-нибудь «шикарный» костюм, последний крик мастерских «Петроодежды». Если я не поступил именно так, то совсем не благодаря моей энергии и распорядительности, а только потому, что первый раз в жизни мне, как говорят в Одессе, «определенно везло».

* * *

Командировку, по которой я уехал, мне дал некто Пиотровский. Ему было двадцать два года, он заведовал художественным отделом Политпросвета. Побочный сын прославленного ученого, эллинист, поэт, мечтатель и... человек, не отличающийся особым умом. Он умер недавно, поэтому я и называю его имя без опаски навлечь на него неудовольствие предрержащих властей. Пиотровского я хорошо знал. Он был коммунист идейнейший и убежден-

ный. В марксистскую доктрину он верил со всем жаром своей молодости, восторженности и... глуповатости. Он был, в общем, славный мальчик, из той породы, что пороха никак не выдумают, но «за идею» с улыбкой пойдут на расстрел. Он бредил мировой революцией и знал наизусть всего Теофиля Готье, занимал солидный комиссарский пост и не имел теплого пальто. Я искренне пожалел о нем, услышав, что он умер.

— Я знаю, что вы не вернетесь, — со вздохом говорил Пиотровский, ставя свою подпись на командировке, отправляющей меня в Берлин для... составления репертуара государственных театров. — Я знаю, что вы останетесь за границей.

И в глазах его, красивых детских глазах, была настоящая тоска. Ужасно не хотелось ему эту командировку подписывать. Но не подписать он не мог. При всей своей революционности он писал плохие стихи «гумилевской школы», состоял в «Цехе поэтов» и в поэтическом плане ощущал меня своим непосредственным «начальством». Кроме подписи Пиотровского нужна была еще подпись чекистки Яковлевой — ока ГПУ в Политпросвете. Яковлева подпись дала. Главное было сделано. Торжествуя, я сам понес документ на два этажа ниже в секретариат «товарища Невского». Требовалась его пометка, но я знал, что после подписи Яковлевой дается она механически. «Половина второго... Через полчаса я могу поспеть в Смольный, заполню там анкету. Через неделю-полторы у меня будет паспорт».

Сухопарая коммунистка, секретарша Невского, взяла бумагу и понесла своему патрону. Я присел на стул. «Сегодня уже в Смольный... Анкету... Через неделю паспорт... Через две...»

Одним словом, ожидая, пока секретарша вернется, я замечтался слегка. Вскоре та же сухопарая девица вернула меня к действительности. Она стояла надо мной. Лицо ее было невозмутимо. Она протянула мне мою командировку. Огромная свежепромокнутая лиловая клякса, вернее, лужа перерезала ее из угла в угол весьма живописно. Пониже виднелось несколько лиловых же отпечатков чьих-то толстых пальцев.

— Товарищ Невский разлил чернила, подписывая вашу командировку. Так в Смольном не примут. Пусть в художественном отделе перепишут наново.

Я вернулся в художественный отдел. Еще жалобней взглянув на меня, Пиотровский со вздохом велел переписать, со вздохом подписался, со вздохом направился опять к Яковлевой. Когда он вернулся, на его лице было совсем новое выражение — странная смесь недоумения и торжества.

— Вот, — сказал он, отдавая мне обе бумаги. — Вот. Ничего не могу сделать. Товарищ Яковлева не хочет подписывать второй раз. Она сказала... У нее нет времени. Она уехала. Вот.

Он смотрел растерянно и торжествующе. Он был, повторяю, славным человеком и, вероятно, жалел меня, видя, как я огорчен. Но сознание, что грех дутой командировки подозрительному элементу снят с него, было ему явно приятно. Он бормотал что-то, что это не отказ, что можно обратиться в коллегия, что коллегия обсудит... Я его не слушал. С бланками в руках — только случайно я их не бросил — я стал спускаться по лестнице. Дело провалилось. Надо все начинать сначала. И стоит ли начинать?

На площадке того этажа, где помещался секретариат Невского, я столкнулся с сухопарой коммунисткой.

— Это вы, товарищ? — обратилась ко мне она. — Переписали уже? Нет? Ну, все равно. Давайте сюда ваше отношение. Порядок изменен — только что телефонировали. Давайте вашу бумагу — я вам выдам ордер.

Я через шесть дней имел на руках паспорт и через десять — уехал. Ни Пиотровский, ни Яковлева ни о чем не знали. Рисковал я, вероятно, немалым. Но как не сказать, что мне «определенно везло».

* * *

Не скрою — эти несколько дней до отъезда я провел довольно спокойно. Правда, перед тем как сдать все документы на окончательное утверждение в Смольный и, следовательно, «сжечь мосты», я посоветовался с одним многоопытным и искушенным в советских порядках человеком, и человек этот меня успокоил — правильность полученного мной «облыжно» ордера вряд ли будет проверяться. «Только уезжайте поскорее». Но еще одно обстоятельство — уже после того, как мосты были сожжены, — ввергло меня в тревогу. За мной стал ходить сыщик.

Выходя из дому или возвращаясь, я его, правда, никогда не встречал. Но стоило мне прийти в германское посольство за визой — на улице я сталкивался с ним, стоило мне обратиться за справкой в пароходное общество — он оказывался в приемной. Он не хлопотал о визе и не брал билетов — он следил за мной, это было ясно. На нем было классическое гороховое пальто, подлая жидкая бороденка, и глаза его неприятно бегали, встречаясь с моими глазами. Он попадался мне буквально каждый раз — это не могло быть случайным. За два дня до назначенного отъезда я отправился на «черную биржу» в кафе Андреева, чтобы раздобыть валюту. Мой

незнакомец был тут. Он не покупал ни марок, ни долларов. Он сидел в углу и пил кофе с независимым и скучающим видом.

Он испортил мне много крови, этот человек... Все небо над Кронштадтом было серебряно-огненно-синим. Развалины на ржавых якорях, бывшие когда-то балтийским флотом, беспомощно и грозно чернели на рейде. Последний агент ГПУ, сопровождавший пароход до выхода в море, взяв под козырек, ловко соскочил в каютер. Взвилась железная штора над будкой с коньяком, пивом и немецкими папиросами — в знак того, что Россия осталась позади и мы в Германии... Пассажиры затолпились вокруг этой будки. Подошел и я. Вдруг неизвестно откуда вынырнули на меня гороховое пальто, дрянная борода, бегающие белесые глаза. Я отшатнулся.

— Позвольте представиться, — сказал он. — Миллер, кандидат прав. Тоже изволите ехать... Очень приятно. А я, признаться...

За рюмками скверного «вейнбрандта» мы тут же объяснились. Оказалось, я тоже испортил ему немало крови. Он тоже с трепетом видел меня всюду, где приходилось ему бывать по делам, связанным с отъездом. Он тоже принимал меня за сыщика. И только увидев меня, подходившего к пароходу в сопровождении М.В.Добужинского, он убедился, что ошибся в своих страхах. Он знал Добужинского в лицо и вполне резонно заключил, что знаменитый художник, случайно встретившийся мне и пошедший меня проводить, вряд ли будет дружески прощаться с сыщиком и желать ему счастливого пути.

* * *

Кандидат прав оказался приятным человеком, даже бородачка его была при ближайшем рассмотрении совсем не такой дрянной. Со скуки мы подружились — он даже перебрался в мою каюту, благо места на пароходе было достаточно. Это был никуда не годный парходишко, звали его «Карбо II». Достаточно сказать, что до Штеттина он плыл пять дней, а на обратном пути пошел ко дну. Качало нас страшно. Однажды ночью тяжелый сундук кандидата прав от качки переместился и загромоздил дверь. Мы проснулись утром наглухо закупоренные. В то утро качка была особенно сильна, нас, несмотря на малую чувствительность к морской болезни, мутило, воспоминание о том, как мы, превозмогая тошноту, оттягивали проклятый сундук от двери, а он все скользил обратно, не принадлежит к числу приятных. Да и помимо качки ничего приятного в этом путешествии не было. Никакого чувства освобождения, легкости, радости. Даже наоборот. Конечно, теперь я курил папиросы с золотым мундштуком вместо махорки, конечно, я был свободен,

конечно, я ехал в Берлин, в Париж, где я мог делать, что хочу, где никто не мог меня вдруг арестовать, сослать, расстрелять. Все это было так. Но сознание это было каким-то бесцветным, отвлеченным, бесплотным, не имеющим цены. Реальными были резкий ветер, мокрая палуба, хмурые волны да еще тревожный вопрос: неужели Россия потеряна для меня навсегда?

Кандидат прав не разделял моего настроения. Он веселился от души. Он ехал к жене, с которой не виделся пять лет, и ехал не предупредив, сюрпризом. «Пошлите радио», — советовал я ему, но он стоял на своем. Единственное, что его смущало, — это как попадет он ночью домой — он наслышался уже о знаменитых берлинских подъездах, превращающихся ночью в крепости, а штеттинский поезд приходил в Берлин что-то довольно поздно.

Кандидат прав уговорил меня ехать прямо с вокзала к нему. «Жена нас накормит чем-нибудь, а потом вместе найдем вам гостиницу». Я не знал в Берлине никого и ничего и согласился.

Квартира мадам Миллер оказалась довольно нарядным отелем. Ключа не потребовалось — двери были широко распахнуты и освещены. Пир горой стоял в комнате супруги кандидата прав, когда мы вошли. Было человек восемь молодых людей — каждый из них был решительно лучше моего кандидата прав. Две-три подружки хозяйки не оставляли сомнений в том, что подруг своих она выбирает не из чопорной буржуазной среды. Стол был уставлен бутылками, балалайки лихо соперничали с граммофоном. Жена кандидата прав, красивая полная дама, сперва ахнула, увидев нас, потом смущенно захохотала, потом заплакала: она была сильно навеселе. Все это мало соответствовало и приему, на который мы рассчитывали, и тому, что рассказывал мне кандидат прав о скромной трудовой жизни его «голубки» в «тихой квартирке». Я искоса взглянул на него. Лицо у него было кривое, жалкое, бороденка распушилась как-то дико...

Шумные гости, узнав, в чем дело, стали необыкновенно церемонными, начали шаркать, кланяться и ссылаться на неотложные дела. Воцарилась мертвая тишина. Потом кто-то предложил чокнуться по поводу счастливого события. Так в тишине и чокнулись. Я тоже выпил рюмку какого-то фиолетового ликера и, поперхнувшись им, поспешил откланяться. Подобрав в прихожей свой чемодан, я пошел по сияющей светом и оживлением Фридрихштрассе к стоянке такси. Несмотря на то что прошло уже много часов, как я сошел на твердую землю, ноги мои ступали как-то нетвердо.

По Европе

на автомобиле

Случай пересечь пол-Европы на автомобиле представляется не часто в эмигрантском быту. Мне в этом смысле повезло. Из Риги в Париж я приехал на 20-сильной американской машине. Путешествие длилось девять дней. Долгие остановки в пути покрывались быстрой — на хороших дорогах до 120 километров в час — ездой. Повезло мне еще и потому, что эта поездка состоялась именно теперь: главная часть пути лежит, как известно, через Германию.

* * *

Кресты братских кладбищ. Лес, исковерканный орудийным огнем. Остатки окопов, клочья колючей проволоки, стены сожженных фольварков. Призраки войны все еще сторожат большую литовскую дорогу. Усилия людей и природы за 15 лет все еще не уничтожили их. Да и там, где следы войны внешне стерты, продолжает веять ее ледяная тень.

Митава. Ныне тихая латвийская провинция, в прошлом столица герцогства Курляндского. Неподалеку вниз по течению реки Аа стояла когда-то небольшая мыза Кальнецем. Ее арендовал мелкопоместный дворянин фон Бюрен. У арендатора этого был сын, звали его Эрнст Иоганн.

Эрнст Иоганн фон Бюрен (впоследствии его фамилия стала писаться иначе: Бирон) приезжал иногда в Митаву верхом или на отцовской двуколке. Дорога из мызы в город лежала по берегу реки мимо древнего Комтурского замка, резиденции рода Кетлеров, герцогов Курляндии. В Митаве у Эрнста Иоганна водились друзья среди разночинцев и купцов. Надменная курляндская знать ни его, ни его отца в свой круг не пускала: не говоря уже о бедности Бюренов, самая их принадлежность к дворянству вызывала сомнения. С завистью молодой фон Бюрен смотрел на своих знатных и богатых сверстников, перед которыми распахивались ворота герцогского замка, для него навсегда закрытые.

Впрочем, не всегда. Когда Бирон в 1737 году был провозглашен, повелением Анны Иоанновны, великим герцогом Курляндским, —

он один-единственный раз в эти ворота вошел. Ему хотелось лично убедиться, что в подвалах расставлено достаточно дубовых, окованных железом бочонков и что порох в них не отсырел. Потом Бирон со свитой взобрался на пригорок на противоположном берегу реки. Герольды затрубили в трубы. Войска взяли на караул. Новый великий герцог не спеша вынул из кармана платок и высоко им взмахнул. Взрыв был так силен, что окна полопались в половине литовских домов. Для неслыханной по великолепию резиденции, которую задумал строить Бирон, было очищено место.

Строитель ее был уже намечен заранее: граф Боржилижес Растрелли, «Варфоломей Варфоломеевич», как любил он сам себя называть, еще молодой, но уже прославленный строитель Зимнего дворца.

Митавский и Руэнтальский замки, возведенные по прихоти Бирона, — одни из ранних созданий Растрелли. Они начаты незадолго до смерти императрицы Анны и ссылки Бирона в Пелым и стоят неоконченными 21 год — вплоть до восшествия на престол Екатерины. Пока звезда временщика гаснет в мрачном ущербе — все выше всходит слава гениального строителя. Зимний, Аничков, Петергофский, Царскосельский дворцы, Александрийский театр, Смольный, дом Строгановых, Пажеский корпус, Владимирский собор — все это — в одном только Петербурге и его окрестностях — создано Растрелли, когда шестидесятичетырехлетним стариком он возвращается в Митаву к своим неоконченным творениям. Бирон — дряхлый, больной, изголодавшийся по роскоши и власти, лихорадочно торопит архитектора. Ему мало почти готового Руэнтальского дворца, он хочет как можно скорее торжественно вступить в главный, Митавский. Даром, что ли, он взрывал резиденцию прежних герцогов, даром тратил без счета золото русской казны? Но Митавский дворец простоял без крыши и без стен с лишком двадцать лет, и хотя триста рабочих работают на постройке день и ночь — Бирону придется еще долго ждать — ждать почти до самой смерти. Только шесть месяцев проживет он во дворце, в котором как бы воплотились все его ненасытное честолюбие, вся его непомерная гордыня. И Растрелли не суждено увидеть свое творение завершенным: незадолго до окончания работ умрет его жена, и великий артист, бросив все, уедет в Италию.

Митавский замок не уцелел во время войны (там одно время жил Вильгельм и из кабинета Бирона по прямому проводу разговаривал с Берлином) — был сожжен войсками Бермонта-Авалова, хлопнувшими дверью, отступая. Дверь хлопнула громко: имя Бермонта до сих пор произносится в Латвии с ненавистью. Дело, конечно, не в одном Митавском замке: взрыв пироксилиновых шашек, превративший

в ноябре 1919 года великолепный дворец в пылающие развалины, только эффектный росчерк в конце длинного «списка благодетелей» этого современного конквистадора, полугрузина-полунемца.

Теперь Митавский дворец реставрируется латвийским правительством. От потомков Бирона, князей Саган, и из Венского музея Альбертини раздобыты подлинные чертежи Растрелли. У зияющих пустыми окнами классически прекрасных стен возьятся рабочие, навалены кирпичи, бревна, известка. Восстанавливается и разоренный Руэнтальский замок.

Заглядываю за решетку углового окна подвального этажа. Низкая сводчатая комната пуста. Но еще месяц тому назад здесь стоял литой почерневший гроб с прахом великого герцога Курляндского. Наконец-то он предан земле. Вечного упокоения Бирону пришлось тоже долго ждать. С 1825 года во дворце поселяется курляндский губернатор, и гроб Бирона по «хозяйственным соображениям» переносят из усыпальницы в... кладовую. Там труп временщика пролежал среди разного хлама почти сто лет — даже не закрытый крышкой. От большевистского владычества сохранилась фотография — набальзамированная, высохшая кукла Бирона стоит во весь рост у стены: на голове немецкая каска, в провале рта — трубка, по бокам два хохочущих красноармейца. Когда Бермонт жег Митаву, тело Бирона валялось на обледеневшей земле перед пылавшим дворцом. Потом его подобрали и снова водворили в кладовую. И только теперь, в 1933 году, серебряный вычурный гроб рококо зарыт в землю на обывательском кладбище и над ним поставлен простой деревянный крест.

* * *

Литва. Ночевка нам предстоит в Шавлях.

Въехав в Шавли, мы обратились к полицейскому, только чтобы узнать дорогу: «Скажите, где здесь гостиница...» — «“Берлин”?» — перебил он, как человек, хорошо знающий, какая единственная гостиница может удовлетворить изысканные вкусы туристов, приехавших осмотреть достопримечательности Шавель на собственном автомобиле.

«Отель-ресторан Берлин». Вывеска с этими словами была освещена тремя зелеными лампочками сверху и одной розовой снизу. Прежде чем попасть в коридор, где расположены номера, надо сперва подняться на несколько ступенек, потом спуститься на несколько, перешагнуть через какую-то неопределенную выпуклость на полу и еще куда-то подняться. Коридор выкрашен небесно-голубой краской, номера — пунцовой. В номерах огромные окна, необыкновенной высоты потолки, давно не виданный умывальник с мрамор-

ной доской и педалью, олеографии «Бабушка с внучкой» и «Замок в Шотландии» и запах, тот особенный запах, которым от века пахли гостиницы в русских уездных городах, запах, которого нельзя ни проветрить, ни заглушить, который, должно быть, как бы ни летело время и ни менялась карта мира, незыблем, вечен, неистребим.

— Чичас, — сказал веснушчатый коридорный, когда мы потребовали воды в умывальник, и пропал.

— Чичас, — повторил он, просунув лохматую голову в дверь, когда, потеряв терпение, мы снова позвонили, и действительно не обманул — еще через четверть часа принес воды. — Холодно, нельзя ли натопить? — Можно. Чичас. — Он вернулся с дровами и стал их накладывать в печку. — Угар будет, — сказал он задумчиво, уже достав спички, чтобы поджечь растопку. — Такая проклятая печка — закрывай трубу, не закрывай, все равно будет угар. Лучше я перины вам принесу. — А других номеров, где хорошие печки, нет? — Есть и с хорошими: пятый номер, седьмой номер. — Ну? — Заняты чичас эти номера, там господа футболисты стоят. — А остальные? — Остальные все как эта — только затопи — чичас угар.

— А что вы желаете? — с акцентом истинной гражданки Шавель ответила миловидная девица, сидевшая в ресторане за пустой стойкой между двумя пальмами в кадках.

— А что у вас есть? — А что вы желаете? — Да что же у вас есть? — Закуска. — А еще что? — Закуска: огурцы, шпроты, кильки. — А горячее есть что-нибудь? — Горячее? — Она удивилась. — Горячее будет в восемь часов: сосиски. — Почему же только в восемь? — Потому что сосиски из Ковно, в половине восьмого поезд придет. — Ну а будет к сосискам что-нибудь еще, гарнир какой-нибудь? — А что вы желаете? — А что у вас есть? — Огурцы есть. — Она помолчала. — Чай есть. Халла скоро будет.

Ожидая сосисок из Ковно, я пошел пройтись. Была суббота. Сплошная густая толпа медленно двигалась по правой стороне главной улицы Шавель. Я вспомнил, как за несколько дней до объявления войны я так же гулял в субботний день в таком же еврейско-литовском городке Лиде. Ничего не переменялось с тех пор. И тот же прозрачный серо-синий с розоватым отливом воздух обнимает все это.

«Особенный еврейско-русский воздух».

Ничего не переменялось. Даже предчувствие новых несчастий, испытаний и гроз, смутно веющее в этих мирных сумерках, осталось тем же.

Спать, несмотря на перины, было отчаянно холодно: перины были узкие, сверху грело, с боков надувало. Вскоре начали давать

о себе знать занимавшие номера с исправными печками «господа футболисты». Они праздновали только что забитые кому-то голы. Часа в два ночи явилась полиция их усмирять. Едва утихли футболисты, огромные, завешанные только жидкими гардинами окна начали стремительно светлеть. Скоро солнце заливало всю комнату. Дрожа от холода, я спустился в ресторан и заказал себе кофе. «Чичас», — ответил лохматый коридорный, дремавший за стойкой на месте вчерашней девицы.

* * *

Неман отделяет Литву от Германии. Литовский пограничник бегло просматривает наши паспорта, берет под козырек, и мы медленно движемся по широкому мосту на немецкую сторону, в Тильзит.

Бесчисленные красные флаги развеваются на ветру. Они всех размеров — от маленького до колоссального. Они всюду: на домах, на фонарных столбах, на трамваях, на автомобилях, над головами марширующих, как на параде, школьников, отправляющихся на воскресную экскурсию. Сотни, тысячи флагов. На их кумачово-красном фоне чернеют крючки свастики.

Множество флагов. Множество людей в рыже-желтой форме с красной повязкой на рукаве. Звуки военной музыки, слышащейся одновременно с разных сторон города. Сухая барабанная дробь. Таможенный чиновник, поднимающий правую руку: «Гейль!» «Новая Германия».

Чтобы размять ноги, делаю несколько шагов по прилегающей к таможене улице. Бросается в глаза нечто, до сих пор мною не виданное.

Витрина писчебумажного магазина. Среди портретов вождей на фоне красного флага разложены сияющие новенькой золингенской сталью кинжалы. Кинжалы очень внушительные — раза в два длиннее и шире среднего финского ножа. Крестообразная, как у кортика, рукоять. На широком обоюдоостром лезвии выгравировано: «Ehre und Blut» — «Честь и кровь». Тут же пояснительная надпись: «Дорожные ножи для гитлеровского юношества».

II

В Кенигсберге автомобильное путешествие «по независимым обстоятельствам» прерывается. Прерывается для меня одного. У спутников моих латвийские паспорта, у меня — нансеновский. И чтобы

получить транзитную визу через польский коридор с документами, где сказано «d'origine russe, n'avant acquis aucune autre nationalite»¹, необходимо запрашивать Варшаву. Ответ получается недель через 6, и вовсе не обязательно, что он будет благоприятным. Короче говоря, мне предстоит проехать «коридор» в поезде (где виз не требуется, просто наглухо закрываются вагоны), выйти в пограничном Шнейдемюле и там ждать автомобиль. Автомобиль, «по самому точному расчету», — должен прибыть в 12—1 час дня.

Маленькая заминка получается в вопросе, как же нам все-таки в Шнейдемюле встретиться. В кенигсбергском «Reisebureau»² не знают названия ни одного шнейдемюльского отеля. Зато дают самые успокоительные сведения насчет географии этого никому из нас не известного города. Городок небольшой, перед вокзалом — площадь, на ней и расположены все местные гост-хаузы³. Я беру комнату в любом из этих отелей и, утомленный ночной поездкой, сплю подольше. В 12—1 дня — по точному расчету — наш «штутц» появляется на вокзальной площади и дает гудки под самыми моими окнами. Я открываю окно и машу рукой: — Господа, я тут! — Ясно и просто.

* * *

Пять часов утомительной тряски. Станции с польскими названиями, высокие решетки между путями (запертый на ключ нансенист может ведь вылезть в окно), пустые платформы, освещенные ярким, мертвящим светом. Наконец огромные черные буквы на белом фоне: Шнейдемюле.

Выходя из вагона, уже представляю себе как живую тихую вокзальную площадь с уютными провинциальными гост-хаузами, которую так услужливо описал мне красноречивый агент кенигсбергского «Reisebureau». «Eingang»⁴. Значит, сюда.

Подъем. Спуск. Ослепительно освещенная подземная галерея. Новый подъем, новый спуск. Наконец я выбираюсь из огромного вокзала. Ночь. Какие-то деревья. Ни одного огня, ни одного дома. Озираюсь, чтобы спросить, где же тут гостиницы. Спросить некого. Разведка в пустоту и ночь не приводит ни к чему. За деревьями другие деревья, потом узкая улочка, совершенно темная. Одноэтажные домишки, погруженные в глубокий сон, несколько отелей не напо-

¹ «Русского происхождения, не имеет никакой другой национальности» (фр.).

² «Экскурсионном бюро» (нем.).

³ Гостиницы (нем.).

⁴ «Вход» (нем.).

минают. Рука натывается в темноте на скользкие, холодные перила, под ногами вырастают гулкие железные ступени, вода шумно бежит вниз. Осторожно, ощупью, перехожу мост, висящий над черной пустотой. Но и за мостом все те же деревья, закрытые ставни, тьма.

Смущенный, возвращаюсь на вокзал. Он по-прежнему ослепительно освещен и совершенно пуст. А, вот что! На противоположном конце другая надпись «Eingang». Значит, я не туда пошел. Вот она где, моя заветная площадь. Иду. Подъем. Подземная галерея. Опять подъем. С надеждой раскрываю дверь. Деревья, пустота, ночь, ни одного фонаря. Здесь даже и домишек никаких нет.

Какой-то немец за марку довел меня до гостиницы. Шли мы минут пятнадцать. Это, как я увидел утром, был ближайший отель от станции.

* * *

Точный расчет моих спутников, основанный на автомобильном гиде, оказался таким же точным, как справка «Reisebureau». Целые сутки провел я в Шнейдемюле, их поджидая.

Здесь коричневые формы мелькают чаще. «Гейль!» — слышится на каждом шагу. В центре Германии, особенно в Берлине, поворот чувствуется слабей, чем вот в таких провинциальных городках. Здесь каждая мелочь кричит о восторжествовавшем национал-социализме. И нигде ни на минуту нельзя о нем забыть.

В цветочном магазине горшки азалий уставлены в виде свастики. В игрушечном — амуниция для крошечных гитлеровцев с красной повязкой на рукавах. В витринах книжных лавок Гитлер, Геринг, Геббельс и рядом с ними старый знакомый по «Ниве» Ганс Гейнс Эверс, автор «страшных новелл». Теперь Ганс Гейнс Эверс написал патриотический роман из жизни Хорста Весселя. Роман, очевидно, высоко ценимый, нет такого киоска в Германии, где бы ни маячила его обложка: шесть оплывающих красных свечей на угольно-черном фоне.

Флаги, портреты вождей, красные повязки. Великолепный голос Геринга, оглушительно чеканящий в радио какие-то национал-социалистические формулы, непрерывно поднимаемые для фашистского привета руки — все это придает улицам приподнятый, необычный вид. Кажется, что попал на какое-то военное торжество. С мыслью, что это ничуть не праздник, а самые обыкновенные нынешние будни, свыкнуться на первых порах трудно.

Зашел позавтракать в первый попавшийся «паценгофер» и оказался совсем уже будто в казарме ударников. Не преувеличиваю: есть приходилось левой рукой, правая почти непрерывно была за-

нята. Ресторанчик был оживленный, посетители то и дело приходили и уходили. Каждый кричал «гейль!», и все окружающие, как по команде, отвечали «гейль!» и подымали руку.

Я выбрал среднее — руку подымал, но молча. Ничего. Никто мне не сделал замечания, никто вообще не обратил как будто внимания на меня. Впрочем, как выяснилось потом, в последнем я ошибался.

Лучшего места, чтобы понаблюдать нынешних хозяев Германии в повседневной жизни, нечего было и искать. Десятки ударников сидели кругом, толкались у стойки, чокались пивом, шутили и перепричитывались. Первое, что бросается в глаза, — их крайняя молодость. Все зеленые юнцы, почти подростки. Более взрослые в их среде сразу выделяются, как выделяется в толпе мальчишек борода-тый скаут или гимназист. Все щеголеваты, ловки, чисто одеты. С посторонними вежливы с оттенком покровительства, между собой — вымуштрованы по-военному, с каким-то еле уловимым налетом распушенности. Если подыскивать сравнение из богатого реквизита российского прошлого, вспоминаются тыловые прапорщики конца войны, те, что после становились, смотря по обстоятельствам, кто комиссаром, кто налетчиком. Ни на красноармейцев, бравших Зимний дворец, ни на юнкеров, его защищавших, гитлеровские ударники решительно непохожи — другая человеческая «тональность».

В общем, если наблюдать со стороны, «славные молодые люди»: умеренно шутят, чокаются пивом и не позволяют себе лишнего. Впечатление такое, что мера произвола, на который они способны, как раз та, которая разрешена и одобрена начальством. Ни меньше, ни больше. Тоже иная тональность, по сравнению с русскими примерами. Трудно судить, которая «лучше».

* * *

...До того, как он подошел ко мне и заговорил — это было под вечер в садике против почтамта, — я уже мельком видел этого человека на улице и обратил на него внимание. Что-то странное было в его фигуре. Какой-то отпечаток заброшенности, одичания, неустройства. Так выглядит путешественник, прошедший ночь в вагоне. Хорошо одет, но полы добротного костюма помяты, новенькая фетровая шляпа запылилась, комфортабельные коричневые башмаки нечищены. Побриться тоже, по-видимому, не пришлось. Впрочем, в его крупной фигуре, в солидном, слегка одуловатом лице, кроме внешней помятости, сквозила еще внутренняя усталость, какое-то тяжелое, безразличное уныние.

Когда он подсел, я читал русскую газету.

— Russe?¹ — спросил он тихо, косясь то на меня, то в сторону. И еще тише прибавил: — Jude?²

Услышав, что да, «russe», но нет, не «jude», — он отшатнулся и вспыхнул: — Ах, простите, простите!..

Я поспешил объяснить, что я «из таких мест и из такой среды», где «этого» не существует: извиняться, что он принял меня за еврея, совершенно лишнее. Я не кончил своих объяснений. Лицо этого грузного, солидного, хорошо одетого человека дернулось, глаза стали круглыми и большими. Медленно из-под его правого века выползла грузная, как он сам, слеза и покатилась по галстуку.

— Боже, — сказал он, — Боже! Из таких мест, из такой среды... Да, да — Франция, Латвия. Да! Ни травли, ни расовой ненависти... Боже! Я уже и позабыл, что есть такие места. — Слезы катились по его толстым щекам, и он неумело размазывал их по лицу большой холеной рукой.

— Никогда не плакал, — сказал он, доставая платок, и улыбнулся какой-то жалкой улыбкой. — Извините, пожалуйста. Никогда, никогда не плакал. А теперь плачу от всего, как истеричка. Взгляну на небо, и ком подступает к горлу. Вижу, дети играют, и не могу смотреть. Вот вы сейчас сказали про страны, где... где... где... Простите, это сейчас пройдет. Сейчас пройдет.

Успокоившись, он рассказал мне свою воистину «банальную историю». Врач, выходец из Польши. Но родиной своей всегда считал Германию. И как не считать? Здесь он вырос, кончил гимназию, получил докторский диплом, здесь заработал это — он показал обрубок пальца, отхваченного осколком на французском фронте. Как же не считать? И вот вдруг..

В его взволнованном, перескакивающем с одного на другое рассказе была одна странность. Как припев, повторялось в нем постоянно «чудные люди», «прекрасный товарищ», «сердечность, которой я никогда не забуду», и относилось это то к администрации госпиталя, откуда его уволили, то к раззнакомившимся с ним коллегам, то к пациентам, переставшим лечиться у него. Я взглянул на него с недоумением. Что это — притворство? Осторожность? Ирония? Нет, он был совершенно искренен. Из его сбивчивых слов выходило, что да, его увольняли, бойкотировали, отворачивались при встречах, но те, кто поступал так, — сплошь «чудные люди», сами попавшие в капкан, сами связанные по рукам и ногам. Как сол-

¹ Русский? (нем.)

² Еврей? (нем.)

дат, привел он наивный пример, которого посылают стрелять во врага, он хочет его смерти? Ненавидит его? И все-таки должен стрелять. Так и они, так и они...

Как о рае, он мечтал о Берлине. Друзья обещали помочь, может, и удастся туда выбраться... «Какая же разница?» — спросил я.

О, огромная, колоссальная. Небо и земля. В Берлине можно жить, можно дышать. Пациент, который тут обходит мой дом, точно в нем чума, в Берлине, если я хороший врач и недорого беру, придет ко мне — ведь никто не узнает. И коллега-немец тоже не отвернется: огромный город, масса людей, нельзя проследить каждого... О, в Берлине еще можно дышать. А здесь сыщики, правительственные или добровольные, на каждом углу. Вот там, в коричневой шляпе — видите — сыщик. Кажется, он смотрит на нас. До свидания, до свидания. Если он заметит нас — будут неприятности и вам, и мне...

* * *

Немецкая почта сохранила свои идеальные свойства: телеграмма, отправленная по фантастическому адресу «в отель у вокзала», была доставлена мне почти без опоздания. — Как же вы меня нашли? — спросил я у телеграфного мальчика. Он удивился. — Очень просто — заезжал во все отели по очереди и спрашивал. — «Skvernaia pogoda, polomka, budem utrom», — прочел я с облегчением — сидение на мели в Шнейдемюле начинало меня немного беспокоить.

Вечер я провел приятно. Сходил в кинематограф, посидел в кафе, погулял взад и вперед по главной улице, разумеется улице Адольфа Гитлера. Поневоле я вспомнил Шавли. Так же чинно, такой же густой толпой по тротуарам двигались гуляющие. Только там были местечковые франты и барышни, а здесь молодцеватые гитлеровские дружинники со своими «арийскими» подругами. Те же самые осенние звезды смотрели на эту мирную картину, и с террасы кафе плыли звуки венского вальса, которые, конечно, играют и в Шавлях, старомодного вальса, сочиненного еще в те времена, когда расовую ненависть считали, по отсталости, варварским пережитком.

III

В Берлине, около русской церкви, газетчики, надрываясь, выкрикивают ежедневную газету русских гитлеровцев на немецком языке. Называется она «Russlands Erwachens» — «Пробуждение России». Но продавцы мягко, по-берлински, проглатывают буквы

в конце слов. Получается под рифму и довольно многозначительно: «Руссланд эрвахе ин дэйтше шпрахе» — Россия, проснись... на немецком языке.

«Пробуждением России на немецком языке» заняты в штабе РОНДа.

Я застал закат РОНДа. Медовый месяц русских наци с немецкими отошел в прошлое. Под окнами первого этажа на Мейер-Оттоштрассе не развеваются больше голубые знамена с белой свастикой: полицейпрезидиум распорядился их убрать. Не видно и мощного «крейсера», выкрашенного в те же андреевские цвета, с двуглавым орлом на радиаторе, в котором еще недавно разъезжал «богвдохновенный», как он сам себя называл, вождь РОНДа Светозаров-Пельхау. Нет и самого Светозарова — он вернулся к своей старой профессии продавца кофе и какао вразнос. В председательском кресле «верховного совета» сидит «герой Митавы» Бермонт-Авалов. Сидит хотя и с гордой осанкой будущего диктатора, но как-то непрочно, неуверенно. Хмурый взор Хинчука, который в один прекрасный день предъявит требование «закрыть активную белогвардейскую организацию», невидимо пронизывает стены штаба, и чувствуется, что день этот недалек.

* * *

Растерянность чувствуется в воздухе просторного кабинета, где вьется дымок сигары Бермонта, пахнет английской солью, которую он то и дело нюхает, и где молодцеватые ординарцы в форменных рубашках со следами свежеспоротой свастики на рукаве — тоже приказ свыше — поминутно входят и, вытянувшись в струнку, докладывают:

- Ваше сиятельство, телеграмма из Мюнхена!
- Ваше сиятельство, радио из Сао-Паоло!
- Ваше сиятельство, телефонограмма из Министерства иностранных дел!

Бермонт-Авалов холеными пальцами небрежно распечатывает голубой листок и лениво пробегает его волоокими глазами. — Хорошо! Я распоряджусь после! Не беспокойте меня — я занят!

Занят он разговором со мной. Притом разговором настолько затянувшимся, что я давно стараюсь откланяться и уйти. Это сделать, однако, нелегко — диктатор до чрезвычайности словоохотлив.

Разумеется, очень лестно, что беседа со мной, случайным человеком, случайно сюда забредшим, отодвигает на задний план дела государственной важности, о которых срочно запрашивает Сао-Паоло и беспокоится Вильгельмштрассе. Очень лестно, что вождь,

хотя и не совсем прочно сидящий в своем кресле, делится со мной своими душевными мыслями, точно я не первый встречный, а свой человек, тоже сжегший мимоходом какую-нибудь Митаву и державший в доброе старое время, пополам с секретарем Распутина Симановичем, игорный притон в Петербурге. Лестно. Но избыток пессимистического воображения отравляет немного мое удовольствие.

* * *

Как ни великолепен орлиный профиль Бермонта, как ни шелкают каблуками лихие ординарцы, как ни внушителен портрет Розенберга с автографом, красующийся на столе, — флюиды уныния явно веют надо всем этим. Сквозь цифры миллионных субсидий, которых, по словам Бермонта, не жалеют немцы на «русское национальное движение», просвечивает неуместный вопрос: заплачено ли за квартиру, где мы сидим? Мой приятель, «марксист», высланный в свое время из России писатель, определенно утверждал, что не заплачено даже швейцару — касса РОНДа пуста. Сквозь пышные слова, что «новая Германия на крыльях великой исторической идеи несет освобождение России», грустно маячат споротые с рукавов свастики. Может быть, фантазия и увлекает меня слишком далеко, но, по контрасту с одинокой пустотой «штаба», слишком частые «радио из Сао-Паоло» имеют какой-то подозрительный вид. Несвежий какой-то. Такой, будто уже не первый раз, шелкая каблуками, подавал, на страх постороннему человеку, этот голубой листок ординарец и не однажды уже диктатор небрежно, однако стараясь не помять, его вскрывал. «Хорошо! Я распоряжусь! Не беспокоить меня — я занят!»

* * *

Бермонт-Авалов человек стильный. У него живописная внешность. Гордость взгляда и достоинство осанки замечательны. Сдержанно-благородные жесты выше похвал. На белом коне, перед пылающим бироновским дворцом, он, должно быть, выглядел преэфектно. Но, вероятно, был недурен и в заседании президиума игорного клуба: «Коллега Симанович, обращаю ваше внимание: в клуб втираются зарегистрированные шулера. Прошу вас принять меры — у нас не вертеп, а аристократическое заведение».

В разговоре Бермонт-Авалов тоже не менее стилин, хотя и в другом роде.

— ...Союзники, которых мы спасли на Марне, предали нас как цыплят, — цедит он бархатным баритоном со «стальными» нотками

и грозно хмурит брови. — Да, предали! Факт. А идея новой Германии несет России освобождение, несет, и никаких испанцев. Что? Да! Хотите сигару: берите — чудесная сигара, гаванна. Что? Да! Освобождение от большевистского ига. Замечательный букет — две марки штука. Презент от Розенберга. Что? Да! Кури, пишет, ты любишь хороший табак. Да, при любезнейшем письме, целых сто штук. Что? Ну, положи руку на сердце, ответьте, пришлет ли хоть одну такую сигару ваш Фош, или Пуанкарэ, или какой-нибудь мистер Ллойд-Джордж? Хоть одну штучку — за Восточную Пруссию, за Карпаты, за все, что мы свершили? На, мол, покури, русский герой, — ты любишь хороший табак! Что? Да! А Розенберг прислал. Сто штук. Кури на здоровье и надейся на будущее. Это мелочь, но мелочь показательная для того, кто изучил законы природы.

— Что? Да! — законы природы, — приосанивается Бермонт. — Я их изучил. Что? Взял и изучил. Да! Законы природы и выводы из них. Желаете пример? Что? Хорошо — пример. Вот моя рука. Рука. На ней пять пальцев. Пять. Я иду бороться с врагом. Как же мне, позвольте спросить, бороться, чтобы его одолеть? Одним пальцем? Двумя, тремя? Может быть, четырьмя? Я не знаю. И я спрашиваю природу — что она говорит?

Диктатор выжидательно смотрит на протянутую перед собой собственную руку.

— Что говорит природа? — повторяет он. — Всеми пятью! Бросайся на врага и души его пятерней. Вали его наземь, топчи, и ты победишь. А если протянуть один палец — враг вывернет его, и тютю, побежден ты. Что? Да! Какой из этого вывод? В борьбе с большевиками все русские люди должны объединиться под знаменами национал-социализма! Никакой грызни! Никаких фракций! Все за мной, и мы победим. Что? Да, за мной! Что? Да! Кола и кока!

— Тоже закон природы, — протягивает он коробочку с пилюлями. — Попробуйте — уничтожает усталость, молодит, проясняет ум. Кола очищает кровь, кока возбуждает энергию. Германское изобретение делает чудеса. Не раскусывайте, глотайте так. Что? Да! — чудеса. Тоже мелочь и тоже показательная. Дорогие союзнички вопят: Германия вооружается, Германия строит аэропланы, Германия выделяет газы. И врут, само собой, как утопленники. Не газы выделяет Германия, а колу и коку — возбудитель энергии, очиститель крови. В этом ее мировая миссия. И мы — без грызни и распрей — должны ей помочь.

— Что? Да! Без распрей и грызни. Все как один. Пять пальцев. Пять. Одна рука. Одна. Закон природы. Гучков Александр Иванович. Что? Да! Гучков. Он самый — член Временного правительства,

бомбист, революционер. И попался он, сердечный, под Митавой мне, князю Бермонту-Авалову. Да, мне! Тридцать тысяч молодых при новеньких пулеметиках, дым коромыслом, я главнокомандующий и передо мной он самый — Гучков. Что бы сделал на моем месте с Александром Ивановичем дурак? Что? Да! Ясно, повесил бы. Но я изучил законы природы. Я ему сказал: Александр Иванович, я не дурак, мне нужны умные люди. Плюнем на прошлое и будем работать вместе. И мы работали, дружно работали, создавали, боролись, дрались — дым коромыслом. Славное было время. Теперь латыши вопят, будто я сжег Митаву. Понятно — врут, как утопленники. Митава сгорела сама.

* * *

Изучив законы природы и отведав коки, я выбираюсь наконец из «штаба», унося в кармане билет на вечернее собрание РОНДа, за которым, собственно, я сюда и пришел. Уношу еще новый номер «Russlands Erwachens» — на русском языке, — оказывается, выходит она и по-русски, и даже по советской орфографии. В передней молодеватый ординарец отбирает у меня пропуск с огромной печатью и росчерком Бермонта: без пропуска из штаба никого не выпускают. «Счастливо оставаться!» — лихо вытянувшись, кричит ординарец, распахивая передо мной двери. Машинально сую ему полмарки и наливаюсь краской — что я наделал! Нет, оказывается, все в порядке.

— Покорнейше благодарим! — гаркает он еще громче.

На улице развертываю газету. Любопытно посмотреть, как пишут собратья по перу, «поднятые на крыльях великой исторической идеи». Пишут ничего, бодро: «Европейские нации уже пробуждаются от чар иудейского наркоза, парализовавшего их народные силы. Горе вам, Абрамовичи, Финкельштейны и Блюмы, когда проснется весь мир!»

Но столбцом ниже национал-социалистический поэт уже сильно снижает бодрый темп этого славного прозаика, изучившего законы природы и употребляющего колу. Поэт явно законов не изучал и коки еще не ел. Настроен он почти так же печально, как я после посещения РОНДа.

Мы в хмурых сумерках осенней непогоды

Устали обивать пороги чуждых стран.

Холодные, безжалостные годы

Твердят, что все прошедшее обман.

Что все святое, что мы в сердце носим,

Пусть свято, но другим той правды не понять.
Просвета нет. Настала злая осень,
И нам осенней мглы не разогнать.

Обращение главного совета РНСД ко «Всем, Всем, Всем!» — звучит тоже довольно жалобно: «Мы обращаемся непосредственно к совести народов всего мира, к христианству, к человеколюбивым обществам, ко всем отдельным лицам с призывом помочь спасти нашу несчастную родину». Тут же, должно быть для удобства «человеколюбивых обществ и отдельных лиц», указано: «путь спасения лишь один — свержение власти III Интернационала».

На последней странице напечатано скромное объявление: «Кофе, чай и какао члены РНСД покупают у фирмы Ниеск и К°». Это бывший «бог вдохновенный вождь» Светозаров рекламирует свой товар. Так проходит слава земная.

IV

В «Пробуждении России», выходящем по воскресеньям, указан зал, где в ближайший четверг состоится открытое собрание РОНДа. Но за четыре дня адрес пришлось дважды менять: владельцы сдающихся под вечера помещений знают, что касса РОНДа пуста, и требуют деньги вперед.

Касса пуста. Но вход на собрание бесплатен. Иначе невозможно, никто не придет. Материальное положение рядового берлинского эмигранта нельзя определить иными словами, как беспросветная, безнадежная нищета.

Я пришел на собрание минут за двадцать до назначенного часа, но просторный, человек на пятьсот, зал был уже почти полон. Заседания РОНДа вообще — по разным причинам, некоторых из которых ниже я коснусь, — посещают довольно усердно. Сегодня же был «большой день»: доклад Вонсяцкого, только что прибывшего из Америки «вождя» тамошних русских фашистов.

У Вонсяцкого, как говорят, есть крупные денежные средства, и он их широко тратит на фашистскую пропаганду и на... саморекламу. Портреты «вождя» в разных позах и с разными выражениями лица занимают важное место в листовках и брошюрах, которые он издает.

С литературой этой произошел недавно курьезный случай. Ею оказались завалены... мелочные лавочки. В громовые лозунги и огненные призывы новоявленного нью-йоркского «дуче» еврейские

бакалейщики заворачивали свои бублики и селедки. Случилось это так. Вонсяцкий решил распространить пропаганду своих идей и своих портретов на... Советскую Россию. Для выполнения этой затеи был избран «верный человек» и «опытный организатор» — ныне разоблаченный провокатор Кольберг. Кольберг же ограничился тем, что в Россию отправлял лишь «ограниченное количество» экземпляров, ровно столько, сколько требовалось для осведомления ГПУ. Остальное шло в Польшу на обертку селедок.

* * *

Просторный зал полон народа, и новые посетители все прибывают.

Эстрада, покуда еще пустая, выглядит очень помпезно. Два саженных знамени — бело-голубое и красно-бело-черное — декоративно скрещены на заднем плане. Между ними распростерты черные крылья стилизованного двуглавого орла. На большой короне, венчающей герб Российской империи, топорщатся крючки свастики. Еще выше — поясной портрет Гитлера, украшенный лентами и флажками. Стол президиума покрыт ярко-голубым сукном, и на нем букет красных роз.

Парадный вид эстрады мало соответствует виду собравшейся на доклад публики. На своем веку я видел достаточно эмигрантских сборищ, и не все они являли картину сытости и благополучия. Но нигде никогда я не встречал столько землистых лиц, потухших глаз, впалых щек, такой общей замученности и безнадежности, как здесь, на заседании РОНДа.

В зале, где собралось человек пятьсот, если не больше, страшная, какая-то противоестественная тишина. Кое-где разговор вполголоса или глухой кашель. Вновь приходящий молча пробирается к свободному стулу и садится с усталым, безразличным видом. При встрече со знакомыми — кивок, мимолетное рукопожатие. Ни смеха, ни улыбки, ни громко сказанной фразы. Так пассажиры после бессонной ночи ждут на станции поезда или в приемной врача толпятся пациенты.

Одна из причин, почему идут записываться в РОНД: РОНД обещает своим членам работу.

Кругом — полное бесправие. По капризу любого полицейского чиновника отнимается право жительства. Самый вздорный донос почти автоматически влечет за собой арест и концентрационный лагерь. И снова РОНД. Он протягивает запуганным людям соломинку: «члены РОНДа входят в братскую национал-социалистическую семью», — они не беззащитны. С приходом к власти Гитлера

всякая общественная жизнь в русской колонии прекратилась. Какие бы то ни было собрания, лекции, кружки перестали существовать. РОНД — единственное место, куда можно прийти без страха оказаться неблагонадежным и где все-таки говорят на русском языке, говорят о России.

Наконец, чем тяжелей действительность, тем сильнее стремление забыться. Трескучая демагогия рондовских фатеров — «мы победим», «мы спасем Россию», «час высшего торжества близок» — действует на издерганные нервы деклассированных людей как наркотик. «Слава России!» — оглушительно кричат рондовские молодцы, когда оратор произносит какую-нибудь броскую фразу, и к этим казенным крикам присоединяются голоса людей, по существу РОНДУ и его «идеям» глубоко чуждых, но которым страшно хочется верить — хоть на минуту, хоть в эту сомнительную русскую «славу».

* * *

На трибуну не входит — стремительно вбегает с высоко поднятой правой рукой широкоплечий, плотный, бритый господин в какой-то фантастической полувоенной-полуспортивной форме. За ним торжественно следуют и рассаживаются остальные «вожди» — местные. Мой знакомец — Бермонт-Авалов занимает председательское место и берется было за звонок, чтобы объявить заседание открытым и дать Вонсяцкому слово. Но сделать этого он не успевает. Тот уже сам взял слово, без помощи председателя. Побагровев, с разом надувшимися на висках жилами, потрясая сжатыми кулаками, он, едва ступив на эстраду, уже кричит, орет, выплевывает с невероятной быстротой и грохотом свой «доклад».

— Мы должны привлечь на свою сторону стопятидесятиmillionное русское крестьянство — и мы его привлечем! — истуипленно кричит он.

— Слава России! — эхом отвечает зал.

— Мы прижжем каленым железом язву коммунизма!

— Слава России! — еще громче кричит зал, явно наэлектризовавшись звонкими тирадами Вонсяцкого.

— Мы клянемся собственной кровью!

— Слава России! Слава России! — покрывает зал слова оратора так шумно, что нельзя разобрать, в чем, собственно, он клянется кровью.

Как ни темпераментно говорит докладчик и как ни цветиста его пересыпанная клятвами речь, можно, вслушавшись, уловить заключенную в ней «основную мысль».

Идея марксо-коммунизма — дьявольски лжива, но огромна по своему универсальному масштабу. Опираясь на нее, совершенные ничтожества, мелкие подлецы и прохвосты выросли до крупных исторических фигур, до вершителей судеб земного шара... В самом деле — выросли ведь. И сидят. А мы ни при чем, хотя и снимаемся в разных позах. И кричим так, что трещит в ушах. Между тем и идея у нас имеется не менее универсальная, и сами мы, ей-богу, не хуже. А сидят все-таки они, а не мы. Но, «клянемся кровью», приложим все усилия, чтобы «вырасти» до таких же «исторических фигур», а если подвернется случай, то и переплунем их.

* * *

Во время перерыва в публице заметно оживление. Крик и демагогия сделали свое дело — взвинтили нервы, дали иллюзию жизни, отвлекли, взволновали. Но вот заседание возобновляется. На трибуне вместо темпераментного Вонсяцкого один за другим сменяются свои люди, докладывающие повседневные рондовские дела. И настроение сразу круто падает.

«Господа, платите членские взносы», «Господа, подписывайтесь на газету», «Господа, жертвуйте на неимущих товарищей», «Господа, жертвуйте на библиотеку», «Господа, жертвуйте...»

Молодцы в форме после каждого такого призыва, позванивая кружками, обходят ряды. Но «господа» хмуро отворачиваются от новеньких кружек со свастикой и двуглавым орлом. — Слава России! — кричат ординарцы Бермонта, чтобы поднять настроение и заставить раскрыться тощие кошельки. Но «народ безмолвствует», и кошельки не раскрываются.

Я выхожу на улицу. На углу, в зеленом свете фонаря, стоит человек с пачкой каких-то листовок и монотонно повторяет:

— Новая брошюра — «Хлестаковщина наших дней», полезно прочесть каждому члену РОНДа. Новая брошюра — цена двадцать пфеннигов.

Я покупаю брошюру и в вагоне подземной дороги развертываю ее. На ней эпитафия из Пушкина: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим». И вся она полна самой резкой брани по адресу РОНДа и его «вождей». Пошлость, кликушество, самореклама, убожество, жалость — иных эпитетов автор для них не находит, и герб рондовцев — двуглавый орел со свастикой — откровенно называет «видоизмененно-изнасилованным российским императорским гербом». Делает это он с чувством полной безнаказанности: на обложке стоят не только имя и чин автора: подполковник Им-

шенецкий, но указан и его берлинский адрес. Невысоко, по-видимому, стоят в глазах нынешних властителей Германии акции РОНДа.

V

ОТ ПЕЛЬХАУ ДО СКОРОПАДСКОГО

ИСТОРИЯ РОНДА (ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА)

Прежде чем говорить о сегодняшнем печальном состоянии РОНДа, поучительно коснуться его истории. Кем РОНД основан и кто его «вожди». История РОНДа вовсе не теряется, как «история мидян», в «сплошном тумане». Известно, в первые дни национал-социалистической революции, когда Берлин потонул в угаре политических страстей и борьбы и некоторым эмигрантам показалось, что чуть ли не завтра Гитлер двинется крестоносным походом на Советскую Россию, — в Берлине образовалась группа людей, положившая начало организации РОНДа.

Это были никому не известные — Николай Дмитриев, г. Щербина (богатый домовладелец, во время Колчака бывший в Сибири, давший на РОНД первые деньги) и балтиец Фридрих Лихингер.

Поначалу все шло хорошо. Название — РОНД — придумал Дмитриев. Он же нарисовал эмблему организации, тут были — двуглавый орел, изображение Георгия Победоносца, знак свастики, крест и меч, «немножко много всего», но ничего. Этот же «вождь» сочинил и гимн для РОНДа на мотив «Интернационала». Казалось — полное организационное процветание.

Но гг. Щербина и Дмитриев неожиданно попались в лапы национал-социалистического группюрера (т.е. взводного) Генриха Пельхау.

Чтобы иметь на себе немецкое благословение для русского дела, основатели РОНДа обратились к берлинскому «гаулейтеру» национал-социалистической партии с просьбой прислать им «для связи» какого-нибудь немца, желательно «говорящего по-русски». И «гаулейтер» прислал, может быть, даже просто чтоб отвязаться, взводного Генриха Пельхау, прилично владеющего русским языком.

Неудачно пытавшийся стать в Берлине актером, молодой человек со всеми признаками неуравновешенности, Генрих Пельхау оказался все же человеком весьма проворным. Уже на втором собрании членов РОНДа Пельхау произвел переворот, т.е. попросту

перед ошарашенными членами-учредителями этот для связи при-
сланный взводный объявил себя — «единственным вождем русско-
го национального освободительного движения».

Произошла немая сцена из «Ревизора». Но на попытки сопротив-
ления Дмитриева и Щербины, давшего на РОНД деньги, Пель-
хау просто прикрикнул, дав понять, что «действует по указанию
свыше». Ну, раз «свыше», — то началась уже полная паника.
А Пельхау начал расчищать себе «путь к власти».

Больше других шумел «вождь №1» Н. Дмитриев, посмеявший да-
же публично заявить, что РОНД основан им, он вождь этой органи-
зации, сокращенное название которой вовсе не значит даже «Рос-
сийское Освободительное Национальное Движение», а значит —
«Россию освободит Николай Дмитриев!» Это было, конечно, сдела-
но очень тонко и задумано очень хитро «вождем №1», и раньше
этого никто не заметил. Но Пельхау сдаваться не пожелал даже на
этот аргумент.

Первым, с кем он расправился, был Дмитриев. Дружинники
РОНДа, довольно-таки голодные и безработные люди, мгновенно
(как в «Вампуке») подчинились действовавшему по указанию «свы-
ше» Пельхау, среди бела дня на Паризерштрассе напали на основа-
теля РОНДа Дмитриева, схватили его и с криком — «По приказа-
нию вождя, в штаб! На допрос!» — уволокли. Допрос для Дмитрие-
ва кончился довольно плачевно: на дому «вождя №1» дружинники
нашли шесть различных паспортов, и «вождь» был отправлен
в тюрьму при полицейпрезидиуме.

Свернув таким образом шею Дмитриеву, цыкнув на Щербину,
Лихингера и других знаменитостей, взводный Пельхау, будучи по-
просту психически больным человеком, издал манифест, в кото-
ром прямо так и писал черным по белому, что вождем, который
спасет Россию, будет он, Генрих Пельхау, принимающий отныне
имя — Андрей Светозаров! И Андрей Светозаров писал: «Волей
Провидения я стал вождем русского народа по ту и по эту сторону
рубежа...», «Я отвечаю только перед Богом, Россией и своей совес-
тью...», «Я твердо верю...», «Я клянусь...», «Как вождь призванный,
я заявляю...», «Я утверждаю неприкосновенность религиозных ве-
рований...» и т.п. Основой же политической программы Андрея
Светозарова явился, как это ни странно, «всероссийский поцелуй».

В отпечатанной отдельной брошюрой программной речи Ген-
риха Пельхау на стр. 2 так и говорится: «Могучая, сильная гроза
любви нависла над Родиной, и не пулеметы, винтовки и интервен-
ции старых генералов решат судьбу России, а братский Всероссий-
ский Поцелуй и крепкое рукопожатие». Вся эта речь «всероссий-

ского вождя», составленная из дикого набора фраз, производит невыносимо смехотворное впечатление. Недостаточно все-таки владеющий русским языком, вождь из кожи лезет вон, стараясь писать и говорить в наирусейшем стиле «ой ты гой еси».

Но на беду «вождя №2» Генриха Пельхау «вождь №1» Николай Дмитриев отсидел в тюрьме всего-навсего 28 дней и был выпущен на свободу. Оба «вождя» — члены немецкой национал-социалистической партии. И меж «вождями» снова вспыхнула жесточайшая борьба. РОНД раскололся.

В своем листке под заглавием РОНД, который он издает с портретом Гитлера и... Достоевского и с крупной надписью «Гей, Россия!», опальный вождь Дмитриев облил такими помоями захватившего РОНД Пельхау, что, казалось, тут и не отмоешься: и «шулер», и «гнусный провокатор», каких только не было ласкательных слов.

Но Пельхау ответил г. Дмитриеву довольно-таки остро. В №9 своего листка «Пробуждение России» он дал такую характеристику основателю и первому вождю РОНДа: «Кто вы, собственно, — ехидно спрашивает «вождь №2» «вождя №1», — Дмитриев, Краузе, Ветров, Думратов, Крынкин или Ведов? Не хотите ли вы иметь очную ставку со свидетелем Отар-Бекем, который может установить вашу близость к карманным ворами? Нельзя ли вас расспросить об одном случае, когда вы пытались шантажировать одну даму, требуя от нее 100 марок и утверждая, что «что-то ужасное» случится с ее мужем, бывшим в отъезде, если эти 100 марок не будут вам уплачены? Нельзя ли вас спросить, г. Дмитриев, Думратов, Краузе, о чьих это стихах «поэта-страдальца» вы упоминаете в вашей газете? Не стихи ли это провокатора Коноплина-Горного, который должен был покинуть пределы Германии и кого вы называете вашим другом? И в этом же вашем листке, полном лжи, вы смее помещать портрет вождя Германской Нации с надписью: “Нашему мировому вождю и брату Адольфу Гитлеру”?!»

Пельхау — торжествовал. Поддержанный берлинским «гаулейтером», которому, собственно, не было никакого дела, что там делает его взводный с русскими, этот безграмотный клинический взводный сообщал в своих речах, что его «ждет вся Россия и вся Красная армия»; что стоит ему только перейти границу, как под звон колоколов он въедет в Кремль. И дабы добыть средства для РОНДа, Пельхау устраивал грандиозные представления в берлинском луна-парке, где играли русские балалаечники «Ухарь-купец», где пел русский хор «Волга-Волга», а Генрих Пельхау, он же Андрей Светозаров, появлялся на сцене на фоне потрясающих декораций и над ним всходило красное электрическое солнце.

Это было бы смешно, когда бы для некоторых эмигрантов не было грустно. Всем известна судьба представителя РОВС в Германии, полковника Лампе, отсидевшего в тюрьме три месяца в чрезвычайно тяжелых условиях, которому немецкие газеты не постеснялись приписать самые тяжкие обвинения в шпионаже. И как ни кричал на рондовских собраниях Пельхау: «Я буду бить по морде каждого, кто осмелится сказать, что Лампе сидит из-за доносов РОНДа!» — берлинская молва приписывает именно РОНДу этот арест. Меньшая неприятность, но тоже приписанная РОНДу, произошла даже с таким восторженным поклонником немецкой национал-социалистической революции, как проф. И.А.Ильин.

К культурнейшему И.А.Ильину явился один из приближенных Андрея Светозарова, г. Меллер-Закомельский, специалист по «Протоколам сионских мудрецов», с предложением вступить в РОНД. Неизвестно, что там говорили Ильин с Меллер-Закомельским, только в публичном собрании РОНДа Меллер-Закомельский доложил, что профессор Ильин осмелился сказать, что «в организацию растленной сволочи он не вступает!». Эта фраза вызвала дикий вопль. Тут припомнили остроты Ильина о «родине и рондине», о «луна-парке и лупанарке». И — факты остаются фактами — в один прекрасный вечер, после обыска, грузовик увез профессора Ильина на допрос в полицейпрезидиум. Правда, сгоряча уехав отдохнуть в Италию, профессор Ильин благополучно возвратился в Берлин, а к этому времени РОНД уже, по расцветии, отцвел в угре пасмурных дней.

После падения «вождя №1» Дмитриева настала очередь падения и для «вождя №2» Пельхау. Как ни странно, но комически-патологическая фигура Пельхау, его «Ухарь-купец» и «Волга-Волга» из луна-парка привлекли к себе внимание «некоторых держав». «Некоторые державы» даже запротестовали — Хинчук заявил официальный протест на Вильгельмштрассе против деятельности РОНДа. Велик же страх кремлевских обитателей, если даже электрическое солнце, всходящее над Генрихом 1-м, повергает их в ужас и заставляет слать дипломатические протесты.

Хинчук, грозивший увести советские суда из Гамбурга, протесты многих солидных немцев-националистов против постыдного политического фарса, затеянного Пельхау, и, наконец, деятельность отделения РОНДа в Любеке поколебали карьеру Андрея Светозарова.

В Любеке РОНД, связанный дружески с остатками «Черной бригады» капитана Эргардта, решил начать осуществление своей «программы». Один любекский богатый еврей получил письмо

с предложением немедленно положить в условное место 30 000 марок, а если не положит — убьют. Еврей передал письмо адвокату, адвокат — прокурору, и результатом этой «программы» был роспуск в Любеке как отделения РОНДа, так и остатков «Черной бригады».

Все это отозвалось на карьере Светозарова, и в момент этих колебаний его подкараулил новый претендент на «всероссийскую власть», небезызвестный Бермонт-Авалов, состоявший членом РОНДа, но державшийся покуда в стороне.

Берлинский «гаулейтер» внезапно приказал Пельхау покинуть свой пост и сдать «всю власть» в РОНДе совету трех во главе с Бермонтом-Аваловым.

Казалось, сейчас, в новом блеске, в том же луна-парке взойдет звезда Бермонта-Авалова и над ним вспыхнет электрическое солнце. Но нет, с РОНДом произошло что-то необычайное — РОНДу приказали молчать, не маршировать, отобрали знамена, отобрали значки со свастикой, и, подавленные этим оборотом дела, безработные и полуголодные рондовцы начали массами уходить из организации.

Берлинцы недоумевали: почему разгромлен РОНД? Почему свергнут Андрей Светозаров? И неужто не начнет в луна-парке появляться Бермонт-Авалов? Думали-гадали, но туман стал понемногу рассеиваться.

Оказывается, вовсе не Бермонт съел Генриха Пельхау, к тому же в совете РОНДа Светозаров заседает все-таки вместе с Бермонтом; съел же и Бермонта, и Пельхау куда более крупный претендент. И не только этих «вождей» съел новый претендент, съел даже куда более трудное блюдо — главу УНО (Украинское национальное объединение), бывшего «генерального писаря», полковника Полтавца-Острилицу, который участвовал в знаменитом расистском мюнхенском путче в 1923 году, был ранен и с самим Гитлером был на «ты».

Вместе с ликвидацией шумной деятельности РОНДа все УНО, во главе с Полтавцом, в одну прекрасную ночь оказалось арестованным, и больше 40 человек этой организации село в тюрьму. Члены УНО без допросов сидели около пяти недель, глава же организации Полтавец и того больше.

Многие недоумевали. Но наконец соглашение было достигнуто.

И РОНД, и УНО, и Пельхау, и Бермонта, и Полтавца в один день остригли под одну машинку. Теперь пошла уже музыка не та. Слишком уж часто стали подъезжать правительственные и частные автомобили к одной из фешенебельных груневальдских вилл. Слишком много уж суеты поднялось в этой вилле. Конечно, сюда

Генриха Пельхау просто не пустят, Бермонт и Полтавец если и пройдут, то только на поклон. Сюда подкатывают Альфред Розенберг и сам всемогущий Герман Геринг. Чья ж это вилла? Это груневальдская вилла гетмана всея Украины — Павло Скоропадского.

VI

Потсдам — «пруссский Версаль». Монументальность, грузность, чопорный холод. При этом — полное отсутствие размаха, великодержавности: громоздко, но мелко, напыщенно, но ничуть не величаво.

Потсдамский архитектурный «ансамбль» чем-то напоминает «роскошный» письменный прибор, чинно расставленный на зеленом сукне подстриженных газонов. Дворец как гигантская чернильница, собор — внушительное мраморное пресс-папье. Статуи средней руки криво улыбаются в непропорционально высоких нишах, и золоченые амуры, играя аляповатыми розами, воплощают солдатскую мечту о XVIII веке.

Плох прусский Версаль. Даже чудесное осеннее солнце, которое заливало его, когда я в нем был, не могло скрасить вполне его раззолоченной унылости.

Впрочем, приехал я в Потсдам не для того, чтобы любоваться архитектурой. В это утро там был назначен большой парад наци и, после парада, митинг с участием Геббельса.

Русский ударник, с которым я позавчера разговорился и «подружился» — о нем будет речь впереди, — обещал встретить меня на вокзале и достать пропуска на трибуну. Он исполнил только половину обещанного. Встретил и, добродушно улыбаясь, сообщил: «Не достал я пропуска, такая досада, придется нам как-нибудь ловчиться самим».

* * *

Ловчиться нам не пришлось. Едва выйдя на улицу, мы попали в течение плотной человеческой массы, которая двигалась туда же, куда и мы, — к месту митинга.

Толпа двигалась плавно, медленно, как движется по реке тронувшийся лед. Иногда на минуту она задерживалась, порой, когда впереди обрисовывался затор, подавалась назад. Она была чрезвычайно густа, люди шли локоть к локтю, плечо к плечу. Но не только не было давки, но достаточно было посмотреть на лица со-

седей, чтобы понять, что никакого проявления грубости или раздражения — довольно обычных в послевоенной немецкой толпе — здесь не может и быть. Люди шли на праздник, на торжество. Их лица сияли.

Полнокровные лавочники с бычьими затылками, стриженные приказчицы или кельнерши, пожилые особы в невероятных шляпках, встречающихся только на старых немках, голубоглазые, краснощекие подростки, жилистые, чинные господа военной выправки — все они, при всем своем разнообразии, казались сейчас на одно лицо, так равняло их всех одинаково умиленное, восторженное выражение. И когда над этой толпой, где-то далеко впереди, колыхнулись красные знамена и труба заиграла военный мотив, «гейль!», которое пронеслось в воздухе, было в самом деле как бы «вырвавшимся из одной груди».

«Все немцы сейчас гитлеровцы... даже социал-демократы», — вспомнились мне сказанные кем-то слова.

Человеческий поток, в котором плыли я и мой спутник, с каждым шагом все медленней двигался, все чаще останавливался, наконец остановился совсем, упершись в полицейскую цепь. Там, за цепью и за трибунами для публики с билетами, гремела военная музыка, слышались слова команды и глухой, отчетливый топот ног. Потом, после новых бесчисленных «гейль!», начался митинг. В громкоговорителе послышался звонкий голос Геббельса.

Геббельс считается самым ядовитым и красноречивым из национал-социалистических ораторов и самым «интеллектуальным» из вождей. Ничего «ядовитого» в том, что долетало до моих ушей, я, признаюсь, не расслышал. Все те же знакомые слова — о «великой национальной идее», о том, что надо «сплотиться железной стеной» и разбить «постыдные цепи». В самой манере говорить, довольно выразительной, было какое-то — как мне показалось, нарочитое — холодное исступление. Вероятно, впрочем, он говорил именно так, как надо, и то, что надо. Громкое «гейль!», то и дело прерывавшее его речь, свидетельствовало об этом.

Стоять стиснутым в толпе было скучно, утомительно. Слушать Геббельса я мог бы спокойно и в Берлине, в Потсдам я приехал, надеясь на него посмотреть. Я поделился разочарованием со своим спутником. «Повидать? А вот сейчас повидаете», — ответил он. И прежде, чем я опомнился, он, крепко меня схватив, поднял над толпой. На фоне красных знамен, на узкой вышке передо мной на мгновение мелькнула тощая маленькая фигурка, оживленно размахивающая над морем голов длинными, как крылья, руками.

Мы выбрались из толпы до конца митинга и без труда нашли удобное место в кафе — через полчаса это было бы безнадежным делом. Кафе живописно называлось «Zur Tante» — «У тетки», и пиво нам подали превосходное. За кружками пива мы разговорились.

На докладе Вонсяцкого в РОНДе мой теперешний спутник сидел со мной рядом, после каждой зажигательной тирады с жаром отбивал себе ладони и кричал: «Слава России!» Радостное возбуждение — такое же, как в толпе, в которой мы только что стояли, — сияло при этом на его простоватом, добродушном лице. В антракте мы познакомились.

Он оказался общительным человеком. Спустя десять минут я уже знал, что он офицер военного времени, сын зажиточного малорусского земледельца («помещика», как он с важностью говорил), что в Германии «мается так и этак» уже тринадцать лет и по убеждениям «стопроцентный гитлеровец». «Да как же иначе? Иначе не может и быть. Кем же быть русскому человеку — вот такому, как мне, как не национал-социалистом?»

Теперь, сидя «У тетки», прихлебывая пиво и макая «вюрстхены» в горчицу, он обстоятельно объяснял мне, «какой он человек» и почему «иначе не может и быть».

— Перешел я границу в 1920 году и очутился в Литве. Оборванный, грязный, обросший бородой, в солдатской шинели, — не то что на офицера и сына помещика я не походил, а и хулиган не всякий бы признал во мне ровню. Такой был у меня вид, что прохожие шарахались в сторону.

Пешком через Литву я добрался до Восточной Пруссии. Денег у меня не было. Питался подаванием. На войну я попал 17-летним мальчишкой, который жизни совсем не знал и работы никакой не умел делать. На счастье мое, встретился мне один русский военнопленный — их масса была тогда в Восточной Пруссии — и взял меня под свое покровительство. Устроились мы батраками на имении. Дали мне вилы. Взял я вилы, которых отродясь не держал, и началась моя трудовая жизнь.

Пища прямо никуда не годная, да вдобавок в обрез. Закурить или передохнуть во время работы — преступление. Дождь проливной льет — это тебя не касается, мокни до нитки, но прекратить работу не смей. Ну прямо скотское положение. Товарищи мои были терпеливей меня, сносили все, — мне же с непривычки показалось невтерпеж, подговорил я их на забастовку. То есть какая там забас-

товка, просьба скорей: работу немного облегчить, пищу улучшить. Ну, сегодня мы свое заявление подали, а назавтра везли нас уже в арестантском вагоне в Кенигсберг — распределять по концентрационным лагерям.

Я тут задумался, знаете, едуци в арестантском вагоне. В лагерь попадать мне, само собой, нет охоты.

С другой стороны, думаю, не может здоровый работоспособный человек пропасть, даже и в чужой стороне, если правильно взяться за дело. Стерегли нас немцы не особенно строго, удалось мне сбежать.

Чем я только потом не занимался. Торф копал, рубил лес, был углекопом, рыл каналы, был кучером, берейтером, осушал болота, служил приказчиком в имении, садовником, шофером — все пере-пробовал, стараясь выбиться в люди. Работал я старательно и при-норавливаться умел, но все-таки прослужишь месяца два-три и чувствуешь — не вмоготу, нет сил, образ и подобие человеческое теряешь, превращаясь в подъяремный скот. Менял я профессии, надеясь найти лучшие условия жизни, но куда ни податься, всюду были одинаковые условия — за минимальную плату выжимают из тебя всё без остатка.

Попал я как-то в соляные шахты. Глубоко, знаете, 700 метров, температура адская, стоишь голый, в одних трусиках, на лбу повязка, чтобы соленый пот не выедал глаз. Ну совершенный каторжник, не хватает только надзирателя с кнутом. Но зачем кнут? Страх не выполнить урок и потерять место — в то время уже начиналась безработица и работа давалась все труднее — подгонял меня лучше всякого кнута. И стал я, знаете, рассуждать про себя. Вот как рассуждать.

От кого я бежал тогда, оборванный, голодный, в 1920 году? От коммунистов. Ненавидел их за то, что они разрушили Россию, ее силу, ее богатство, пустили по миру сотни тысяч людей, в том числе и меня. И теперь, спустя много лет, стуча киркой о соляной пласт, проверял я себя и видел, что не ошибался, что они злые звери, негодяи, враги родины. А между тем... вспомнил я коммунистическое учение, их слова о несправедливости буржуазного строя, разрешающего сильным угнетать слабых, и чувствовал: все правда. Как же не правда? Вот я тружусь тяжким трудом, живу на чердаке, питаюсь маргарином и картошкой, а если завтра мне дадут расчет, мне не на что будет даже чистую рубашку купить, чтобы искать работы в приличном виде. Как же не правда, думал я. И чем больше думал, тем мучительнее становилось раздумье. Кто же я такой? — рассуждаю. Большевиков ненавижу и в ихних глазах я белогварде-

ец, прислужник эксплуататоров. Но и эксплуататоров этих ненавижу, не меньше, чем большевиков, если, знаете, не больше. Ведь большевики для меня в прошлом, в России, за тридевять земель, а капиталисты сводят мою жизнь на нет тут, сейчас, и такая у меня против них скопилась злоба, что, бывало, видишь на улице сытого, хорошо одетого человека — и одно чувство: эх, всадить бы тебе нож под ребро, буржуй!

Так меня это стало мучить, что прямо с ума стал сходить. Кто же я такой? Где мое место в мире? Человек я или так что-то вроде чего-то — ни Богу свечка, ни черту кочерга? Пробовал с товарищами беседовать — все не то говорят. Которые помоложе, все поголовно коммунисты. На Ленина как на икону молятся, Россию советскую считают раем земным. Что, говорят, убедился наконец на собственной шкуре, что все зло от капиталистов? Правильно делают у вас в России, пуская им кровь. Рабочие постарше, пожилые, сгорбленные, с потухшими глазами, были безразличны ко всему окружающему и политикой не интересовались. Жизнь уже их сломила и перемолола. Только бы накормить семью, заплатить за квартиру, справиться сапоги — дальше этого их интересы не шли...

Оставались еще социал-демократы. Одно время я и подался к ним. Вот, думаю, справедливые люди: и большевикам враги, и рабочие интересы против капитализма защищают. Записался я в ихний Verein¹. Кружки стал посещать, газету выписывал. Всё ничего, — пока не дошло до дела. А дело простое случилось: уволил меня без предупреждения предприниматель, и пошел я в Verein жаловаться. Сочувственно так отнеслись. Конечно, говорят, ваше дело правое, мы поддержим вас. Начали уже и жалобу за меня составлять. Кто, спрашивают, ваш предприниматель? Такой-то. А был он важная шишка, первый в округе богач. Вытянулись тут их лица. Пошушукались между собой, развели руками. Не можем, общаются, ничем вам помочь, нет у нас средств на судебные издержки. А у них из наших рабочих взносов капиталы посоставлены, дома выстроены, целая орава партийных кормится. Понял я тут разом, что такое эти Verein'ы и какая они мне защита.

Тут вскорости услышал я: Гитлер, национал-социализм... С тех пор я другой человек. Тяжело живется, а я внимания не обращаю. Случится поголодать — ну и поголодаю, экая важность... Главного у меня никто не отнимет — веры в новую жизнь. И сознания, что я не одинок — миллионы таких же, как я. И что правда на земле есть. И что когда воскреснет Россия — и мне там найдется место.

¹ Союз (нем.).

Он глядел на меня открыто, ясно, искренне. В его голубых, добродушных глазах светилась твердая уверенность, что он «знает правду». Видно было, что этот простой, вероятно славный, выдавший много тяжелого человек не рассуждая пойдет куда угодно за всякими, в чьих руках будет знамя со свастикой. За Бермонтом, за Светозаровым — за любым авантюристом или одержимым. И что разубеждать его, по крайней мере сейчас, напрасный труд.

VII

Опять автомобиль бесшумно катит вперед. Берлин с РОНДом, Бермонтом, Вонсяцким, Светозаровым, «пробуждением России на немецком языке» далеко позади. Время, потраченное там, мы теперь наверстываем «головокружительной ездой», 120 километров в час.

То здесь, то там на фоне идиллической сельской природы мелькают громады каких-то фабричных зданий. Колоссальные трубы дымят черным дымом, многоэтажные корпуса, с наступлением сумерек, вспыхивают сотнями окон. Вдоль изгородей из колючей проволоки, которыми такие места неизменно окружены, поблескивая винтовками, день и ночь ходят часовые.

В любом немецком городке, самом маленьком, самом захудалом, обязательно стоит тяжеловесный монумент с надписями, лаврами, скрещенными саблями и аллегорическими фигурами — памятник 1871 года. Теперь эти памятники сразу бросаются в глаза. Они подновлены, вычищены. Всегда около них толпятся люди. Очень часто в цоколе над толпой видна фигура ударника. Он выкрикивает звонкие патриотические фразы — «Стыдно умирать в собственной постели» или что-нибудь в этом роде. Его рука с красной повязкой на рукаве высоко поднята в воздух для клятвы или угрозы. Красные знамена новой Германии колышутся над памятниками былых побед, и у их подножия лежат букеты и венки, перевязанные лентами со свастикой.

* * *

Как ни гоним мы наш «штутц» — его двадцати сил все-таки не хватает, чтобы домчать нас засветло в Ширке или Браунлаге — одно из горных местечек в Гарце, где мы самонадеянно собрались заночевать. Нет, даже для такой машины, как наша, есть невозможные вещи. Прикинув остающееся время, мы ясно видим, что если даже еще усилить скорость, то единственное, чего мы сможем добиться, это застрять где-нибудь, среди перевалов и пропастей, часов в 10

вечера. Гарц, таким образом, откладывается на завтрашнее утро. Ночевать мы будем в Гальберштадте.

Я лет 10 тому назад провел в Гальберштадте час или полтора, ожидая пересадки; поэтому, в сравнении с моими спутниками, я считаю знатоком этого города. И, в полной уверенности в правоте своих слов, объясняю им, что ночевка нам предстоит в месте довольно скучноватом. В самом деле, я прекрасно помню новехонький вокзал, подстриженные, свежесажённые вокруг банальных цветников деревья, сияющую новой краской и бетоном улицу, которая начинается от вокзала и которая есть, без сомнения, главная улица Гальберштадта. Словом, маленький Берлин, провинциальный кусочек Вестена, миниатюрная Тауентциенштрассе, где единственное, что можно сделать, это, закусив в каком-нибудь модернизованном автомате, отправиться убить время на кинематограф.

Вот и Гальберштадт. Всё как я говорил: вокзал, бетон, приликаные цветники. Кафе, облицованное фальшивым рыжим мрамором. Напротив новенький отель, облицованный фальшивым мрамором серым. За ними главная улица. Все-таки, хотя мы знаем, что ничего любопытного не увидим, надо после обеда отправиться по ней немного вглубь, чтобы размять ноги.

...Было ясно, тепло, необыкновенно тихо. В окнах только кое-где светились огоньки. Прохожих почти не встречалось. В небе торжественно плыла полная луна, освещая волшебный средневековый город. Иначе как волшебным нельзя было назвать Гальберштадт.

Улочки, переулки, закоулки, тупики словно лабиринтом окружали площадь. Мы блуждали по ним, заворачивали куда-то, поднимались по ступенькам, спускались, возвращались на место, где уже были, и снова шли бродить. Один за другим вырастали перед глазами дома, один восхитительнее другого. Этажи выступами громоздились над этажами. Пестрые стекла сияли и переливались в окнах самых причудливых фасонов. Какие-то лесенки круто вели к небу. Чугунные лебеди протягивали шеи из темноты. Лакированные двери, цвета крови, блестели кованой медью. Фонтаны шумели в таинственных двориках. И на них глядели святые с цветами в руках, горожане с кружками пива и трубками, рыцари, знаки зодиака, львы, синие кораблики с золотыми парусами, ветряные мельницы, арабески всех цветов, которыми были расписаны стены окружающих домов.

Каждый дом был раскрашен на свой особенный лад. Между этажами, вдоль пестрых балок, висели длинные нравоучительные или поэтические надписи готическим шрифтом во всю ширину фасада. Один пятиэтажный дом на площади был бирюзового цве-

та и весь просвечивал, как драгоценный камень. А напротив у колодца, верхом на свиньях и тритонах, с трезубцами наперевес, скакали страшные уродцы в высоких шапках: в лунном свете они казались живыми.

Утром мы еще раз обошли Гальберштадт. Конечно, впечатление было уже не то, что ночью. Над бирюзовым домом обнаружилась вывеска дантиста. С таинственной лесенки на лебедях прямо на нас вышел дружинник в хаки и, потряхивая кружкой (почти каждый день в Германии собирают какие-то пожертвования), козырнул и наколол нам аляповатые значки со свастикой. Но и в дневном свете Гальберштадт был все-таки чудесен. Я видел много старинных городов, но ни Руан, ни прославленный Роденбахом Брюгге, ни Люксей в Вогезах не идут с Гальберштадтом в сравнение. Здесь каким-то чудом сохранилось то, что, пожалуй, драгоценнее самых замечательных памятников искусства, — какое-то «животное тепло» средневековья, если можно так выразиться. Мы выпили на прощанье пива в биргалле, существующем 300 с лишним лет, и купили бананов и груш в маленькой фруктовой лавчонке, над сводчатым входом в которую была скромная надпись: «Основана в 1498 году».

Гарц. Высокие подъемы, крутые спуски. Огромная черная рука, распростертая на фоне темных елей, ежеминутно предупреждает об опасности. Брокен — гора ведьм — какая-то сутулая, покрытая щеткой мрачного леса. Хорошенький (пошловатый после Гальберштадта) Браунлаге с десятками пустующих пансионатов и санаторий, владельцы которых смотрят вслед автомобилям с туристами голодными глазами. Какая-то гигантская стройка, производимая в горах (пласт огромной скалы срезан как ножом, десятки подъемных кранов поднимают и сваливают щебень, камнедробилки глухо гремят, неизменные часовые разгуливают между местом работ и дорогой), — и мы снова в долине. После вынужденного замедления летим вовсю. К обеду не полагается опаздывать, а в замке, куда мы едем, нас ждут к обеду.

* * *

«Учение Гитлера так высоко, что обыкновенный смертный не может его постичь», — наставительно цедит барон Н., хозяин замка в Вестфалии, где мы обедаем и проводим свою последнюю ночь в Германии. Еще в Риге мы были гостеприимно приглашены пожить здесь «подольше»; но, во-первых, путешествие и так затянулось... А во-вторых, скучно как-то в великолепных замках этого феодального поместья, неуютно за блистательно сервированным

столом, томительно-беспокойно за «непринужденной беседой» у огромного камина, за душистым кофе, ликерами и толстыми ту-рецкими папиросами.

«Гитлер — немецкий Мессия», — с пафосом поддакивает барону его жена. На мгновение их глаза встречаются, и какое-то не-уловимое выражение растерянности перебегает из взгляда во взгляд. Не надо быть особенно проницательным, чтобы догадаться, что хозяйева вряд ли в таком восторге от Гитлера, как это они изо всех сил стараются показать, и не так уж безмятежно их настроение под сенью широко развевающегося над фронтоном замка красного национал-социалистического знамени.

Барон Н. — человек лет сорока пяти, бывший белый кирасир кайзера. Жена его — русская. Ее я знаю с детства, с ним познакомился в 1923 году, в разгар инфляции. Какие веселые обеды задавали тогда супруги Н. в своем особняке на Фазененштрассе и кто там только не бывал! Министры, послы, журналисты, кинематографические звезды и банкиры, банкиры, бесчисленные тогдашние банкиры. Общество, спору нет, было блестящее, но с арийской точки зрения не вполне удовлетворительное. Хорошая половина гостей, наиболее уважаемых, самых ценимых, была евреями. Барон Н. состоял пайщиком известного универсального магазина, компаньоном крупнейшей кинематографической компании, членом правления большого банка. Перед всеми этими местами в дни бойкота стояли дружинники, жалась любопытная толпа, перешагнуть через их порог было дело рискованное; «Judisches Geschäft»¹ — было намазано углем, мелом, краской вдоль и поперек на их зеркальных витринах, внушительных подъездах, облицованных гранитом фасадах. И это была чистая правда: предприятия, где делал свою блестящую финансовую карьеру барон Н., были предприятиями еврейскими.

Теперь над его замком развевается флаг со свастикой и в петлице его изящного пиджака поблескивает розетка национал-социалистической партии. Белый кирасир кайзера — человек с ясной, расчетливой головой ультрасовременного денежного туза вовремя перекрасился в защитный черно-красный цвет. На столе у него раскрыт том Шпенглера и навалены макеты нового патриотического сценария, который его фильмовая компания собирается ставить, исполняя социальный заказ. «Учение Гитлера так высоко...» — говорит он и вбрасывает в глаз монокль классическим

¹ «Еврейское предприятие» (нем.).

жестом прусского лейтенанта. «Учение Гитлера так высоко...», что — таково, по крайней мере, мое впечатление — этот человек, холодный, самоуверенный, «режущий подметки на ходу», первые в жизни растерян, не знает, что ему предпринять, чувствует, что и врожденная ловкость, и благоприобретенный опыт могут не вывезти на этот раз. Слишком уж высоко учение Гитлера: фильмовые общества дают только голый убыток, универсальные магазины прогорают, и банки, пошатываясь на размягченных фундаментах между прекращением платежей и национализацией, не знают, в какую еще из этих пропастей придется рухнуть всей своей раззолоченной, облицованной, железобетонной тяжестью.

Рыцари в кольчугах и шлемах выстроились у дубовых панелей. Токайское в старинных рюмках отливает огнем. Сигары благоухают. Ноги тонут в смирнском ковре. Кресла восхитительно удобны. Но сквозь эту роскошь, комфорт, тепло, бравую выправку и самоуверенный говор хозяина, сквозь восторг перед Гитлером и цитаты из Шпенглера явственно веет какой-то ледяной сквознячок. Очень, кстати, похожий на тот, который после октябрьского переворота сразу повеял в тех петербургских гостиных, где в течение семи месяцев до того так страстно, упорно, жадно мечтали о гибели Временного правительства.

Скучно и беспокойно под гостеприимной кровлей феодально-го замка в Вестфалии. Хочется зевнуть, хочется куда-нибудь уйти. Досиживаем кое-как вечер. Как ни неискренен, пуст и вял наш разговор, кое-что любопытное проскальзывает все-таки и сквозь его условность.

Я не знал, например, что каждому доброму немцу, имеющему знакомых в Австрии, вменяется в обязанность посылать им воззвания, пропагандирующие аншлусс, бойкот правительства Дольфуса и т.д. Летучки эти для удобства отпечатаны на писчей бумаге и снабжены плотным, непросвечивающим конвертом. Одна сторона чистая — на ней можно, как на белой половине открытки с видом, написать частное письмо.

Любопытны и подробности нового устройства союзов деятелей искусства. Каждый писатель, сценарист, актер обязан вступить в соответствующий союз. Это опубликовано и общеизвестно. Но только те, кто в союз не приняты, знают, что, независимо от стажа, таланта, имени, они больше не напечатают ни одной строчки, не выступят ни на одной сцене, пока существует нынешний режим или пока тем или иным способом они не выхлопочут себе членского билета.

Сколько раз в дороге мы бывали неосторожны. Летели с непопозволительной быстротой, ехали ночью, в тумане, с недействующими фарами, делали спуски в несколько километров с выключенным мотором, занятие увлекательное, но не очень благоразумное. «Аксидан» ждал нас на умеренном ходу, на месте гладком, как доска, и притом «аксидан» в некотором роде «с политической подкладкой». Мы наскочили на мотоциклетку с гитлеровским ударником.

Как это случилось? Так, как «это» всегда случается. Мгновенно, в одну секунду, прежде чем можно не только что-нибудь предпринять, но просто сообразить, в чем дело.

Было чудное утро. Мы проезжали деревушку. На улице ни души, кроме стада гусей, разгуливающих вдоль канавы. Большой грязно-белый гусь сунулся, когда мы заворачивали за угол, перебежать нам дорогу. Чтобы не задавить его, сидевший за рулем взял чуть-чуть влево, и вдруг треск, звон, грохот... В канаве, где только что паслись гуси, широко раскинув руки, лежит долговязый подросток в хаки, с красной повязкой на рукаве, и по его шее, за воротник коричневой рубашки, течет кровь. Мотоциклетка, на которой он только что ехал, отброшена на порог булочной — там в дверях толстый булочник, выбежавший на шум, таращит ошалевшие, водянистые глаза. И над всем этим с отчаянным гоготанием носятся гуси, с перепугу взлетевшие на воздух.

...Все обошлось благополучно. У ударника оказалась расцарапанной кожа за ухом. Мотоциклетка его почти не повреждена. Был ли этот юный гитлеровец от природы кроткого нрава или на воображение его подействовал бело-голубой флажок рижского автомобильного клуба, который он принял (и мы его не разочаровывали) за атрибут дипломатической неприкосновенности? И то и другое, должно быть. Во всяком случае, он, явившись из аптеки с залепленным пластырем затылком, выказал ангельский характер, был вежлив, мил, не только не предъявил на правах потерпевшего претензий, но даже извинялся. Мы в ответ пригласили его позавтракать.

Маленькие придорожные ресторанчики в немецкой провинции, особенно поближе к югу, удивительно приятны. Чисто, тепло, светло, прочный дубовый или ясеневый стол покрыт накрахмаленной скатертью, в окнах — цветы, на полках — ярко начищенная медная посуда, у камина — удобные дедовские кресла, сам камин облицован темным деревом или выложен пестрыми забавными кафелями.

Прислуживает какая-нибудь пышная голубоглазая Минхен или Лизхен, прислуживает старательно и вполне исправно, но сам хозяин то и дело подходит к столу. Подвинет горчицу, разгладит морщинку на скатерти, осведомится, вкусно ли хершафтенам, не дует ли из окна, не желает ли дама отдохнуть после обеда. Если пожелает, комната с огромным мраморным умывальником, душеспасительной вышивкой над постелью и невероятными немецкими пуховиками к ее услугам, совершенно бесплатно. Очень часто в такой корчме хозяин церемонно просит оказать ему честь — выпить, тоже, разумеется, даром, какого-нибудь редкого вина или старого вейнбрэндта. Наивно, радушно, старомодно, патриархально, с уважением к проезжим, но и с большим чувством собственного достоинства, и всё, вместе взятое, чрезвычайно «гемютлих». Чтобы почувствовать до конца это выразительное немецкое слово, надо непременно победать и выпить прохладного рейнского вина в такой деревенской корчме. Старая, добисмарковская Германия — насколько она милее и уютней новой, не только гитлеровской, но и вообще берлинской — приподнятой, прусской, модернизированной.

За завтраком я пытаюсь проинтервьюировать нашего молодого человека — но не тут-то было. Он болтает не переставая обо всем, о чем угодно, но стоит коснуться быта ударников, их настроений — становится нем как рыба. Я все-таки не отступаю. Тогда, залившись краской, он признается: говорить с посторонними на такие темы строжайше запрещено.

* * *

Геттинген. Нельзя не остановиться хотя бы на полчаса в городе, откуда

...поэт Владимир Ленский
С душою чисто геттингенской

явился в усадьбу Лариных, откуда он привез в русскую глушь «вольнолюбивые мечты».

Большой, нарядный город. Смесь умеренного, не берлинского модерна с тщательно охраняемой стариной. Вот и знаменитый университет. А вот сводчатая, огромная, как манеж, подвальная пивная, где испокон веков, еще задолго до Ленского, заседали студенты.

Заседают они и теперь. Еще спускаясь в подвал, слышишь нестройный шум голосов. В дальнем углу пивной, под портретом фюрера, развалилась на диванах компания человек в тридцать в спортивных костюмах и пестрых корпорантских шапочках.

Очень молодые, развязные, крикливые, дымят сигарами и беспрестанно чокаются пивом. Через несколько минут на пороге, в противоположном конце пивной, появляются еще несколько таких же точно юношей. Заметив своих, они поднимают руку и кричат «гейль!». «Гейль!» — нестройно, но оглушительно отвечает компания под портретом. Вновь пришедшие, выстроившись шеренгой, направляются к ним в угол. Они не просто идут, а медленно маршируют, сильно притоптывая каблуками: и при этом хором скандируют: Deutschland für Deutschen — Nieder mit Juden¹.

В углу радостно сияют, глядя на своих дорогих друзей, придумавших такую веселую выходку. Обе стороны от души наслаждаются. Кельнеры и посетители тоже смотрят на это зрелище, сочувственно улыбаясь: «Славная, славная молодежь» — явно чувствуется в их взглядах.

Когда шеренга вплотную приблизилась к сидящим, те как по команде вскакивают и так зычно подхватывают: «Nieder mit Juden!» — что кружки дребезжат на столиках. Потом все рассаживаются и начинается усердное, непрерывное чоканье. В 1934 году, чтобы быть «с душой чисто геттингенской», очевидно, надо вести себя именно так.

.....

Довольно Германии! Это чувство вдруг овладевает нами. Мы путешествуем по царству Гитлера только восемь дней и еще полчаса назад жалели, что мимо стольких интересных мест промчались не останавливаясь. Еще полчаса назад был силен соблазн, не захватить ли в Нюрнберг, не сделать ли крюк вдоль Рейна, даже не свернуть ли, вопреки всем расчетам, на Баварию. И вот, вдруг, вместо этого — желание выбраться отсюда, и как можно скорей. Нюрнберг очарователен? Верим. Берега Рейна прекрасны? Не сомневаемся. Маленькие гостиницы на дороге, белое вино, патриархальные немки — все это так «гемютлих». Но довольно, хватит и очаровательных берегов, и радушных хозяев. В ворохе разных ощущений, собранных за время поездки, определилось, покрывая все другие, одно: как хорошо, что я ничем не связан с этой страной, что еще сегодня я перееду ее границу. Дело совсем не в геттингенских буршах. Просто безотчетно скопившееся отвращение вдруг стало ясным, кристаллизовалось.

¹ Германия для немцев — долой евреев (*нем.*).

Итак, вместо разных противоречивых соблазнов — один: кратчайшей дорогой на Кельн, на Аахен, никуда не заезжая, ничего больше не осматривая, — «домой, домой!»

Мы садимся в машину на ратушной площади. Перед ратушей, освещенная косым солнцем, стоит статуя девочки с лебедем под мышкой. Из клюва лебеда бежит вода, а кругом вьется ажурная решетка удивительно легкой работы. Статуя нежно, невинно улыбается, точно приглашая полюбоваться собой. Трудно не полюбоваться, особенно когда знаешь, что «философ двадцати двух лет», с черными кудрями до плеч, тоже когда-то любовался ею. Так даже лучше. Пусть, вопреки отталкивающей реальности, сохранятся на память о Германии этот детский силуэт, шея лебеда, косое солнце, музыка пушкинских стихов.

* * *

Знаменитые Ciel и Enfer¹ на авеню де Клиши нарочно построены бок о бок, чтобы чувствительный провинциал за свои десять франков мог вполне насладиться эффектом немедленного контраста. Я вспомнил об этом, проезжая по Бельгии. Должно быть, нигде в мире «райское» и «адское» в природе не находятся в таком близком и таком разительном соседстве, как на автомобильной дороге между Германией и Францией.

Сперва ад. Из идиллической прирейнской Германии с зелеными рощами, мягкими холмами, черепичными кровлями деревень и связками табаку, сушащегося на солнце, почти сразу попадаешь в кошмар какого-то экспрессионистского фильма.

С одной стороны дороги высятся огромные пепельно-белые склады. Ни дерева, ни куста, ни пучка травы. Все вытоптано ногами рабочих, укатано колесами вагонеток, засыпано сухой известковой пылью.

Сквозь этот едкий туман мутно просвечивает солнце, расплываются дымно-серые человеческие фигуры, движутся белесоватые зубчатки, цепи, камнедробилки, подъемные краны. Гул машин, взрывы динамитных патронов, грохот падающих осколков, треск моторов. И повсюду большие, чтобы бросалось в глаза, отчетливые, чтобы сквозь пыль было видно, надписи: Attention! Danger mortel!² И точно для пущего «макабрного» контраста с пепельно-мглисто-летейским тоном окружающего, по дороге взад

¹ Рай и Ад (фр.).

² Осторожно! Опасно для жизни! (фр.)

и вперед носятся грузовики, выкрашенные в кроваво-красный цвет.

И вдруг, после ада, рай. Поворот дороги — каменоломни раздвигаются, небо становится ясным. Широкий Маас тихо катит спокойные зеленоватые волны, и над ним вырисовываются острые вершины Арденн.

Чем дальше, тем все красивее. Арденны, если их сравнивать с Альпами или Пиренеями, совсем небольшие горы, чуть ли не холмы. Но они так живописны, полны такой романтической прелести, что и Альпам, и Пиренеям приходится им в чем-то уступить. В том, как очертания Арденн чередуются с поворотами реки, деревьями, колокольнями, острыми крышами домов, есть какая-то «непогрешимость замысла», словно не случайная игра стихии, а творческая воля художника размещала и комбинировала все это. Долина Мааса в окрестностях Намюра — место, где погиб король Альберт, — действует на душу как произведение искусства: не только восхищаешься этим удивительным пейзажем, но и чему-то учишься у него.

* * *

Усатый жандарм. Трехцветный флаг — *Avez-vous du tabac?*¹ — французская граница. Ночевка в отеле, единственном в городке и таком грязном, что после Германии не веришь, что такие еще могут существовать. Но удовольствие, вернее, наслаждение при мысли, что это Франция, — с лихвой покрывает дрянной дорогой обед, скверную кровать и отвратительный утренний кофе-крем. В семь утра мы уже выкатываем машину, набираем бензин и катим дальше. До Парижа три с половиной — четыре часа езды.

Путешествие кончается. И опять, как в самом начале его, под Митавой, мелькают по сторонам дороги стены сожженных ферм, кресты братских кладбищ, леса, исковерканные орудийным огнем. За 19 лет усилия людей и природы все еще не стерли зловещих следов войны. Зато подросла молодежь. Ей так нравится военная музыка, блеск оружия, распущенные знамена, патриотические фразы... И когда ей кричат: «Стыдно умирать в постели», — она верит, что стыдно.

<1933—1934>

¹ Табак везете? (фр.)

ЗАКАТ

НАД ПЕТЕРБУРГОМ

«Блистательный Санкт-Петербург» — был, в пору своего расцвета, в самом деле блистательнейшей столицей. Расцвет этот длился примерно от царствования Екатерины Великой до царевубийства 1 марта.

Его наивысшей точкой была первая половина XIX века. Это и была та эпоха, о которой не кто иной, как Поль Валери, записал в своем дневнике: «Три чуда мировой истории — Эллада, итальянский Ренессанс и Россия XIX века!»

...Былое сопротивление «порфиноносной вдовы» — Москвы — окончательно выдохлось. Ее либерально-барская и староверски-купеческая оппозиция стала чем-то вроде безвредной старушечьей болтовни. Все, что в бывшей столице поднималось, так или иначе, над безличным обывательским уровнем, будь то Растопчин, славянофилы или даже Чаадаев, — блистало отраженным светом Петербурга. Об «остальной», бескрайней, России — нечего было и говорить. Там, после последней вспышки подспудного пламени — Пугачева, воцарилась «всерьез и надолго» пресловутая «вековая тишина». Ее нарушали лишь сентиментальные вздохи кисейных барышень, аккорды усадебных клавиринов, зычные дьяконские «многолетия» да еще барабанная дробь и «смирнаа!» военных поселений.

С «дней Александровых прекрасного начала», вплоть до Севастополя, имперские замыслы Петра Великого торжествовали полную победу. Олицетворением этих замыслов, олицетворением «Российской Империи», занявшей место «матушки Руси», — был Петербург. И в Петербурге, как в фокусе, сосредоточилось российское «все».

Отвлеченное определение идеи и материи, для наглядности иллюстрируемое образом цветущей яблони и тенью, этой яблоней отбрасываемой: яблоня — идея, тень яблони — материя, — это определение могло, пожалуй, характеризовать взаимоотношения Петербурга и России. Петербург — идея, остальная Россия только тень Петербурга, только материя, воплотившая идею.

Петербург, сто лет тому назад почти не существовавший, стал теперь мозгом и сердцем страны. России оставалось только повиноваться и посылно подражать ему. Все большие дороги русской жизни перекрещивались в одном «невралгическом центре» — Петербурге. Казалось, что все, чем отличается полнота живой жизни от растительного существования, стало привилегией петербуржцев, принадлежало только тем избранным, кто жил в прекрасной столице и дышал ее туманным воздухом.

...За окном, шума полозьями,
Пешеходами, трамваями,
Таял, как в туманном озере,
Петербург незабываемый.

Незабываемый? Да, именно незабываемый. Восхитительный, чудеснейший город мира. Для петербуржцев, вздыхающих по нему как по потерянному раю? — Конечно. Но не только для одних петербуржцев. Значит, и для всех русских? Не знаю, для всех ли, во всяком случае, для очень многих и — как это ни удивительно — для многих иностранцев. Очарованных Петербургом иностранцев не перечить: «Город-мечта, волшебным возникший из финских болот, как мираж в пустыне...» «Версаль на фантастическом фоне белых ночей...» «Соединение Венеции и Лондона».

...О Венеции подумал
И о Лондоне зараз...

«Стеклянные воды каналов» и туман, туман... Ни одно описание Петербурга не обходится без тумана.

Но это не лондонский туман. Туман Петербурга совсем особенный, ни на какой другой не похожий. Он — душа этой блистательной столицы.

Невы державное течение,
Береговой ее гранит,

мосты, дворцы, площади, сады — все это только внешность, наряд. Туман же — душа.

Там, в этом призрачном сумраке, с Акакия Акакиевича снимают шинель, Раскольников идет убивать старуху, Лиза бросается в ледя-

ную воду Лебяжьей канавки. Иннокентий Анненский в накрахмаленном пластроне и бобрах падает с тупой болью в сердце на ступени царскосельского вокзала в

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты,

которые он так «мучительно» любил.

Туман, туман...

На Невском он прозрачный, кружевной, реюший над «желтизной правительственных зданий» и благовоспитанно стушевывающийся перед сияньем дуговых фонарей. Фары «вуазенов», звонкое «берегись!» лихачей, гвардейцы, садящиеся в сани,

Широким жестом запахнув шинель.

В витринах Елисеева мелькают ананасы и персики, омар завивает во льду красный чешуйчатый хвост. За стеклами цветочных магазинов длинные стебли срезанных роз, розы расцветают на улыбающихся лицах женщин, кутающихся в соболя...

Может быть, того густого, тяжелого, призрачного тумана и не существует больше? Нет, он по-прежнему тут. В двух шагах от этого оживленья, света и блеска — унылая пустая улица, тусклый фонарь и туман, туман...

...Ночь, улица, фонарь, аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Все будет «так» или почти «так»

Над Невою многоводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

Все всегда будет так. Никакие перемены невозможны. «Игра продолжается». Исхода нет. И быть не может. Но это только казалось.

Ущерб, потускнение, «декаданс» Петербурга начался незаметно, как незаметно начинается неизлечимая болезнь. Сперва ни больной, ни его близкие ничего не замечают. Потом лицо больного начинает меняться все сильнее... И наконец, перед смертью, оно становится неузнаваемым...

В 1918—1919 годах Петербург стал неузнаваемым. После разгрома белых армий Петербург умирал.

...Зеленая звезда в холодной высоте,
Но разве так звезда сияет?
О, если ты, звезда, воде и небу брат,
Твой брат Петрополь умирает...

Бывают сны как воспоминания и воспоминания как сны. И когда думаешь о бывшем «так недавно и так бесконечно давно», иногда не разбираешь, где сны и где воспоминания.

Ну да, была последняя зима перед войной, и была война. Был Февраль и был Октябрь... И то, что после Октября, тоже было. Но если взглянуть пристальнее — прошлое ускользает, меняется, путается.

...В стеклянном тумане висят мосты, две тонких золотых иглы слабо поблескивают, над гранитной набережной стоят дворцы,

И мчатся узкие санки
Вдоль царственно-белой Невы...

Какие-то люди ходят по улицам, какие-то события совершаются. А как же:

Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Нет, исход есть. И какой еще исход. «Живи еще хоть четверть века». Но четверти века жить не пришлось...

Вот молодой Блок читает стихи, и вот уже он

Спохватился — сорок лет..
Хватить похватать, а сердца нет.

Разве правда нет у него больше сердца? Или просто:

..Земное сердце уставало
Так много лет, так много дней,
Земное счастье опоздало
На тройке бешеной своей?

И он:

Наконец смертельно болен?..

И вот уже хоронят «испепеленного» Блока.

...Вот крещенский парад — урра! «Боже, царя храни!» И вот вместо оранжево-черного императорского штандарта — красная тряпка над Царскосельским дворцом. И в одном из окон, отрешившись, арестованный —

...Странно царь глядит вокруг
Пустыми, светлыми глазами.

...С начала царствования Александра III «ликвидация» бывшего величия Петербурга шла уже вовсю, «на всех парах», во всех направлениях. В начале XX века она «дошла до точки».

В этом «планомерном» сведении на нет всего, что было в Петербурге исключительного и неповторимого, что делало из него подлинный мозг страны, не было — да и не могло быть — чьей-нибудь сознательной злой воли. Напротив, люди, так или иначе способствовавшие вырождению Петербурга, лично — невинны. Никто из них не отдавал себе отчета в деле своих рук. Каждому — от царя и его министров до эсеров, охотившихся за ними с бомбами, — искренне казалось, что они не пилят сук, на котором сидят, а напротив, предусмотрительно окапывают тысячелетние корни «исторической России», удобряют каждый на свой лад почву, в которую эти корни вросли. Столица мельчала, обезличивалась, вырождалась — и люди, которые в ней жили, распоряжались, строили, «охраняли основы» или старались их подорвать, — тоже мельчали и вырождались. Никто уже не мог ничего поправить, никто не понимал безвыходного трагизма обстановки. За всех действовала, всем руководила судьба... если угодно, Рок.

Как бы там ни было, Петербург все быстрее и неудержимей катился по наклонной плоскости туда —

Где нас поджидала Чека...

...Главный фасад — на Неву — восхитительного здания Адмиралтейства застроили безобразным театром Неметти и другими уродливыми доходными домами. Должно быть, Морское ведомство великой страны никак не могло обойтись без этой жалкой «доходной статьи»... На Невском, как грибы, вырастали одно за другим «роскошные» здания — настоящие «монстры», вроде магазина Елисеева или дома Зингера.

В последнем, между прочим, обосновался журнал, как нельзя более соответствующий и стилю здания, и вообще захлестывавшей Петербург предреволюционных годов безвкусице. Вл. Крымов, издававший «Столицу и усадьбу», не мог пожаловаться на неуспех. Продавалась она нарасхват. Петербургские псевдоэстеты были в восторге от ее внешности, «роскошной» меловой бумаги, рекламных репродукций и столь же «роскошного» содержания, где разные «Юрочки» Беляевы, Агнивцевы и сам «редактор-издатель», нововременец второго разряда, поощрялись в одеколонно-парикмахерском снобизме.

Подзаголовок «Столицы и усадьбы» — *«Журнал красивой жизни»* — действительно не обманывал. Уже с объявления о подписке «красивая жизнь» властно вступала в свои права: *«Контора: в лифте на четвертый этаж, редакция — Каменный остров, собственная вилла!»*

Знамение времени: в гостиных и кабинетах светских петербуржцев, где теперь искренне наслаждались этим, с позволения сказать «художественным», изданием, в 80—90-х годах лежал замечательный сомовский «Вестник изящных искусств» — предтеча «Старых годов». Теперь же «Старые годы», шедевр вкуса и знаний, расходился в ста экземплярах и существовал исключительно благодаря меценатству Вейнера. Тут уместно напомнить о трагической судьбе этого большого знатока искусства. Еврей по крови, он — большая редкость! — окончил Александровский лицей. И за эту «привилегию», которой очень гордился, заплатил жизнью: расстрелян большевиками как «глава» фантастического «заговора лицейстов».

Каменноостровский соединил Марсово поле с островами. Лучшего сочетания для гармонического расширения столицы нельзя было и придумать. Все было заранее «дано» — только не портить! Элегантно выгнутый Троицкий мост соединял оба берега в самом широком, самом царственном месте Невы. За мостом обширная Пет-

ровская площадь и за ней — прямая, как по линейке прочерченная, линия проспекта — петербургские Champs-Elyseés!..

Но получилось не Champs-Elyseés¹, не новый Невский, а какой-то средней руки берлинский Damm², вдобавок еще, в отличие от этих Damm'ов, как кишка узкий. «Каменные нечистоты» — выражение Марселя Пруста — запакостили места, которые должны и могли бы стать одними из красивейших в столице.

Слева, между Петропавловскою крепостью и Кронверкским садом, вырос скульптурный ублюдок — памятник миноносцу «Стерегущему». Два бравых матроса с сусально-героическим выражением лиц стоят в натянутой позе натурщиков у открытого кингстона, из которого «бурно хлещет» бронзовая вода. На другой стороне площади — еще хуже. Рядом с очаровательной старинной церковью, вперемежку: «дворец» Николая Николаевича — серый цементный ящик, недоброй памяти кружевная, плюгаво-роскошная дача Кшесинской и позади их, поодаль, всех цветов радуги... мусульманская мечеть — не нашлось для нее другого места! И все это, именно вперемежку, вкось и вкривь, как чемоданы на вокзальном перроне...

* * *

Мне могут возразить: ну, так что же? Разве все это мешало Петербургу оставаться одной из прекраснейших столиц мира? Ведь уродовали и продолжают уродовать на все лады тот же Париж, к которому, кстати, и относится саркастическое выражение Марселя Пруста о «каменных экскрементах». Ведь все это не касается сути, а лишь наносные неудачные подробности, на которые и внимания обращать не следует.

Согласен. Петербург не изменился от этих «неудачных подробностей» и безвкусиц. Он остался по-прежнему прекрасным. Но не обращать на них внимания все-таки трудно. Дело с Петербургом обстояло несколько иначе, чем с Римом, Лондоном или Парижем. Повторяю, Петербург был на всю Россию, столь же бескрайнюю, как и бесформенную, — единственным городом имперски-великодержавного стиля. Петербург как бы являлся доказательством, что Россия, возглавляемая *такой* столицей, перестала быть Скифией или Московией — т.е. гигантской деревней, что она раз и навсегда свернула с ухабов своей былой проселочной дороги на широкий имперский тракт.

¹ Елисейские Поля (фр.).

² Здесь: проспект (нем.).

Так понимал значение Петербурга и *тот*, кто, его основав, «рукой железной Россию вздернул на дыбы», и *другой*, произнесший не в упрек, а в похвалу гению «саардамского плотника» эти слова. И поэтому каждый шрам пошлости, каждая болячка, безвкусица ощущались болезненно, как роковой симптом: «железная рука» разжимается, натянутая узда слабеет...

* * *

Смутное сомнение в стойкости и Петербурга, и всей Петровской России зародилось одновременно с их основанием. И сомнение это вошло составной частью в русское мироощущение. Пушкин был только более — не по-славянски — сдержан, чем остальные. Но достаточно вспомнить «Медного всадника»...

Добро, строитель чудотворный,
Ужо тебе.

Памятники и дворцы, колонны и золотые купола... Император, двор, гвардия, двуглавый орел со скипетром и державой в когтистых лапах. Одним словом, «красуйся и стой»...

Но фундамент всего этого великолепия? Достаточно ли он укреплен, чтобы выдержать огромную тяжесть гранитной глыбы с Медным всадником в лавровом венце? Рука царя простерта в историческую даль, лицо обращено к заливу, к западу, к «окну в Европу». Но под копытами вздыбленного коня вьется змея. Раздавлена ли она навсегда? Вопрос. А если только придавлена? Если на самом деле:

...Царь змею раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.

Если эта змея (косности? азиатчины? былого «черного передела» и «красного петуха»? «грядущего сталинизма?»), притаившись, ждет только случая выскользнуть из-под копыт

...И нашу славу и державу
Возненавидеть до конца!

И тогда не «стоять и красоваться» предстоит «блистательному Санкт-Петербургу», а быть ему «пусту».

Но — странное дело. Пока петербургская империя «стояла и красовалась», пока она расцветала и крепла — крепло и рожден-

ное вместе с ней сомнение в ее будущем. И, напротив, когда она стала все быстрее и быстрее катиться к катастрофе — сомнение это начало бледнеть, улетучиваться, исчезать...

Как раз перед самым концом и те, кто еще держал «по инерции» узду империи, и те, кто готовились перехватить — или вырвать — ее из ослабевших, неумелых рук, неожиданно прониклись какой-то оптимистической самоуверенностью. И трон Николая II, и председательское кресло ненавистного царю «толстяка Родзянко», уже готовясь вместе провалиться в тартарары, — вдруг стали казаться тем, кто на них восседал, весьма устойчивыми. Ни «с высоты престола», ни с «высоты думской трибуны», ни из комфортабельных кабинетов главарей кадетской партии, ни из-за немытых стекол эсеровских конспиративных квартир не стало видно смертельной опасности, нависшей над ними всеми, всеми, вместе взятыми. Враждуя между собой, власть, легальная или полулегальная оппозиция и революционное подполье — в годы войны, в сущности, благодушно совпадали в ощущении «непоколебимой стойкости» и столицы, и взнузданной ею навсегда «матушки-России».

...Наши чудо-богатыри, разбив вероломных немцев, осуществят «заветную народную мечту» — Крест над св. Софией, — и все само собой уладится, войдет в берега, все станет опять как при «миротворце-родителе»: «когда русский царь ловит рыбу», Европа — да и Россия, само собой разумеется, — «может подождать...»

Или вариант того же самого, но либерально-оппозиционный: «...наши доблестные войска в дружном единении с великими демократиями Запада... исторические права России на проливы... Николая с царицей уберут. Михаил Александрович — конституционный регент. И все устроится, уляжется, все пойдет как в Великобритании...»

Или же революционный вариант: «...освободившись от гнета самодержавия, свободный русский народ с удвоенной энергией... до победного конца... без аннексий и контрибуций... и все устроится: «хозяин земли русской» — Учредительное собрание, избранное прямым, всеобщим, тайным... провозгласит республику: Марк Вишняк будет председателем Палаты...»

* * *

Архитектурное совершенство Петербурга из года в год все больше искажал эклектический «разнобой», хотя город все еще продолжал оставаться чарующе-прекрасным. Еще зловеще-быстрее шел

процесс распада и дезориентации во всех областях духовно-общественной жизни столицы.

Бурный напор этой жизни нисколько не падал, напротив, он все увеличивался. Но, как и застраиванье Петербурга роскошной безвкусицей, — все эти лекции, диспуты, премьеры, «литературные суды» — ярко свидетельствовали, что Петербург не расцветает, а дегенерирует, свидетельствовали о непрерывном ослаблении и чувства меры, и эстетического чувства, и ответственности, и нравственного здоровья...

Театры были всегда переполнены. В большинстве из них, кроме казенных «императорских», шли «передовые» пьесы. В одном — «Черные маски» или «Анатэма»*, где действовали «Души до рождения», «Некто в сером» и «Некто в черном». В другом — «Ставка князя Матвея»**, где этот князь, правда «за сценой», но весьма натурально кого-то насиловал. В третьем — «Забава дев»***, где распевались куплеты:

Лебедь, рыба, рак, осел —
Ищут все прекрасный пол.
Ах, зачем же нам даны
Лицемерные штаны!

В студии Мейерхольда — и актеры, и актрисы играли с огромными лиловыми приклеенными носами. Журнал театрального искусства, издававшийся этим знаменитым режиссером, назывался — правда, по Гоцци — «Любовь к трем апельсинам».

На ежедневно происходившие диспуты тоже ломилась толпа. Мест не хватало для желавших узнать «Куда мы идем?», «Виновата ли она?», «Любовь или самоубийство?» и т.д., и т.д. И так вплоть до остро щекочущего нервы зрелища на вернисаже выставки «Мира искусства». Там однажды нарядная публика «всего Петербурга», забыв о картинах, теснилась, напирая друг на друга, вокруг гладко выбритого элегантного господина с красной гвоздикой в петлице. Это был Борис Савинков, глава «боевой организации», заочно приговоренный к повешенью. Бесстрашие? Еще бы — и какое! Но можно ли представить себе в такой роли, скажем, Каляева? Невозможно! Так же, как нельзя вообразить Каратыгина играющим «князя Матвея».

* Леонида Андреева.

** Сергея Ауслендера.

*** Михаила Кузмина.

Или Льва Толстого, ведущего в «Религиозно-философском обществе» спор о «святости пола» с Мережковским и Розановым...

Кстати, как раз имя Розанова — пожалуй, самое характерное из прославленных «имен» предреволюционной эпохи. Были писатели более знаменитые широкой и всероссийской знаменитостью, но ни Леонид Андреев, ни Горький, ни Мережковский все-таки не имели розановского влияния и обаяния. Его одного постоянно называли гениальным. В книгах Розанова самые разные люди — особенно молодежь — искали и находили «ответы» — которых до него не нашли ни у Соловьева, ни у Толстого, ни у Достоевского, ни у кого.

Безо всяких сомнений — Розанов был писателем редкостно одаренным. Но что, в конце концов, он утверждал? Чему учил? С чем боролся? Что защищал? Какие выводы можно сделать, прочтя его всего — от «Детей лунного света» до «Апокалипсиса нашего времени»? Ничего, ничему, ни с чем, ничего, никаких! Любая его книга с тем же талантом и находчивостью «убедительно» противоречит другой, и каждая страница любой из этих книг с изощренным блеском опровергает предыдущую или последующую страницу... Остается впечатление, как будто Розанов неизменно руководился советом одного из персонажей «Le rouge et le noir»¹: «Если вы хотите поражать людей — делайте всегда обратное тому, чего от вас ожидают». Но стендалевский «prince Korasoff»², наставляя так Жюльена Сореля, имел в виду великосветских денди своей эпохи — занятие невинное. Розанов, пользуясь, как отмычкой, тем же приемом, овладевал и без того почти опустошенными душами, чтобы их окончательно, «навсегда» опустошить. Делал он это с поразительной умственной и литературной изобретательностью. В этом и заключался, пожалуй, «пафос» розановского творчества — непрерывно соблазнять, неустанно опустошать. Он был, повторяю, большим талантом и искусником слова. Но и был настоящим «профессионалом разложения» — гораздо более успешно, чем любой министр... или революционер, подталкивающий империю к октябрьской пропасти.

* * *

...В семнадцатом году, еще не понимая,
Что с нами будет, что нас ждет,

¹ «Красное и черное» (фр.).

² «Князь Коразов» (фр.).

Шампанского бокалы поднимая,
Мы весело встречали Новый Год —

тот самый год, о котором пророчествовал Лермонтов:

...Настанет год, России страшный год,
Когда царей корона упадет...

Обыкновенно люди не ценят того, что им дано, — банальное —

Что имеем, не храним,
Потерявши, плачем.

Но кому выпало счастье жить в «волшебном городе на берегах Невы», ценили его, гордились им и любили его —

Любили, как еще любили...

Анна Ахматова, сжимая тонкие руки под своей знаменитой «ложноклассической шалью», читала взволнованным, хватающим за сердце голосом:

...И ни на что не променяем пышный,
Гранитный город славы и беды,
Широкие, сияющие льды,
Торжественные черные сады
И голос Музы, еле слышный...

Ни на что... Ни за что... — отзывалось во взволнованных сердцах слушателей.

«Еле слышный голос Музы», поющей о неизбежной гибели и беде, с годами начинал звучать все явственнее, прозрачная тень грядущей катастрофы, ложась на дворцы, площади и сады, все зловещее и ширилась, и стучалась. Быть может, никто не слышал голоса Музы, не видел зловещей тени так ясно, как поэт, предостерегавший:

...О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней...

Но пророческое предостережение казалось тогда только удачно найденными строками. «Дети страшных лет России» не верили ему. Никогда еще жизнь не казалась такой восхитительной, скользья-

шей, ускользающей, нигде не дышалось так упоительно, так сладостно-тревожно, как в обреченном, блистательном Санкт-Петербурге.

...И этот воздух смерти и свободы,
И розы, и вино, и холод той зимы
Никто не позабыл, о, я уверен...

В те последние зимы

...От легкой жизни мы сошли с ума...

Да, несмотря на предчувствие гибели или, может быть, именно от этого предчувствия. Ведь

...Все то, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

Очнулись только

...В черном бархате советской ночи...
...В трезвом, беспощадном свете дня... —

советского дня.

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.

Или, говоря не столь поэтически, словно в нем мы потеряли все, для чего стоило жить.

Петербургца Осипа Мандельштама, обещавшего нам это свидание, давно нет. О его трагической смерти известно только, что он выбросился из окна, чтобы избежать «окончательной ликвидации».

Словно звезды, встают пророчества,
Обрываются, не сбываются...

Не сбылось и это пророчество.
И все же

Бывают странными пророками
Поэты иногда.

И слова поэтов иногда заключают в себе магическую силу.
А вдруг это пророчество Мандельштама все же сбудется и

В Петербурге мы сойдемся снова?

Но кто же сойдется? Призраки? Ведь

Все, кто блистал в тринадцатом году,
Лишь призраки на петербургском льду...

Если не все, то почти все. Из всех блиставших тогда поэтов жива только одна Ахматова да еще... Я чуть было не закончил — и пишущий эти строки, — но вовремя спохватился. Ведь сказать «я блистал» так же невозможно, как «я кушал». Известно, что глагол «кушать» спрягается так: я ем, ты кушаешь, вы кушаете...

Впрочем, «Пушкин — наше всё», Пушкин, не только самый великий, но и самый петербургский из всех русских поэтов, дал нам пример обращения с этим неудобным глаголом:

...Онегин, добрый мой приятель,
Родился на берегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель.
Там некогда гулял и я... —

значит, как глагол «кушать», так и глагол «блистать» спрягается своеобразно: я гулял, ты блистал, он, она, они блистали.

Заканчиваю свою фразу: из всех поэтов жива только блиставшая в Петербурге Анна Ахматова и когда-то гулявший в нем — я...

Да, как это ни грустно и ни странно — я последний из петербургских поэтов, еще продолжающий гулять по этой становящейся все более и более неуютной и негостеприимной земле.

Впрочем, если бы она и не была так негостеприимна и неуютна, вряд ли что-нибудь существенно изменилось бы для меня без Петербурга, вне Петербурга:

...Быть может, города другие и прекрасны,
Но что они для нас? Нам не забыть, увы,
Как были счастливы, как были мы несчастны
В волшебном городе на берегу Невы...

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ

Первое издание книги вышло в 1928 г. в изд-ве «Родник» (Париж). Второе — с изменениями и дополнениями — в 1952 г. в «Изд-ве им. Чехова» (Нью-Йорк).

Ко всему рассказанному в книге не всегда можно относиться как к точному воспроизведению реальности. Георгий Иванов часто обращался с историческими лицами как с героями литературного произведения. Его мемуаристика далека от «документа» и близка к художественной прозе. Потому автор и вызвал гнев некоторых своих «персонажей» — Игоря Северянина и Анны Ахматовой. Разгневал автор «Петербургских зим» и Марину Цветаеву. И все же многие из рассказанных Ивановым случаев, ранее казавшиеся «легендарными», впоследствии нашли документальное подтверждение.

В настоящем издании фактические неточности, как и неточности цитирования, как правило, не оговариваются.

I

С. 19. ...*молодого Перфильева*... — Имеется в виду Перфильев Александр Михайлович (1895—1973), поэт.

Спесивцева Ольга Александровна (1895—1991) — балерина лирического и трагедийного плана. В 1913—1924 гг. выступала на сцене Мариинского театра, принимала участие в дягилевских спектаклях за границей (1916). В 1924—1932 гг. выступала в Гранд-Опера. С 1939 г. жила в США.

Карсавина Тамара Платоновна (1885—1978) — балерина, дочь танцовщика Мариинского театра Платона Карсавина, сестра известного мыслителя Л.П.Карсавина. В 1902—1918 гг. выступала в составе труппы Мариинского театра, позже эмигрировала. С 1909 по 1929 г. гастролировала с труппой С.Дягилева.

«*Гражданина окликает гражданин...*» — Из стихотворения В.Зоргенфрея «Над Невой».

С. 20. «*Над кострами искры золотятся...*» — Из стихотворения А.Ахматовой «Я с тобой, мой ангел, не лукавил...» (1921).

В. — бывший писатель. — Вероятно, имеется в виду прозаик Иван Егорович Вольнов (Владимиров; 1885—1931).

С. 21. «Мне ночного пропуска не надо...» — Из стихотворения О.Мандельштама «В Петербурге мы сойдемся снова...» (1920).

С. 23. ...игрушкой саблей своего сына. — Сыном Гумилева и Ахматовой был Лев Николаевич Гумилев (1913—1992), в будущем известный историк.

С. 24. «Желтый пар петербургской зимы...» — Из стихотворения И.Анненского «Петербург» (1910).

С. 25. *Лернер* Николай Осипович (1877—1934) — критик, литературовед, известный пушкинист, автор книги «Труды и дни Пушкина» (1910). Работал с Н.Гумилевым в изд-ве «Всемирная литература».

С. 26. «Люблю тебя, Петра творенье...» — Из поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник».

II

С. 28. ...в «Книжной летописи» Вольфа... — Вольф Маврикий Осипович (1826—1883) был основателем известной петербургской книгоиздательской и книготорговой фирмы; среди прочего издавал «Известия книжных новинок т-ва М.О.Вольфа». «Книжная летопись» издавалась не им, а Главным управлением по делам печати.

«Студия Импрессионистов» — альманах, вышедший в 1910 г. Был издан Николаем Ивановичем Кульбиным (о нем см. ниже).

Евреинов Николай Николаевич (1879—1953) — режиссер, драматург, музыкант, историк и теоретик театра. С 1925 г. жил за границей. В «Студии Импрессионистов» напечатал монодраму «Представление любви», которой предшествовала брошюра «Введение в монодраму» (1909), где он теоретически обосновывал задачу монодрамы — переносить зрителя на сцену.

...что-то Давида Бурлюка, что-то Бурлюка Владимира... — В «Студии Импрессионистов» были опубликованы Бурлюк Давид Давидович (1882—1967), поэт и художник, и Бурлюк Николай Давидович (1890 — 1920?), литератор. Третий брат, Бурлюк Владимир Давидович (1886—1917), художник, поэтом не был.

О, Русь! О, rus! — Эпиграф ко второй главе «Евгения Онегина» А.С.Пушкина, содержащий каламбур (rus — по-латыни «деревня»).

«И вдруг у него показалась грива...» — Из стихотворения В.Хлебникова «Трущобы» (1910).

С. 29. «Смехачи» — стихотворение В.Хлебникова «Заклятие смехом» (1908—1909).

К. — Кульбин Николай Иванович (1868—1917), медик, литератор, искусствовед, театральный деятель, ученый, изобретатель, художник. Участвовал в настенных росписях арт-кабаре «Бродячая собака».

Борисяк Андрей Алексеевич (1885—1962) — астроном, поэт, виолончелист, впоследствии известный музыковед, профессор Харьковской консерватории. Еще гимназистом открыл новую звезду в созвездии Персея, за что был избран действительным членом Русского астрономического общества и получил в подарок от императора Николая II телескоп. В «Студии Импрессионистов» опубликовал стихотворение «Гроза» и статью «О живописи музыки».

С. 31. *Крученых* Алексей Елисеевич (1886—1968) — поэт-футурист, получивший известность стихотворениями, написанными на «заумном языке». Сборник «Помада» вышел только в 1913 г.

«*Засахаре кры*» — альманах эгофутуристов (1913).

«*Тайные пороки академиков*» — книга А.Крученых, К.Малевича, И.Клюна (1915).

С. 33. «*Как я люблю беременных мужчин...*» — Из стихотворения Д.Бурлюка «Плодоносящие».

С. 34. *Лившиц* Бенедикт Константинович (1886/87—1938) — поэт, переводчик, мемуарист.

...*конфискованная книга...* — Имеется в виду конфискованной цензурой первый сборник Лившица «Флейта Марсия» (Киев, 1911).

III

С. 36. *Игорь Северянин* (наст. имя и фам. Лотарев Игорь Васильевич; 1887—1941) — поэт, основатель эгофутуризма.

«*Вонзите штопор в упругость пробки...*» — первая строка стихотворения Северянина «Хабанера II».

...*Игорем Северяниным заинтересовались Сологуб, позднее Брюсов...* — Ф.Сологуб написал предисловие к книге «Громокипящий кубок» (М., 1913), которая принесла Северянину известность. В.Брюсов одобрительно отзывался о поэзии Северянина уже в статье 1912 г. «Сегодняшний день русской поэзии».

Кузмин Михаил Алексеевич (1872—1936) — поэт, прозаик, переводчик, композитор. Провозглашенный им «кларизм» предвосхитил основные идеи акмеистов. См. о нем в гл. IX.

Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967) — поэт. Стал известным с выходом сборника «Ярь» (1907). См. о нем в гл. VII.

...*я раскрыл брошюру страниц в шестнадцать...* — До «Громокипящего кубка» Северянин выпустил несколько небольших стихотворных сборников.

С. 37. *Цензор* Дмитрий Михайлович (1879—1947) — поэт, критик, эпигон символизма.

С. 38. *Олимпов* (Фофанов) *Константин* Константинович (1889—1940) — поэт, сын известного поэта К.М.Фофанова (1862—1911), которого Северянин считал одним из своих предшественников.

Грааль Арельский (наст. имя и фам. Степан Степанович Петров; 1888 или 1889—1938?) — поэт, эгофутурист. В 1912 г. одновременно с «Академией эгопоэзии» стал посещать «Цех поэтов» и вскоре «Академию эгопоэзии» покинул. После второй книги стихов «Летейский берег» писал главным образом художественно-фантастические и научно-популярные книги.

С. 39. *Игнатъев* (Казанский) *Иван Васильевич* (1892—1914) — поэт-эгофутурист, прозаик, театральный критик. Помогал эгофутуристам издавать свои произведения в периодике, издал несколько эгофутуристических альманахов. Возглавил группу эгофутуристов в 1913 г., когда Северянин разошелся с бывшими соратниками.

«*Петербургский глашатай*» — газета. После ее закрытия (1912) одноименное издательство выпустило книги многих эгофутуристов и близких к ним поэтов.

«*Нижегородец*» — газета (1911—1914), где постоянно печатались эгофутуристы, в том числе Г.Иванов.

...*фигурировали ананасы в шампанском, Крем де Виолетт...* — Отсылка к стихотворениям Северянина «Ананасы в шампанском» и «Фиолетовый транс» (1911).

Этот Игнатъев... очень страшно погиб. — 21 января 1914 г. Игнатъев неожиданно для всех покончил с собой.

IV

С. 40. «...*ни на что не променяем пышный...*» — Из стихотворения А.Ахматовой «Ведь где-то есть простая жизнь...».

«*Невы державное течение...*» — Из «Медного всадника» А.С.Пушкина.

С. 41. «*В серый цвет окрашенные стены...*» — Из стихотворения И.Одоевцевой «Этот дом совсем обыкновенный...».

Курбатов Владимир Яковлевич (1878—1957) — историк искусства, противопоставлял строгость и единство архитектурного стиля Петербурга московской эклектике.

Николай Карлович Ц. — неизменный посетитель «Бродячей собаки». — Композитор Н.К.Цыбульский.

С. 44. *Вот Ш., поэт...* — По всей видимости, Павел Дмитриевич Шишков (1893—1963).

Г., тоже поэт... — Вероятно, Василиск Гнедов (Василий Иванович Гнедов; 1890—1978).

С. 45. *...старичок-генерал Кюи.* — Кюи Цезарь Антонович (1835—1918) — композитор, в прошлом один из членов «Могучей кучки», музыкальный критик, инженер-генерал. Защищал идеи новой русской школы в музыке. В начале XX в. критически отзывался о модернизме и футуризме.

...у Юргенсона... — Имеется в виду издательская фирма П.И.Юргенсона (1836—1903), которую в это время возглавлял его сын, Б.П.Юргенсон (1868—1935), печатавшая ноты и книги по музыковедению.

...в «мертвом, беспощадном свете дня»... — Из стихотворения А.Блока «Перед судом» (1915).

С. 46. *«Все исчезает...»* — Из стихотворения О.Мандельштама «Отравлен хлеб и воздух выпит...» (1913).

V

С. 49. *Пронин Борис Константинович* (1875—1946) — театральным деятель, организатор петербургских литературно-художественных кабаре «Бродячая собака» (1911—1915) и «Привал комедиантов» (1916—1919).

...попавший в «Петербургское художественное общество»... — Официально «Бродячая собака» называлась «Художественное общество Интимного театра».

С. 50. *Мейерхольд Всеволод Эмильевич* (1874—1940) — театральным режиссер. Идею создания арт-кабаре он обсуждал с Прониным еще в 1906 г. Был в числе приглашенных на открытие «Бродячей собаки».

Рубинштейн Ида Львовна (1885?—1960) — балерина, участница «Русских сезонов» в Париже.

Верхарн Эмиль (1855—1916) — бельгийский поэт. Посетил Петербург в ноябре 1913 г.

Судейкин Сергей Юрьевич (1882—1945) — художник. Участвовал в оформлении помещений «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов».

Штраус Рихард (1864—1949) — известный немецкий композитор. 26 ноября 1912 г. его музыка звучала в «Бродячей собаке».

«Дом интермедии» — организованный в 1910 г. Мейерхольдом и Прониным театр в Петербурге, один из предшественников «Бродячей собаки».

С. 51. *Григорьев Борис Дмитриевич* (1886—1939) — художник, участвовал в оформлении «Привала комедиантов».

С. 53. *Вера Александровна* — Лишневская-Конопницкая, жена Б.К.Пронина.

С. 54. *Фор Поль* (1872—1960) — французский поэт-символист, выступал в «Бродячей собаке» в марте 1914 г.

С. 55. *Гюисманс Жорис Карл* (1848—1907) — французский писатель, художественный критик. Как романист шел от натурализма к декаданству. Был популярен на рубеже веков.

Борджиа Лукреция (1480—1519/20) — авантюристка эпохи Возрождения, жизнь которой отразилась в разнообразных художественных произведениях, в том числе в драме «Лукреция Борджиа» Виктора Гюго и опере Гаэтано Доницетти с тем же названием.

Тереза Эмбер — героиня грандиозной финансовой махинации во Франции, замешанной на двадцатилетнем фиктивном судебном разбирательстве о наследстве мультимиллионера и повлекшей за собой скандальный судебный процесс (1902—1903).

...«каблуком молоточа паркет»... — Из стихотворения И.Северянина «Эксцессерка» (1912).

С. 57. *Яковлев Александр Евгеньевич* (1887—1938) — художник, участвовавший в оформлении «Привала комедиантов».

С. 58. *Судейкина* (Глебова-Судейкина) Ольга Афанасьевна (1885—1945) — актриса, жена художника С.Судейкина и близкая подруга А.Ахматовой. Участвовала в представлениях в «Бродячей собаке».

«*Фармацевты*» — прозвище состоятельных посетителей «Бродячей собаки» из числа любопытствующих.

С. 59. «*Зеленый попугай*» — пьеса австрийского писателя Артура Шниллера (1862—1931).

С. 60. «*И все стоит в «Привале»...*» — автоцитата из стихотворения «Оттепель. Похоже...».

VI

С. 60. «*Ротонда*» — парижское кафе, где собирались художники и поэты. Это С. Жена известного художника. — О.А.Глебова-Судейкина.

С. 61. «*Спадает с плеч твоих, о, Федра...*» — Из стихотворения О.Мандельштама «Ахматова» (1913).

В «башне»... очередная литературная среда. — «Башней» называлась квартира Вяч.Иванова, где собирались литераторы, художники, философы.

С. 62. «*И для кого эти бледные губы...*» — Из стихотворения А.Ахматовой «Старый портрет» (1910).

«*Так беспомощно грудь холодела...*» — Из стихотворения А.Ахматовой «Песня последней встречи» (1911).

С. 63. *Руманов Аркадий* Вениаминович (1876—1960) — беллетрист, публицист, библиофил. С 1911 г. руководил петербургским отделением газеты «Русское слово».

Альтман Натан Исаевич (1889—1970) — живописец, скульптор, график. Описываемое полотно — портрет А.Ахматовой, созданный в 1914 г.

«...в океане перевозданной мглы...» — Из стихотворения Н.Гумилева «Больной».

«Да, я любила их — те сборища ночные...» — Полностью цитируется стихотворение А.Ахматовой (1917).

С. 64. «*Навсегда забиты окошки...*» — Из стихотворения А.Ахматовой «Все мы бражники здесь, блудницы...» (1913).

«*Здесь цепи многие развязаны...*» — стихотворение М.Кузмина (1913).

«*Все мы грешники здесь, блудницы...*» — намеренно искаженная цитата из стихотворения Ахматовой «Все мы бражники здесь, блудницы...».

С. 65. «*А теперь я игрушечной стала...*» — Из стихотворения А.Ахматовой «По аллее проводят лошадок...» (1911).

С. 67. «*Спи, мой тихий...*» — Из стихотворения А.Ахматовой «Колыбельная» (1915).

Пушкинский вечер — торжественное собрание в петроградском Доме литераторов 11 февраля 1921 г.

Гроб Блока в цветах. — Похороны Блока состоялись 10 августа 1921 г.

VII

С. 69. «*Стоны, звоны, перезвоны...*» — Из стихотворения С.Городецкого «Весна монастырская» (1906).

...жена Городецкого, «*Нимфа*»... — Анна Алексеевна Городецкая (1889?—1945).

С. 70. *После «разговора в ресторане, за бутылкой вина...*» — Из стихотворения А.Блока «Из хрустального тумана...».

«*Сретенье царя*» — стихотворение С.Городецкого.

С. 71. «*Было все очень просто, было все очень мило...*» — Из стихотворения И.Северянина «Это было у моря» (1910).

С. 73. *Клычков Сергей Антонович* (1889—1937) — поэт «крестьянского» направления, прозаик. Наиболее значительные произведения написал во второй половине 1920-х и в 1930-е гг. Репрессирован.

Клюев Николай Алексеевич (1884—1937) — поэт «крестьянского» направления, был связан с народными религиозными движениями. Репрессирован. Иванов искажил его отчество.

...(*Клюеву лет сорок*)... — Возраст завышен.

«*Ах ты, птица, птица райская...*» — Из стихотворения Н.Клюева «Песня о соколе и трех птицах Божиих» (1908).

Открыл Клюева «бездушный» Брюсов. — Первым, кто обратил внимание на Клюева, был А.Блок: их переписка завязалась в 1907 г. Брюсов написал предисловие к книге Клюева «Сосен перезвон» (1912).

...*Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого...* — Знакомство Клюева и Городецкого относится к 1911 г.

С. 75. *Весной 1920 года Городецкий приехал в Петербург.* — Точнее — летом 1920 г.

Рейснер Лариса Михайловна (1895—1926) — писательница. Была близко знакома с Н.Гумилевым. Горячо приняла революцию, занимала видные посты. В 1921 г. уехала с первым советским посольством в Афганистан, где и умерла от тифа.

Раскольников (Ильин) Федор Федорович (1892—1939) — революционер, советский дипломат, с 1938 г. — в эмиграции.

«*Осваг*» — белогвардейская разведка.

VIII

С. 77. «*Закат золотой. Снега...*» — стихотворение Г.Иванова.

С. 78. *Лозина-Лозинский* (Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский) Алексей Константинович (1886—1916) — поэт. Писал также под псевдонимом Любяр, образованным из части своей фамилии. Покончил с собой 5 ноября 1916 г.

«*Не буди ее в тусклую рань...*» — Из стихотворения И.Анненского «Струя резеды в темном вагоне...» (1908).

Профессор С. — Владимир Владимирович Святловский (1869—1927), профессор Петербургского университета и Психологического института, поэт.

Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955) — поэт, известный переводчик.

С. 79. *Яворская* Лидия Борисовна (1872—1921) — актриса.

«...и юноши нагие...» — Из стихотворения В.Святловского «М.А.Кузмин».

IX

С. 80. «*Весы*» — литературный ежемесячный журнал (1904—1909), издававшийся в Москве, главный орган московских символистов, в котором ведущую роль играл Валерий Брюсов.

«*Аполлон*» — журнал литературы и искусства (1909—1917), издававшийся в Петербурге.

Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — поэт, критик, литературовед. Статья Чулкова о «Весах» была напечатана в №7 журнала «Аполлон» за 1910 г. Ей предшествовала долгая полемика двух символистских журналов — «Весы» и «Золотое руно» (1906—1909). В последнем сотрудничал Чулков.

К., молодой человек... — Возможно, поэт Александр Александрович Конге (1891—1915) из окружения Б.Садовского.

Садовский (псевд. Садовской) Борис Александрович (1881—1952) — прозаик, критик, поэт. Защищал символизм на страницах журнала «Весы», оставаясь в собственном поэтическом творчестве приверженцем традиционализма. С 1916 г., разбитый параличом, перестал принимать участие в литературной жизни.

С. 81. ...назвал именем этой машины для приготовления чая одну из своих книг... — Речь идет о сборнике «Самовар» (М., 1914).

«Если б кончить с жизнью тяжелой...» — Из стихотворения Б. Садовского «Страшно жить без самовара...».

Рукавишников Иван Сергеевич (1877—1929) — поэт и прозаик, страдавший многописанием. Вышел из богатого купеческого рода.

«...заглянуть под покрывало Изиды...» — Отсылка к сборнику статей Г. Чулкова «Покрывало Изиды» (1909).

С. 84. *Ауслендер* Сергей Абрамович (1886—1943) — прозаик, драматург, племянник М. Кузмина. На «Озимь» Садовского отозвался статьей «Литературные заметки. Книга злости» (День. 1915. 22 марта. № 79).

...поэт *Тиняков-Одинокий*. — Тиняков Александр Иванович (псевд. — Одинокий; 1886—1934) — поэт, прозаик, литературный критик, публицист. Отличался скандальным поведением, писал не менее скандальные стихи, занимался литературной поденщиной, не стеснялся «торговать» своим пером. Со временем в литературных кругах стал восприниматься как крайне одиозная фигура. В 1920-е гг. занимался профессиональным нищенством.

С. 85. «Любо мне, плевку-плевочку...» — Из стихотворения А. Тинякова «Плевочек».

X

С. 86. ...*Осип Эмльевич Мандельштам*. — Г. Иванова с О. Мандельштамом (1891—1938) связывали долгие годы дружбы. Автор «Петербургских зим» всегда высоко оценивал стихи Мандельштама, особенно из первой его книги — «Камень» (1913).

С. 87. *Куно Фишер* (1824—1907) — автор известного труда «История новой философии» (рус. пер.: СПб., 1901—1909, т. 1—8).

«Образ твой, мучительный и зыбкий...» — Полностью цитируется стихотворение О. Мандельштама.

С. 89. «Нам ли, брошенным в пространстве...» — Из стихотворения О. Мандельштама «О свободе небывалой...» (1915).

«Дано мне тело. Что мне делать с ним...» — Из одноименного стихотворения О. Мандельштама.

С. 90. «На стекла вечности уже легло...» — Из стихотворения О. Мандельштама «Дано мне тело...» (1910).

Недели через две, в своей царскосельской гостиной, Гумилев... нас познакомил... — К этому времени Иванов не был знаком с Гумилевым. Вероятнее всего, знакомство с Мандельштамом произошло не раньше конца 1911 г.

С. 92. *«Над желтизной правительственных зданий...»* — первая строка стихотворения О.Мандельштама «Петербургские строфы» (1913).

«...И в мокром асфальте поэт...» — Из стихотворения И.Анненского «Дождик» (1909).

С. 94. *Н.Н.Врангель* — Врангель Николай Николаевич (1880—1915) — искусствовед и критик, сотрудник журнала «Аполлон».

«Какие грязные не пожимал я руки...» — Из стихотворения И.Анненского «Ямбы».

«Белый коридор» — помещение в Кремле, где в годы Гражданской войны жили члены советского правительства.

Мирбах Вильгельм фон (1871—1918) — посол Германии в РСФСР, убитый левыми эсерами 6 июля 1918 г.

С. 95. *Каменева* Ольга Давидовна (1893—1941) — жена Л.Б.Каменева и сестра Л.Д.Троцкого. Заведовала театральным отделом Наркомпроса в 1918—1919 гг.

Блюмкин Яков Григорьевич (1898—1929) — чекист, левый эсер, убивший графа Мирбаха.

С. 97. *«Она молчала, и он молчал...»* — Из стихотворения В.Ходасевича «Сквозь ненастный зимний денек...» (1927).

XI

С. 98. *Это комнаты Кузмина в квартире Вячеслава Иванова.* — М.Кузмин одно время жил на «башне» у Вяч.Иванова.

Леконт де Лиль Шарль (1818—1894) — французский поэт, основатель школы «парнасцев».

С. 99. *Вилье де Лиль-Адан* Филипп Огюст Матиас (1838—1889) — французский поэт и прозаик, близкий символистам.

«Если бы Аким Волынский не написал о нем книги...» — Речь идет о книге «Леонардо да Винчи» (СПб., 1900) Акима Львовича Волынского (наст. фам. Флексер; 1863—1926).

Клевер — Вероятнее всего, Юлий Юльевич Клевер (1850—1924) — модный живописец-пейзажист, большинство картин которого представляли собой вариации изображений пасмурной осени либо зимних закатов.

Роджерс Генриетта играла во Французской труппе Петербурга в 1910-е гг.

С. 100. ...роман «*Прекрасный Иосиф*», последние стихи из «*Осенних озер*»... — Речь идет о произведениях М.Кузмина: «*Нежный Иосиф*» и книге стихов «*Осенние озера*» (М., 1912).

«*Глиняные голубки*» — книга стихов М.Кузмина (М., 1914).

С. 101. «*Мечтатели*» — повесть М.Кузмина.

«*Прекрасная ясность*» — известная статья М.Кузмина «О прекрасной ясности».

...под опекой писательницы Н., автора «*Гнева Диониса*»... — Речь идет о писательнице Евдокии Аполлоновне Нагродской (1866—1930) и ее скандально известном романе «*Гнев Диониса*».

С. 102. *На одной странице стихи о сивилле, явившейся поэту...* — Имеется в виду стихотворение М.Кузмина «Мне снился сон: в глухих лугах иду я...».

«*Как радостна весна в апреле...*» — Из одноименного стихотворения М.Кузмина.

С. 103. «*Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...*» — Из одноименного стихотворения О.Мандельштама (1920).

С. 104. *Каратыгин* Вячеслав Гаврилович (1875—1925) — видный музыковед и музыкальный критик.

Ратгауз Даниил Максимович (1878—1937) — поэт, на слова которого написаны многие романсы, в том числе и П.И.Чайковским.

С. 105. «*Дитя, не тянися весною за розой...*» — Из романса М.Кузмина «Дитя и роза».

Метнер Эмилий Карлович (псевд. Вольфинг; 1872—1936) — музыковед, переводчик, основатель изд-ва «Мусагет», брат композитора Н.К.Метнера.

Браудо Евгений Максимович (1882—1939) — критик-музыковед.

«*Мне матушка сказала...*» — Из песенки М.Кузмина «Утешение пастушкам».

С. 106. «*Где слог найду, чтоб описать прогулку...*» — Из одноименного стихотворения М.Кузмина.

«*Куранты любви*» — музыкально-поэтическое произведение М.Кузмина (1911).

XII

С. 107. *Нарбут Владимир* Иванович (1888—1938) — поэт, прозаик, критик. Одно время примыкал к «Цеху поэтов». Книга «*Аллилуйя*» (1912) была по постановлению суда изъята из продажи «за порнографию». В 1919 г. вступил в коммунистическую партию. Работал в Наркомпросе. Репрессирован.

С. 108. ...большинство стихов было подписано... — В книге Нарбута «*Стихи*» места написания стихотворений не были обозначены.

Нарбут Егор (Георгий) Иванович (1886—1920) — художник, брат В.Нарбута.

«*У себя в Саратовской...*» — В.Нарбут родился и жил в Черниговской губернии, с 1906 г. — в Петербурге.

С. 109. «*Хабриэлем Даннунцио...*» — Имеется в виду Габриэле д'Аннунцио (1863—1938), итальянский поэт и прозаик.

С. 111. «*На холмах Грузии лежит ночная мгла...*» — стихотворение А.С.Пушкина (1829).

«*Новый журнал для всех*» В.Нарбут редактировал весной 1913 г.

С. 112. *Чириков* Евгений Николаевич (1864—1932) — писатель-реалист.

Муйжель Виктор Васильевич (1880—1924) — прозаик натуралистического толка.

Сковорода Григорий Саввич (1722—1794) — малороссийский философ и поэт.

Иванов-Разумник (Иванов Разумник Васильевич; 1878—1946) — критик, публицист, историк русской литературы, мемуарист.

С. 113. *Гарязин* Александр Львович (ум. 1918), *Дубровин* Александр Иванович (1855—1922/23) — деятели «Союза русского народа».

Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920) — историк литературы, библиограф, автор известнейших словарей и справочников.

С. 114. ...«*Вл. Нарбут. Красный звон*» или *что-то в этом роде*. — Вероятнее всего, имеется в виду сборник «В огненных столбах» (Одесса, 1920).

XIII

С. 116. ...*еще два «акмеиста»*... — Вероятнее всего, В.Нарбут и М.Зенкевич.

Комаровский Василий Алексеевич (1881—1914), граф — поэт, переводчик. Современник Г.Иванова, Сергей Маковский, в прошлом редактор журнала «Аполлон», усомнился в реальности рассказанных Ивановым событий.

С. 118. «*Иду неспешною походкою...*» — Из стихотворения В.Комаровского «Как древле — к селам Анатолии...».

Винкельман Иоганн Иоахим (1717—1768) — немецкий историк искусства.

«...*В провалы туч, в сияющий излом...*» — Из стихотворения В.Комаровского «Вечер» (1910).

С. 120. «*В крови до пят, мы бьемся с мертвецами...*» — Из стихотворения Ф.И.Тютчева «Ужасный сон отяготел над нами...» (1863).

«*Сказал он, улыбнувшись кротко...*» — Из стихотворения Р.Ивнева «Все было точно в разговорах...».

С. 121. *Рюрик Ивнев* (Михаил Александрович Ковалев; 1891—1981) — поэт, прозаик, переводчик, мемуарист. Был близок к эгофутуристам, поэже — к имажинистам. Отличался многописанием.

«...в доме моего дяди Х., государственного контролера». — Речь идет о П.А.Харитонове, двоюродном брате матери Р.Ивнева.

«*Был тихий вечер, вечер бала...*» — Из стихотворения Виктора Гофмана (1884—1911) «Летний бал».

С. 122. «*От крови был ал платочек...*» — Из стихотворения Р.Ивнева «Ветерочек, святой ветерочек...».

С. 123. «*От этой трезвости...*» — Вероятно, частичная импровизация Г.Иванова. Р.Ивневу принадлежит строка (чуть искаженная Ивановым): «Неужели бритвой резаться?..» (стихотворение «Господи! Господи! Темный свод небес...»).

Иматра — самый полноводный и живописный водопад на реке Вуоксе в Финляндии.

С. 124. «...*Анатолий Васильевич Луначарский сладко и гладко беседует о марксизме.*» — Р.Ивнев познакомился с Луначарским после Февральской революции. С 1918 г. он работал у наркома просвещения Луначарского секретарем.

Циммервальд — антивоенная социалистическая циммервальдская конференция, которая состоялась в 1915 г.

XIV

С. 125. «...*свои Сент-Бёвы — Фриче и Бонч-Бруевич...*» — Сент-Бёв Шарль-Огюст (1804—1869) — знаменитый французский критик. Фриче Владимир Максимович (1870—1929) — советский литературовед, искусствовед. Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — советский партийный и государственный деятель, литератор.

«*Пировать в горящем доме...*» — начало стихотворения поэта Черемнова Александра Сергеевича (1881—1919).

С. 126. «*Вы к командующему Х. дивизией?»* — В реальности этого эпизода усомнился в своем отклике на «Петербургские зимы» Марк Алданов (см.: *Современные записки*. 1928. № 37).

С. 127. «...*раньше, чем она начала появляться в литературных салонах, а ее стихи о маркизах — в средней руки журналах.*» — Первые публикации Л.Рейснер относятся к 1912 г.

«...*об отце Ларисы Рейснер...*» — Рейснер Михаил Андреевич (1868—1928) — правовед, социальный психолог, историк. Автор текста декрета об отделении церкви от государства. Участвовал в разработке первой конституции РСФСР. Автор многих научных работ.

С. 130. *Слезкин Юрий Львович* (1885—1947) — прозаик. Литературную известность принес ему роман «Ольга Орг» (1914).

Леди Асквит — супруга лорда Асквита, премьер-министра Великобритании в 1908—1916 гг.

С. 131. *Щастный А.М.* (ум. 1918) — капитан первого ранга, флаг-капитан распределительной части штаба Балтийского флота, расстрелянный по решению революционного трибунала в 1918 г.

XV

С. 131. «*Лила, лила, лила, качала...*» — Из стихотворения Ф.Сологуба «Любовью летнею играя...» (1901).

С. 132. *Сам Сологуб начал заниматься «глупым баловством» поздно...* — На самом деле Сологуб (Федор Кузьмич Тетерников; 1863—1927) написал первые стихи в двенадцать лет, но публиковаться начал после тридцати.

С. 133. *Чеботаревская* Анастасия Николаевна (1876—1921) — переводчица, критик, жена Ф.Сологуба. В 1921 г. покончила с собой.

Процесс Бейлиса — судебный процесс в Киеве (1913) по обвинению в убийстве тринадцатилетнего мальчика Андрея Ющинского евреем Менделем Тевье Бейлисом (ок. 1874—1934), вызвавший широкую огласку. Суд присяжных признал обвиняемого невиновным.

С. 135. ...«*бержеретты*» *во вкусе 18-го века...* — Речь идет о бержереттах (от фр. *bergeret* — пастух) Сологуба в сборнике «Небо голубое» (Ревель, 1921). Позже они вышли отдельной книгой (Сологуб Ф. Свирель: Русские бержеретты. Пг., 1922).

«*Всемирная литература*» — изд-во (1918—1924), основанное по инициативе А.М.Горького при Наркомпросе РСФСР. Изд-вом было выпущено около двухсот произведений мировой художественной литературы.

«...*С позволенья вашей чести...*» — Из стихотворения Ф.Сологуба «За кустами шорох слышен...».

С. 136. ...*книги, которые брал Сологуб, были все по высшей математике.* — Сологуб был учителем математики, а в начале 1920-х гг. работал над учебником математики.

«*Много было весен...*» — Стихотворение Ф.Сологуба цитируется полностью.

XVI

Впервые — в сборнике «Леонид Каннегиссер» (Париж, 1928).

С. 139. *Каннегиссер* Леонид Николаевич (1897—1918) — поэт, убивший председателя Петроградской ЧК Моисея Соломоновича Урицкого (1873—1918); расстрелян.

«Я рано начал, кончу рано...» — Из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой...» (1832).

С. 140. ...«о доблести, о подвиге, о славе...» — Неточно приведена первая строка стихотворения А.Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908).

«До утра мы в комнате спорим...» — Из стихотворения А.Блока «Утренняя» (1904).

«...Если бы ты был небесный ангел...» — первая строка стихотворения М.Кузмина.

Далькроз Жак (1865—1950) — создатель системы ритмической гимнастики.

С. 143. «Сердце! Бремени не надо!..» — первая строка цитируемой первой строфы стихотворения Л.Каннегиссера (1916).

С. 145. «И если, шатаясь от боли...» — Из стихотворения Л.Каннегиссера «Смотр».

С. 147. «Балтийское море дымилось...» — автоцитата из одноименного стихотворения.

XVII

Глава появилась во втором издании «Петербургских зим».

С. 148. «Левый эсер» Блок... и «белогвардеец», «монархист» Гумилев. — В этих определениях Г.Иванов выразил не реальность, а расхожие представления о Блоке и Гумилеве.

...«все в себе вмещает человек...» — Из стихотворения Н.Гумилева «Фра Беато Анжелико».

«Был он только литератор модный...» — Из стихотворения А.Блока «За гробом» (1908).

Последняя статья, написанная Блоком, «О душе...» — По всей видимости, речь идет о статье «Без божества, без вдохновенья», которая появилась в печати только в 1925 г.

С. 151. Пяст (Пестовский) Владимир Алексеевич (1886—1940) — поэт, переводчик, мемуарист.

Иванов Евгений Павлович (1879—1942) — религиозный писатель. Стихотворение Блока «На железной дороге» на самом деле посвящено не Е.Иванову, а М.П.Ивановой, его сестре.

Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882—1938) — преподаватель арифметики, инженер, поэт, переводчик, мемуарист. Репрессирован.

С. 152. Пранайтис Иустин (1861—1917) — ксендз, выступавший по требованию обвинения в качестве «эксперта» по делу Бейлиса.

«Страшный мир» — название стихотворного цикла А.Блока, который открывает третий том его лирики.

Пяст... что-то бормочет о Лопе де Вега... — Испанского драматурга В.Пяст переводил.

С. 153. «...был весь дитя добра и света...» — Из стихотворения А.Блока «О, я хочу безумно жить...» (1914).

С. 154. «Я не прошу. Душа твоя невинна...» — Из стихотворения З.Гиппиус «А.Блоку».

С. 155. «Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем». — Неточная цитата из речи Блока «О назначении поэта» (1921).

Ионов (Бернштейн) Илья Ионович (1887—1942) — поэт, советский литературный деятель; в 1920-х гг. заведовал Госиздатом. Блок относился к нему с крайним раздражением. Ионов не был расстрелян, а умер в заключении.

«Вот лежит он, Ленин, Ленин...» — Неточная цитата из стихотворения В.Брюсова «Реквием» (1924), написанного на музыку «Реквиема» Моцарта для исполнения на похоронах Ленина.

С. 156. *Немец* Александр Васильевич (1879—1967) — адмирал; в 1920—1921 гг. занимал пост командующего Военно-морскими силами РСФСР.

Таганцевский заговор — дело, названное по имени руководителя организации «Союз возрождения России» профессора В.Н.Таганцева (1890—1921), которое расследовала летом 1921 г. Петроградская ЧК. 27 августа по «делу Таганцева» был расстрелян Н.С.Гумилев. Вероятнее всего, «заговор» был сфальсифицирован Петроградской ЧК.

С. 157. «...умру я не на постели...» — Из стихотворения Н.Гумилева «Я и вы».

Бобров Сергей Павлович (1889—1971) — поэт, прозаик, критик, переводчик, стиховед. Автор сборников «Лирические лиры» и «Алмазные леса» (оба — в 1917). Позже писал научно-популярные книги и автобиографическую прозу.

«*Центрофуга*» («Центрифуга») — одна из литературных групп футуристов, которая издавала альманахи с этим названием.

С. 160. «Я вежлив с жизнью современною...» — стихотворение Н.Гумилева.

С. 161. «...в Евангелии от Иоанна...» — Из стихотворения Н.Гумилева «Слово».

«*Путь конквистадора*» — неточное название первого сборника Н.Гумилева «Путь конквистадоров» (1905).

XVIII

Глава появилась во втором издании «Петербургских зим». Первоначально фрагменты главы увидели свет в статье «Литература и жизнь. Маяковский и Есенин» (Возрождение. 1950. № 8). Затем вторая часть статьи

была переделана в предисловие к книге: «Есенин Сергей. Стихотворения. 1910—1925 / Под редакцией и со вступительной статьей Г.Иванова» (Париж, 1950). Настоящая глава вобрала в себя это предисловие в переработанном виде.

С. 162. ...*сквозь зеркальные окна кабинета графа Валентина Зубова...* — Зубов Валентин Платонович — поэт, меценат.

«...*Пахнет рыжими драченами...*» — Из стихотворения С.Есенина «В хате» (1914).

«...*Я одну мечту, скрывая, нежу...*» — Из стихотворения С.Есенина «В том краю, где желтая крапива...» (1915).

С. 163. ...*известного сановника Х.* — Речь идет о дяде Р.Ивнева (см. примеч. к гл. XIII «Петербургских зим»).

Клюева, в эпоху раскулачивания, сосланы в Сибирь. — Клюев был сослан в 1934 г.

С. 164. *Кровью же, из неудачно вскрытой вены...* — Одна из легенд о смерти Есенина.

С. 165. *Архипов* Николай Архипович (наст. имя и фам. — Моисей Лейзерович Бенштейн; 1880—1944?) — беллетрист, драматург, издатель.

С. 166. ...«*чудовищный слух*»... — Есенин дважды встречался с членами царской семьи — в 1916 и 1917 гг.

Чацкина Софья Исааковна (ум. 1931) — издательница журнала «Северные записки» (1913—1917), выходившего в Петербурге.

С. 167. *Милюков* Павел Николаевич (1859—1943) — историк, лидер партии кадетов, входил в состав Временного правительства.

Дальский (Неелов) *Мамонт* Викторович (1865—1918) — известный анархист.

С. 168. *Карпов* Пимен Иванович (1884—1963) — поэт и прозаик, автор нашумевшего романа «Пламень» (1913), поразившего многих современников предчувствием будущих катаклизмов.

Эти слова Ленина, сказанные еще в 1905 году... — «Слова Ленина» представляют собой ироничную импровизацию Г.Иванова.

С. 169. «*Есть в Смольном потемки трущоб...*» — Из стихотворения Н.Клюева «Есть в Ленине керженский дух...» (1918).

С. 170. «*Боже, свободу храни...*» — Из стихотворения Н.Клюева «Коммуна».

Ди-ни (от англ. displaced persons) — перемещенные лица, т.е. люди из СССР, оказавшиеся после окончания Второй мировой войны в западной зоне Германии, где союзники создали для них специальные лагеря.

С. 171. «*Поэзия есть Бог в святых мечтах земли...*» — последняя строка из перевода В.А.Жуковского драматической поэмы «Камозэнс» австрийского поэта Фридриха фон Хальма (1806—1871).

С. 172. *Айседора Дункан* (1877—1927) — танцовщица, преобразовавшая хореографию. Создательница школы «пластического танца». Многократно бывала в России. В 1922 г. приняла советское гражданство. После развода с Есениным в 1924 г. уехала из СССР.

С. 173. *«Раскачайтесь посильнее на качелях жизни»*. — Судя по всему, фраза Блока «позаимствована» Г.Ивановым у Георгия Адамовича, который вспоминал полученное от Блока письмо с заключительной фразой: «Раскачайтесь выше на качелях жизни, и тогда вы увидите, что жизнь еще темнее и страшнее, чем кажется вам теперь» (см.: Адамович Г. В. Собр. соч.: Комментарии. СПб.: Алетейя, 2000. С. 139).

С. 174. *...Айседору Дункан в Ницце... задушил ее собственный шарф...* — 14 сентября 1927 г. в Ницце, во время автомобильной прогулки, длинный шарф, перекинутый Айседорой Дункан через плечо, намотался на колесо.

«Бывают странными пророками...» — Из одноименного стихотворения М.Кузмина.

«Проплясал, проплакал день весенний...» — неточная цитата из стихотворения С.Есенина «Проплясал, проплакал дождь весенний...» (1917).

С. 175. *...до 23 ноября 1925 года...* — Дата смерти Есенина — 27 декабря 1925 г.

С. 176. *Достоевский сказал: «Пушкин — наше всё»*. — Фраза принадлежит Аполлону Григорьеву.

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ

Цикл очерков публиковался с 1924 по 1930 г. в газете (с 1926 — журнале) «Звено» (Париж) и в газете «Последние новости» (Париж). Часть из фрагментов вошла позже в «Петербургские зимы». В настоящем издании, дабы избежать повторений, воспроизводятся не все очерки. При публикации отдельные «главы» «Китайских теней» не имели нумерации. В настоящем издании такая нумерация призвана разделить между собою отдельные очерки. Их порядок продиктован временем публикации.

I

Впервые — Звено. 1924. 7 июля.

С. 179. *Гиперборей* — журнал (октябрь 1912 — февраль 1914, на последнем номере значился 1913 г.). При журнале возникло изд-во «Гиперборей», где выходили поэтические сборники, в том числе Г.Иванова.

С. 180. *Гиппиус Василий* Васильевич (1890—1942) — поэт, историк литературы, переводчик, известный исследователь Н.В.Гоголя.

С. 181. *Гедройц* Вера Игнатьевна (1870—1931) — поэтесса, участница первого «Цеха поэтов», врач, доктор медицины, профессор хирургии (1929). Печатались под псевдонимом Сергей Гедройц (взят в память о рано умершем брате).

С. 182. *...я написал письмо в редакцию...* — Письмо Г.Иванова и Грааля Арельского о разрыве с эгофутуристами опубликовано в ноябрьской книжке «Гиперборей» за 1912 г.

Бруни Николай Александрович (1891—1938) — поэт, скульптор, в Первую мировую войну — военный летчик. После аварии, в которой чудом остался жив, принял священнический сан. С 1929 г. — инженер при Московском авиационном институте. Репрессирован.

II

Впервые — Звено. 1924. 29 сент.

С. 183. *Покойный Н.Гумилев... серьезно уверял одного своего друга...* — Т.е. самого Г.Иванова.

Теодор де Банвиль (1823—1891) — французский писатель. С эстетических позиций отвергал буржуазный мир. Пытался обосновать принцип «искусства для искусства».

«Лесбия, где ты была?..» — Стихотворение принадлежит перу О.Мандельштама, так же как и: *«Ветер с окрестных дерев срывает желтые листья...»*, *«Катится по небу Фёб в своей золотой колеснице...»*, *«Буйных гостей голоса покрывают шумящие краны...»*, *«Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей угощая...»*, *«Путник, откуда идешь? — Я был в гостях у Шилейки...»*, *«В девятьсот двенадцатом, как яблоко, румян...»*, *«Эт-то есть художник Альтман...»*, *«Обжора вор арбуз украл...»*, *«Не сожалей, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч...»*

С. 185. *«Свежо рано утром...»* — Автор стихотворения В.Пяст.

С. 186. *Роза* — Рура Роза Васильевна. Ее образ запечатлен также в известном романе О.Д.Форш «Сумасшедший корабль» (1930).

«Печален мир. Все суета и проза...» — Г.Иванов цитирует собственное четверостишие.

С. 187. *«Видел каждый человек...»* — Автор произведения неизвестен.

Издательство «Петрополис» издавало наши книги... — В 1921 г. в изд-ве «Петрополис», которое образовалось на базе книжного магазина с одноименным названием, вышли книги бывших членов первого «Цеха поэтов» — «Сады» Г.Иванова, «Tristia» О.Мандельштама, «Огненный столп» Н.Гумилева, «Подорожник» А.Ахматовой.

«На Надеждинской жил один...» — Автор баллады, согласно утверждению И.Одоевцевой, — Г.Иванов.

Впервые — Звено. 1924. 3 нояб.

С. 189. *Гумилев ушел осенью 1914 года добровольцем на войну.* — На самом деле — в августе 1914 г.

«Знал он муки голода и жажды...» — Из стихотворения Н.Гумилева «Память».

За границей Гумилев прожил больше года... — За границей Н.Гумилев находился с лета 1917-го по апрель 1918 г.

С. 190. *...он только что женился на А.Н.Энгельгардт...* — После развода с А.Ахматовой Н.Гумилев летом 1918 г. женился на Анне Николаевне Энгельгардт (1895—1942).

Тихонов Александр Николаевич (псевд. — А.Серебров; 1880—1956) — литературный деятель, писатель. Работал редактором в журнале «Летопись» (1915—1917), изд-ве «Парус» (1915—1917), газете «Новая жизнь» (1917—1918). После Октября 1917 г. заведовал изд-вом «Всемирная литература», в 1930-е гг. возглавлял изд-во «Academia», принимал участие в редактировании многих журналов. Автор книги «Время и люди. Воспоминания 1898—1905» (1949).

С. 191. *Гумилев прожил все эти годы... в квартире его друзей Ш. ...* — Имеется в виду квартира В.Шилейко (подробнее о нем рассказано в очерке «Магический опыт»).

С. 193. *Элеонора Дузе* (1858—1924) — итальянская актриса. В 1880-х гг. самая популярная актриса в Италии, искусство которой развивалось в русле психологического реализма. С триумфом выступала в странах Западной Европы, США, Южной Америки, в Египте. В России гастролировала в 1891—1892 гг. и 1908 г., была и здесь популярна.

С. 194. «*Чеканить, гнуть, бороться...*» — заключительная строфа стихотворения «Искусство» Теофила Готье в переводе Н.Гумилева. Этот перевод был включен Н.Гумилевым в сборник «Чужое небо» (1912).

Впервые — Звено. 1925. 17 авг.

С. 195. *Львов-Рогачевский* (наст. фам. Рогачевский) Василий Львович (1873—1930) — критик и литературовед. Был известен культурно-просветительской деятельностью.

Овсяннико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853—1920) — историк культуры, литературовед, лингвист. Специалист по древнеиндийской культуре. Автор известных очерков о русских писателях. Большой извест-

ностью пользовалась книга «История русской интеллигенции. Итоги русской художественной литературы XIX в.» (1903—1907).

Шебуев Николай Георгиевич (1874—1937) — писатель, журналист. Получил известность благодаря сатирическим иллюстрированным изданиям. Как редактор журнала «Пулемет» был приговорен к годовому заключению в крепости. С 1908 по 1914 г. редактировал журнал «Весна».

С. 196. «Чуден Днепр при тихой погоде...» — цитата из повести Н.В.Гоголя «Страшная месть».

С. 197. «Нива» — еженедельный журнал (1870—1918), выходивший в Петербурге.

«Красная Нива» — литературно-художественный еженедельный журнал (1923—1931), выходивший в Москве.

...насаждалась «История русской литературы» Полевого... и далее — Речь идет о трехтомной «Истории русской словесности с древнейших времен до наших дней» Петра Николаевича Полевого (1839—1902), его отца Николае Алексеевиче Полевом (1796—1846) и дяде Ксенофонте Алексеевиче Полевом (1801—1867) — писателях, критиках, издателях журнала «Московский телеграф».

«Старые годы» — журнал, редактировавшийся Петром Петровичем Вейнером (1879—1931) и издававшийся в 1907—1916 гг. в Петербурге.

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) — беллетрист и драматург, популярный в конце XIX в.

С. 198. *Сытин* Иван Дмитриевич (1851—1934) — московский издатель, книготорговец, просветитель.

Чехонин Сергей Васильевич (1878—1936) — художник, член объединения «Мир искусства». Работал главным образом в области книжной и журнальной графики и росписи по фарфору и эмали.

С. 199. *Бакст* (Розенберг) Лев Самуилович (1866—1924) — живописец, график, член объединения «Мир искусства».

Бурнакин Анатолий Андреевич (?—1932) — поэт, критик, журналист. Знакомый Иннокентия Анненского.

С. 200. *Протопопов* Александр Дмитриевич (1866—1917/18) — государственный деятель, член партии октябристов, депутат 3-й и 4-й Государственных дум. Одно из доверенных лиц Николая II. С сентября 1916 г. — министр внутренних дел и главноначальствующий корпуса жандармов. Пытался подавить революционные выступления в Петрограде в феврале 1917 г. Расстрелян по приговору ВЧК.

...основана «Русская воля». — Газета начала выходить с 15 декабря 1916 г., заведующий литературным отделом (с апреля 1917 г. — главный редактор) — известный писатель Андреев Леонид Николаевич (1871—1919).

Брусянин Василий Васильевич (1867—1919) — прозаик, журналист.

С. 202. *В душе он был... лордом Генри.* — Речь идет о герое романа О.Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1891), скепнике, склонном выражать мысли в отточенных афоризмах.

С. 203. ...*сделал непростительную «гафф»*... — Т.е. ошибку (от фр. gaffe).

Регинин Василий Александрович (1883—1952) — журналист, сотрудник газет «Новая жизнь», «Биржевые ведомости». Редактировал журнал «Аргус», где печатался Г.Иванов.

V

Впервые — Звено. 1925. 5 окт.

С. 204. *«...разыгранный Фрейшиц перстами кротких учениц».* — Из «Евгения Онегина» А.С.Пушкина (гл. 3, XXXI). «Фрейшиц» — искаженное название оперы К.М.Вебера «Вольный стрелок» (1821).

...*спали в «неестественной позе по Сомову»*... — Сомов Константин Андреевич (1869—1939) — художник, член «Мира искусства». Речь, вероятно, идет о картинах «Спящая женщина в синем платье» (1903) и «Спящая молодая женщина» (1909).

«*Венецианские безумцы*» — комедия М.Кузмина, вышла отдельным изданием в 1915 г.

Меценат, некто У. ... — Ушков Михаил Константинович, издатель журнала «Аполлон». В январе 1909 г. он познакомился с С.К.Маковским, что и способствовало в дальнейшем выходу журнала.

Сорин Савелий Абрамович (Завель Израилевич; 1878—1953) — художник-портретист. В 1900—1910-х гг. были известны его портреты деятелей литературно-художественного мира и представителей знати. С 1920 г. жил за границей.

С. 206. *Поэт М. был специалистом по основанию издательств, правда, эфемерных...* — Речь идет об Осипе Мандельштаме. Далее изложена история издания «Альманахи стихов, выходящие в Петрограде» (Пг.: Цевница, 1915).

С. 209. «*Fleurs du mal*» — «Цветы зла», название стихотворного сборника Ш.Бодлера.

VI

Впервые — Звено. 1925. 7 дек.

С. 210. *Харитон* Борис Осипович (Иосифович; 1877—1941) — литератор.

Впервые — «Звено». 1925. 14 дек.

С. 215. «*Птиже*» — маленькая игра (от *фр.* petit jeu).

С. 216. *Помещением Дома искусств была квартира Х...* — Имеется в виду владелец богатых магазинов купец Елисеев.

Каразин Николай Николаевич (1842—1908) — журналист, писатель, художник.

«*Русский паломник*» — журнал, издававшийся в Петербурге в 1910-е гг.

С. 217. ...*кружок «Серапионовых братьев», бывших студентов Замятина.* — Литературная группа «Серапионовы братья» (от названия кружка друзей в одноименном произведении Э.Т.А.Гофмана), образованная 1 февраля 1921 г. при Доме искусств. В группу входили М.Зощенко, В.Иванов, К.Федин, В.Каверин, Л.Лунц, Н.Тихонов и др. Евгений Замятин вел занятия, обучая своих слушателей искусству прозы.

В Петербург приехал Уэллс. — Герберт Уэллс приехал в Петербург в конце сентября 1920 г., остановился у М.Горького. Обед в его честь в Доме искусств был устроен 30 сентября.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938) — писатель, журналист.

...*продемонстрировать ему свой «дессу».* — Те. исподнее (от *фр.* dessous).

Чудовский Валериан Адольфович — критик, стиховед.

С. 218. *Леткова-Султанова* Екатерина Павловна (1856—1937) — писательница.

С. 219. «*Ажсиорно*» — в свое удовольствие (от *ит.* agio).

Баккара — карточная игра.

Впервые — Звено. 1927. № 205.

С. 220. ...*например, Штернберг...* — Правильнее *Штеренберг* Давид Петрович (1881—1948) — художник. В 1918 г. был комиссаром искусств в Петрограде.

...«*деми*»... — Здесь: кружка пива (от *фр.* demi).

С. 221. ...*поправляют настоящие ошибки!* — Штеренберг принимал участие в государственной литературно-издательской комиссии и даже в обсуждении реформы по правописанию, проведенной советским правительством.

Лассаль Фердинанд (1825—1864) — немецкий социалист, основатель и руководитель Всеобщего германского союза.

Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1931) — беллетрист, журналист. Автор книги воспоминаний «Роман моей жизни».

...«*ничевоки*», «*всеки*», «*ослиные хвосты*», «*бубновые тузы*». — «*Ничевоки*» — московская литературная группировка (1920—1923). «*Всеки*» — очевидно, выдуманы Г.Ивановым. «*Ослиный хвост*», «*Бубновый валет*» — существовавшие в 1910-е гг. объединения художников-авангардистов.

С. 226. *Лоренцо Великолепный* — Лоренцо Медичи (1449—1492) — правитель Флоренции, поэт.

С. 227. «*Фауст и город*» — пьеса в стихах А.В.Луначарского.

Маринетти Филиппо Томмазо (1876—1944) — итальянский писатель, глава и теоретик футуризма.

С. 228. ...«*гутировать*»... — Здесь: одобрять (от нем. gut).

IX

Впервые — Звено. 1927. № 218.

С. 229. ...«*инвитацции*»... — Приглашения (от фр. invitation).

...«*эпатантно*»... — Сногшибательно (от фр. epatant).

С. 230. «*Я, гений Игорь Северянин...*» — Из стихотворения И.Северянина «*Эпилог*» (1912).

С. 232. *Пишибшевский Станислав* (1868—1927) — польский писатель. Один из видных польских модернистов. Был популярен в дореволюционной России.

X

Впервые — Последние новости (Париж). 1929. 17 окт.

С. 235. *Фофанов Константин Михайлович* (1862—1911) — поэт, привлекавший внимание символистов. И.Северянин считал его, наряду с Миррой Лохвицкой, предшественником эгофутуризма, о чем было заявлено в манифесте «*Академия эгопоэзии (Вселенский Футуризм)*» (1912), подписанном И.Северяниным, К.Олиповым, Г.Ивановым и Граалем Арельским.

С. 238. ...*бесталанные подражатели Маяковского*... — Первое выступление Маяковского состоялось 17 ноября 1912 г. в «*Бродячей собаке*», а Фофанов умер 17 мая 1911 г., поэтому в это время подражателей Маяковский иметь не мог.

С. 239. «Ты — небо ясное в светилах...» — Из стихотворения К.Фофанова «Небо и море» (1886).

«Я и сам хочу в могилу...» — Из стихотворения К.Фофанова «На меня клеветают много...».

XI

Впервые — Последние новости (Париж). 1930. 22 февр.

С. 240. ...по случаю взятия Скутари... — Имеется в виду взятие Шкодер (Скутари) на Скадарском озере (Албания) войсками антитурецкой коалиции (Болгария, Сербия, Греция, Черногория) в ходе 1-й Балканской войны (1912—1913).

«Последние тучи рассеянной бури...» — Из стихотворения А.С.Пушкина «Туча» (1835).

С. 241. *Джунковский* Владимир Федорович (1865 — после 1937) — генерал-лейтенант, товарищ министра внутренних дел (1913—1915).

С. 242. ...имя Михаила Лозинского известно только в узких литературных кругах. — Впоследствии М.Л.Лозинский стал известнейшим переводчиком Данте, Шекспира, Мольера и др.

«На руке его много блестящих колец...» — Первое выступление в печати Анны Горенко (Ахматовой).

Звали этого упорного молодого человека граф А.Ник. Толстой. — Алексей Николаевич Толстой (1882/83—1945) в «Сириусе» не печатался. В литературные круги входил, действительно, в Париже. К этому времени он был автором небольшой книги «Лирика» (1907), которую сам впоследствии считал крайне слабой и подражательной.

...«Остров», бывший по составу сотрудников повторением «Сириуса»... — Единственный автор, который печатался и в «Сириусе», и в «Острове», был Н.Гумилев.

С. 244. *Эйхенбаум* Борис Михайлович (1886—1959) — историк и теоретик литературы, критик.

Добролюбов Александр Михайлович (1876—1945?) — поэт, основатель религиозной секты «добролюбовцев», судьба которого в кругу писателей-символистов обрела околослегендарные черты.

С. 245. «Из неживого тумана!..» — Из стихотворения А.Блока «А.М.Добролюбов» (1903).

Из эпиграфа пушкинский к нему: «А.М.Д. своею кровью...» — Песня Франца из драматического произведения Пушкина «Сцены рыцарских времен». Песня восходит к стихотворению Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...», с которым имеет некоторые разночтения. А.М.Д. — т.е. «Аве

Mater Dei» («Славься, Матерь Божья», слова католической молитвы). Эти буквы совпадают с инициалами А.М.Добролюбова.

С. 246. «...Где обрывается Россия...» — Из стихотворения О.Мандельштама «Не веря воскресенья чуду...» (1916). Дальнейшее повествование Иванова вызвало раздражение Цветаевой, которая ответила очерком «История одного посвящения» (при жизни Цветаевой не публиковавшимся), включившем многочисленные цитаты из текста Иванова с гневными опровержениями мемуарного характера. На версию Иванова, что стихи обращены «женщине-врачу», Цветаева ответила: «Стихи ко мне» (Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. М.: Эллис лак, 1994. Т. 4. С. 149).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛУНАТИК

Впервые — Последние новости (Париж). 1932. 25 июня.

С. 251. ...слух о самоубийстве в провинции поэта Пяста... — В.Пяст умер в 1940 г. от рака легких (см. о нем выше).

Лигейя — героиня одноименного рассказа Эдгара По.

С. 256. ...как раз сегодня — шестого октября... — Эдгар По был подобран без сознания на улице в Балтиморе 3 октября 1849 г. и через четыре дня скончался в балтиморском госпитале.

МАГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Впервые — Сегодня (Рига). 1932. № 301.

С. 258. *Его звали Вольдемар Казимирович.* — Шилейко Владимир Казимирович (1891—1930), ученый-востоковед, поэт, переводчик. Второй муж Анны Ахматовой.

С. 260. *Богиня Иштар* — в аккадской мифологии — богиня плодородия и любви, олицетворение планеты Венера.

С. 261. *Вскоре они разошлись.* — Ахматова и Шилейко, повенчавшись в 1918 г., расстались в 1921 г., хотя официально развод состоялся лишь в 1928-м.

«*Мне муж — палач и дом его — тюрьма...*» — Из сонета А.Ахматовой «Тебе покорной? Ты сошел с ума!..» (1921).

О СВИТСКОМ ПОЕЗДЕ ТРОЦКОГО, РАССТРЕЛЕ ГУМИЛЕВА И КОРЗИНКЕ С ПРОКЛАМАЦИЯМИ

Впервые — Сегодня (Рига). 1932. № 358.

С. 269. ...*арестовали Таганцева...* — Владимир Таганцев был арестован 5 июня 1921 г. (о «таганцевском заговоре» см. выше).

С. 270. *Помнишь ту прокламацию?..* — Сюжет о затерявшейся прокламации встречается и у И.Одоевцевой, и у Г.Адамовича. Последний так рассказал этот эпизод:

«В дни Кронштадтского восстания он составил прокламацию — больше для собственного развлечения, чем для реальных целей. В широковежательном этом «обращении к народу» диктаторским тоном излагались права и обязанности гражданина и перечислялись кары, которые ждут большевиков. Прокламация была написана на листке из блокнота.

Восстание было подавлено. Недели через две Гумилев рассеянно сказал:

— Какая досада. Засунул я этот листок в книгу, не могу теперь найти.

На листке этом был написан его смертный приговор» (см.: А д а м о в и ч Г. В. Сомнения и надежды. М.: Олма-пресс, 2002. С. 33).

ЧЕЛОВЕК В РЕДИНГОТЕ

Впервые — Сегодня (Рига). 1933. № 112. Ранее иной вариант под заглавием «Невский проспект» был опубликован в парижской газете «Последние новости» (1927. 17 февр.).

С. 274. *«Меня! Друга Григория Ефимовича!»* — Имеется в виду Г.Е.Распутин.

Вырубова Анна Александровна (1884—1964) — фрейлина императрицы Александры Федоровны (с 1904 г.). Была посредницей между царской семьей и Г.Е.Распутиным. С 1920 г. в эмиграции.

«*Физа*» — поэма Бориса Васильевича Анрепа (1883—1969), поэта и художника по мозаике. Официальное название общества «Физа» — «Общество поэтов».

...*фон А.* — Б.В.Анреп.

С. 275. *Тураев* Борис Александрович (1868—1920) — востоковед, академик РАН (1918). Автор работ по Древнему Египту, Двуречью, истории религии.

Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (1845—1929) — русский и польский языковед, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1897). Оказал большое влияние на развитие общего языкознания.

Впервые — Сегодня (Рига). 1933. № 57.

В шестой главке из цикла «Китайские тени», опубликованной 29 сентября 1924 г. в «Звене» (см. выше), есть фрагмент о Розе (Розе Васильевне Рура), целиком перенесенный в очерк «Анатолий Серебряный». В настоящем издании этот отрывок опущен.

С. 279. *Настоящая фамилия поэта Анатолия Серебряного — Пучков. Анатолий Никандрович Пучков.* — Имеется в виду Пучков Анатолий Иванович (1894—?) — стихотворец, примыкавший к околофутуристическому кружку «Чемпионат поэтов». Выступал под псевдонимом Анатолий Среbrный.

С. 280. *«Заведующий распределительной частью Петрокоммуны Анатолий Пуч...»* — Пучков занимал должность заместителя председателя правления Петроградского потребительского общества.

Оцун Николай Авдеевич (1894—1958) — поэт, критик, мемуарист, член второго «Цеха поэтов», редактор журнала «Числа».

С. 282. *...был членом черносотенной «Палаты Михаила Архангела».* — Имеется в виду «Союз Михаила Архангела».

С. 283. *...я, эти книги редактирую...* — Речь идет о книгах Гумилева «Стихотворения. Посмертный сборник» (Пг., 1922; 2-е изд. — Пг., 1923) и «Письма о русской поэзии» (Пг., 1923). Обе вышли в издательстве «Мысль».

С БАЛЕТНЫМ МЕЦЕНАТОМ В ЧЕКА

Впервые — Сегодня (Рига). 1933. № 78.

С. 285. *«В вечном холоде советской ночи...»* — Из стихотворения О. Мандельштама «В Петербурге мы сойдемся снова...» (1920).

С. 287. *«Сколько раз рукой помертвелой...»* — Из стихотворения А. Ахматовой «Белый дом» (1914).

С. 289. *...не променяла бы большевистскую Россию ни на что в мире.* — Отсылка к стихотворению А. Ахматовой «Мне голос был. Он звал утешно...» (1917).

ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ

Впервые — Сегодня (Рига). 1933. № 99.

С. 292. *Паллада* — Богданова-Бельская (урожд. Старынкевич) Паллада Олимпиевна (1887—1968). Окончила театральную студию Евреинова, писа-

ла стихи. Более известна была как держательница своеобразного салона (квартира Богдановой-Бельской на Фонтанке), где собиралась петербургская богема.

КАЧКА

Впервые — Сегодня (Рига). 1932. № 336.

С. 299. *Каким-то чудом книга теперь вышла в Москве.* — На самом деле книга вышла в Петрограде в 1924 г.

С. 300. *«Леди Чаттерлей»* — роман английского писателя Д.Г.Лоуренса «Любовник леди Чаттерли» (1928).

Пиотровский Адриан Иванович (1898—1938) — поэт, литературовед, театровед, переводчик, педагог.

Побочный сын прославленного ученого... — Пиотровский был сыном Фаддея Францевича Зелинского (1859—1944), известнейшего филолога-классика, историка культуры, переводчика, профессора Петербургского и Варшавского университетов.

С. 301. *Яковлева* Варвара Николаевна (1884—1941) — советский государственный и партийный деятель. С 1922 г. — заместитель наркома просвещения РСФСР.

Невский Владимир Иванович (наст. имя Феодосий Иванович; 1876—1937) — советский государственный и партийный деятель, историк. Занимал видные государственные посты.

С. 303. *«Вейнбрандт»* — коньяк (от нем. Weinbrand).

Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957) — художник, член объединения «Мир искусства». Известен своей книжной графикой. Оформил обложку книги Г.Иванова «Сады» (Пб.: Петрополис, 1921).

ПО ЕВРОПЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Настоящий цикл очерков печатался в газете «Последние новости» (Париж) в 1933—1934 гг. В некоторых выпусках название звучало: «На автомобиле по Европе». В нумерации очерков при публикации имеются пропуски: за четвертым (опубликован 9 декабря 1933 г.) шел шестой (29 декабря 1933 г.), за седьмым (2 февраля 1934 г.) — девятый (16 марта). В собрании сочинений Г.Иванова публикаторы цикла установили, что пропущенная пятая глава — это очерк «От Пельхау до Скоропадского» с подзаголовком «История Ронда», помещенный за подписью «А.И.» (см.: Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т. 2. С. 458). Судьба восьмого очерка неиз-

вестна. Возможно, в газете случайно перепутали нумерацию, поэтому последний очерк помещается под номером VIII, а не IX. В очерках много германизмов, объяснение которых также включено в комментарий.

С. 307. *Бирон* — Эрнст Иоганн фон Бюрен (1690—1772), герцог Курляндский, российский государственный деятель. Имел значительный вес при дворе Анны Иоанновны. В 1730 г. был назначен обер-камергером, в 1737 г. избран герцогом Курляндии, которой управлял, оставаясь в Петербурге. Смещен со своего поста при царице Анне Леопольдовне в 1740 г., отправлен в ссылку в Тобольскую губернию. В 1742 г., по воцарении Елизаветы Петровны, был возвращен и определен на поселение в Ярославль. В 1762 г. при Екатерине II вернул себе курляндский престол.

С. 308. ...*граф Боржилижес Растрелли*... — Те. Франческо Бартоломео Растрелли (1700—1771), знаменитый петербургский архитектор. Вскоре, после того как построил Зимний дворец, он был сделан придворным обер-архитектором.

Митавский и Руэнтальский замки, возведенные по прихоти Бирона... — Работы Растрелли над заказами одного из своих покровителей Бирона были приостановлены в 1741 г. по воцарении Елизаветы Петровны. Часть интерьера из Митавы была перевезена в Петербург для будущего Аничкова дворца (1743).

Бермонт-Авалов (точнее — Бермондт-Авалов) Павел Рафалович (1877 — после 1934) — один из руководителей Белого движения в Прибалтике в 1918—1919 гг., генерал-майор (1918). В Русской армии служил в военных оркестрах. Принимал участие в Первой мировой войне. В Белом движении стал одним из организаторов и руководителей контрреволюции на Украине и в Прибалтике. В Киеве занимался контрразведкой и вербовкой Южной армии. С начала 1919 г. возглавил Отдельный Добровольческий Партизанский имени графа Келлера отряд, который формировался в Германии из русских военнопленных и немецких добровольцев. С июня 1919 г. войска под командованием Бермондта-Авалова действовали в Латвии совместно с немецкими войсками против красных, противостояли Юденичу и правительствам Латвии и Эстонии. В октябре 1919 г. Бермондт-Авалов осадил Ригу, пытался сформировать прогерманское правительство, но не сумел сломить сопротивление латвийских войск и под давлением Антанты отступил в Южную Латвию. В ноябре 1919 г. Западная Добровольческая армия Бермондта-Авалова стала частью немецкой оккупационной армии. Отказавшись от дальнейшего участия в военных действиях, Бермондт-Авалов эмигрировал в Германию, где принимал участие в консолидации контрреволюционных сил для борьбы с большевизмом.

С. 309. *Шавли* — ныне Шауляй.

С. 310. ...«*Особенный еврейско-русский воздух*». — Из стихотворения Довида Кнута «Я помню тусклый кишиневский вечер...» (более позднее название — «Кишиневские похороны»).

С. 311. *У спутников моих латвийские паспорта, у меня — нансеновский*. — Имеется в виду документ, введенный по инициативе известного норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена Лигой Наций для лиц, не имеющих гражданства, — начал действовать на основании специальных Женевских соглашений с июля 1922 г.

С. 313. *Эверс* Ганс-Гейнс (1871—1943) — немецкий писатель, автор исторических и фантастических романов, мастер ужасных историй, популярный в Европе и России в начале XX в. С 1934 г. — председатель Союза германских писателей.

С. 317. *РОНД* — «Российское национально-социалистическое движение», организация русских фашистов в Германии (1933—1939).

Хинчук Лев Михайлович (1868—1944) — советский государственный деятель, с 1930 по 1934 г. — полпред СССР в Германии.

Сао-Паоло — Сан-Паулу, город в Бразилии.

С. 318. *Симанович* Арон Симонович (1873—196?) — купец 1-й гильдии, ювелир, личный секретарь Григория Распутина, отношения с которым использовал в личных целях. Эмигрировал после Октябрьской революции. Автор книги «Распутин и евреи».

Розенберг Альфред (1893—1946) — публицист, идеолог фашизма. Выходец из России. В книге «Миф 20 столетия» (1930) пытался обосновать расистские воззрения и агрессивную внешнюю политику Германии. С 1933 г. — во главе внешнеполитического отдела Национал-социалистической партии. С июля 1941 г. — министр оккупированных восточных территорий. Казнен по приговору нюрнбергского Международного военного трибунала.

...*союзники, которых мы спасли на Марне...* — Речь идет о сражении на р. Марна между немецкими и англо-французскими войсками в сентябре 1914 г. Победа союзников, которой способствовало наступление русских войск в Восточной Пруссии, сорвала немецкий план быстрого взятия Парижа.

С. 319. *Фош* Фердинанд (1851—1929) — маршал Франции (1918), Британии (1919) и Польши (1923), член Французской академии (1918). С апреля 1918 г. — Верховный главнокомандующий войск Антанты.

Пуанкаре Раймон (1860—1934) — премьер-министр (1912—1913, 1922—1924, 1926—1929) и президент (1913—1920) Франции. Один из авторов Версальского договора и организаторов антисоветской интервенции.

Ллойд-Джордж Дэвид (1863—1945) — государственный деятель Великобритании, лидер Либеральной партии, в 1916—1922 гг. — премьер-ми-

нистр. Один из авторов Версальского договора и организаторов антисоветской интервенции.

Гучков Александр Иванович (1862—1936) — лидер партии октябристов, с марта 1910 по март 1911 г. — председатель Государственной думы. В марте 1917 г. убедил Николая II отречься от престола. Во Временном правительстве — военный и морской министр. В 1918 г. эмигрировал. «Бомбистом» и революционером никогда не был.

С. 321. *РНСД* — «Русское национал-социалистическое движение».

Вонсяцкий Анастасий Андреевич (1898—1970) — участник Белого движения, монархист. Состоял в офицерском отряде по охране в Крыму вдовствующей императрицы Марии Федоровны. В 1920 г. эмигрировал. В 1921 г. женился на американке и переехал в США, где организовал национально-революционную трудовую и рабоче-крестьянскую партию. Убежденный монархист, пытался добиться своих политических целей через русское фашистское движение. В июне 1942 г. по обвинению в связях с японским посольством в США был приговорен к тюремному заключению, где провел около четырех лет, после чего отошел от политической деятельности. В 1963 г. в Сан-Паулу издал свою публицистику (книга «Расплата») и мемуары (книга «Сухая гильотина»).

С. 323. ...*фатеров...* — Т.е. предводителей.

С. 324. «*Дикость, подлость и невежество...*» — Из статьи А.С.Пушкина «Опровержение критики».

С. 326. «*Вампука*» («Вампука, невеста африканская, образцовая во всех отношениях опера») — опера-пародия В.Г.Эренберга на текст пьесы М.Н.Волконского, поставленная в Петербурге в 1909 г. Название «Вампука» стало нарицательным, обозначая несуразность и ходульность постановки.

С. 328. *РОВС* — «Русский общевоинский союз», организованный в 1924 г. генералом бароном П.Н.Врангелем.

...*проф. И.А.Ильин*. — Ильин Иван Александрович (1882—1954), русский религиозный философ, публицист. В 1922 г. был выслан из России. Друг писателя И.С.Шмелева и композитора Н.К.Метнера. До 1934 г. жил и преподавал в Берлине. С 1938 г. жил в Швейцарии.

«*Протоколы Сионских мудрецов*» — антисемитская подделка, опубликованная в России в начале 1900-х гг., не раз переводилась и переиздавалась.

С. 330. *Скоропадский* Павел Петрович (1873—1945) — военный, политический и государственный деятель, генерал-лейтенант (1916). С октября 1917 г. — глава военных формирований Центральной рады. Гетман Украины (1918), провозгласил создание «Украинской державы». С декабря 1918 г. переехал в Германию, жил в Берлине.

С. 332. ...«*вюрстхены*»... — Те. сосиски.

С. 335. ...*памятник 1871 года*. — Речь о памятнике, воздвигнутом в честь победы во Франко-прусской войне 1870—1871 гг.

Роденбах Жорж (1855—1898) — бельгийский писатель. Писал на французском языке. Был связан с французскими символистами.

С. 337. ...*в биргалле*... — Те. в пивном зале.

С. 338. *Шпенглер Освальд* (1880—1936) — немецкий философ и культуролог, автор двухтомного труда «Закат Европы» (1918—1922), породившего множество вульгарных толкований.

С. 339. *Аншлусс* — присоединение.

С. 340. «*Аксидан*» — дорожный инцидент, авария.

С. 341. *Хершафтенам* — господам.

«*Гемютлих*» — уютно.

«...*поэт Владимир Ленский*...» — Из «Евгения Онегина» А.С.Пушкина (гл. 2, VI).

С. 343. «*Макабрного*» — мрачного.

С. 344. ...*король Альберт*... — Альберт I (1875—1934), король Бельгии (с 1909 г.). Отличался простотой в поведении и был любим подданными. Погиб в горах во время одного из своих восхождений.

Кафе-крем — кофе со сливками.

ЗАКАТ НАД ПЕТЕРБУРГОМ

Впервые — Возрождение (Париж). 1953. № 27.

С. 347. ...«*порфиросной вдовы*»... — Из «Медного всадника» А.С.Пушкина.

...«*вековая тишина*»... — Из стихотворения Н.А.Некрасова «В столицах шум, гремят витии...».

С «*дней Александровых прекрасного начала*...» — Из стихотворения А.С.Пушкина «Послание цензору».

С. 348. «...*За окном, шумя полозьями*...» — неточная автоцитата из стихотворения «В пышном доме графа Зубова...».

«*Невы державное течение*...» — Из «Медного всадника» А.С.Пушкина.

С. 349. «*Ночь, улица, фонарь, аптека*...» — первая строка стихотворения А.Блока.

«*Над Невою многоводной*...» — неточная цитата из стихотворения А.Ахматовой «Сердце бьется ровно, мерно...».

С. 350. «*Зеленая звезда в холодной высоте*...» — неточная цитата из стихотворения О.Мандельштама «На страшной высоте блуждающий огонь...».

«Спohватился — сорок лет...» — неточная цитата из стихотворения А.Блока «Все свершилось по писаньям...».

С. 351. «Земное сердце устало...» — неточная цитата из стихотворения А.Блока «Она, как прежде, захотела...».

«Странно царь глядит вокруг...» — Из стихотворения А.Ахматовой «Призрак».

«Где нас поджидала Чека...» — автоцитата из раннего варианта стихотворения «Мне больше не страшно. Мне томно...», в котором имелась третья, заключительная строфа, позже Ивановым отброшенная:

Я вижу со сцены — к партеру
Сиянье... Жизель... облака...
Отплывте на остров Цитеру,
Где нас поджидала Че-ка.

С. 352. *Беляев* Юрий Дмитриевич (1876—1971) — журналист, театральный и художественный критик, драматург. На рубеже 1900—1910-х гг. написал несколько пьес, имевших успех.

Аенищев Николай Яковлевич (1888—1932) — салонный поэт, автор популярных песенок. Особую известность ему принесли сборники «Мои песенки» (Берлин, 1921) и «Блистательный Санкт-Петербург» (Берлин, 1923).

С. 354. ...«рукой железной Россию вздернул на дыбы»... — Из «Медного всадника».

...«красуйся и стой»... — У А.С.Пушкина в «Медном всаднике»: «Красуйся, град Петров, и стой...»

«...Царь змею раздавить не сумел...» — неточная цитата из стихотворения И.Анненского «Петербург».

С. 355. *Родзянко* Михаил Владимирович (1859—1924) — один из лидеров партии кадетов, председатель 3-й и 4-й Государственных дум.

...«когда русский царь ловит рыбу... Европа... может подождать...» — подлинный афоризм Александра III.

Вишняк Марк Вениаминович (1883—1976) — литератор, эсер, один из редакторов самого известного журнала эмиграции «Современные записки».

С. 357. *Религиозно-философское общество* (РФО) — организовано весной 1905 г. для обсуждения насущных религиозных и мировоззренческих вопросов. Среди членов общества были видные литераторы, философы, религиозные деятели.

«В семнадцатом году, еще не понимая...» — искаженная цитата из собственного стихотворения «В тринадцатом году, еще не понимая...».

С. 358. «*Настанет год, России страшный год...*» — неточная цитата из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Предсказание».

«*Любили, как еще любили...*» — Из стихотворения «У нас не спросят: вы грешили?..» А.С.Штейгера.

«...*под своей знаменитой «ложноклассической шалью»...*» — Имеется в виду стихотворение О.Мандельштама «Ахматова».

«*О, если б знали, дети, вы...*» — Из стихотворения Блока «Голос из хора».

«*Дети страшных лет России...*» — Из стихотворения Блока «Рожденные в года глухие...».

С. 359. «*...И этот воздух смерти и свободы...*» — автоцитата из стихотворения «В тринадцатом году, еще не понимая...».

«*...От легкой жизни мы сошли с ума...*» — первая строка одноименного стихотворения О.Мандельштама.

«*...Все то, что гибелью грозит...*» — неточная цитата из «Пира во время чумы» А.С.Пушкина.

«*...В трезвом, беспощадном свете дня...*» — неточная цитата из стихотворения Блока «Перед судом».

«*Словно звезды, встают пророчества...*» — автоцитата из стихотворения «На границе снега и таянья...».

С. 360. «*Все, кто блистал в тринадцатом году...*» — автоцитата из стихотворения «Январский день. На берегу Невы...».

Из всех блиставших тогда поэтов жива только одна Ахматова... — В это время еще были живы бывшие соратники по акмеизму — Сергей Городецкий и Михаил Зенкевич. Вероятно, их имена не связывались у Иванова с историческим образом «Блистательного Санкт-Петербурга».

«*...Быть может, города другие и прекрасны...*» — автоцитата из стихотворения «Как осужденные, потерянные души...».

С. Федякин

СОДЕРЖАНИЕ

- 5 С. Федякин. Петербургский миф
в судьбе Георгия Иванова
- 17 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ
- 177 КИТАЙСКИЕ ТЕНИ
- ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
- 251 Лунатик
- 258 Магический опыт
- 266 О свитском поезде Троцкого,
расстреле Гумилева и корзинке
с прокламациями
- 272 Человек в рединготе
- 278 Анатолий Серебряный
- 285 С балетным меценатом в Чека
- 292 Прекрасный принц
- 299 Качка (*Отъезд из России*)
- 305 ПО ЕВРОПЕ НА АВТОМОБИЛЕ
- 345 ЗАКАТ НАД ПЕТЕРБУРГОМ
- 361 Примечания

Мой 20 век
Литературно-художественное издание

Иванов Георгий Владимирович
Черные ангелы

РЕДАКТОР

В.П.Кочетов

МЛ. РЕДАКТОР

Д.З.Хасанова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

С.А.Виноградова

ТЕХНОЛОГ

С.С.Басипова

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ

Л.Г.Иванова

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ

ПЕРЕПЛЕТА И БЛОКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Е.В.Мелентьева

КОРРЕКТОРЫ

Г.В.Заславская, Л.М.Кочетова

Подписано в печать 25.01.2006

Формат 60х90/16

Тираж 3 000 экз.

Заказ № 1624

ЗАО «Вагриус»

107150, Москва, ул. Ивanteeвская, д. 4, корп. 1

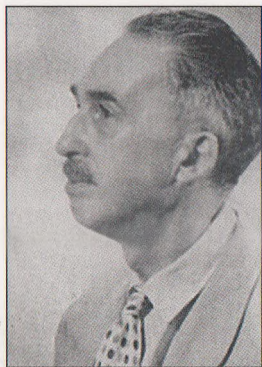
Отпечатано в ОАО «ИПК

«Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14

Георгий Иванов

Черные АНГЕЛЫ



Мой 20
век

Георгий Иванов



ВАГРИУС

ISSN 5-9697-0209-9



9 785969 702097

